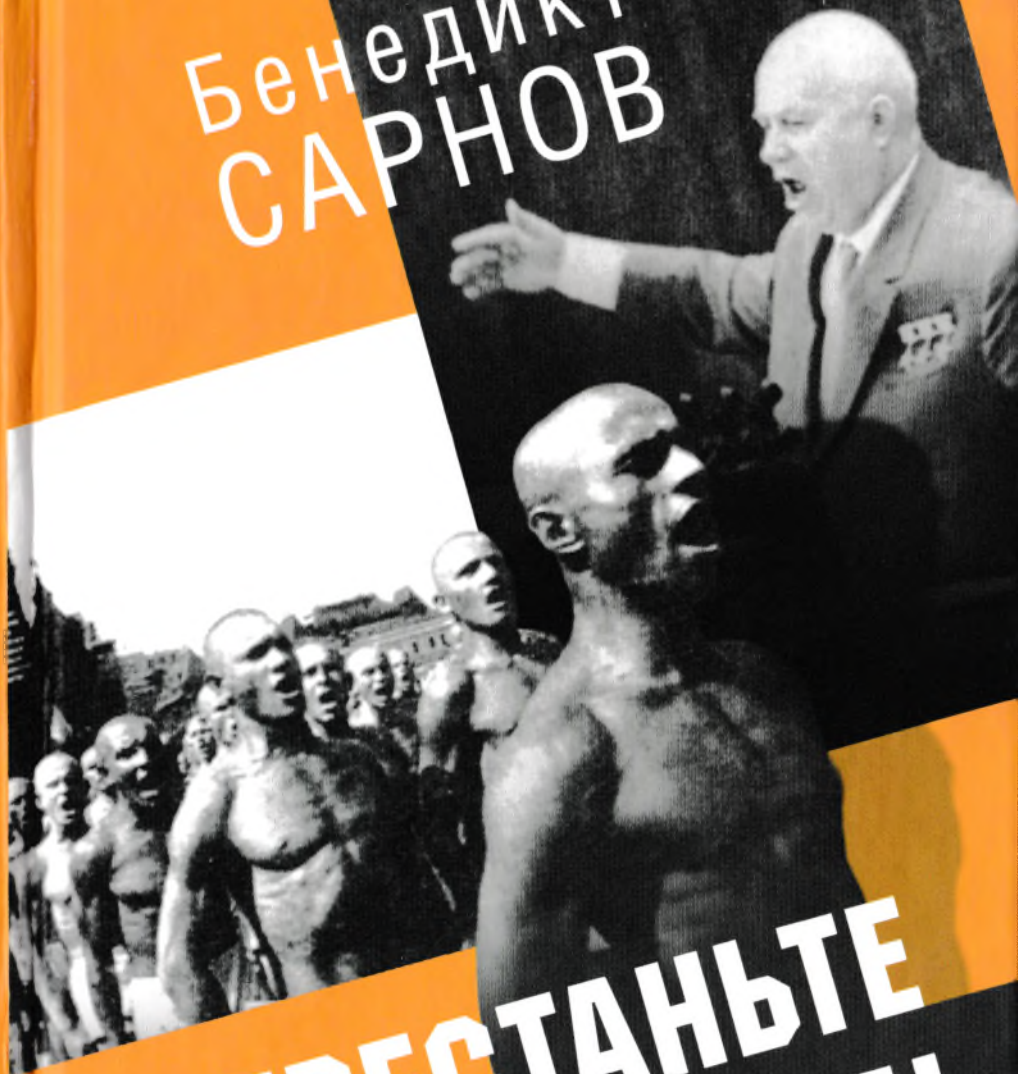


ПЕРЕСТАНЬТЕ УДИВЛЯТЬСЯ!

Бенедикт САРНОВ

Бенедикт
САРНОВ



**ПЕРЕСТАНЬТЕ
УДИВЛЯТЬСЯ!**

Бенедикт САРНОВ

**ПЕРЕСТАНЬТЕ
УДИВЛЯТЬСЯ!**

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Издание второе,
исправленное и дополненное

///АГРАФ

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
С20

Художник *Л. Ликальтер*



Информационный спонсор –
радиостанция «Эхо Москвы»

Сарнов, Бенедикт Михайлович.

С20 Перестаньте удивляться! : непридум. истории / Бенедикт Сарнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Аграф, 2006. – 448 с. : [16 с.] ил. – ISBN 5-7784-0334-8

Агентство СІР РГБ

В этой книге известный критик и литературовед Бенедикт Сарнов выступает в необычном для него жанре. Книга представляет пеструю смесь коротких «невыведанных историй» – смешных, грустных, порою трагических. В некоторых из них автор рассказывает о событиях, свидетелем, а иногда и участником которых был сам. Другие он слышал от своих друзей, знакомых, старших современников.

Собранные воедино, все эти разрозненные, никак сюжетно не связанные факты, случаи, эпизоды словно бы сами собой складываются в картину, запечатлевшую образ минувшей эпохи.

Настоящее издание существенно расширено за счет включения в него новых историй, не входивших в издание 1998 года. А в некоторые истории из тех, что в него входили, внесены исправления и уточнения.

ISBN 5-7784-0334-8



© Издательство «Аграф», 2006
© Сарнов Б.М., 2006

Вот так страна!..

Сергей Есенин

ОТ АВТОРА

Я заранее прошу прощения у тех читателей, которые знакомы уже с книгой моих воспоминаний «Скуки не было». Они сразу узнают здесь некоторые тексты. Но дело в том, что книга «Перестаньте удивляться!» писалась давно, когда о сочинении мемуаров я еще не помышлял.

Я не стал изымать из этого издания совпадающие тексты: ведь и эта книга тоже в известном смысле мемуарная. Собственно, она была первой прикидкой, первым моим приступом к сочинению мемуаров.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДИАЛЕКТИКА (Что-то вроде предисловия)

Году этак что-нибудь в 1963-м на протяжении двух месяцев сидели мы с Борисом Слуцким в Коктебеле за одним столом. Вместе завтракали, обедали, ужинали и рассказывали друг другу разные истории, или, как сказано у Бабеля, замечания из жизни. Я расскажу — он расскажет. Истории цеплялись одна за другую, и казалось тогда, что сиди мы вот так хоть целый год, не оскудеет наш запас, не будет этим нашим историям ни конца и ни края.

В какой-то день случилось так, что все эти наши устные мемуары упорно, словно каким-то невидимым магнитом притягиваемые, склонялись к одной теме: причудам нашей родной социалистической экономики.

Началось с того, что я рассказал про забавный казус, приключившийся с моим соседом по дому Рудольфом Бершадским.

Когда кооперативный дом наш на Аэропортовской еще только строился, мы, будущие его обитатели, то и дело приходили полюбоваться, как идет стройка, и уходили счастливые, увидав, что дом вырос еще на пол-этажа. Почти все мы до этого ютились по коммуналкам, и грядущее вселение в отдельную квартиру представлялось нам немыслимым счастьем. И вот, когда дом уже подбирался к последнему — девятому — этажу, нам объявили, что каждый может заказать себе *индивидуальную планировку*. Скажем, увеличить кухню за счет прилегающей к ней комнаты. Или наоборот.

Соответствующие расходы надо было, понятно, предварительно оплатить. Но цены тогда на все эти дела были божеские, а по нашим нынешним временам так и вовсе символические.

Я тем не менее на эту удочку не клюнул. А Рудя Бершадский — клюнул. Он заказал себе *тамбур*. Это значило, что длинную кишку

коридора, тянущуюся через всю его квартиру, он решил перегородить: в полутора метрах от входа навесить вторую дверь. Получалось очень элегантно: входя в квартиру, вы попадали в крохотную прихожую, снимали там пальто, шапку, если хозяин прикажет, и обувь меняли на тапочки и только после этого, отворив вторую дверь, попадали уже в собственно апартаменты. И вот, оплатив соответствующим образом эту свою индивидуальную планировку, Рудя стал чуть ли не каждый день навещать в свою будущую квартиру, чтобы поглядеть, не сделали ли ему наконец этот его вожделенный *тамбур*. Но всякий раз ему отвечали, что нет, пока не сделали, поскольку до сих пор на стройку не завезли дверей.

Но всякому ожиданию, как известно, рано или поздно приходит конец, и в один прекрасный день, явившись на свой пост, Рудя услышал, что его тамбур вроде бы наконец готов. Ликуя и содрогаясь, как сказано у того же Бабеля, он взбежал по лестнице, толкнул дверь своей будущей квартиры, и... Нет, его не обманули. Прихожая, которая так долго являлась ему в мечтах, была именно такой, какой он ее себе представлял. Но когда он сделал попытку открыть вторую дверь и пройти в квартиру, из этого ничего не вышло. Дело было в том, что первая, входная дверь открывалась внутрь квартиры, то есть *от себя*. А вторая — та, которую рабочие наконец навесили, — *на себя*. А поскольку тамбур, как я уже сказал, был крохотный, две двери — первая, входная, и вторая, ведущая в квартиру, — сталкивались друг с дружкой, и проникнуть в квартиру при такой раскладке не было никакой физической возможности.

— Мужики, вы что же мне это сделали? — спросил ошеломленный Рудя у неспешно копошившихся в его квартире рабочих.

— Чего?.. А-а, это? — невозмутимо ответствовали они. — Да нам тут, понимаешь, завезли только левые двери. Правых, говорят, сейчас нету..

— Так ведь в квартиру же не войти... Как же я...

— Да ты, хозяин, не волнуйся, — успокоили его. — На той неделе завезут нам правые двери, и мы тебе её навесим.

— Так какого же дьявола вы навешивали эту дверь, если она не годится? Зачем двойную работу делать?

Тут на него посмотрели как на малолетку-несмышлениша:

— То есть как, зачем? Ведь если бы мы не навесили, нам бы ведомость не закрыли. Мы бы расчет не получили... Да ты, хозяин, не волнуйся! Все будет путем. Приходи на той неделе, увидишь: будет у тебя нормальная дверь.

Выслушав эту историю, Слуцкий в ответ рассказал свою.

До какого-то высокого начальства дошло, что наш отечественный трактор существенно тяжелее американского трактора той же

мощности. Тут же в соответствующий НИИ было спущено задание: довести вес отечественного трактора до американского стандарта.

Ученые мужи в НИИ решили эту задачу просто. Всюду, где можно было, они заменили тяжелые металлы (железо? сталь?) на более легкие (дюраль? алюминий?). Себестоимость трактора при таком раскладе сильно выросла, но фирма не стояла перед затратами: задание-то было не удешевить машину, а сделать ее легче. А это было выполнено даже и с превышением: новый трактор, наполовину сделанный из цветных металлов, оказался даже легче американского. Выходило, таким образом, что наши конструкторы не только догнали, но даже и перегнали Америку.

Но у нового трактора оказался один довольно существенный недостаток. Он не мог нормально двигаться. Он не передвигался по земле обычным способом, как ему полагалось, а прыгал, как лягушка.

Вероятно, новый вес трактора требовал какой-то новой, совершенно иной его конструкции.

Но ученые ребята из НИИ и тут не растерялись. Они стали загружать трактор балластом, подвешивать ему какую-то там чугунную гирьку, что ли. И в конце концов пришли к результату, при котором и волки были сыты, и овцы целы. Трактор стал хоть и не таким легким, как в начале эксперимента, но все-таки не тяжелее американского. И при этом нормально двигался.

Ну а что касается стоимости драгоценных цветных металлов, пошедших на его «усовершенствование», так до этого, естественно, никому не было дела. Никто ведь за них не платил. Да и кому платить, если все — свое, то есть — государственное, то есть — ничье.

Выслушав эту историю, я вспомнил рассказ своего приятеля, побывавшего на целине, о том, как они возили на грузовиках зерно по тамошнему бездорожью. Когда грузовик буксовал, черпали зерно ведрами, щедро сыпали его под колеса и двигались дальше, до следующей заминки.

Тут же, к слову, вспомнил и рассказ возившего меня таксиста, который раньше работал на грузовике. Выполненный план им считали не по числу сделанных ездов, и не по пройденному километражу, а по количеству израсходованного за рабочий день бензина. Поэтому часть бензина они *сливали прямо на дорогу*.

Была, кажется, в ответ рассказана еще какая-то история — в том же духе — Борисом. Потом — снова мною. Потом пошли другие рассказы, уже не про экономику, а про дела писательские, литературные. Но и в них тоже открывалась все та же нелепая, фантастическая, уродливая, смешная и грустная, уникальная наша советская реальность.

А потом Борис вдруг спросил:

— Сколько вы знаете таких историй?.. Сто?.. Двести?.. Триста?.. Пятьсот?

Вопрос был совершенно в его стиле. Один наш общий приятель любил пародировать эту его офицерско-комиссарскую манеру знаменитой репликой Остапа Бендера: «В каком полку служили?»

Слуцкий между тем требовательно ждал от меня ответа.

— Ну откуда же я знаю, Боря? — сказал я. — Разве я их считал? Вот вы расскажете что-нибудь, и тут же, как сказано у Льва Николаевича, по странной филиации идей, и у меня что-то всплывает. А так, по заказу, я, наверно, и десятка не припомню.

— Ну хорошо, — подытожил Борис. — Возьмем минимум: сто. И у меня, я думаю, набралось бы столько же. Если бы мы не поленились и все их записали, получилась бы недурная книжка. А озаглавить ее можно было бы так: «*Занимательная диалектика*».

И тут в его глазах, в выражении его лица промелькнуло что-то необыкновенно мне знакомое. Это было так неожиданно, что не сразу, а лишь какое-то мгновение спустя до меня дошло, что точно такое же выражение появлялось на лице моего отца, когда я — или кто-нибудь другой — рассказывал ему о каком-нибудь очередном нелепе, идиотическом факте нашей советской жизни, а он всякий раз отвечал на это одной и той же репликой:

— Перестаньте удивляться!

Этой классической фразой он как бы давал понять, что самая природа того, что в повседневной, обыденной нашей жизни именовалось советской властью, представлялось ему таким чудовищным отклонением от нормы, что никакое частное, конкретное безумие на фоне этого всеобщего, тотального безумия уже не может его удивить.

Но мой отец родился в 1892 году, революцию встретил взрослым человеком, поэтому нет ничего удивительного в том, что мир, созданный революцией, провозгласившей, что кто был ничем, тот станет всем, представляется ему перевернутым вверх тормашками.

Но Борис был не просто частицей этого нового мира. Он был плотью от его плоти. Именно этот мир должен был представляться — и представлялся! — ему самым полным и последовательным воплощением того, что он считал нормой.

Прекраснодушным идиотом он, конечно, не был. Но на протяжении всего нашего долголетнего — довольно близкого — знакомства, даже в очень откровенных, безусловно доверительных разговорах, он никогда не позволял себе и тени насмешки над *идеалами*. Он мог сколько угодно и как угодно глумиться над советской действительностью. Над Хрущевым. Над Сталиным. Но при одном единственном неременном условии: глумление это неизменно исходило из представления, что и Сталин, и Хрущев, и «ареопаг

мудрейших» — «наш славный ленинский ЦК», да и сама коммунистическая партия — «ум, честь и совесть нашей эпохи», — что все это — не что иное, как *искажение, извращение* великого идеала.

Рассказывая (в стихах) о своем вступлении — на фронте, после боя — в коммунистическую партию, он заключил этот свой рассказ выводом:

Так я был принят в партию,
Где лгать нельзя и трусом быть нельзя.

Это означало:

— Вот в какую партию я вступал. Не в вашу нынешнюю, в которой удержаться могут только лгуны и трусы, состоять в которой — это значит ежедневно лгать и трусить, трусить и лгать.

Предложив озаглавить собрание рассказываемых нами друг другу историй ироническим словосочетанием «Занимательная диалектика», Борис — кажется, единственный раз за все время нашего многолетнего знакомства — приотдвинул на миг маску, скрывающую от посторонних глаз его истинное лицо. Ведь святое слово «диалектика» в этом контексте — это был камешек уже не в Хрущева, и не в Сталина, и не в советскую власть, а прямо и непосредственно в основоположников великого учения: вот, мол, полюбуйтесь, бородачи, каким *бредом* обернулась ваша хваленая диалектика.

Комические истории, на протяжении двух месяцев рассказываемые нами друг другу, эти исполненные черного юмора анекдоты в один миг вдруг открыли мне все уродство нашего советского бытия не как *искажение*, а как *единственно возможное, закономерное и неизбежное воплощение* пресловутой маркс-энгельсовской диалектики в реальность.

Но Слуцкий — скажете вы — вовсе ведь и не вкладывал в эту свою реплику такой глубокий, обобщающий смысл. Он ведь говорил не всерьез. Это была не мысль, а всего-навсего *острота!*

Да, конечно. Но ведь острота, как объяснял Фрейд, — это «внезапный разряд интеллектуального напряжения», неожиданный даже и для того, у кого она родилась, выплеск *из бессознательного — в сознание*.

В этой внезапно сорвавшейся у Бориса с языка остроте выплеснулось, я думаю, тайное, глубоко спрятанное, на протяжении многих лет тщательно вытесняемое в подсознание, подлинное отношение прославившегося своим «комиссарством» Слуцкого к его родной советской реальности.

Вот почему, решив на старости лет припомнить и записать некоторые из тех (а также и многих других) историй, отчасти моих собственных (то есть фиксирующих то, чему свидетелем был я сам), отчасти слышанных от других, а иной раз даже и вычитанных из

книг, я долго не мог придумать для этого своего сочинения лучшего названия, чем то, которое ненароком сорвалось тогда с языка у Бориса. Однако, поразмыслив, я все-таки решил от этого названия отказаться и заменил его другим, более, как мне кажется, соответствующим сути моего замысла. Но в память о том, кто дал этому моему замыслу первый толчок, мне захотелось написать это коротенькое предисловие, сохранив хоть для него внезапно родившееся тогда заглавие.

Приступить к этой давно задуманной книге мне долго мешало отсутствие в ее замысле какого-то внутреннего стержня, который определил бы ее логику, ее внутреннее построение, ее композицию. Я все ждал, когда же он — этот стержень — появится. Но поскольку он так и не появлялся, в конце концов решил, что не стану думать ни о какой логике, ни о каком построении, ни о какой композиции, а просто буду записывать эти истории в том порядке, в каком они будут мне вспоминаться. И пусть они цепляются одна за другую — так, как они цеплялись тогда, когда мы с Борисом рассказывали их друг другу на еще не застекленной, всем ветрам открытой веранде коктейбельской столовой тридцать с лишним лет тому назад.

ИЗ ЖИЗНИ

СОПИСОВ

ЖОПИСОВ

ДОПИСОВ

и МУДОПИСОВ

ПЕРЕСТАНЬТЕ
УДИВЛЯТЬСЯ!

БУРЕВЕСТНИК

Так называли Алексея Максимовича Горького. Только его одного, других буревестников у нас не было. Зато уж к имени Горького это определение приросло как постоянный эпитет — добрый молодец, чистое поле и мать-сыра земля в русских сказках.

В давние — еще сталинские — времена один литературный критик поспорил с друзьями-приятелями, что не только напишет, но и напечатает статью о Горьком, ни разу не помянув в ней про буревестника.

Критик этот был штатным сотрудником «Литературной газеты», поэтому у него была возможность наблюдать за прохождением своей статьи на протяжении всего производственного цикла, бдительно следя, чтобы на каком-нибудь этапе чья-нибудь редакторская рука не вписала ему злополучного «буревестника». И вот — цикл завершен. Вычитана последняя контрольная полоса. Дальше — то, что на тогдашнем газетном (типографском) языке называлось — «пресс». После этого никакая правка практически была уже невозможна: для этого пришлось бы разбивать металлическую форму (матрицу). Такое иногда тоже случалось. Но только в случае какого-нибудь уж совсем жуткого ЧП.

Тут никакого ЧП не было, отсутствие «буревестника» в юбилейной горьковской статье никакими особыми карами никому вроде не грозило. Поэтому наш критик, подписав

(уже глубокой ночью) этот самый «пресс», спокойно ушел домой спать, пребывая в полной уверенности, что свое пари с друзьями он выиграл.

Но утром, развернув газету...

Нет, в самой статье никакого «буревестника» действительно не было: «пресс» никто не бил, и текст статьи остался нетронутым. Но НАД этим текстом красовался заголовок: ВЕЛИКИЙ БУРЕВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ.

Смеяться над этим постоянным эпитетом, иронизировать по его поводу было, пожалуй, не менее опасно, чем глумиться над постоянными эпитетами, прилагаемыми к имени Сталина: «Родной», «Любимый», «Корифей всех наук», «Лучший друг физкультурников» и т.д.

Однако — смеялись.

Самым удачным из всех известных мне насмешливых откликов на эту тему была пародия д'Актиля (настоящие имя и фамилия пародиста — Анатолий Френкель), сочиненная, правда, еще до того, как Горький стал уже совсем культовой фигурой.

Вот она:

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ (На этот раз в миноре)

Были дни:

Среди пернатых, призывая и волнуя, реял гордый Буревестник, черной молнии подобный, и вопил — обуреваем духом пламенного бунта:

Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!

Напророчил Буревестник несказанные события:

Буря грянула сильнее и скорей, чем ожидалось. И в зигзагах белых молний опалив до боли перья, притащился Буревестник, волоча по камням крылья:

— Так и так, мол. Буревестник. Тот, который... Честь имею.

И сказали буйной птице:

— Мы заслуги ваши ценим. Но ответьте на вопросы общепринятой анкеты: что вы делали, во-первых, до 17-го года?

Вздыбил перья Буревестник и ответил гордо:

— Реял.

Во-вторых, в чем ваша вера? Изложите вкратце credo.

Покосился Буревестник:

— Я предтеча вашей бури. Верю в то, что надо реять и взывать к её раскатам.

— В-третьих: ваша специальность? Что умеете вы делать?

Покривился Буревестник и сказал:

— Умею реять.

— Ну, а чем служить могли бы в обстоятельствах момента?

И смутившись, Буревестник прошептал:

— Я реять мог бы!

— Нет, — сказали буйной птице. — Нам сейчас другое нужно. Не могли бы вы, примерно, возглавлять хозучреждение? Или заняли, быть может, пост второго казначея при президиуме съездов потребительских коопов? Или, в области культуры, согласились по районам инспектировать работу изб-читален и ликбезов? Или, в крайности, на курсах изучили счетоводство и пошли служить помбухом по десятому разряду?

— Ах! — промолвил Буревестник. — Я, по совести, не мастер на ликбезы и коопы, на торговые балансы и бухгалтерские книги... Если реять — я согласен!

Почесались на такие Буревестниковы речи — и свезли назавтра птицу без особого почёта в помещение музея при «Архивах революций»: отвели большую клетку, подписали норму корму и повесили плакатик:

— Буревестник. Тот, который.

Мало кто, в музей забредши, между многих экспонатов, отмечает с уваженьем запылившуюся клетку.

Только я, седой романтик, воспитавшийся на вольных Буревестниковых криках, живо помнящий те годы, в кои над морским простором гордо реял Буревестник, чёрной молнии подобный, и вопил, обуреваем духом пламенного бунта:

— Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!

Только я, седой романтик, прихожу по воскресеньям в помещение музея, приношу обрюзгшей птице канареечное семя, заменяю в ржавой банке застоявшуюся воду, и — с оглядкой на прохожих — говорю не очень громко:

— Пребывай себе в почете, птичка Божья — Буревестник!

Роль чучела, которая была определена Горькому даже во внутрилитературных, писательских делах, была организационно оформлена назначением ему «в помощники» (а на самом деле — в комиссары) партийного функционера — А.С. Щербакова, который и был, в отличие от «зицпредседателя Фунта», реальным руководителем Союза писателей.

(Структура эта сохранялась и после смерти Горького: недаром один из преемников Алексея Максимовича на этом посту — Константин Федин — получил у коллег-писателей красноречивое прозвище: «Чучело орла».)

Да, роль Горького на Первом писательском съезде была чисто декоративной. Но все-таки — публичной.

А когда праздник кончился и начались будни, предвидение пародиста («Отвели большую клетку, подписали норму корму и повесили плакатик: — Буревестник. Тот, который») сбылось уже почти буквально.

Можно было бы даже обойтись без этого осторожного «почти», если бы не грандиозные габариты «клетки», а в особенности — «плакатика».

Плакатик, обозначающий былые заслуги Буревестника, был выполнен с особым размахом. Именем великого пролетарского писателя были названы заводы, пароходы, улицы, города. Даже Московский Художественный Театр, занавес которого с дней его основания украшала чеховская чайка, получил имя Горького. (Карл Радек, которому приписывали авторство всех тогдашних антисоветских анекдотов, предлагал даже всей эпохе присвоить имя Максима Горького, назвав ее **максимально горькой**.)

В такую же музейную табличку превратился и намертво приставший к его имени постоянный эпитет — «Великий Буревестник революции». Он тоже служил прикрытием того печального факта, что «Буревестник» — давно уже никакой не Буревестник, а всего лишь музейное чучело.

Ну а «большая клетка», которую в пародии д'Актиля отвели бывшему Буревестнику, уже и вовсе не была метафорой.

Особняк Рябушинского, предоставленный в распоряжение великого пролетарского писателя, стал вот этой самой «большой клеткой», в которой Буревестник доживал последние свои годы.

С.Я. Маршак рассказал мне однажды такую историю.

Кто-то передал ему, что Горький сильно на него обижен. «Как же так, — будто бы сказал он. — Когда-то он был мне почти что сыном, а теперь даже и не вспомнит, — совсем у меня не бывает».

Услышав это, Самуил Яковлевич (который, к слову сказать, и раньше не раз безуспешно пытался посетить Алексея Максимовича) обрадованно кинулся в особняк Рябушинского в надежде, что теперь-то уж его долгожданная встреча с любимым писателем наконец-то состоится. Однако ему с холодной вежливостью дали понять, что Алексей Максимович занят и принять его не может.

— Можете себе представить, голубчик, как я был возмущен! — закончил свой рассказ Самуил Яковлевич. — Ведь я решил, что переданная мне обида Алексея Максимовича на то, что я будто бы совсем его забыл... Я, грешным делом, подумал, что всё это — чистейшей воды лицемерие. И только много лет спустя я понял, что Алексей Максимович... что он был полностью изолирован от внешнего мира... Полностью, голубчик...

А вот еще одна история, которую я услышал от Ираклия Луарсабовича Андроникова.

Устные рассказы молодого Ираклия, в которых сразу проявилась его поразительная способность перевоплощаться в людей, которых он изображал, совершенно покорили влюблявшегося в любой талант Алексея Николаевича Толстого.

Слушая эти рассказы, он смеялся до колик. А однажды, отсмеявшись, сказал:

— Непременно надо будет показать тебя Алексею Максимовичу. Порадовать старика. Да и для тебя тоже это будет не лишнее...

И вот однажды, приехав ненадолго в Москву (он жил тогда в Ленинграде), Ираклий напомнил Алексею Николаевичу об этих его словах.

— Я, — сказал он, — пробуду тут еще целую неделю...

— Как ты сказал? Не-де-лю?! — захохотал рабоче-крестьянский граф. — Да к нему оформление — не меньше месяца... О-хо-хо! Ты меня просто уморил... Не-де-лю!

Вон оно, оказывается, как было. Оформление — не меньше

месяца. Как за границу. И далеко не всем (вспомним рассказ Маршака) даже и за месяц удавалось пройти через это «оформление».

Ну, а в народе над нашим «Буревестником», который «гордо реял», страстно призывая: «Буря! Пусть сильнее грянет буря!», глумиться стали гораздо раньше. И особой дерзостью это никому не казалось.

Была, например, такая байка. (Выдавалась она за подлинную историю — «из жизни», — но подлинная она или выдуманная, особого значения не имеет.)

Приехал будто бы один московский интеллигент, скажем, в Астрахань. Во всяком случае — куда-то туда, на Каспий. И говорит местным жителям, рыбакам:

— Хотелось бы мне поглядеть на буревестника... Птица такая... Здесь где-то она, в ваших краях обитает...

Рыбаки пожимают плечами: не знают. И слыхом не слышали.

— Ну как же! — втолковывает им москвич. — Большая такая, черная... Реет, дескать... Над седой равниной моря... Черной молнии подобный...

Жмутся рыбаки, переглядываются. Понятия не имеют о такой птице.

И вдруг кто-то из них догадался:

— А-а!.. Говноед!..

И все радостно подхватили:

— Ну да!.. Как же!... Есть тут у нас такая птица!.. Знаем... Так бы сразу и сказали!

— А почему вы его так называете? — удивился и слегка даже оскорбился москвич.

— А как еще его звать? — удивились рыбаки. — Говноед — он говноед и есть. Мы его завсегда только так и зовем...

ДОРОЖКА ИСПОРЧЕНА

Однажды Бабель уговорил нескольких своих друзей-литераторов поехать с ним на бега. Он был страстным лошадиником, и ему захотелось приобщить к этой своей страсти приятелей. Собрались, поехали. И вдруг — хлынул ливень.

— Ничего не поделаешь. Возвращаемся, — вздохнул Бабель.

Друзья удивились, что он так испугался дождя. Стали уговаривать его не отменять поездку, приводя обычные в таких случаях резоны: не сахарные, мол, не растаем. Да и дождь, судя по всему, зарядил не надолго, скоро кончится.

— Да не в нас дело, — объяснил Бабель. — Дорожка-то уже испорчена. Так что настоящих бегов сегодня уже не будет.

Тут с ним, понятно, спорить никто не стал. Но один из компании бабелевских друзей, особенно настырный, этим объяснением не удовлетворился.

— Я не понимаю, — сказал он. — Если дорожка испорчена, так ведь она испорчена для всех лошадей одинаково. Значит, лучшая лошадь все равно прибежит первой?

— Вы ничего не понимаете в лошадях, — сказал Бабель, — но вы кое-что смыслите в литературе. Итак, представьте! Объявлен конкурс на лучший рассказ. Участвуют: Лев Толстой, Чехов, Потапенко, Ефим Зозуля... По логике вещей первую премию должен завоевать Толстой. Верно? Ну, может быть, Чехов... А теперь вообразите, что по условиям конкурса пишущего подвешивают за ноги к потолку. Завязывают ему глаза. Рот затыкают кляпом. Правую руку заламывают назад и приматывают веревкой к спине... Ну и так далее... При таких условиях на первое место вполне может выйти Ефим Зозуля... Теперь, надеюсь, вы поняли, что такое испорченная дорожка?

Еще бы им было этого не понять! Нарисованная Бабелем картина была хорошо им знакома. По собственному грустному опыту.

ОТКУДА ОНИ ВЕЛИ СВОЙ РЕПОРТАЖ

В конце 60-х, или в самом начале 70-х, Григорий Чухрай снял документальный фильм о Сталинграде. Основные события фильма, однако, происходили не в Сталинграде, а... в Париже.

По замыслу режиссера главная изюминка фильма должна была состоять в том, что группа советских кинематографистов с камерой подходит на какой-нибудь из центральных улиц Парижа (лучше всего — на площади Сталинграда) к одному парижанину, к другому, к третьему и задает им всем

один и тот же вопрос: знают ли они, что такое Сталинград? Ни один парижанин, естественно, ответить на этот вопрос не может. Мораль: вот, дескать, мы их спасли от гитлеровской чумы, а они даже не помнят название легендарного города на Волге, где решалась, между прочим, и их судьба тоже.

Если вдруг среди прохожих оказывался какой-нибудь до-тошный француз, готовый ответить на этот провокационный вопрос правильно, съемочная группа мгновенно теряла к нему всякий интерес. Говорят, что некоторые парижане были этим крайне обескуражены, а самые настырные из них даже бежали за странными русскими репортерами, пытаясь все-таки донести этот свой правильный ответ до зрителя будущего фильма.

Так или иначе, фильм был отснят и даже смонтирован. И тогда Чухрай обратился к своему — и моему — другу Науму Коржавину с просьбой написать текст для закадрового голоса. Не избалованный литературными заказами, почти начисто отлученный от печатного станка, Коржавин охотно взялся за эту халтуру.

Фильм вышел на экраны.

И тут Коржавин, привыкший к почти подпольному существованию и вдруг оказавшийся одним из создателей произведения, получившего некоторый как бы даже государственный резонанс, сильно возбудился и стал приглашать всех своих друзей, приятелей и знакомых (а их у него было пол-Москвы) сперва на премьеру, а потом и на все другие официальные просмотры.

Это его возбуждение дошло до такой высокой точки, что некоторых наиболее покладистых приятелей он стал даже приглашать по второму кругу. И тут я не выдержал и сказал ему:

— Эма! Тебе Чухрай дал слегка подзаработать, и я очень за тебя рад. Но ты все-таки должен понимать, что гордиться этой своей творческой продукцией тебе особенно нечего. В сущности, ты ведь принял участие в довольно-таки блядском мероприятии.

— То есть как? — обиделся он.

— А вот так, — сказал я. — Ты сообрази: откуда твой Чухрай со своей киногруппой приехал в город Париж? Явились, понимаешь, из фашистского государства к свободным людям и учат их высокой нравственности...

— А-а, — сказал Эмка. — Это конечно. Это я Чухраю и сам говорил. Я даже соответствующее название для этого фильма придумал: «Репортаж из жопы». И даже эпиграмму сочинил... Погоди... Вот!

И он прочел:

Мы о том, что вся Европа
Это — полное говно,
Репортаж ведем из жопы,
Где находимся давно.

МЕНЯ СЧИТАЮТ

Василий Семенович Гроссман приехал в Ташкент.

Было это еще до всех его неприятностей. Для ташкентских писателей он был важной птицей — орденоносец, лауреат и все такое. А может быть, и визит был не приватный, а официальный. Во всяком случае, встречали его по первому разряду: на перроне выстроилась целая депутация местных классиков. Глава ее, представляя высокому московскому гостю своих собратьев, каждого из них представлял так:

— Прошу знакомиться. Это вот — наш Маяковский... Большой узбекский поэт... Новатор... Наш узбекский Маяковский... А это — наш Алексей Толстой. Исторические романы пишет. Знакомьтесь, пожалуйста, — наш узбекский Алексей Толстой... А вот это наш Гайдар. Детские книжки пишет. Про пионеров, про тимуровцев... Наш узбекский Аркадий Гайдар...

Гроссман кивал, пожимал руки. Но под конец все-таки не выдержал, спросил:

— А кто же ваш узбекский Горький?

Глава депутации потупился и застенчиво признался:

— Меня считают.

ГЛАВА ПОЭТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

ВСоюз писателей принимали поэта Анисима Кронгауза. Было это — сейчас уже не помню — то ли на бюро поэтической секции, то ли на заседании приемной комиссии. Помню только, что шансы принимаемого были невысоки.

А если говорить откровенно, так просто ничтожны. Все выступавшие в один голос твердили, что стихи у поэта слабые, бледные, не отмеченные ни дарованием, ни умением.

Дело казалось решенным уже почти бесповоротно. И тут взял слово Михаил Аркадьевич Светлов.

Достав из кармана пиджака только что вышедший в свет тоненький поэтический сборник молодого поэта Бориса Дубровина, он развернул его и торжественно прочел:

— «Учителю моему Анисиму Кронгаузу посвящаю».

Оглядев после этого присутствующих, укоризненно сказал:

— У человека уже есть ученики. Он, может быть, уже глава целой поэтической школы. А вы не хотите его принять в Союз писателей!

То ли аргумент этот показался членам приемной комиссии неотразимым, то ли дошла до них тонкая светловская ирония, но Кронгауз в тот день в Союз писателей был принят.

РАВНЫЙ СРЕДИ ПЕРВЫХ

Когда Сергея Наровчатова сделали первым секретарем Московской писательской организации и он держал свою «тронную речь», он сказал:

— Перед тем как принять этот пост я беседовал с одним крупным политическим деятелем. И я сказал ему, что хочу быть не первым среди равных, а равным среди первых.

Я плохо понял тогда, что он имел в виду, хотя понять было нетрудно. Он хотел сказать, что, может быть, впервые на этот высокий чиновничий пост назначают истинного поэта, каким он — не без некоторых оснований — себя считал. Но меня тогда поразило другое: как серьезно относится он и к этому своему назначению, и к тому, кого назвал крупным политическим деятелем. (Как потом выяснилось, это был Гришин: тот еще политический деятель.)

Беда была, конечно, не в том, что он, как сказано (не про него) в одной песне Булата Окуджавы, «выбился в начальство», а в той — при таком повороте судьбы, наверное, неизбежной — деформации души, которая превратила его, в сущности, в совсем другого человека — не того, каким он был раньше.

Как раз в ту пору, когда он уже становился начальством, мы – втроем (Лазарь Лазарев, Стасик Рассадин и я) – сочинили на него пародию. Поводом для нее стало его стихотворение, патетически озаглавленное – «Ты не русская!». Речь в нем шла о девушке, которая разлюбила автора (лирического героя) – и это обстоятельство вменялось автором ей в вину, сопоставимую чуть ли не с изменой Родине.

Там – в этом его стихотворении – были такие строки: «Разлюбила? Бросаешь? Что же раньше думала ты?.. Не со мной расстаться, со всеми...». Они стали эпиграфом к нашей пародии.

Сама же пародия называлась «Ты не наша» – и выглядела так:

От меня вечер Анфиса уходила прочь,
Царь-девица, дева-пава, девица-краса.
И смежить до самой зорьки было мне невмочь
Всё видавшие на свете синие глаза.
Иль задаром я секирой, пикой, бердышом
С озорною татарвою бился бесперечь?
Иль задаром я Кучума гнал за Иртышом?
Матка Боска Ченстоховска, Посполита Речь!
Я не аггел, я не ангел и не агнец тож.
Я ватажник, я дружинник и Отчизны сын.
От меня уйдя, иуда, ты навек уйдешь
От червлёных наших стягов и родных осин.
От Крылова, Михалкова, Цезаря Кюи,
От безгрешной Ярославны и от чад её...
Проклинаю, свет-Анфиса, рученьки твои!
Чужеземное, не наше, имечко твоё!!!

Пародия эта (в числе других) вот-вот должна была появиться в одном почтенном журнале, мы даже уже читали верстку, и тут – на нашу беду – один из нас (Л. Лазарев), столкнувшись где-то с Наровчатовым, сказал ему:

– А мы на тебя пародию написали!

При этом он – в общих чертах – изложил ему, куда именно направлено жало нашей художественной сатиры, и простодушно поведал, в каком журнале и когда пародия выйдет в свет.

Отнестись к этому сообщению можно было по-разному.

Можно было просто посмеяться, признавшись, что да, действительно, дал повод.

Можно было возразить, сказав, что никакого повода для таких разоблачений он не давал: дело, мол, ваше, ребята, но я считаю, что вы попали пальцем в небо.

Можно было, наконец, обидеться, надуться. Даже попросить нас, чтобы мы эту пародию не публиковали.

Сергей выбрал четвертый путь, более соответствующий его новому социальному статусу.

Ничего в ответ на сообщение нашего друга и соавтора не сказав, он позвонил — сейчас уж не помню, то ли главному редактору журнала, то ли более высокому начальству, — и бедная наша пародия была вынута из уже сверстанного номера, а нам было сделано соответствующее внушение, чтобы мы впредь, сочиняя наши «пасквили», старались не задевать высокое (и даже не слишком высокое) начальство.

Слегка потрясенные (не слишком, но все же) этим предательством, мы слегка посудачили на тему: «во что превратился Сережа». Ведь мы знали его совсем другим.

Еще совсем недавно по Москве ходила шуточная (рукописная) поэма, героем которой был молодой поэт, приехавший из провинции завоевывать столицу, и были там — в перечне его первых столичных успехов — такие строчки:

И впервые тогда Наровчатов
Попросил у тебя пять рублей.

Кто бы мог подумать, что Сережа Наровчатов, этот «гуляка праздный», этот «Моцарт», вдруг так резко изменит свой, как теперь говорят, имидж и надуется начальственной спесью.

Но тут я вспомнил: когда я учился на первом курсе Литинститута, старшекурсники со смехом рассказывали, что Сережа Наровчатов, взятый на работу в ЦК ВЛКСМ (инструктором), с важностью говорил, что по питанию они (инструкторы) «приравнены к секретарям ЦК». Поэтому, когда — через год — отменили карточную систему, какой-то институтский остряк схохмил, что теперь нас всех «приравняли к Наровчатову».

Эти мои воспоминания привели нас к мысли, что поразившая нас наровчатовская метаморфоза была не такой уж

неожиданной. «Меньшевистское прошлое Троцкого — резюмировал кто-то из нас расхожей ленинской цитатой — не случайно».

БЕС ПОПУТАЛ

Эту историю рассказывали про Степана Петровича Щипачева.

Конечно, она вполне могла быть и чьей-то злой выдумкой. Но какую-то крупицу реальности она, я думаю, все-таки отражает.

А история такая.

Пришел будто бы Степан Петрович в «Новый мир» к Твардовскому со своей только что написанной поэмой о Павлике Морозове.

Твардовский, прочитав это его сочинение, заперся с ним в своем кабинете и выдал там ему, что называется, по первое число.

Не о художественных просчетах и слабостях поэмы шла там у них тогда речь, а о самом существе дела. О том, что безнравственно воспевать «подвиг» малолетки, выдавшего органам ГПУ и обрекшего таким образом на гибель родного отца.

Степан Петрович будто бы соглашался, даже плакал, бил себя кулаком в грудь, говорил, что бес попутал, и клялся, что никогда, ни за что, ни за какие коврижки печатать эту дрянную поэму не станет.

Он трижды облобызал Александра Трифоновича, сердечно благодаря его за то, что тот открыл ему глаза и спас его от позора. А поэму забрал и тут же отнес ее в «Знамя», где она в скорости и была напечатана. И даже получила Сталинскую премию.

ПЕСНИ НАДО ПИСАТЬ!

Булат Окуджава оказался однажды в лифте вдвоем с соседом, вполне посредственным и не очень известным поэтом. Тот пожаловался:

- Слышал, какая у меня беда? Дача сгорела.
- А откуда у тебя дача? — удивился Булат.

Тот пожал плечами:

– Купил.

Булат, который был тогда уже очень знаменит, но о собственной даче не мог даже и мечтать (на поэтические гонорары не то что дачу, но даже самый что ни на есть захудалый сарай было не построить) удивился еще больше:

– Откуда же у тебя такие деньги?

Поэт покровительственно потрепал его по плечу:

– Песни, песни надо писать, старичок!

НИКТО НЕ УЛЫБНУЛСЯ

В Союзе писателей шло заседание бюро творческого объединения поэтов. Разбирались разные кляузы, жалобы, просьбы. Все шло как обычно. Вполне обычной была и та жалоба, о которой я хочу рассказать. Она исходила от одного провинциального поэта. Поэт этот был – инвалид войны, тяжело больной человек, прикованный к постели, почти ослепший после тяжелого черепно-мозгового ранения. В общем, что-то вроде нового Николая Островского. Восемь лет тому назад он послал в издательство «Советский писатель» сборник своих лирических стихов. Рукопись была одобрена и принята к печати. Автору было обещано, что на следующий год она будет включена в план выпуска. Но прошел год, за ним второй, третий, а рукопись несчастного поэта так и лежала без движения. И никаких шансов увидеть свет у нее, кажется, уже не было.

Зачитав эту жалобу, председательствующий предоставил слово заведующему редакцией поэзии издательства «Советский писатель», потребовав, чтобы тот дал объяснение этому вопиющему факту.

Заведующий не отрицал, что все изложенное в письме – чистая правда. Но книга слабая. В ней есть несколько приличных стихотворений, редакция надеялась, что автор дотянет остальные до их уровня. Но этого, к сожалению, не произошло. Издать книгу в том виде, в каком она сложилась, не представляется возможным.

Начались прения. Все выступавшие выражали сочувствие обманувшемуся в своих ожиданиях поэту. Но в то же время признавали серьезными и резоны работников издательства. Обсуждение, похоже, зашло в тупик.

И тут слово попросил Слуцкий. И произнес такую речь.

— У нас только среди членов бюро по меньшей мере десятков поэтов фронтового поколения, — сказал он. — Неужели мы не протянем руку помощи нашему товарищу, попавшему в беду? Чего же стоит тогда наше фронтовое братство!.. Вот мое предложение. Пусть каждый из нас, поэтов-фронтовиков, напишет в эту книгу по стихотворению. Давайте спасем эту книгу нашими общими усилиями, как мы, бывало, выносили из сражения на своих руках раненого товарища!

Слушая эту замечательную речь, я вспомнил давнишний рассказ Эмки Манделя (Н. Коржавина). Дело было в самом начале 60-х. Эмка тогда только-только начал печатать свои стихи в периодике. До первой (в сущности, единственной) его книжки было еще далеко. Но времена были уже либеральные, разные влиятельные доброжелатели ему покровительствовали, и однажды он получил приглашение прийти на заседание редколлегии «Дня поэзии» с тем, чтобы предложить этому альманаху какие-нибудь свои стихи.

Он пошел. И вернулся оттуда совершенно потрясенный.

В отличие от него я уже слегка притерпелся к атмосфере тогдашней нашей литературной жизни и поэтому в причинах его потрясения разобрался не сразу.

— Ты можешь толком рассказать мне, что там тебя так потрясло? — спросил я.

— Понимаешь, — растерянно сказал он, — там выступил такой-то (он назвал фамилию известного поэта) и сказал, что в соавторстве с таким-то (он назвал фамилию другого, тоже известного поэта) он сейчас работает — точнее, они вместе, вдвоем работают — над циклом лирических стихов.

— Вот мудак, — сказал я.

— Да нет! Не в этом дело! — раздраженноотреагировал Эмка.

— А в чем же?

— Понимаешь, — потрясенно сказал он. — Никто не улыбнулся!

Вот и на том заседании, когда Борис Слуцкий предложил, чтобы каждый член бюро секции поэтов написал по стихотворению в неудавшуюся книгу своего товарища-фронтовика, — и там тоже в ответ на это замечательное предложение никто не улыбнулся.

...И ПУСТЬ ЛЕТАЕТ

— Тут еще одно заявление, — сказал мрачный и злой Ярослав Смеляков. — От Виктора Урина. Он просит продать ему вертолет.

Члены бюро, пребывающие в привычной полудреме, никак на это не отреагировали. Некоторые, наверно, решили, что председатель шутит. (Хотя это было мало вероятно — шутником Смеляков не был.) А кто помоложе — те и вовсе ничего не понимали. Кто такой Урин? И зачем ему вертолет? И при чем тут мы? Разве Союз писателей занимается продажей вертолетов?

Я членом бюро не был, на том заседании оказался случайно, и потому помалкивал. Но кто такой Урин, я знал. И зачем понадобился ему вертолет — догадывался.

В 1946-м году, когда я поступил в Литературный институт, в потоке обрушившегося на меня институтского фольклора мне сразу запомнилась считалочка, составленная из самых причудливых фамилий местных аборигенов:

Пузис, Музис, Магазаник,
Жегис, Лацис, Пасаманик,
Польковская, Бамдас,
Асмус, Лapidус, Уран.

«Уран» — это и был Урин. Таков был тогдашний дурацкий его псевдоним, от которого он, впрочем, скоро отказался.

Он входил в пятерку самых знаменитых литинститутских поэтов и был любимым персонажем самых ярких и запоминающихся шуток и эпиграмм. Правда, не всегда для него лестных. Сейчас мне удалось вспомнить только одну из них. Нацелена она была в другого молодого поэта — Владимира Замятина. Но Урин в ней упоминался в весьма почетном ряду. Звучала она так:

Он как Гудзенко некультурен,
Как Шубин пьян, и глуп, как Урин.

Так его тогда обычно и упоминали — рядом с Межировым, Гудзенко и другими звездами тогдашней молодой поэзии. Повторяли запомнившиеся — действительно, звонкие — строчки из его поэмы:

Оборвалась нитка,
Не связать края.
До свиданья, Лидка,
Девочка моя!

А потом он надолго куда-то сгинул. И появился лет пятнадцать спустя, но уже в ином качестве и в совершенно другой роли. Он стал путешественником, наподобие знаменитых чехов Ганзелки и Зигмунта, которых объявил то ли своими предшественниками, то ли последователями. На старенькой «Победе» он проехал по жутким российским дорогам от Москвы до Владивостока и написал об этом своем путешествии книгу, которую каким-то чудом ухитрился издать.

Я, разумеется, прекрасно помнил его по институту, но совершенно не предполагал, что он может помнить меня: младшие старших всегда помнят лучше, чем старшие младших, а уж незначительные знаменитых — тем более. Поэтому я был очень удивлен, когда он явился однажды в «Литгазету», где я тогда работал, шумно меня приветствовал, обнял, расцеловал и вручил эту свою книгу — не такую роскошную, как у Ганзелки и Зигмунта, но все-таки роскошную, с картами, фотографиями, в красивой суперобложке. На титульном листе красовалась дарственная надпись:

«Любимому моему другу и брату Бену Сарнову. Виктор Урин».

Не могу сказать, чтобы я был очень растроган, но польщен (тем, что он меня помнит) был.

В тот же день в «Литгазету» заглянул Андрей Турков.

Увидав у меня на столе уринский том, он раскрыл его, прочел надпись и сказал:

— А-а, значит, он тебя все-таки нашел?

— Что ты имеешь в виду? — не понял я.

— Сегодня утром в ЦДЛ, — пояснил Андрей, — он пытался всучить эту книгу мне.

— Ну?

— Ну, я раскрыл, прочел надпись и сказал: «Так, может, ты сам ему ее и отдашь?» Он спросил: «Кому?» Я сказал: «Сарнову». Он спросил: «А ты кто?» Я сказал: «А я — Турков».

— И что же он? — спросил я.

— Да ничего. Сказал: «А-а, ну ладно». Взял книгу и пошел. Искать своего любимого друга и брата...

Услышав, что Урин хочет купить вертолет, я не очень удивился, потому что сразу вспомнил ту подаренную мне с такой трогательной надписью книгу. Вспомнил, какой непрезентабельный вид она имела в сравнении с роскошными томами Ганзелки и Зигмунта. Ход уринской мысли был мне предельно ясен. Чтобы заткнуть за пояс Ганзелку и Зигмунта и поддержать свою репутацию великого путешественника и первопроходца, автомобиля ему было уже недостаточно: необходим был по меньшей мере вертолет. Не совсем понятно было только, каким образом заявление о вертолете попало в бюро секции поэтов. Но и это сравнительно легко можно было вычислить.

Надо сказать, что чиновники всех рангов не очень тогда любили связываться с писателями, старались проявлять в отношениях с этой странной социальной категорией известную осторожность. Был, например, такой случай. Группа писателей была призвана военкоматом на какие-то лагерные сборы, после которых каждому из них должны были присвоить очередное воинское звание. И был среди них такой не шибко известный писатель — Никодим Гилярди. То ли из-за не совсем обычного имени и фамилии, то ли из-за каких-то особенностей своего характера этот самый Никодим стал постоянной мишенью разного рода шуток и розыгрышей. Один из этих розыгрышей заключался в том, что приятели сочинили от имени писателя Никодима Гилярди официальное заявление с просьбой за какие-то там — реальные или мнимые — его заслуги перед Советской армией присвоить ему воинское звание через одно. То есть он, положим, должен был стать капитаном, а требовал, чтобы ему присвоили звание майора.

Отправив это фальшивое заявление в Министерство обороны, шутники предвкушали веселый скандал. А некоторые даже уже слегка струсили, опасаясь, не зашли ли они слишком далеко в своих шутках. И как же были они обескуражены и даже посрамлены, когда из Минобороны пришла официальная бумага, на бланке, с печатями, удостоверяющая, что просьба товарища Гилярди удовлетворена: ему присвоено воинское звание майора.

Вот так же, наверное, было и с Уриным, с его идиотской просьбой о вертолете. Обращался он со своим заявлением,

конечно, не в Союз писателей, а в какие-то другие инстанции: в Совет министров, или в Госплан, или еще куда. Будь он простым смертным, заявление это сразу пошло бы в мусорную корзину. Но поскольку он наверняка отрекомендовался в нем известным поэтом, перестраховщик-чиновник спустил это дикое заявление по иерархической лестнице, и в конце концов оно попало в Союз писателей: пусть руководители писательского Союза сами разбираются со своими кадрами. Ну а уж секретариат, естественно, переадресовал его в бюро секции поэтов. Так сказать, по принадлежности...

— Я думаю, мы примем такое решение, — прервал эти мои размышления мрачный голос Смелякова. — Пусть Урин вставит себе в жопу пропеллер и летает.

ПРОВЕРКА ЦИТАТ

Начальству к «Литературной газеты» вдруг срочно понадобилась большая, сложная, высокоумная статья о сущности искусства.

Но кому ее заказать?

Критиков, способных написать такую статью, в то время уже почти не осталось.

То есть такие критики, конечно, были. Но имена их не были отмечены достаточной благонадежностью. А тут — при такой теме — благонадежность автора должна быть стопроцентная.

Подходящий автор наконец отыскался. Статью было решено заказать Корнелию Люциановичу Зелинскому.

В далеком прошлом он был теоретиком конструктивизма. Но никаким конструктивизмом давно уже не пахло. Все советские писатели — а критики тем более — твердо стояли на платформе социалистического реализма. Ну а что касается Корнелия Зелинского, то его еще в пору его конструктивистской молодости Виктор Борисович Шкловский переименовал в Карьера Вазелинского.

В общем, статья была заказана, написана, принята, занесена в набор и поставлена в ближайший номер. Дело было за малым: проверкой цитат.

Не знаю, как сейчас, а в то время ни одна цитата не могла появиться на страницах «Литературной газеты», не пройдя

через чистилище, имя которому было – Бюро проверки. Две строгие девушки сидели в этом «Бюро» и тщательно сверяли с оригиналом в каждой цитате не только каждое слово, но и каждый знак препинания. И не дай Бог, если на газетной полосе там, где полагалось быть точке с запятой, вдруг окажется тире или многоточие.

Поэтому каждая статья (а тем более такая сложная) сдавалась в отдел в двух экземплярах: один для прохождения по инстанциям, а другой – для Бюро проверки. На этом – втором экземпляре – автор статьи должен был на полях против каждой цитаты поставить имя автора цитаты, место и год издания источника, том и страницу. Корнелий же Люцианович, как уже почти классик, этим строгим правилом пренебрег: второго экземпляра с указанием источников цитат не оставил. А цитат в его статье была – тьма-тьмушая. И таких, которые нуждались в особо тщательной проверке: от Маркса и Гегеля до Шпенглера и Ницше.

Положение было безвыходное.

Оно было безвыходное потому, что московский телефон «Карьера» глухо молчал, стало быть, в Москве его не было: он куда-то уехал.

Наконец с огромным трудом выяснили, что автор злополучной статьи в настоящий момент находится в писательском Доме творчества – в Малеевке. С еще большим трудом (телефонная связь с Малеевкой тогда была совсем плохая) сотрудник, который «вёл» статью, дозвонился до Малеевки, связался с Корнелием Люциановичем и, чуть ли не в истерике, объяснил ему ситуацию. Тот сказал: «Ну что ж, приезжайте!»

Легко сказать – приезжайте! До Малеевки от Москвы почти сто километров.

Делать, однако, было нечего: сотрудник, который вёл статью, доложил ситуацию начальству, получил «добро», вызвал редакционную машину и – поехал.

Добравшись до Малеевки, он явился пред светлые очи «почти классика». Тот безмятежно сказал: погуляйте часика два по нашему парку, здесь у нас хорошо, вам понравится. И молодой журналист отправился гулять и честно отгулял два часа, наивно полагая, что Корнелий Люцианович в это время сидит в библиотеке (библиотека в Малеевке была хорошая) и

работает над вторым экземпляром своей статьи, разыскивая и указывая на полях источник каждой цитаты.

А когда назначенные ему два часа истекли и он явился в апартаменты «классика», картина перед ним открылась такая. На полу стояли чемоданы, какие-то баулы. На кровати лежал огромный букет свежесрезанных цветов. Корнелий Люцианович и его юная красавица-жена явно готовились вместе с ним, на его (то есть редакционной) машине ехать в Москву.

Так оно и оказалось.

«Классик» попросил молодого журналиста подогнать машину к входу в здание и помочь донести до машины приготовленные вещи. Журналист (парень молодой, спортивный) легко подхватил чемоданы и баулы отъезжающей четы и уложил их в багажник. Сам — по привычке — хотел было сесть рядом с водителем, но это место быстро занял сам Корнелий Люцианович. Он что-то сказал шоферу, тот кивнул, и часа через два машина остановилась у подъезда московского дома, в котором жил «классик». Спортивный молодой журналист, уже не дожидаясь никаких просьб, сам внес в квартиру писательское барахло. Он, конечно, уже понял, что его и его редакционную машину самым наглым образом использовали для переезда из Малеевки в Москву: зачем платить за такси, которое за сто километров нащелкало бы не меньше двадцати пяти рублей (деньги в то время немалые), если представился счастливый случай проехать эти сто километров с тем же комфортом — на дармовщинку. Однако он все-таки еще надеялся, что теперь, когда его так ловко обвели вокруг пальца, он наконец все-таки получит вожделенный второй экземпляр статьи с отмеченными в нем цитатами. Но — не тут-то было!

— Спасибо, дорогой, — небрежно кивнул ему «классик», предварительно справившись у жены не забыли ли они чего-нибудь в машине. — Ну а что касается цитат, то не далее как завтра я вам всю эту музыку распишу самым доскональным образом.

Выполнил ли он свое обещание и чем там у них все это дело кончилось, я уже не знаю. Да, по правде сказать, и не хочу знать.

ЗА ТОГО ПАРНЯ

Было такое стихотворение у Роберта Рождественского, ставшее одной из самых популярных советских песен. О парне, который ушел на войну, сказав: «Я вернусь, мама!», и — не вернулся. И вот он, автор стихотворения, живет теперь на земле — дышит, ест, пьет, любит — «за себя и за того парня».

У поразивших воображение Наума Коржавина друзей-поэтов, вознамерившихся вдвоем, так сказать, в четыре руки сочинить цикл лирических стихов, были, надо полагать, единые эстетические принципы, какие-то общие творческие установки. И те поэты, которых Слуцкий призывал сочинить по стихотворению, чтобы укрепить книгу их незадачливого собрата, тоже, вероятно, по его замыслу, должны были быть в чем-то схожи.

Однако главная сила советской поэзии была в том, что даже самые разные голоса, составляющие ее мощный хор, пели в унисон.

Но вот что, например, могло быть общего у автора упомянутого выше стихотворения Роберта Рождественского и у поэта совсем другого поколения, другой судьбы, другого душевного строя, других человеческих и художественных пристрастий — Александра Трифоновича Твардовского? Казалось бы, решительно ничего.

Но вот едет Александр Трифонович по стране и встречает своего старого друга, которого он не видел много лет. Все эти годы тот, оказывается, ни за что ни про что протрубил в сталинских лагерях. Поэт, натурально, потрясен. Но тут же осеняет и утешает его простая мысль: когда он был в славе и в чести у родной советской власти, а друг его томился на каторге, они ведь все равно были вместе:

И не кичась судьбой иною,
Я постигал его удел.
Я с другом был за той стеною.
И ведал все. И хлеб тот ел.

И когда он, поэт, приглашался на разные высокие кремлевские банкеты, ходил он туда не просто для того, чтобы сладко выпить и вкусно закусить, а чтобы приобщиться ко всем этим радостям жизни еще и за того парня:

Он всюду шел со мной по свету,
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету
Как равный гость бывал в Кремле.

И совершенно то же свойство души обнаруживает совсем не похожая на Александра Трифоновича Белла Ахмадулина. Оказавшись в каком-то богатом (мещанском) и потому не очень ей симпатичном доме, она утешает себя:

За Мандельштама и Марину
Я отогреюсь и поем.

Чувство, которое испытал и хотел выразить Александр Трифонович, было — доброе, хорошее. Он хотел сказать, что старый друг его, которому так не повезло, имеет право чувствовать себя не пасынком Родины, а кровным ее сыном, таким же, как он, удостоенным высоких правительственных наград и кремлевских банкетов. Во всяком случае, ему, поэту, искренне хотелось бы, чтобы это было так! И вот теперь, задним числом, хоть и не взаправду, а, так сказать, в душе, он от всей своей этой самой души делится с ним той лаской, которую оказывала ему (а должна была бы оказывать им обоим) страна.

Но хочет ли его друг разделить с ним эту ласку Родины? Он ведь ему это не поручал.

Точно так же, как Осип Эмильевич Мандельштам и Марина Ивановна Цветаева не уполномочивали Беллу Ахатовну Ахмадулину, чтобы она за них грелась у чужого огня и вкушала какие-то там вкусы.

Я ЕЩЕ НЕ РОДИЛСЯ...

А вот — еще одна пара. Степан Шипачев и Андрей Вознесенский. У этих двух, казалось бы, уже ни молекулы, ни единого атома не может быть общего. Да, конечно, если под атомами и молекулами подразумевать рифмы, размеры, сравнения, метафоры... Это у них и в самом деле всё разное. А поют — в унисон:

Тут Ленин жил, за этот стол садился,
Стоял, быть может, тут, где я стою.

Еще я только что на свет родился,
А он уже решал судьбу мою...

.....
И на столе белеют не страницы,
А тот же русский снеговой простор,
Где — все губернии... где он в таблицах
Учел и тот однолошадный двор
С косым плетнем, засыпанным метелью,
Где позапрошлую неделю
Осталась без отца семья,
Где в эту ночь родился я.

Это — Степан Щипачев. «Домик в Шушенском».
А вот — Андрей Вознесенский. «Лонжюмо»:

В этой кухоньке скромны тумбочки,
и, как крылышки у стрекоз,
брезжит воздух над узкой улочкой
Мари-Роз...

Над серебряной панорамой
он склонялся, как часовщик,
над закатами, над рекламами
он читал превращения их...
И сквозь биржи пожар валютный,
баррикадами взвив кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное лицо,
и глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
всё в скворечниках и маевках,
а за ними — фронты, юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет фуражкой студенческой
мой отец на кронштадтском льду.

Каскад ослепительных метафор, фейерверк рифм и ассонансов Андрея Вознесенского, конечно, забивает кондовую, посконную, домотканую пряжу щипачевского стиха. Щипачев разве осмелился бы сравнить Ленина с часовщиком? Он бесхитростно и просто сообщает нам:

Всё те же, в той, где он бывал, квартире,
Висят часы на выцветшей стене,
И ржавой цепью тянут время гири,

Секунды отбивая в тишине.
Неторопливо, в сроки поспевая,
На циферблате, заспанном на вид,
Идет по кругу стрелка часовая,
И по орбите шар земной летит.
Легли седые позади дороги,
Ведя от детства, от плетней косых.
Годины войн и революций сроки
Секундами измерили часы...

Так же скромно и буднично информирует он нас и о своих семейных обстоятельствах: «осталась без отца семья». У поэта-авангардиста отец — «чиркнул фуражкой студенческой на кронштадтском льду». Щипачеву такого не придумать вовек.

Но в сухой остаток у обоих выпадает одно и то же: «Я еще не родился, а он...»

Щипачев свою поэму сочинил в 1944-м году. Вознесенский свою — почти двадцать лет спустя. Но о плагиате тут, разумеется, нет и речи.

Великий знаток восточной поэзии Семен Израилевич Липкин сказал мне, что тот же поэтический оборот постоянно встречается у старых поэтов Востока, славивших Чингисхана: «Я еще не родился на свет, а Ты, Солнцеликий, уже завоевал и отстроил для меня Самарканд...»

Нет, это не плагиат. Это — вековая традиция.

КАК Я ПОДВЕЛ ПОД МОНАСТЫРЬ САМЕДА ВУРГУНА

Первый — учредительный — съезд советских писателей был, как известно, в 1934 году. И на нем, как полагается, был принят устав, согласно которому — «высшим руководящим органом Союза советских писателей СССР является Всесоюзный съезд советских писателей, созываемый один раз в три года». Но — устав уставом, а жизнь, как говорил Остап Бендер, диктует свои суровые законы. И вышло так, что следующий, Второй, съезд собрался не через три, а через двадцать лет после первого. Отцу народов все эти годы, видно, было не до писательских съездов, он был занят более важными делами. Но в 1953-м отец народов умер, или, как

говорили об этом старые лагерники, «ус откинул хвост», и писатели решили наконец (лучше поздно, чем никогда) собраться на свой второй съезд.

Я тогда членом Союза писателей еще не был, но в дом на улице Воровского время от времени заглядывал. Была там тогда такая «Комиссия по теории и литературной критике», которая пестовала молодых критиков. Как там она нас пестовала я, честно сказать, уже не помню. Помню только, что подкидывали нам иногда какую-нибудь халтуру. Какую-нибудь графоманскую рукопись, которую надо было срочно отрецензировать. Платили за это не щедро, но, как говорится, всякое даяние — благо, а поскольку на штатную работу я тогда, как ни старался, устроиться не мог, каждая такая халтура становилась для меня неожиданным и исключительно ценным подарком судьбы.

И вот однажды позвонил мне из этой Комиссии нещедрым мой работодатель и сказал:

— Хочешь заработать кучу денег?

Я сказал, что, конечно, хочу. Цифра, которую он мне назвал, меня ошеломила: две тысячи рублей. Конечно, дореформенных — тех, что шесть лет спустя превратились в двести. Но для меня эта сумма тогда была весьма и весьма значительной.

Чтобы заработать эти деньги, мне предстояло войти в бригаду, готовящую для съезда доклад о поэзии. Делать этот доклад было поручено маститому азербайджанскому поэту Самеду Вургуну. Бригада же должна была помочь классику — как бы подготовить ему материалы для доклада. На самом деле, конечно, мы (а было нас, не помню, трое или четверо) этот доклад написали целиком — от начала и до конца. Не знаю, как обстояло дело с текстами моих коллег, но в раздел доклада, написанный мною, докладчик не внес никаких изменений. Моему тексту разве только придали чуть более казенный вид, переписав некоторые особенно вольные фразы и выражения суконным канцелярским языком. Это, разумеется, тоже проделал не сам докладчик. Его роль свелась к тому, что он этот «свой» доклад, как теперь говорят, озвучил, то есть, поминутно спотыкаясь и делая разные причудливые ударения, прочел с трибуны.

Мой раздел был посвящен недостаткам современной поэзии. Тема эта была близка моему сердцу, и я не пощадил никого из тогдашних корифеев, выбрав для демонстрации самые жалкие и убогие их строфы. Все эти примеры, как ни странно, в докладе остались. Но при этом мне было указано, что, перечисляя грехи современной поэзии, я начисто забыл о самом страшном грехе: формализме..

Примеров серости, шаблонности поэтической формы и бедности мысли у меня было хоть отбавляй. С этим никаких трудностей не возникало. С формализмом же дело обстояло не так просто. Со времен знаменитой правдинской статьи «Сумбур вместо музыки» никто из поэтов в ту сторону даже и не глядел.

Но я не растерялся. Взял первую попавшуюся книгу стихов Семёна Кирсанова и тут же нашел там ярчайший пример самого что ни на есть матёрого формализма:

У реки Кубань,
Где коней купань,
Где дудел чабан
в дуду,
Где в хлеву кабан, —
У реки Кубань
Я по злакам комбайн
веду.

С легким сердцем я вставил в свой раздел доклада этот стишок и припечатал его соответствующими фразами о бессмысленной звуковой игре, подменяющей... и т. д. и т. п.

Совість моя при этом была чиста: кто скажет, что «коней купань» и «в хлеву кабан» — не формализм, пусть первый бросит в меня камень.

Камень, однако, бросили. Не в меня, конечно, а в невинного, как новорожденный младенец, Самеда Вургуна. И бросил этот — весьма, надо сказать, увесистый камешек — не кто иной, как сам Кирсанов.

Выступая в прениях, он ехидно поблагодарил докладчика за внимание к его работе. Но заметил при этом, что раскритикованные Самедом формалистические стихи были написаны им — Кирсановым — в 1933-м году. И тогда же были и опубликованы. И что критиковать их, вообще-то, следовало

бы не на втором, а на первом съезде писателей, который, как известно, происходил ровно двадцать лет тому назад. Целых двадцать лет ждали мы этого съезда. Целых двадцать не встречались друг с другом и не обсуждали нашу работу с такой высокой трибуны. И вот наконец дождались...

Кирсанов был мастером эстрадного жанра. (Как-никак, ученик Маяковского.) Несколько минут (мне показалось, что минут десять, не меньше) он полоскал несчастного Самеда и веселил зал. Зал радостно отвечал ему смехом и аплодисментами.

Самед сидел в президиуме — красный как рак.

А истинный виновник этого скандального происшествия сидел на галёрке и смеялся вместе со всеми. И хотя смеялся скорее над собою, над собственной своей промашкой, никаких угрызений совести он при этом не испытывал.

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

В 1968 году вышла небольшая моя книжечка о Маршаке. Это был не совсем мой выбор. Вернее, из того, что мне было предложено издательством, Маршак был мне ближе других. Но будь моя воля, я тогда охотнее написал бы (в ту же серию) книжку о Заболоцком. Однако и о Маршаке писал искренне и не без удовольствия. Но в конце счел нужным как-то обозначить его место в тогдашней моей шкале ценностей.

Повод для этого представился: то была реплика Льва Кассиля на похоронах Самуила Яковлевича.

— Впервые, — сказал он, — после смерти Алексея Николаевича Толстого наша литература понесла столь тяжкую утрату.

По официальной тогдашней табели о рангах, наверно, так оно и было. Но у меня была своя табель о рангах, и я попытался более или менее внятно ее продемонстрировать.

Прочитировав патетическую реплику Льва Абрамовича, я написал:

«Ему даже в голову не пришло, что после смерти Алексея Николаевича Толстого наша литература потеряла Платонова и Заболоцкого, Зощенко и Пастернака».

Прочитав этот весьма нахальный по тем временам пассаж, мой редактор, ревностно исполнявший свои редакторские (в сущности, цензорские) функции, но изображавший при этом человека одних со мною взглядов, лишь транслирующего мне волю высокого начальства, сказал:

— Ты же не маленький, понимаешь, конечно, что это у тебя не пройдет.

И предложил — для баланса — вставить в этот мой список Фадеева, благо его смерть тоже вписывалась в те же хронологические рамки.

Я категорически отказался.

— Но почему? — искренне недоумевал он. — Хороший ведь писатель!

Я соглашался: да, хороший. Но видишь ли, в чем дело: это моя книга. Вот когда ты напишешь свою книгу, на обложке которой будет стоять твое имя, ты составишь свой список самых крупных наших писателей. И вписывай туда, в этот свой список, хоть Фадеева, хоть Павленко, хоть Вирту. А я не хочу. Не хочу — и всё!

Словесные эти перепалки продолжались довольно долго. В процессе прохождения книги по инстанциям редактор, делая вид, что искренне желает мне добра, постоянно возвращался к этому сюжету: «Говорю тебе, вставь Фадеева!». Но я не сдавался.

Наконец пришла вторая верстка (так называемая сверка). Книга вот-вот уже должна быть подписана в печать. И тут — телефонный звонок моего редактора.

— Поздравляю. Ты допрыгался. Цензор категорически отказывается подписывать твою книгу. И все из-за этого твоего дурацкого списка. Говорил я тебе, что такая четверка ни за что не пройдет.

— Хорошо, — сказал я. — Оставь только двоих. Все равно кого — хочешь Зоценко с Платоновым, хочешь Заболоцкого с Пастернаком. Или Пастернака с Платоновым. Я согласен на любой вариант.

— Ишь ты, какой умный! Нет, брат, так не выйдет! Давай двух этих и двух других.

— Каких других? — валял я Ваньку.

— Говорил я тебе: вставь Фадеева!

В общем, после долгих пререканий мне все-таки пришлось уступить. Был составлен новый список – другая «четверка», в которой рядом с Пастернаком и Зощенко (их мне удалось отстоять) появились два новых имени: Пришвин и Асеев. И хоть от Фадеева, на котором он продолжал упорно настаивать, я отбил, на душе у меня было гадостно. Пришлось все-таки покривить душой.

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Читая переписку Фадеева, я наткнулся там на такое его письмо поэту Илье Сельвинскому:

Дорогой Илья!

С благодарностью возвращаю тебе статью Барнета с предисловием Эйнштейна.

Да, всё это показательно и поучительно.

Как это закономерно, что физика в руках буржуазных ученых стала наукой, одновременно создающей чудовищные реальные орудия массового уничтожения людей и в то же время проповедующей идеализм, т. е. боженку.

Приходится пожалеть, что Эйнштейн тоже пришел к отрицанию материи и своим именем прикрывает, сам того не сознавая, страшные мерзости. И замечания твои на полях большей частью справедливы – там, где ты берешь вопрос с его философской стороны. Там, где речь идет о чисто физической стороне, мне трудно судить, ибо не чувствую себя достаточно подготовленным в этой сфере.

Из последней фразы с несомненностью следует, что сам-то Сельвинский, в отличие от скромного Фадеева, был совершенно уверен, что он не только по части философии, но и по части физики может дать Эйнштейну пару-другую очков вперед.

БОЙЦЫ БЫЛИ В РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ

Илья Сельвинский был – поэт. А ведь сам Пушкин, как известно, сказал, что поэзия должна быть глуповата. Но однажды я имел случай убедиться, что поразившая меня глупость Ильи Сельвинского имела отнюдь не поэтическую, и даже не генетическую, а – сугубо советскую подоплёку.

Было это в Малеевке, в Доме творчества писателей.

Несколько томящихся бездельем литературных и окололитературных дам, жаждущих интеллектуального общения, уговорили известного нашего астрофизика Иосифа Шкловского приобщить их к последним достижениям его науки. Он охотно согласился.

В большой гостиной, в которой жил эстонский писатель Визбул Берце, собралось человек пятнадцать. Помимо хозяина гостиной, приютившего нас, было там еще несколько писателей. Но ядро компании составляли все-таки дамы, наивно полагающие, что знаменитый астроном будет рассказывать об искусственных спутниках Марса, о летающих тарелочках и прочей популярной белиберде.

Но не тут-то было.

На вопрос о летающих тарелках Иосиф ответил коротко:

— Чем меньше будет у нас колбасы, масла и других необходимых продуктов питания, тем больше будет появляться в нашем небе летающих тарелочек.

Покончив таким образом с этой темой, он погрузился в глубины своей науки. И хотя излагал он ее проблемы вполне доходчиво и даже популярно, дамы приуныли. Мужчины же, напротив, оживились. Особенно же оживились они, когда Иосиф затронул философский аспект проблем современной физики, позволив себе тут слегка перейти границы дозволенного.

— Уж не знаю, почему, — сказал он, — но как-то так вышло, что главные открытия физики XX века — квантовая механика, теория относительности — были тесно связаны с релятивистской философией.

Речь, понятно, шла о Махе, который, кстати сказать, и сам был крупным ученым-физиком (что Иосиф тоже не преминул отметить), — том самом Махе, которого Ленин вместе с другими философами-«эмпириокритиками» смешал с грязью в знаменитом своем труде «Материализм и эмпириокритицизм».

Эту свою мысль Иосиф не то чтобы обронил мимоходом. Он сделал на ней довольно явственный нажим. Видно было, что ему доставляет искреннее удовольствие тот факт, что главные достижения современной физики опираются

отнюдь не на классические положения марксистско-ленинской науки.

Писатели тотчас кинулись в бой. Завязался отчаянный спор. Собственно, это был даже не спор. Это был отпор, который они дружно дали впадшему в философскую ересь ученому. Поскольку беседа была сугубо приватная, они не стали шить ему дело, а больше упирали на его философскую неграмотность.

Иосифа это разозлило, и он не остался в долгу. Дискуссия становилась всё горячее, и даже начала уже выходить за рамки парламентских выражений.

Трудно сказать, чем бы всё это кончилось, если бы самый рьяный защитник священных принципов марксизма-ленинизма — Лазарь Лагин — не предложил оставить философскую тему.

— Уж слишком очевидно, что мы тут с нашим оппонентом не в равных весовых категориях, — сказал он. — Вернемся к астрофизике.

Тон, каким были произнесены эти слова, не оставлял сомнений, что, как только они вернуться к астрофизике, их весовые категории сразу же сравниваются.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Эта фраза прозвучала однажды с высокой трибуны:

— Какой беспринципный человек Тарасенков! Он хвалил Пастернака раньше, до статьи «Правды», в которой была высказана суровая партийная оценка творчества этого чуждого нам поэта. И как ни в чем не бывало продолжает хвалить его и сейчас, после появления этой статьи.

Сказано это было искренно, от души. И не демагогией эта фраза меня поразила (тоже, нашли чем удивить), а именно — простодушием. Во всяком случае, это была простодушная демагогия.

Анатолия Кузьмича Тарасенкова я хорошо помню. Он был — красивый, живой, обаятельный. Как выражаются герои Зошенко — любимец женщин. И не только любимец, но и любитель.

Но больше, чем женщин, чем все прелести и радости жизни, больше всего на свете он любил стихи.

Стихи он любил самозабвенно.

Была у него такая игра: кинуть вдруг в разговоре — ни с того ни с сего, — какую-нибудь строчку любимого своего Пастернака. Или Цветаевой. Это была проверка собеседника: откликнется или нет? Продолжит ли строчку следующей? И если собеседник оказывался на высоте, начинался матч-турнир: стихотворные строки летели от одного к другому, как мячи от ракеток.

У Анатолия Кузьмича была потрясающая, поистине уникальная библиотека русской поэзии XX века. Располагалась она в подполье — не в переносном, а в буквальном смысле этого слова: под полом их крохотной квартирki. Не конспирации ради, а просто потому, что в квартирке для этой тьмы журналов и книг просто не было места.

Хотя и для конспирации основания тоже были. И немалые. Там ведь был у него и запретный Гумилев, и еще более запретная Цветаева: поэтические сборники начала века и 20-х годов, журналы тех же времен, выдирки из эмигрантских журналов, машинопись. И все это аккуратно подобрано, переплетено в ситчик. Называлось это — «Тарасиздат». (Слово пустил Твардовский — задолго до того, как родились вошедшие потом в нашу речь «самиздат» и «тамиздат»).

Кого там только не было среди его любимцев — и Ходасевич, и Бунин, и Сологуб, и Андрей Белый, и Кузмин...

Но самым любимым из любимых был Пастернак. Они были знакомы, и было время, когда Борис Леонидович отвечал на его преданную любовь взаимностью. На подаренной ему своей статье «Несколько положений» — сделал такую надпись:

Толя, я по твоему желанию надписываю тебе эту статью в октябре 1947 года... Меня с тобой связывает чувство свободы и молодости, мы всё с тобой победим. Я целую тебя и желаю тебе и всему твоему счастью.

Но «всё победить» Анатолию Кузьмичу было не дано.

Ведь он был, как сказано у Зошенко, «кавалер и у власти» — занимал разные высокие (не слишком, но — все-таки) литературные посты: был ответственным секретарем, а потом и заместителем главного редактора журнала «Знамя», позже —

замом главного в «Новом мире». Без «большевистской принципиальности» на таких высотах было не удержаться. И пришлось ему этой самой большевистской принципиальности учиться. Овладевать ею.

И он, увы, много в этом преуспел. Даже о любимом своем Пастернаке сказал (и с трибуны, и в печати) всё, что предписывалось тогда о нем говорить.

Когда Аля (Ариадна Сергеевна) Эфрон вернулась из ссылки, она пришла к Тарасенкову и с доставшейся ей по наследству от матери знаменитой цветаевской прямоотой, глядя ему в глаза, сказала:

— Я пришла к вам от Эренбурга, он сказал, что он вас не уважает за ваши статьи, но уверен в том, что вы искренне любите поэзию, и потом, лучше вас никто не знает Цветаеву, и никто, кроме вас, не может мне помочь. Я хочу издать мамину книгу...

Тарасенков молча проглотил эту пиллюлю. И как мог старался помочь Ариадне Сергеевне выполнить задуманное.

Умер он рано, после пятого, кажется, инфаркта, сорока семи лет от роду. Умер в день открытия XX съезда, застав только самые первые, совсем еще бледные лучи хрущевской оттепели, всего нескольких дней не дожив до знаменитого «секретного» хрущевского доклада.

Узнав (от Али) о его смерти, Борис Леонидович Пастернак сказал:

— Сердце устало лгать.

КТО СУМАСШЕДШИЙ?

В 50-е году был у меня дружок, талантливый молодой прозаик — Гена Снегирев. Несмотря на некоторые мелкие причуды (а у кого их нет?) человек он был вполне нормальный. Но все мы — его друзья — знали, что он состоит на учете в психдиспансере и время от времени даже ложится на месяц-другой в психбольницу.

Однажды он сказал мне:

— Я скоро опять лягу, месяца на два. Хочешь — ложись со мной? Вот здорово было бы. Отдохнешь, что-нибудь напишешь.

Я не был уверен, что это было бы для меня так уж здорово.

Но говорить об этом с Генкой не стал, а просто спросил, как он себе это представляет: ведь я-то на учете в психдиспансере не состою. Кто и с какой стати вдруг положит меня в стационар.

— Ерунда, — сказал он. — Придешь, ответишь на несколько вопросов. Надо только говорить им правду. Я, например, откровенно говорю всё, что думаю. И этого вполне достаточно.

— А какие вопросы они тебе задают? — заинтересовался я.

— Да любые. Вот, например, спрашивают: «Почему вы ходите в красном свитере?» Я отвечаю: «Да потому, что мне противен этот унылый поток одинаково одетых людей, идущих по улице».

Это была чистая правда. Пешеходы на тогдашних московских улицах выглядели так, словно все они были из одного прюта. Ну а уж про «слуг народа» в одинаковых шляпах и макинтошах — и говорить нечего.

— «Эта тусклая толпа меня раздражает!», — говорю я. — Я хочу внести в этот серый цвет хоть одну яркую краску, — продолжал Генка. — Ну они и пишут: «Неадекватная реакция на действительность». Или задают, скажем, такой вопрос: «Вы верите советской власти?» Я отвечаю: «Как я могу ей верить, если все телефонные разговоры у нас прослушиваются!»

Насчет всех — не знаю. Но наши телефоны безусловно прослушивались. Во всяком случае, мы были в этом уверены и, ведя откровенные разговоры, всякий раз накрывали телефон подушкой или вставляли в повернутый диск карандаш: говорили, что это помогает.

— Ну, — продолжал Генка, — тут они, понятное дело, сразу пишут мне еще один диагноз: «Мания преследования»... Потом спрашивают: «Вы ведь нигде не служите? На какие средства вы живете?» Я говорю: «Я пишу рассказы и иногда печатаю из в “Мурзилке”». Они записывают: «Маниакальный бред».

Между тем блестящие Генкины рассказы в «Мурзилке» действительно охотно печатали и всегда старались заплатить ему побольше.

— Спрашивают, — продолжал Генка, — «Как вы собираетесь провести лето?» Я тоже отвечаю им чистую правду. «Хочу, говорю, поехать в Туву, куплю там ослика и поезжу по глухим тамошним местам». Они пишут: «Бред с подробностями».

В общем, Гена был уверен, что я тоже сравнительно легко получу «у них» какой-нибудь такой же диагноз.

Но поскольку я не собирался уезжать на лето в Туву и путешествовать там верхом на осле, и даже не рискнул бы (тогда) выйти на улицу в красном свитере, от Генкиного предложения лечь с ним вместе месяца на два в стационар я решительно отказался.

СБОРЫ ТЕРРОРИСТОВ

А вот еще одна, совсем уже замечательная история про такие же советы и рекомендации Генки Снегирева. Ее рассказал в одной из своих книг Владимир Войнович. Связана она с другим нашим общим с Войновичем другом – Костей Богатыревым.

Костя был человеком необыкновенной и трагической судьбы. В юные годы он был арестован и приговорен к расстрелу за то, что якобы готовил покушение на Сталина. Сидел в Лефортове, в камере смертников. Приговор к «высшей мере» был заменен двадцатью пятью годами лагеря. В лагере из этих двадцати пяти отбыл он только десять. («Ус откинул хвост», и Костя был реабилитирован). Но по прошествии еще пятнадцати лет, как сказал у разверстой Костиной могилы тот же Войнович, этот бессмысленный и жестокий приговор был все-таки приведен в исполнение: какие-то «неизвестные злоумышленники» проломил ему череп у дверей его собственной квартиры.

История, которую я собрался тут привести, с этой стороной Костиной жизни (а тем более – смерти) никак не связана. Но без такого предисловия она была бы все-таки не совсем понятна.

Итак, вот она, эта история – в изложении Владимира Войновича:

...Ему вдруг пришла из военкомата повестка – явиться для прохождения медицинской комиссии. Костя, будучи пуганой (и сильно) вороной, от властей ничего хорошего не ожидал, а от военкомата тем более. Обычно он волновался, что его рано или поздно посадят досиживать неотбытый двадцатипятилетний срок, а тут забеспокоился, что забреют в армию. И поехал держать совет к своему другу Геннадию

Снегиреву. Тот уловил проблему с полуслова и посоветовал «косить на психа»:

— Пойдешь в военкомат, возьми с собой большое блюдо. Ты придешь, они тебя спросят: «Зачем блюдо?» Ты скажи: «А просто так». Я, например, в военкомате перед стенгазетой, как перед зеркалом, причесываюсь.

Блюдо Богатырев не взял и причесываться перед газетой постеснялся. Прошел терапевта, хирурга и рентгенолога и, наконец, явился в кабинет психиатра.

— Захожу, сидит такая пышная дама, я еще дверь не успел открыть, а она уже кричит: «Только не вздумайте строить из себя психа». А я, говорю, и не думаю. Она смягчилась: «Садитесь, на что жалуетесь?» Ни на что не жалуюсь. «А почему у вас руки дрожат?» А руки, говорю, у меня потому дрожат, что меня однажды приговорили к смертной казни. «Вас? К смертной казни? За что?» За террор, говорю. «Что вы выдумываете? Какой еще террор?» Террор, объясняю, это когда кто-нибудь кого-нибудь убивает. «И вы кого-то убили?» Нет, я только собирался убить Сталина. Она как услышала слово «Сталин», сразу притихла и стала что-то писать. Написала, подняла голову и спрашивает: «Значит, вы не хотите ехать на терсборы?» — «Терсборы? — переспросил я. — Это что же? Сборы террористов?» Она посмотрела на меня, вздохнула и говорит: «Идите, вы свободны».

Войнович, как известно, большой выдумщик, что составляет существенную часть его писательского обаяния. Но тут я могу подтвердить, что эта рассказанная им история правдива от начала и до конца — в ней нет ни одной выдуманной детали, ни одной присочиненной подробности. Я говорю об этом так уверенно, потому что не раз слышал ее из уст самого Кости. А привел я ее в записи Войновича, во-первых, потому что он ее не только записал, но и опубликовал. А во-вторых, потому что вряд ли я смог бы рассказать ее лучше, чем это сделал он.

СОЧИНЕНИЕ С ЭПИГРАФОМ

Рассказывал Толя Аграновский.

Однажды его маленький сын Антон вернулся из школы радостно возбужденный.

– Нам сегодня сочинение задали. С эпиграфом! – с порога сообщил он.

– Как это – с эпиграфом? – спросил отец.

– Ну, вот я, например, уже придумал: «Один за всех, все за одного. Д’Артаньян». Как ты думаешь, можно написать сочинение с таким эпиграфом?

– Конечно, – подтвердил Толя. – Прекрасный эпиграф. И замечательное может выйти сочинение. Садись и пиши.

Вдохновленный поддержкой отца, Антон ушел к себе и полдня пытался над сочинением. Вечером Толя спросил:

– Ну как? Написал?

– Написал, – ответил Антон. Но как-то уныло ответил, уже без всякого энтузиазма.

– С эпиграфом?

– С эпиграфом.

– Один на всех, все за одного. Д’Артаньян?

Антон в ответ безнадежно махнул рукой:

– Учиться, учиться, учиться. Ленин.

Рассказав эту замечательную историю, Толя вздохнул:

– Двенадцать лет мальчишке. И уже... Ну откуда это у них?

Тоже мне, бином Ньютона, – подумал я. Но вслух этого не сказал. Толю я любил и обижать его мне не хотелось.

ТОЛЬКО ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ

Редактор сказал мне:

– Хотите написать про?.. – он назвал фамилию одного из самых любимых писателей моего детства.

Конечно, я хотел.

– Только одно неперемное условие.

Ну вот, начинается, – подумал я.

– Надо написать хорошо.

Я скромно потупился:

– Постараюсь.

– Да нет, вы меня не так поняли. Хорошо – в смысле положительно. То есть только хорошее. Все ваши критические соображения, неудачи там, слабости и прочее... Все это, пожалуйста, оставьте при себе... Ну как, согласны?

Конечно, я был согласен. О любимом писателе моего детства можно было сказать много хорошего, ничуть не покривив при этом душой. А недостатки, слабости... У кого их нет?

— Да, — вспомнил редактор. — Еще одно непереносимое условие. Когда статья будет готова, надо будет вам съездить к вашему герою. Получить от него добро. Надеюсь, вас это не смущает?

Меня это, конечно, смущало, но делать было нечего. Я согласился.

Статья была написана. Редактор ее одобрил.

Я хотел было сделать вид, что о втором условии забыл, но — не тут-то было! Редактор тут же позвонил любимому писателю моего детства и договорился с ним, когда тот сможет меня принять, чтобы прочесть и, как он выразился, завизировать мою статью.

— А что это, собственно, значит — завизировать? — поинтересовался я.

— Ну, мало ли. Может быть, у него тоже возникнут какие-нибудь замечания. Да перестаньте вы вибрировать! — разозлился он. — В конце концов, ведь это простая формальность. Ну, поправите две-три фразы. Делов-то!

Вот это-то как раз меня и смущало. Мне вполне хватило дурацких замечаний самого редактора, из-за которых пришлось поправить не две-три фразы, а гораздо больше. И поправки эти мою статью отнюдь не улучшили.

Ну ладно, — подумал я. — Авось как-нибудь обойдется. К тому же — не скрою — мне все-таки любопытно было увидеть героя моей статьи, так сказать, вживе. Как-никак — он был любимым писателем моего детства!

Знакомство состоялось. И всё действительно обошлось.

Любимый писатель моего детства оказался очень милым человеком. И статья моя ему понравилась.

Он наговорил мне много хороших слов, кинув между прочим одну довольно остроумную реплику.

— Однако, — сказал он, мило улыбнувшись, — не особенно обольщайтесь насчет отмеченных мною достоинств вашего произведения. Ведь каждый ваш комплимент представляется мне большой критической находкой.

Мы посмеялись.

Я уже совсем было собрался откланяться, решив, что статья моя как бы уже «завизирована». Но тут вдруг какая-то тень прошла по его лицу.

— Есть, правда, у меня и кое-какие замечания, — сказал он.

Ну вот, начинается, — опять приуныл я.

— Впрочем, не замечания, — поправился он, — а замечание. Одно замечание. Только одно.

Ну говори же, говори, не томи! — мысленно торопил его я.

— Да... одно... — задумчиво повторил он. — Но — серьезное.

Мимикой и почтительным наклоном головы я изобразил, что я весь — внимание.

— Почему, — неожиданно строго спросил он, — вы не написали, что я лауреат Государственной премии? Что за свою литературную работу я был награжден орденом Трудового Красного Знамени и двумя орденами Знак Почета?

Слегка ошеломленный, я невнятно заверил его, что исправлю эту свою оплошность.

Провожая меня, уже в дверях, он наморщил лоб, словно припоминая что-то важное, и сказал:

— Да... Не забудьте, пожалуйста, упомянуть, что я был депутатом Верховного Совета РСФСР...

Помолчал — и добавил:

— Двух созывов.

ЗАЧЕМ ЕМУ НУЖЕН БЫЛ ОРДЕН?

Сперва я не хотел называть имя этого любимого писателя моего детства. Но потом подумал, что страна все-таки должна знать своих героев и решил назвать: это был Кассиль.

Но с Кассиля — что взять! Еще Архангельский шутил: «Скажу и двадцать лет спустя: Кассиль — способное дитя».

А вот история про другого моего любимого писателя, человека совсем другой судьбы и другого масштаба — Виктора Борисовича Шкловского.

Однажды жена Виктора Борисовича Серафима Густавовна завела с нами разговор о том, как они волновались перед его семидесятилетием: дадут ему к этой юбилейной дате орден или не дадут?

Говорила она об этом так, что не возникало ни малейших

сомнений: если бы не дали, это было бы настоящим ударом не только для нее, но и для него тоже.

Я изумленно взглянул на Виктора Борисовича.

Мне показалось, что он этим постыдным Симочкиным признанием был слегка сконфужен. Сама-то она, конечно, могла и не считать эти свои волнения постыдными. Но что-бы он, Шкловский, волновался из-за того, дадут или не дадут ему «они» эту железку?!

Я был уверен, что этим «высоким правительственным наградом» давно уже никто не придает никакого значения.

В 60-е, о которых я сейчас вспоминаю, носителей даже самых высоких государственных орденов были уже тьмы, и тьмы, и тьмы.

В это время уже у всех на слуху были сразу ставшие знаменитыми строки Слуцкого:

Орденов теперь никто не носит,
Планки носят только дураки...

В это самое время моя теща — учительница — получила за выслугу лет тот самый орден Трудового Красного Знамени, которого с таким волнением (дадут? не дадут?) ждал к своему семидесятилетию Виктор Борисович. И как же мы все потешались над бедной нашей Анной Макаровной, которая с истовой серьезностью отнеслась к «высокой правительственной награде», которой была удостоена.

Помню, еще в сороковых — сразу после победы — зашла у нас, молодых, речь о том, сколько развелось нынче орденосцев и как девальвировались поэтому ордена, к которым с таким пиететом мы относились когда-то. Кто-то сказал, что надобно ведь учитывать и то, что самые героические подвиги в годы войны стали явлением массовым. А мой отец, прислушивавшийся к нашему разговору, юмористически вздохнул:

— Вообще-то, по справедливости, надо было бы наградить орденом каждого, кто жил при советской власти. Заслужили...

Вспоминаю еще один поразивший меня тогда (возвращаясь опять в 60-е) случай.

В «Известиях» было напечатано письмо группы передовых рабочих. В сущности, это был донос «передовиков» на четверых своих товарищей, которые были награждены медалями

(«За доблестный труд», кажется, или еще что-то в этом роде), но не отнеслись к этой высокой правительственной награде с должным уважением. Не соизволили даже явиться куда надо, чтобы эти свои медали получить.

За этим «Письмом в редакцию» вскоре последовали другие, дружно осуждавшие незадачливых медаленосцев. И наконец месяца через два сюжет завершился традиционной рубрикой: «По следам наших выступлений», из которой мы узнали, что двое работяг (из четверых) признали свою вину и покаялись, а двое были этих наград торжественно лишены. Так, значит, и не уговорили их взять эти злополучные медали.

Не знаю, насколько необходимо было это длинное отступление, но мне хотелось как можно нагляднее объяснить сегодняшнему читателю, почему все-таки так поразил меня взволнованный рассказ Серафимы Густавовны о том, как они с Виктором Борисовичем волновались: дадут ему орден к семидесятилетию или не дадут?

Однако это мое длинное отступление (коли уж я его затеял) было бы неполным, если бы я не добавил ко всему сказанному, что Шкловский в моих глазах был — не чета не только Кассилю, но даже и самому Пастернаку. Ведь это же был Шкловский! Тот самый Шкловский, который выдвинул идею «Гамбургского счета», — предложил свою, истинную табель о рангах, согласно которой «Серафимовича и Вересаева нет, они не доезжают до города... Булгаков у ковра. Бабель — легковес. А Горький — сомнителен (часто не в форме)».

Чего стоил (мог стоять!) в сравнении с этим Гамбургским счетом любой «ихний» орден!

Кстати, насчет слова «ихний», которое тоже не случайно тут из меня выскочило: вспомнился вдруг рассказ Серафимы Густавовны об объявлении, увиденном ею в витрине какой-то одесской лавчонки в 18-м или 19-м году: «Магазин будет открыт в 10 часов по-ихнему».

Соль рассказа заключалась в том, что каждая новая власть, занимая город, прежде всего меняла, устанавливала свое время. И бедные обыватели в этих, что ни день менявшихся, временах совсем запутались. Ну а «по-ихнему», конечно, означало — «по-советскому», «по-большевицкому» времени.

По отношению к своей веселой одесской юности Сима

чувство юмора, как видите, сохранила. Но во всем остальном давно уже жила «по-ихнему». И вот, оказывается, что и он, Виктор Борисович, тоже уже готов напрочь забыть, выкинуть из головы свой «Гамбургский счет» — и жить «по-ихнему».

Нечто подобное нет-нет да и мелькало в некоторых его репликах и раньше.

Однажды, встретив его на нашей Аэропортовской и задав обычный в таких случаях вопрос: «Как дела?», в ответ услышал:

— Был в Италии. Еду во Францию. В Германии переводится моя новая книга. В Гослите готовится к выходу мой трехтомник... В общем, я от бабушки ушел!..

Поговорив еще немного о том, как славно складываются наконец после многолетних мытарств его дела, мы расстались.

Я пошел дальше и, пройдя еще несколько шагов, встретил Бориса Слуцкого.

— Что пишете? Против кого? Как романы и адюльтеры? — обрушил он на меня весь джентльменский набор обычных своих вопросов.

Не имея в запасе никаких интересных сведений о чьи-либо романах и адюльтерах, я рассказал, что только что встретил Шкловского, который известил меня, что был в Италии, едет во Францию и вообще «от бабушки ушел».

Выслушав мое сообщение, Слуцкий сказал:

— Боюсь, он плохо представляет себе характер этой бабушки.

На самом деле насчет характера «этой бабушки» у Виктора Борисовича никаких иллюзий, конечно, не было. Но он был упоен тем, что наша «Софья Власьевна», кажется, возвращает ему наконец то место в официальной советской табели о рангах, которого он заслуживает.

Это я понимал и ничуть за это его не осуждал.

Но одно дело — волноваться, выйдет или не выйдет наконец его трехтомник в Гослите, или даже — выпустят или не выпустят его с Симой в Италию, и совсем другое — тревожиться из-за того, попадет или не попадет он в список орденосцев...

Не знаю, все или не все эти мои мысли и чувства отразились тогда на моем лице. Но кое-какие, видимо, отразились.

Потому что Виктор Борисович в ответ на этот мой невысказанный вопрос («Как? Неужели и вы тоже волновались из-за того, дадут или не дадут вам эту жестянку?») все же отреагировал. И счел нужным внести в правдивый Симин рассказ некоторые коррективы.

— Понимаете, история такая... Орден, конечно, ерунда... Но если не дадут, все начнут шушукаться: что такое? Почему не дали?.. Ну вот...

И вдруг на миг сверкнула его озорная насмешливая улыбка. Как молния предвещает гром, так эта усмешка у Шкловского предвещала какое-нибудь «шкловское» *bon mot*. И *bon mot* последовало:

— Ведь оценки нам ставят не за успехи, а за поведение.

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ И ЕВГЕНИЙ БАРАТЫНСКИЙ

В одну из самых жутких годин государственного антисемитизма — в пору знаменитой антикосмополитической кампании или еще более знаменитого «дела врачей» Семен Израилевич Липкин встретил на улице Евгения Долматовского. Постояли, поговорили.

— Ну что, Женя? Как дела? — спросил Семен Израилевич.

— Плохо, — понурился Долматовский. — Ты ведь видишь, что происходит. Ко мне вроде это никакого отношения не имеет. Я, как ты знаешь, евреем себя никогда не чувствовал и не считал. Но вот — отчество. Я ведь — Аронович...

— Ну, это ничего, — сказал лукавый Липкин. — Такое в истории российской поэзии уже бывало. Вот, например, Баратынский был Евгений Абрамович.

— Да ну? — удивился и обрадовался Долматовский. — Ты правду говоришь?

Липкин подтвердил, что да, безусловно, никаких сомнений — Абрамович. А был чистопородный русак. Даже хорошего дворянского рода.

И Долматовский ушел, повеселевший, обнадеженный, что, быть может, и его, Ароновича, этот жуткий смерч как-нибудь обойдет стороной. Во всяком случае, будет на что сослаться, отрицая свою непричастность к проклятой нации.

ГРУППА ДРЕССИРОВАННЫХ ЕВРЕЕВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДЫМШИЦА

Началось с появления на экранах телевизоров довольно большой компании уважаемых граждан. На самом деле уважаемых, без кавычек. И не только уважаемых, но и любимых народом: Аркадий Райкин, Майя Плисецкая, Элина Быстрицкая...

Это была пресс-конференция «дрессированных евреев», как сразу же стали их всех называть.

Все они на разные голоса повторяли один и тот же затверженный урок: что израильская военщина известна всему свету, а «лица еврейской национальности», уехавшие в Израиль, — предатели родины, и уезжать туда не было им никакого резона, поскольку никакого антисемитизма в нашей прекрасной стране нет и быть не может... На некоторых участниках той пресс-конференции (на Райкине, например) не было лица: яснее ясного было видно, что эта гнусная комедия далась ему нелегко. Но кое-кто из «дрессированных» врал легко и бойко, а генерал Драгунский, председатель антисионистского комитета, похоже, даже верил во всю эту произносимую им лабуду.

Особенно, помню, удивило телезрителей участие в той пресс-конференции Элины Быстрицкой. Незадолго до того она сыграла у Герасимова Аксинью в «Тихом Доне», и то обстоятельство, что «наша Аксинья» оказалась вдруг «лицом еврейской национальности», для многих явилось полной неожиданностью.

Но появления на телеэкране удостоились лишь САМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ из уважаемых граждан. Полный же список «уважаемых» появился некоторое время спустя в газетах — в виде подписей под специальным обращением. Открывал этот список В.Э. Дымшиц — тогдашний заместитель Председателя Совета Министров, последний — реликтовый — еврей, каким-то чудом уцелевший в правительственных структурах, а сейчас вдруг пригодившийся для подтверждения той неоспоримой истины, что никакого государственного антисемитизма у нас нет.

За Дымшицем следовал довольно длинный перечень (дестка три, не меньше) фамилий более или менее известных в

стране людей. И среди них — без особого удивления, но с искренним огорчением — я обнаружил фамилию Плучека, отношения с которым у нас в то время были уже не только официальные. Не шибко близкие, но все-таки — личные, так сказать, приватные.

Виделись мы не так уж часто, но тут как раз случилось так, что нам предстояло встретиться в гостях у общих наших знакомых.

Общими знакомыми этими были Лиля Юрьевна Брик и Василий Абгарович Катанян. Собираясь к ним, мы уже знали, что там будут и Плучеки. И во избежание каких-нибудь неприятных сцен я — на всякий случай — предупредил жену, чтобы она в каком-нибудь там застольном разговоре не коснулась со своей женской непосредственностью той щекотливой темы. Не стоит, мол, травить оскоромившегося Валентина Николаевича, наступать ему на любимую мозоль — ему ведь, небось, и так тошно.

Предупредить-то я её предупредил. А сам...

Валентин Николаевич в том застолье был очарователен. Он был весел, шутил, смеялся, сыпал анекдотами и разными забавными комическими историями «из жизни». И почему-то так вышло, что чуть ли не в каждой из этих его историй каким-то образом фигурировали яйца. Не куриные, разумеется. И в какой-то момент я не выдержал и сказал:

— Ладно уж, Валентин Николаевич. Раз пошла у нас такая пьянка, что вы всё про яйца да про яйца, надо достойно завершить эту тему. Расскажите нам, что вам там делали с яйцами, чтобы вы подписали ту бумагу.

К чести Плучека надо сказать, что он на эту мою реплику ничуть не обиделся. И в той же веселой, непринужденной манере, в какой только что рассказывал свои комические байки, рассказал, как это было.

Он, конечно, предполагал, что его вызовут «на ковёр». И заранее заготовил какие-то планы на этот случай, чтобы уклониться. Но позвонили ему не оттуда, откуда он ждал звонка (из ЦК или там Совмина), а из Главка, где как раз решалась судьба какой-то ставившейся им в то время пьесы.

За ним прислали машину и повезли его, как он думал, в Главк. А привезли — в Совмин, к Дымшицу.

Ну дали ему этот самый текст, где уже стояло десятка два подписей. Куда деваться? Надо подписывать.

И тут он (артист все-таки) — возьми да скажи:

— Нет, я не могу это подписать.

— Как это? Почему? — вскинулся Дымшиц.

— Тут написано: Народный артист СССР... А я народный артист РСФСР...

— А-а, — улыбнулся Дымшиц. И, потрепав его по плечу, успокоил: — Будете... Будете народным СССР... Так что не смущайтесь, подписывайте...

КАК БЫЛА РАЗОБЛАЧЕНА АНГЛИЙСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА КАРМИНА ПРИСТИАНА

В начале 60-х последний живой классик соцреализма Федор Панферов обнародовал статью, в которой среди разного рода банальностей и общих мест (литература должна служить народу, писатели должны изучать жизнь...) промелькнуло и совсем небанальное, по тем временам весьма неожиданное и даже смелое утверждение.

«Наши молодые писатели, — к всеобщему изумлению объявил вдруг Федор Иванович, — непременно должны учиться у таких выдающихся писателей Запада, как Хемингуэй, Ремарк и Кармина Пристиана».

Хемингуэем и Ремарком (особенно Ремарком) у нас тогда все зачитывались. Но у начальства эти писатели были не в чести. Потерянное поколение, знаете ли... А слово «ремаркизм» было и вовсе ругательным. Оно поминалось всякий раз рядом с другим часто употреблявшимся тогда осудительным словосочетанием — «окопная правда». И означало ложный, натуралистический, неприемлемый для советской литературы способ изображения войны со всеми ее ужасами. Советским писателям войну полагалось изображать как Парад Победы.

И вот — пожалуйста! Можно, оказывается... То есть — не то что можно, а нужно, даже необходимо нашим молодым писателям учиться у Ремарка и Хемингуэя.

Немного, правда, путала карты никому не ведомая Кармина Пристиана. О существовании такой писательницы (английской? американской? Или, может быть, австралийской?) никто не слышал. Но в конце концов чёрт с ней, с этой Карминой! Не в ней было дело. Важно было, что наконец амнистированы Хемингуэй и Ремарк.

Официальный статус Панферова был тогда очень высок, и неожиданное его заявление было воспринято чуть ли не как новая партийная директива. Во всяком случае, возразить ему было не просто. В то же время каким-то образом дезавуировать это легкомысленное, чреватое самыми вредными последствиями заявление классика было необходимо. Присяжные разоблачители той самой «окопной правды» просто не могли оставить его без ответа.

И ответ появился.

Возразить Панферову отважился один из самых рьяных тогдашних цепных псов соцреализма — Александр Львович Дымшиц.

Злые языки присвоили ему титул «председателя еврейской секции Союза Русского народа». Ходила даже эпитаграмма, так изображающая тогдашний российский литературный пейзаж:

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей.*
Там Дымшиц на коротких ножках —
Погрома жаждущий еврей.

На самом деле погрома Александр Львович, конечно, не жаждал. И даже наоборот: людям близким объяснял, что пошел служить «в номера», совсем уже беззастенчиво, до полного бесстыдства заворотив подол, именно потому, что до смерти боится погрома. А внушили ему этот страх венгерские события, во время которых повстанцы вешали на столбах (вниз головой) верных слуг режима, среди которых немало было и евреев. Объясняя это, Александр Львович, как человек хорошо образованный, всякий раз ссыался на знаменитую реплику Гершензона, неосторожно обмолвившегося в «Вехах», что интеллигенты должны быть благодарны царской власти, которая своими штыками ограждает их от гнева народного. Под свое блядство, таким образом, Александр Львович подводил почтенную теоретическую базу.

Вот этот самый Дымшиц и ответил на сомнительный призыв Фёдора Ивановича Панферова.

Как я уже говорил, возражать классику было тогда отчасти даже рискованно. Во всяком случае, дело это было весьма тонкое, требующее известной деликатности.

Но Александр Львович с этой задачей справился.

Он разразился статьёй, в которой сперва бурно поддержал своевременную инициативу Фёдора Ивановича. Да, говорил он, Фёдор Иванович безусловно прав. Наши молодые писатели, конечно же, должны учиться у выдающихся художников Запада. Но Фёдор Иванович наверняка имел при этом в виду, что опыт своих зарубежных учителей они должны усваивать критически, не подражая им бездумно и слепо. С этим маленьким уточнением он готов признать, что у таких замечательных мастеров, как Ремарк и Хемингуэй, и в самом деле есть чему поучиться. Но он, Дымшиц, решительно против того, чтобы наши молодые писатели учились у такой малоизвестной и, в сущности, малоталанливой писательницы, как Кармина Пристиана, творчество которой, к тому же, как это всем известно, отравлено ядами самых вредоносных модернистских влияний. Литературные изделия этой дамы несут на себе отчетливые следы прямого воздействия Кафки, Пруста, Джойса, а в особенности Алена Роб-Грийе, основоположника восхваляемого реакционной критикой Запада так называемого «нового романа»...

Даже самые непримиримые враги и недоброжелатели Дымшица были потрясены. Нет, что ни говори, — покачивали они головами, — а он всё-таки дока. В чём другом, а в эрудиции ему не откажешь! Ведь кого ни спроси, никто даже имени этой самой Кармины не слышал, а он всё про нее знает!

Но слухи о необыкновенной эрудиции Александра Львовича оказались сильно преувеличенными. Вскоре выяснилось, что Кармина Пристиана вовсе никакая не последовательница Кафки, Джойса, Пруста и Алена Роб-Грийе, а родная сестра, прямо-таки двойняшка (можно даже сказать, одно-яйцовая) небезызвестного тыняновского подпоручика, который, как известно, явился на свет из-за оплошности молодого писаря: когда тот переписывал предложение, начинающееся словами «Подпоручики же», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на букве к, а потом, сев снова за приказ, напутал и написал: «подпоручик Киж».

Кармина Пристиана родилась при сходных обстоятельствах. С той только — не слишком существенной — разницей, что виновником случившегося на этот раз был не писарь, а — стенографистка.

Федор Иванович свою статью не писал, а диктовал. И переполошившее литературную общественность высказывание в его устах звучало так:

«Наши молодые писатели непременно должны учиться у таких выдающихся писателей Запада, как Хемингуэй, Ремарк, Кронин и Пристли».

Кто такие Хемингуэй и Ремарк стенографистка знала. А про Кронина и Пристли то ли никогда не слыхала, то ли просто в спешке не ту закорючку поставила. Так и родилась на свет английская (или американская?) писательница Кармина Пристиана, несущая на себе все родимые пятна растленной буржуазной литературы Запада.

Возникает тут, конечно, еще один, казалось бы, вполне естественный вопрос: почему, не сумев правильно расшифровать смысл своей закорючки, стенографистка не обратилась за разъяснениями к диктовавшему ей статью Фёдору Ивановичу? Ведь он сразу обнаружил бы ее ошибку, и весь инцидент на том бы и кончился.

Но этот выход только сейчас кажется самым простым и естественным. А панферовской стенографистке такое даже в голову не могло взбрести. Так же как, например, архитекторам, проектировавшим здание гостиницы «Москва», не могло прийти в голову как-нибудь деликатно намекнуть товарищу Сталину, что вместо того, чтобы выбрать из двух предлагаемых ими вариантов фасада какой-нибудь один, он, не разобравшись, подписал оба чертежа. И гостиница с двумя разными фасадами — один спереди, другой сзади — так до сих пор и стоит в самом центре нашей столицы, как памятник тому неизбывному страху.

ТЕЛЕШОВ НЕ БЫЛ ЧЛЕНОМ ПАРТИИ

Осенью 1947-го года Николай Дмитриевич Телешов, не смотря на все социальные катаклизмы нашего века не переставший переписываться со своим старым другом Иваном Алексеевичем Буниным, получил от того из Парижа открытку, в которой Иван Алексеевич между прочим писал:

Я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василия Теркина») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передай ему, при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаля, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно пошлого слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Теркина».

Телешов, естественно, тут же написал об этом Твардовскому. И тот, конечно, был очень этим отзывом польщен и даже взволнован. Бунин, как известно, никогда не был щедр на похвалу. И даже преклонные годы не смягчили желчность его натуры. («Я стар, сед, сух, но все еще ядовит», — писал он примерно в то же время тому же Телешову.)

Много лет спустя (в 1966-м) Александр Кузьмич Бабореко, влюбленный в Бунина и всю жизнь положивший на исследование самых разных обстоятельств жизни и творчества своего любимого писателя, спросил у Твардовского, ответил ли он тогда на письмо Бунина. Твардовский признался, что нет, к сожалению, не ответил.

— Надо было, конечно, написать, сказать какие-то добрые слова и послать книжку, — сказал он. — Но, по дисциплине того времени, я спросил кого следует, можно ли. Сказали — нельзя.

— Но Телешов ведь Бунину писал! — не удержался Бабореко.

— Телешов не был членом партии, — ответил Твардовский.

ЗДЕСЬ ЕСТЬ КОММУНИСТЫ?

Узнав, что мой старый друг Гриша Поженян собирается сам снимать фильм, я спросил его, как он отважился на такое: он ведь всего лишь автор сценария, а не режиссёр.

— Я, — ответил он, — не хуже, чем любой из них, смогу трахать актрис и кричать: «Мотор!»

Ну-ну, — иронически подумал я. — Если профессия кинорежиссера сводится только к этим двум действиям, тогда — что ж...

Я почти не сомневался, что из этой его нахальной затеи ничего не выйдет.

Но я недооценил Гришу.

Фильм он все-таки снял. И в роли режиссера, как рассказывали очевидцы, чувствовал себя вполне уверенно.

Начал свою деятельность в этом новом для него качестве он так.

Приехав в Ялту, где должны были проходить съемки на натуре, велел собрать всю съемочную группу. Оглядев собравшихся, спросил:

— Здесь есть коммунисты?

— Да, да... Есть... — раздались голоса.

Члены правящей партии, естественно, решили, что им сейчас скажут, что они должны быть всегда впереди, что командир производства возлагает на них особые надежды и особую ответственность, — в общем, всю ту муру, которую они привыкли слышать в подобных случаях.

Но услышали они совсем другое.

— Так вот, — сказал Поженян. — Запомните: чтобы на всё время съёмки ваша партия ушла в подполье!

И ТУТ Я ПОНЯЛ...

Однажды в разговоре с Николаем Николаевичем Асеевым зашла у нас речь о Николае Семеновиче Тихонове. Я выразил изумление по поводу того, что этот поэт, начинавший так талантливо и ярко, превратился в унылого графомана, утратившего не только какие-либо признаки поэтического дара, но даже и остатки простого умения более или менее грамотно укладывать слова в стихотворные строки.

Причина этой катастрофы была мне более или менее ясна. Но Николай Николаевич пролил на эту загадку дополнительный свет.

Сидели как-то они с Тихоновым в ложе во время какого-то торжественного собрания. Возможно даже, это было на первом писательском съезде. Сидели и разговаривали о чем-

то, как казалось Асееву, одинаково важным и интересным для обоих.

— И вот я замечаю, — рассказывал Николай Николаевич, — что он меня не слушает. Покраснел весь, напрягся...

Оказалось, что с трибуны зачитывали список лиц, предлагавшихся в президиум высокого собрания. И Тихонова в этот момент больше всего на свете интересовало: будет или не будет сейчас упомянута и его фамилия. Ясное дело, что тут уж ему было не до Асеева, и не до какого-то отвлеченного их разговора о каких-то там высоких материях.

Рассказав эту историю, Николай Николаевич махнул рукой и — заключил:

— Тут я понял: говно!

ПРЕЗИДИУМ

Не берусь утверждать, что вся человеческая трансформация — лучше сказать, деградация — талантливого (в прошлом) поэта началась именно с этого момента. Какое-то количество этого самого «говна», надо полагать, содержалось в его душе и раньше. Но, может быть, это и не получило бы такого ужасного развития, если бы не открывшаяся вдруг пред ним возможность попасть в президиум.

Такая возможность (а тем более невозможность) играла в жизни и судьбе советского человека ключевую, а нередко и роковую роль.

Герой одного советского романа даже умер, узнав, что его не избрали в президиум.

Опоздал на какое-то важное городское собрание. Вошел в зал, привычно прошел в президиум, сел. И вдруг почувствовал: что-то не то. Сидящие рядом как-то на него косились и между собой тоже перебрасывались — явно на его счет — какими-то странными взглядами. Через несколько секунд все разъяснилось: сидящая рядом женщина наклонилась к его уху и шепнула: «А вас не выбрали».

Потрясенный, растерянный, он вышел на улицу. Шел, погруженный в свои невеселые мысли, — и даже не сразу заметил, что его толкнула машина.

Толчок был не сильный, и он, конечно, от этого удара

быстро бы оправился. Смертельным оказался – тот, другой, моральный удар. Через несколько дней он скончался от инсульта.

Не исключено, конечно, что это был всего лишь такой художественный образ. Говоря по-научному – гипербола. Вроде как в рассказе Чехова «Смерть чиновника»: не всякий же чиновник, случайно начихавший на генеральскую лысину, тут же и отдавал Богу душу. И тем не менее случай, описанный Чеховым, безусловно отразил, опять-таки, говоря по-научному, типический характер в типических обстоятельствах. Вот так же – и смерть Немировского – одного из главных героев романа Григория Бакланова «Друзья».

Однако, как оказалось, этого своего героя и всю эту драматическую историю писатель не выдумал:

В тот день зачем-то поехал я в Союз писателей... И в троллейбусе, а это еще будет иметь значение, встретил секретаря парткома Винниченко. Вместе вышли, перешли улицу Герцена, в дверях, как водится, произошла гоголевская сцена: поуступали друг другу право первым войти. Крупный мужчина цветущего вида, мог ли он думать, что жить ему осталось недолго? А случилось с ним вскоре вот что: на собрании его не выбрали в президиум. Ну и что? – скажете вы. Как что? Секретаря парткома не выбрали в президиум. Где его законное место! Тот, кто знает весь механизм изнутри – а он-то знал, – может себе представить, что произошло: вышестоящие товарищи не вставили его в список. Или, что еще страшней, вычеркнули. И уже кто-то, наверное, присмотрен на эту должность, а ему возвращаться в первобытное состояние, стать просто писателем...

Вот представьте: снимает он трубку телефона у себя в кабинете (в этот момент секретарша никого не пустит к нему: занят!), звонит в издательство или в редакцию журнала и посреди ничего не значащего разговора – «Я тут одну вещичку закончил... Не берусь даже определить жанр. Само вылилось. Так рука легла...» А там, хоть и представляют, что могло вылиться, знают его руку, тем не менее радостно приветствуют. И в служебном конверте доставляется курьером, и сразу – в набор.

И вместо этого, удобного, привычного, самому со своей рукописью просителем являться в редакцию, а там еще и злословить начнут: «Это – бывший секретарь парткома, тот, которого поперли... А за что, кстати говоря, поперли? Числится

что-то за ним?» Бывший... Это ведь вот что значило: в плане издательства «Художественная литература» стоял одноклассник одного из секретарей Московской писательской организации, было уже известно, под каким номером, когда намереваются выпустить, и вдруг секретаря переизбирают; и под тем же номером, в том самом утвержденном плане появляется одноклассник, но уже не его, а нового секретаря; сменился человек в кресле, заменили и книгу в плане...

Так что же дороже, возможно, спросите вы: пребывание в должности или жизнь? А если пребывание в должности и есть жизнь? Не берусь утверждать, так ли, не так думал он, когда узнал, что не избран в президиум, но он вернулся домой и его разбил паралич. В дальнейшем, когда я писал роман «Друзья», историю гибели Немировского, вспоминалось мне всё происшедшее с Винниченко, жизнь его и смерть.

*(Григорий Бакланов.
«Жизнь, подаренная дважды»)*

Не знаю, может быть, в какие-то очень давние времена, на заре советской власти например, в президиумы собраний и в самом деле избирались самые достойные, самые уважаемые, самые заслуженные из присутствующих. Но я этого уже не застал. И у меня слово «президиум» вызывает поэтому совсем другие ассоциации.

НА ОБАЯНИИ

Однажды я слышал, как Михалков (главный Михалков, старший — Сергей Владимирович) говорил кому-то про одного хоть и молодого, но уже набравшего силу (не в творческом, разумеется, а в карьерном, административном смысле) поэта:

— Он — наглец. Входит в зал и сразу лезет в президиум, как будто так и надо.

Подумал — и добавил:

— Я, правда, делаю то же самое. Но я это делаю на обаянии. А ведь это именно то, чего у него как раз и нет.

На самом деле, конечно, Сергей Владимирович делал это тоже не только на обаянии. Просто он знал, что имеет право. И не сомневался, что никто и никогда у него этого права не отберет.

Обаянием, конечно, можно достичь многого. Но чтобы так вот просто, по собственному волеизъявлению усесться в президиуме, да чтобы никто тебя оттуда не попросил, — одного только обаяния тут явно недостаточно.

Хотя однажды был и такой случай.

В так называемом Дубовом зале писательского клуба шло собрание московских поэтов. Как водится, был избран президиум, в который вошли все, кому полагалось туда войти. Собрание уже набирало обороты, когда открылась дверь, отделявшая зал заседания от ресторана, и в зал вошел Михаил Аркадьевич Светлов. Он, по-видимому, довольно сильно принял, потому что на ногах держался с некоторым трудом. Огляделся, ища стул. Но поблизости свободного места не нашлось. И тогда, слегка пошатываясь, он двинулся к столу президиума, углядев там единственное не занятое, свободное место. Усевшись там, он облокотился локтями на зеленое сукно, положил голову на ладони и тихо, мирно задремал.

Председательствовавший на том собрании Степан Петрович Щипачев нашел неожиданный, но, надо сказать, остроумный выход из создавшегося шекотливого положения.

— Есть предложение, — обратился он к залу, — кооптировать Михаила Аркадьевича в президиум.

Предложение это было встречено веселым гулом, кажется, даже аплодисментами. Все дружно проголосовали «за».

А Михаил Аркадьевич так мирно и проспал за столом президиума до самого конца собрания. Наутро он, естественно, ничего не помнил. А когда ему рассказали о вчерашнем его подвиге, меланхолически заметил:

— Вот как легко сделать карьеру. Для этого, оказывается, нужна всего лишь добрая порция хорошего армянского коньяку.

Я БЫ ТАК НЕ СМОГ

В первые же месяцы войны обнаружилась полная профессиональная несостоятельность всех советских маршалов. «Первый красный офицер» Клим Ворошилов и создатель Первой Конной Семен Михайлович Буденный не могли воевать с танками Гудериана. Необходимо было не только заменить стариков новыми, молодыми командармами, но и

как-то объяснить народу, почему легендарные полководцы Гражданской войны, о воинских доблестях которых слагались оды, гремели песни и марши, оказались вдруг профнепригодными.

Эту задачу выполнил писатель Александр Корнейчук своей пьесой «Фронт».

Пьеса печаталась в «Правде» и по своему значению смело могла быть приравнена к постановлению ЦК.

Ходили слухи, что Сталин сам, лично правил текст пьесы, вымарывая одни реплики и заменяя их другими.

Когда один из любимых учеников поэта Ильи Сельвинского рассказал об этом учителю, тот сказал:

— Настоящий художник никогда не согласился бы на это. Я бы, во всяком случае, не смог.

— А что бы вы сделали на его месте? — спросил ученик.

— Если бы я оказался в положении Корнейчука, — ответил Сельвинский, — я бы сказал: «Товарищ Сталин! Вы сформулируйте вашу мысль, а я выражу ее своими словами».

А Я ВСЁ ДУМАЮ О ДОСТОЕВСКОМ...

Юрия Олешу поражала изощренная чуткость советского редактора, его абсолютный слух, мгновенно улавливающий любой намек на крамолу. Приносишь в редакцию рукопись, — говорил он, — и каким бы тугодумом и даже тупицей ни был редактор, он сразу, безошибочно точным движением своего редакторского карандаша **выкальвывает ей глаз**.

Когда до меня дошло это замечательное высказывание классика, я подумал, что в его основе — естественная для художника аберрация. Олеша ошибся, подумал я. Он поменял местами следствие и причину. Вся штука тут в том, что у настоящего художника — **куда ни ткни, всюду глаз**. Вот почему, какую бы строчку ни вычеркнул у несчастного автора редактор, тот испытывает такую боль, как если бы у него и в самом деле выкололи глаз.

Но жизнь показала, что прав был все-таки Олеша.

Советский редактор действительно обладал уникальным, поистине собачьим чутьем.

Взять хоть такой случай.

Книга литературоведа Б. Бурсова начиналась фразой:

«А я всё думаю о Достоевском...»

Редактор (а может быть, это был цензор: суть дела от этого не меняется) сразу сделал стойку. Что-то его в этой фразе смущало. Виноват, я оговорился: не «что-то». В отличие от меня, он (цензор) совершенно точно знал, что именно в этой фразе его смущает. Легким мановением руки он вычеркнул одно-единственное словечко — и все стало на место.

Какое же это было слово?

Попробуйте угадать...

Нет, не «всё». И не «думаю». И не «о Достоевском». (О Достоевском в описываемую эпоху думать уже разрешалось.)

Изъят был союз «А».

И в самом деле, сообразите: что же это у автора получалось? Весь советский народ думает о нашем поступательном движении к заветной цели, и только один он, злосчастный автор, думает о Достоевском!

А без этого противительного союза фраза выглядела уже более или менее нормально:

«Я всё думаю о Достоевском».

Ну что ж. На то ты и литературовед, чтобы думать о таких вещах. Это пожалуйста. Это можно...

ТОЛЬКО ОДНА БУКВА

Ювелирная тонкость редакторского (цензорского) вмешательства в авторский текст в этом случае, казалось бы, была доведена до предела: вся правка свелась к изъятию — даже не слова, а одной только буквы.

Впрочем, нет! Все-таки — слова. Просто так уж вышло, что всё слово тут состояло из одной буквы.

А был случай, когда всю крамолу редактору (цензору) удалось — поистине виртуозно! — погасить, ловко манипулируя одной-единственной буквой.

Собственно, было даже два таких случая. В одном редактор одну букву добавил, в другом — изъяс.

Обе эти истории рассказал мне мой друг, известный наш драматург Леонид Зорин.

Герой зоринской «Варшавской мелодии» Виктор через десять лет после того, как сталинский указ, запрещающий браки с иностранцами, разлучил его с Геленой, приезжает с

группой коллег по профессии в командировку в Варшаву. Он и Гелена с тоской и восторгом обнаруживают, что их чувство живо. Его не остудили ни годы, ни даже то, что Виктор давно уже женат, а Гелена замужем. Но когда Гелена просит Виктора уехать с нею на одну ночь в соседний город, тот растерян:

— Нельзя. Я же не один. Пропасть на всю ночь. Подумай сама.

Естественные резоны советского человека, ни на минуту не забывающего, что он «под колпаком».

В реплике «Я же не один» редактором была добавлена всего одна буква. Стало: «Я уже не один». Отказ Виктора провести ночь с любимой женщиной, с которой он был насильственно разлучен, объяснялся, таким образом, уже не страхом его перед всевидящим оком разлучившего их Государства, а совсем другим резонном, хорошо нам знакомым по классической реплике Маши Троекуровой: «Поздно, я жена князя Верейского!»

Другая — такая же! — история произошла при редактировании его пьесы «Римская комедия» («Дион»).

— В добрый путь, мальчик! — говорил Дион Ювеналу. — Ничего они с нами не сделают!

Последняя буква в слове «они» была вычеркнута неумолимым цензорским красным карандашом. Вышло — «он».

Казалось бы — какая разница?

Есть разница, есть. И весьма существенная. «Он» — это римский император Домициан. А «они»... Тут даже и сомнений ни у кого не возникнет насчет того, кто такие эти «они». Все сразу поймут, кого имел в виду автор...

ВЫ ИДИОТ?

Да, Олеша, конечно, был прав. В иных случаях советский редактор проявлял просто поразительную тонкость.

Но, сделав стойку перед какой-нибудь насторожившей его строкой или словом, он (редактор) далеко не всегда мог сам справиться со своей редакторской задачей. Ведь сплошь и рядом надо было не только выколоть глаз, но и сделать так, чтобы этот выбитый глаз был не слишком заметен. С прозаическим текстом редактор еще мог справиться, заменив — для связки — кусок живой авторской ткани какой-нибудь своей

суконной фразой. Труднее было со стихами: ломался ритм, пропадала рифма.

В особо важных случаях, конечно, можно было и пренебречь этими пустяками.

Вот, например, С.И. Липкин рассказывал мне о редакторской правке, которой подверглось однажды сочиненное им стихотворное «Письмо узбекского народа товарищу Сталину».

Перед публикацией этого письма в «Правде» текст был послан адресату, и тот слегка прошелся по нему своим редакторским карандашом.

В письме говорилось:

Вы землю крестьянам отдали навеки,
За что говорят вам спасибо узбеки.

Сталин поправил: вместо «навек» написал: «навечно».

Показывая автору контрольную газетную полосу с личной правкой вождя, Мехлис (тогдашний редактор «Правды») великодушно разрешил ему взять ее себе на память. Поглядев на замененное слово, Липкин с сожалением заметил, что пропала рифма. И тут же выразил готовность исправить этот огрех. Скажем, так:

Вы землю крестьянам отдали навечно,
За что говорим вам спасибо сердечно.

Мехлис в ответ холодно осведомился:

— Вы идиот? Или притворяетесь?

ПЕТЬ БУДЕТЕ СТОЯ

Нечто похожее произошло и с другим, гораздо более важным рифмованным текстом. Сочиненный Михалковым и Регистаном новый советский гимн начинался так:

Свободных народов Союз благородный
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народной
Единый, могучий Советский Союз.

На этот раз вторгаться в текст так грубо, как он это позволил себе в случае с «Письмом узбекского народа», Сталин не стал. Он ограничился лишь тем, что сделал — на полях стихотворного текста — два замечания. Против слов «Союз благородный»

поставил знак вопроса и написал: «Ваше благородие?» Против слов «волей народной» тоже стоял вопросительный знак и такая же ироническая реплика: «Народная воля?»

Авторы, разумеется, тут же учли волю вождя. В исправленном виде четверостишие выглядело так:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народной
Великий, могучий Советский Союз.

Рифма, конечно, пострадала («свободных — народной» — это, конечно, хуже, чем «благородный — народной»). Строго говоря, это даже вообще не рифма). Зато исчезла покоробившая вождя ассоциация с «вашим благородием» и еще более неприятное напоминание о террористах-народовольцах.

Но это — случай особый. Ведь тут (как, впрочем, и в предыдущем случае) бесцеремонной редакторской правке подвергся не поэтический, а политический текст. На художественных его достоинствах эта правка никак не отразилась, поскольку никаких таких достоинств у него и не было. Да и не в них тут было дело. Когда какой-то остроумец назвал авторов нового гимна «гимнюками», Михалков даже не обиделся.

— Гимнюки, не гимнюки, — возразил он, — а петь будете стоя.

И был прав.

ИСКУССТВЕННЫЙ ГЛАЗ

С текстами, претендующими на художественность, дело обстояло уже не так просто. Тут уже требовалась более тонкая, более деликатная работа. И проделать эту хирургическую операцию не мог никто, кроме самого автора. Автор должен был сам, собственной своей рукой не только выколоть своему произведению глаз, но и заменить этот выколотый глаз другим, искусственным, чтобы нанесенное ему в ходе редактуры увечье было не слишком заметно.

Было, например, у Николая Асеева стихотворение с таким рефреном:

Да здравствует революция,
Сломавшая власть стариков!

В конце брежневского правления, когда страной правили глубокие старцы, от этих строк, понятное дело, уже за версту несло бы отъявленной крамолы. Но чуткий редакторский нос уловил в них запах крамолы еще задолго до полного торжества геронтократии. И рефрен стихотворения стал звучать так:

Да здравствует революция
И партия большевиков!

Еще комичнее была замена, произведенная однажды — под нажимом редактора, конечно, — Евгением Евтушенко. В его стихотворении «О, свадьбы в дни военные...» были такие строки:

Летят по стенкам лозунги,
Что Гитлеру капут,
А у невесты слезоньки
Горючие текут.

Что-то тут редактору померещилось нехорошее, и вторая строка была заменена. Четверостишие стало звучать так:

Летят по стенкам лозунги
И с русским пьет якут,
А у невесты слезоньки
Горючие текут.

Это, конечно, была грубая работа. Сразу видно, что вместо живого глаза вставлен искусственный: стеклянный или пластмассовый протез.

Но иногда протезирование делалось и более искусно. А иногда это было даже и не протезирование, а — пластическая операция: ампутированный кусок ткани заменялся не пластмассой, и не стеклом, а таким же куском хоть и другой, но все-таки живой ткани.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

У Багрицкого в его «Стихах о поэте и романтике», в первом (никогда не публиковавшемся) варианте, который назывался «Разговор поэта с Романтикой», Романтика говорила:

Фронты за фронтами. Ни лечь, ни присесть!
Жестокая каша, да сытник суровый;
Депеша из Питера: страшная весть
О том, что должны расстрелять Гумилева.
Я мчалась в телеге, проселками шла,
Последним рублем сторожей подкупила,
К смертельной стене я певца подвела,
Смертельным крестом его перекрестила.

Столь явное сочувствие расстрелянному «белогвардейцу», выплеснувшееся в этих строчках, делало совершенно невозможным появление их в тогдашней советской печати. Неудивительно поэтому, что в опубликованном варианте они выглядели уже несколько иначе:

Депеша из Питера: страшная весть
О черном предательстве Гумилева...
Я мчалась в телеге, проселками шла;
И хоть преступленья его не простила,
К последней стене я певца подвела,
Последним крестом его перекрестила...

В устах «механиков, чекистов, рыбоводов», с которыми братался потом Багрицкий, слова «о черном предательстве Гумилева», быть может, были бы уместны. Но здесь ведь это говорит Романтика! Если бы Гумилев даже и участвовал в белогвардейском офицерском заговоре (чего на самом деле не было), это как раз свидетельствовало бы о его верности Романтике. Романтику Гумилев во всяком случае не предавал, по отношению к ней никакого преступления не совершал и прощать или не прощать его ей было не за что.

Да, конечно, этот новый вариант, в угоду цензуре созданный поэтом, отдавал фальшью. И «швы» для внимательного глаза были видны. Но общий тон сочувствия расстрелянному поэту сохранился. Как бы то ни было, Романтика все-таки признавала Гумилева своим кровным, хотя и блудным сыном.

Гораздо хуже обстояло дело с другими строками того же стихотворения:

Я знаю, как время уходит вперед,
Его не удержишь плотиной из стали,
Он взорван подземный семнадцатый год
И два человека над временем стали...

И первый — храня опереточный пыл,
Вопил и мотал головою ежастой;
Другой, будто глыба, над веком застыл,
Зырянин лицом и с глазами фантаста...
На площади гомон, гармоника, дым,
И двое встают над голодным народом.
За кем ты пойдешь? Я пошла за вторым —
Романтика ближе к боям и походам...

Хоть никогда и не приходило мне в голову, что это — про-тез, но что-то в этих строчках всегда вызывало некоторое недоумение. Керенский (это ведь он «храня опереточный пыл, вопил и мотал головою ежастой»), как к нему ни относишься, для многих все-таки был фигурой романтической. Чего о Ленине никак не скажешь. Ленин в стихах даже самых горячих его поклонников всегда представлял олицетворением самого трезвого реализма. И почему Романтика, которая «ближе к боям и походам», из этих двоих должна была выбрать Ленина, провозгласившего немедленный мир «без аннексий и контрибуций», а не Керенского, призывавшего к войне до победного конца?

Это мое недоумение разъяснилось, когда я узнал, что вместо строк про Керенского и Ленина в стихотворении раньше были совсем другие.

Вот эти:

Я знаю, как время уходит вперед,
Его не удержишь плотиной из стали,
Но грянул суровый семнадцатый год
И два человека над временем стали...
И первый из них был упрям и хитёр.
Бочком пробирался, стыдась и робея.
Другой, волосатый, — провизор, иль чорт, —
Широкий в плечах и с лицом иудея.
На площади гомон, гармоника, дым,
И двое горланят над шалым народом.
За кем ты пойдешь? Я пошла за вторым...

Теперь понятно, почему Романтика, которая «ближе к боям и походам», — пошла за вторым: ведь этим «вторым» из тех двоих, что «над временем стали», на самом-то деле, оказывается, был у Багрицкого не Ленин, а — Троцкий.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

В Союзе писателей обсуждали только что появившийся рассказ Александра Яшина «Рычаги». Он наделал тогда много шума. Дело было не в каких-то особых его художественных достоинствах, а в самом его сюжете. Сюжет же был прост до чрезвычайности: три человека сидят и разговаривают в комнате правления колхоза. И из разговоров их видно, что это — нормальные, все понимающие, думающие и, в сущности, хорошие люди. Но через несколько минут выясняется, что это не просто трое случайно разговарившихся людей, а — партгруппа. И сошлись они здесь не просто так, а пришли на партсобрание.

И вот открывается это их собрание, и перед нами в тот же миг оказываются совсем другие люди. Они говорят уже не то, что думают, а то, что полагается говорить на таких собраниях. И ведут себя не как живые люди, а как автоматы, манекены, марионетки. Они уже не люди, а — рычаги. И вскоре становится ясно, что действия этих «рычагов», когда они предстают в этом своем качестве, — не так уж безобидны. И для их односельчан (в том числе и для них самих), и вообще для дальнейшего течения жизни. Не то что не безобидны, а в полном смысле этого слова злокачественны. Становится ясно, что именно действиями вот таких рычагов, управляемых откуда-то сверху, и совершается все то темное, тупое и страшное, из-за чего жизнь в нашей стране день ото дня становится все гнуснее и невыносимее.

Я с тех пор не перечитывал этот рассказ, поэтому пересказываю его так, как он мне запомнился. Вернее, как я тогда его прочел.

Но даже если другие прочли его и не совсем так, зацепил, задел он многих. Было ясно, что этим рассказом своим Яшин попал в самый нерв, в самую острую болевую точку.

Об этом и говорили все выступавшие на том обсуждении — о самом больном. О том, что у всех накопело. Атмосфера накалялась, и накал этот уже давно перехлестнул ту невидимую черту, за которой начиналось недозволенное и даже опасное.

И вот в этой-то накаленной атмосфере один из участников обсуждения — не слишком известный детский писатель — человек осторожный и, как видно, слегка напуганный тем

оборотом, который принял этот уже вовсе не литературный разговор, начал свое выступление так:

— Я различаю, — задумчиво сказал он, — понятия «рассказ» и «новелла»...

Сидящий рядом со мной и Юрой Трифоновым Борис Бедный шумно вздохнул:

— Счастливым человек!

ВСЁ-ТАКИ — НА ГЛАЗАХ!

Виктор Николаевич Ильин был оргсекретарем Московской писательской организации. Должность эта была кагебешная. Все оргсекретари — и в так называемом Большом Союзе, то есть в Союзе писателей СССР (сперва Воронков, потом Верченко), и в Союзе писателей РСФСР, и в Московском отделении были связаны с КГБ. Это ни для кого не было тайной. Когда Ильина на его посту сменил новый оргсекретарь, фамилия которого была «Кобенко» — язвительная писательская молва сразу дала ему прозвище: «Кагебенко».

Но Виктор Николаевич Ильин ни в каких прозвищах не нуждался. Он свою связь с «органами» не только не скрывал: он ее всячески подчеркивал и даже афишировал. Воронков и Верченко до назначения на свои должности были партийными функционерами (как и их предшественники — Щербаков, а потом Поликарпов). А Виктор Николаевич Ильин до того как стать оргсекретарем Московской писательской организации был генерал-лейтенантом КГБ. Объектом его тамошней деятельности были писатели, так что и в той, прежней своей жизни он был прикосновенен к литературе. Потом его посадили. Ходили слухи (вернее, он сам их распространял) — за то, что он не пожелал дать показания против своего товарища.

Насчет того, как стал он оргсекретарем Московского отделения Союза писателей, существовали разные версии. По одной его пристроил туда знакомый писатель, один из бывших его клиентов. По другой новая его должность была прямым продолжением старой, и сама идея назначения его на эту новую должность исходила **оттуда**.

Сам Виктор Николаевич, разумеется, изо всех сил старался укрепить веру в то, что верна именно эта, вторая версия.

Писатели перед Виктором Николаевичем трепетали. Но у меня было подозрение, что он слегка блефовал, подчеркивая, что и ТАМ, в ТЕХ сферах его влияние по-прежнему остается соответствующим его генеральскому званию.

На эту мысль меня натолкнуло впечатление от первой моей с ним встречи.

В конце пятидесятых создавался писательский жилищный кооператив, в который я очень хотел вступить. (Это был единственный способ выбраться из коммуналки.) Я тогда еще не был членом Союза писателей. Но тут как раз в каком-то важном докладе меня помянул Степан Петрович Шипачев, возглавлявший в то время Московскую писательскую организацию. Он назвал меня в числе двух или трех подающих надежды молодых критиков, и кто-то посоветовал мне обратиться к нему за помощью. Степан Петрович встретил меня ласково и выразил полную готовность поддержать мою просьбу. Он нажал кнопку звонка. Появилась секретарша. Он сказал:

— Виктор Николаевич на месте? Скажите ему, что он мне нужен.

Тут же — «на полусогнутых» — явился Виктор Николаевич. Наклонив голову, внимательно выслушал Степана Петровича. Взяв меня под локоток, увел из начальственного кабинета к себе. Быстро и очень толково составил нужную бумагу, отдал ее машинистке. Через несколько минут ходатайство — на бланке Союза писателей — было отпечатано, подписано Шипачевым и вручено мне. В кооператив меня сразу же приняли.

У меня тогда создалось впечатление, что должность «оргсекретаря» — вполне ничтожная, скорее техническая, для которой как раз и годится такой вот слегка постаревший Молчалин. Но вскоре облик Виктора Николаевича чудесным образом переменялся. От его молчалинских манер не осталось и следа. А когда выяснилось, что руководители Московской организации приходят и уходят (Шипачева вскоре сменил Луконин, Луконина — Сергей Сергеевич Смирнов, Смирнова — Наровчатов), а Ильин остается, все постепенно поняли, кто в этой конторе зицпредседатель Фунт, а кто — настоящий хозяин.

Однажды, еще сравнительно слабо понимая, каковы истинные масштабы той роли, которую стал играть в нашей конторе Виктор Николаевич, я пришел к нему за какой-то справкой. Точнее — за характеристикой, заключать которую, согласно установленному порядку, должна была sacramентальная фраза: «Идейно выдержан, морально устойчив».

Проглядев отпечатанный его секретаршей стандартный текст, Виктор Николаевич вдруг сказал:

— Я не могу это подписать.

— Почему? — удивился я.

— Вы не активны.

— В каком смысле?

— В общественном. Идейное лицо писателя выражается в его общественной активности. А у вас с этим слабо.

— В ресторане, что ли, каждый вечер не сижу? — разлившись, сказал я.

Естественно было ожидать, что такое объяснение возмутит генерала. Но Виктор Николаевич встретил это мое предположение с неожиданным добродушием. И даже легко с ним согласился.

— А что? — весело сощурившись, сказал он. — Всё-таки на глазах!..

ХОРОШИЙ СОВЕТ

Троцкий как-то сказал, что молодежь — барометр революции. Эта реплика сильно возбудила молодых (комсомольских, как их тогда называли) поэтов, и все они — до поры до времени, конечно, — кокетничали своей близостью к одному из главных вождей Октябрьского переворота. Потом они эту близость подчеркивать перестали. Но ТАМ, ГДЕ НАДО, обо всём этом, конечно, знали и помнили. И я всегда удивлялся, каким чудом в чудовищной мясорубке 30-х годов, когда клеймо КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) было стократ страшнее, чем просто КРД (контрреволюционная деятельность), они все — Светлов, Жаров, Безыменский, Уткин — уцелели.

Насчет остальных не знаю (у каждого, наверно, был какой-то свой секрет), а про Светлова я прочел недавно (в записках Наталии Соколовой) такую историю.

Следователь, который допрашивал Михаила Аркадьевича, явно к нему благоволил (может быть, ему нравились его стихи) и постарался как-то его спасти. Но, понимая, что первыми этими допросами дело не обойдется, напоследок дал ему такой совет:

— Знаете что? Пейте побольше. Появляйтесь всюду в нетрезвом виде. Постепенно все привыкнут, что вы пьяница, никто не будет вас принимать всерьёз. И, глядишь, всё обойдётся.

Этот следователь, как сообщает Наталья Соколова, впоследствии сам сгинул в бездонной яме Гулага. А Светлов, внявший его доброму совету, уцелел.

«ДЖОЙНТ ДАВНО НЕ ПРИСЫЛАЕТ...»

Уцелел он, я думаю, не только по этой причине, а благодаря еще и некоторым другим свойствам своего характера.

Одна моя знакомая, близко знавшая Михаила Аркадьевича, рассказала мне, что когда первую его жену вызвали в НКВД и долго ее о нем расспрашивали, она в панике позвонила бывшему мужу и сказала, что им необходимо встретиться. Встретились. Она всё ему рассказала и предложила продумать и согласовать его будущие показания с тем, что показывала на допросе она: чтобы следователи не могли их уличить в каких-нибудь несоответствиях.

— Нам надо договориться, — сказала она, — о чем я могу, а о чем ни в коем случае не должна им рассказывать, если они вызовут меня снова.

Светлов беспечно махнул рукой:

— Старуха! Говори им всё, что тебе вздумается. Ведь мы всё равно не в силах вообразить, что они там про нас с тобой придумают!

В январе-феврале 53-го, после появления знаменитого сообщения о врачах-убийцах, в котором поминалась еврейская шпионская организация «Джойнт», завербовавшая «убийц в белых халатах», оплачивавшая и направлявшая их преступные действия, Светлов появлялся, как обычно, в коктейль-холле на Тверской. Забравшись на высокую круглую табуретку перед стойкой бара, лез в карман, доставал оттуда какие-то жалкие смятые рубли и говорил:

— Денег — кот наплакал. Джойнт давно не присылает...

Это была не отчаянная, совсем уже безумная смелость. И не глупая беспечность. Это была мудрость.

Просто он понимал, что дальнейшая его судьба от его поведения – беспечного или осторожного, храброго или трусливого – ни в малейшей степени не зависит. Что это тот редкий – может быть, даже уникальный – случай, когда бережного и сам Бог не уберезет.

РАЗ ГПУ, ПРИДЯ К ЭЗОПУ...

Это – первая строка из коротенькой – теперь уже знаменитой – басни, сочиненной некогда то ли Николаем Эрдманом, то ли Владимиром Массом, то ли ими обоими:

Раз ГПУ, придя к Эзопу,
Схватило старика за жопу.
Смысл этой басни прост и ясен:
Не надо басен!

То, что басен «не надо», они узнали на собственной шкуре. На каком-то правительственном приеме Василий Иванович Качалов, слегка подвыпив, прочел несколько басен, сочиненных Эрдманом и Массом. «Вожди» возмутились. И тут же было задействовано ГПУ.

У Эрдмана и Масса был еще и третий соавтор – Михаил Давыдович Вольпин. В сочинении этой басни он участия, кажется, не принимал. Но в сочинении других – принимал. Во всяком случае, за то место, за которое ГПУ схватило Эзопу, были схвачены все трое.

Василий Иванович тяжело переживал случившееся. Он искренне считал себя чуть ли не главным виновником несчастья. (Кстати сказать, не он один.) Но Николай Робертович вину Качалова решительно отрицал. Да по правде говоря, Василий Иванович и предположить не мог, что дело примет такой оборот. Стихи и басни, читанные им на том банкете, были, в общем-то, довольно невинные.

Едва ли не самой крамольной из них была такая:

Вороне где-то Бог послал кусочек сыра...
– Но Бога нет! – Не будь придира:
Ведь нет и сыра.

Или вот такая:

Мы любим подмечать у недругов изъяны
И направлять на них насмешки острей.
Однажды Молоко спросило у Сметаны:
— Скажите, вы еда или питьё?
Сметана молвила: — Оставьте ваши шутки!
Действительно, я где-то в промежутке,
Но ведь важна не эта сторона.
Всего важнее то, что я вкусна,
И то, что многие бывают мною сыты...
Вот так порою и гермафродиты:
Тот, кто на свет их произвел,
Конечно, допустил ужасную небрежность,
Но ведь в конце концов существенен не пол,
А классовая принадлежность.

Тоже не Бог вещь какая крамола.

Была, правда, как рассказывают, прочитана там Качаловым, помимо басен, еще и шуточная эрдмановская «Колыбельная»:

Видишь, слон заснул у стула,
Танк забился под кровать,
Мама штепсель повернула,
Ты спокойно можешь спать...

Далее шло описание разных знаменитых людей, в том числе и героев-полярников во главе со Шмидтом, которые, чтобы набраться сил для будущих подвигов, тоже «ложатся на кровать», чтобы отойти ко сну.

А кончалась эта «Колыбельная» так:

Спят герои, с ними Шмидт
На медвежьей шкуре спит.
В миллионах разных спален
Спят все люди на земле...
Лишь один товарищ Сталин
Никогда не спит в Кремле!

ШУТНИК ПРОДОЛЖАЕТ ШУТИТЬ

Сосланный в Сибирь (в Енисейск) Николай Робертович свои письма к матери неизменно подписывал — «Мамин сибирияк». И шутку эту со смехом повторяла вся Москва.

Переведенный из Енисейска в Томск, он долго не мог найти там для себя какое-нибудь пристанище. Об этих своих мытарствах он сообщал так:

...Плачусь у парикмахеров, останавливаю на улицах прохожих, изучаю бумажки на столбах — всё тщетно. Вчера дал объявление в газету, боялся, пропустит ли цензура. Опасения оказались напрасными — поместили целиком. Как видишь, всё идет к лучшему, меня уже стали печатать.

А просьбу прислать каких-нибудь книг сопровождал такой сентенцией:

В здешних магазинах, кроме портретов вождей, ничем не торгуют. А томская библиотека похожа на томскую столовую — меню большое, а получить можно одни пельмени или Шолохова.

Это — из писем Николая Робертовича Ангелине Иосифовне Степановой. Она даже ездила к нему в Енисейск, что было в те времена совсем не просто. Дело было — частное, сугубо личное, можно даже сказать — интимное. Но решиться оно могло только в самых высоких начальственных сферах. Дождаясь решения, — а ждать его пришлось довольно долго, — она засыпала Николая Робертовича открытками, письмами и посылками.

Поскольку в Енисейске с электричеством дело обстояло не больно хорошо, в одной из посылок она отправила ему какой-то самодельный, по специальному её заказу сделанный фонарь, работающий на батарейках. Очень волновалась: дойдет или не дойдет, а если и дойдет — будет ли работать?

Затея удалась, о чем от Николая Робертовича в тот же день полетела в Москву телеграмма:

ЕНИСЕЙСК. 26. 24 ЧАСА.

(МОЛНИЯ ОТ ВАШ. КОР.)

ПУСК ПЕРВОЙ МОЩНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА ПРОШЕЛ ОБРАЗЦОВО. ВСЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО.

НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА

А.О. СТЕПАНОВОЙ

ПОСТРОЙКА ЕНИСЕЙСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ — НОВЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОДЪЕМА НАШЕЙ СТРАНЫ И ВАШЕГО В МОИХ ГЛАЗАХ. ЦК.

Последние две буквы были подписью и расшифровывались (в той же телеграмме, в скобках) — так: «Целую Коля».

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ШУТНИК ПРОДОЛЖАЛ ШУТИТЬ

Арестованные соавторы (Эрдман, Вольпин и Масс) были сосланы в разные места и встретиться им было суждено не скоро.

Но спустя годы, уже во время войны, Эрдман и Вольпин, волею судеб, оказались в ансамбле НКВД — вместе, кстати, с будущим создателем Театра на Таганке Юрием Любимовым.

Там их приодели, приобули, подкормили. Вот только Эрдману никак не могли подобрать приличную шинель. Наконец подобрали — и не просто приличную, а по тем временам просто великолепную, только что не генеральскую. А они с Вольпиным жили тогда в какой-то мансарде, и у них там было большое зеркало. И вот подходит Николай Робертович в этой новой своей — офицерской, энкаведешной — шинели к зеркалу, смотрит на себя и говорит:

— Миша, мне кажется, за мною опять пришли.

КОНФЛИКТ ХОРОШЕГО С ОТЛИЧНЫМ

Автор «Белой березы» Михаил Бубеннов и автор «Зеленой улицы» Анатолий Суров были самыми злостными антисемитами в Союзе писателей. А может быть даже и во всём СССР.

И вот однажды они подрались.

Уж не знаю, что они там не поделили. А может быть, это был даже какой-нибудь принципиальный, идейный спор. Один, может быть, доказывал, что всех евреев надо отправить в газовые камеры, а другой предлагал более мягкий вариант: выслать их на Колыму. Или, еще того либеральнее, — в Израиль.

Как бы то ни было, они подрались. И драка была серьезная. В ход была пущена даже мебель — стулья, табуретки...

Случилось это в старом писательском доме на Лаврушинском — том самом, который громила булгаковская Маргарита.

Увлеченные борьбой супостаты выкатились из этого облицованного мрамором дома прямо на улицу, на потеху большой толпы народа, образовавшей традиционную очередь в Третьяковку. Оружием одного из сражающихся, как рассказывали очевидцы, стала вилка, которую он вонзил своему оппоненту в зад.

Сражение это вдохновило Эммануила Казакевича. Вдохновило настолько, что он описал его не прозой, как это можно было бы ожидать, а стихами. И даже облек эту свою поэтическую зарисовку в чеканную форму сонета:

Суровый Суров не любил евреев,
Он к ним враждой старинною пылал,
За что его не жаловал Фадеев
И А. Сурков не очень одобрял.
Когда же Суров, мрак души развевя,
На них кидаться чуть поменьше стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.
Певец березы в жопу драматурга
С ужасной злобой, словно в Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.
Но, следуя традициям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным
Решает это дело партбюро.

В сочинении этого сонета, во всяком случае в доведении его до совершенства, принял участие сам Твардовский. Именно он, как рассказывали свидетели творческого процесса, подарил Казакевичу замечательную (едва ли не лучшую во всём стихотворении) строчку: «Столовое вонзает серебро».

Конфликт хорошего с отличным, упоминаемый в заключительных строчках сонета, – не остроумная выдумка сатирика (вроде «Проекта о введении единомыслия в России» Козьмы Пруткова). Был – на самом деле – в критическом и литературоведческом обиходе того времени такой термин. Означал он примерно следующее. Изображается, например, в пьесе дружный трудовой коллектив, готовящийся пустить к очередной годовщине Октябрьской революции новый заводской цех. Или задуть новую домну. Все работают не покладая рук. Из всех сил стараются поспеть к назначенному сроку. И вдруг возникает молодой энтузиаст – инженер или

рабочий, — который утверждает, что, поднатужившись, можно завершить дело на полгода раньше — к Первомаю. Некоторые инженеры (они тоже хотят как лучше!) утверждают, что это технически невозможно. Возникает конфликт. Тот самый конфликт хорошего с отличным. Или — лучшего с хорошим, как иногда еще его называли.

По мысли теоретиков социалистического реализма этот конфликт должен был стать главным, а может быть, даже и единственным в советской драматургии. Поскольку никаких других конфликтов в жизни советского народа при полном торжестве социализма уже не останется.

...И БЕСПРИНЦИПНАЯ

Авторы и редакторы КЛЭ (Краткой Литературной Энциклопедии, вышедшей у нас в 60-е годы) любили пошутить. Мишенью этих шуток были недавно еще неприкасаемые столпы и ревнители официальной идеологии. А поскольку времена были уже сравнительно либеральные, некоторые из этих шуток не только вылетали за пределы редакционных стен, но даже и выплескивались на страницы самого издания. Так, например, под статьей о широко известном в литературных кругах гебушном провокаторе Эльсберге красовалась подпись: «Г.П. Уткин», прозрачно намекавшая на кровную связь героя статьи с нашими славными органами.

Иногда шутки, не теряя своей язвительности, были более тонкими: не внося в текст статьи никакой отсебятины, сохраняя видимость предельной объективности, шутники играли на контрастах, создавая разные причудливые комбинации из заглавий, упоминаемых в библиографическом указателе.

Статья о Сартре, например, сопровождалась таким списком критической литературы о знаменитом французе: «Смертяшкины во Франции» (1947), «Философия предателей» (1949), «Черная драматургия французских космополитов» (1950), «Сартр и развитие современной французской драмы» (1959), «Интеллектуальные драмы Сартра» (1962), «Эстетическая концепция Ж.-П. Сартра» (1968), «Жан-Поль Сартр и Экзистенциализм» (1970).

Простой этот перечень, показывая, как менялось отношение к Сартру у советских его критиков в зависимости от направления стрелки идеологического компаса, как отражалось это в самой стилистике одних только заглавий их критических опусов, представлял собой довольно злую пародию на тогдашние наши литературные нравы. Куда было направлено жало этой художественной сатиры, объяснять не приходилось, тем более что авторами этих разных статей, выполненных в столь различных стилистических манерах, порой оказывались одни и те же люди.

Вершиной этих изящных стилистических игр сотрудников КЛЭ явилась сочиненная кем-то из них статья о Ермилове. Она вся — целиком! — состояла только из перечня названий трудов этого критика и литературоведа, написанных в разное время. Художественный приём, так удачно реализованный в библиографическом указателе к статье о Сартре, тут сработал не с удвоенной и даже не с удесятеренной, а по меньшей мере стократной мощью.

Надо сказать, что заслуга автора этой замечательной статьи тут была не особенно велика: она целиком исчерпывалась изобретением самого приёма. Что же касается наполнения этой схемы комическим содержанием, то это уже была исключительная заслуга самого Ермилова. Потому что никто из славной когорты наших литературных бойцов не колебался вместе с линией партии так ретиво, так упоённо, так суетливо, забегая далеко вперёд и постоянно выставя себя более роялистом, чем сам король, как делал это он — Владимир Владимирович Ермилов.

Недаром про него сочинили такой анекдот (а может, это был даже и не анекдот, а подлинный факт). На калитке ермиловской дачи в Переделкине красовалось обычное среди тамошних дачевладельцев предостережение: «Осторожно! Злая собака!» Так вот, к ермиловской этой вывеске кто-то будто бы приписал: «И беспринципная».

Благодаря совершенно исключительной беспринципности Владимира Владимировича простой перечень названий его трудов, сопровождаемый скупым фактологическим комментарием, превратился в подлинный сатирический шедевр.

Выглядело это примерно так:

«В 1939 и в 1949 гг. Е. выступил с резкими статьями, разоблачающими реакционную направленность творчества

Достоевского («Горький и Достоевский», «Против реакционных идей в творчестве Ф.М. Достоевского»). В 1956 г. опубликовал книгу «Ф.М. Достоевский», в которой характеризовал этого писателя как великого реалиста и гуманиста».

Ну и так далее — всё в том же духе.

Я написал: «выглядело это примерно так», потому что привести подлинный текст того литературного шедевра, к сожалению, не могу. Читал я эту статью в вёрстке, и вёрстка эта, к сожалению, у меня не сохранилась. (Прочел — или дал прочесть — друзьям. Посмеялись, повеселились, да и выкинули, дураки.) А до публикации этой статьи в соответствующем томе дело, увы, не дошло. Сатирическая направленность скупого изложения всех зигзагов творческого пути Владимира Владимировича так крепко была в нос, что бдительное начальство, разглядев подвох, успело предотвратить скандал.

НЕОБЫЧНЫЕ ПОХОРОНЫ

Скандал тем не менее произошёл.

Но это был скандал уже совсем другого рода, хотя в основе его лежали те самые черты нравственного облика В.В. Ермилова, которые нашли отражение в той, так и не попавшей в энциклопедию статье.

Когда Владимир Владимирович завершил свой земной путь, гроб с телом усопшего бойца был установлен, как это полагалось ему по чину, в Малом зале ЦДЛ.

В этом зале провожали в последний путь самых разных литераторов. Нередко зал в таком случае бывал переполнен до отказа, и толпа провожающих, не поместившихся в зале, заполняла весь вестибюль писательского клуба. А иногда пришедших отдать последнюю дань усопшему бывало совсем мало: всего-навсего пятнадцать-двадцать человек, сиротливо теснившихся у гроба. Но за многие годы я знаю только один — единственный! — случай, когда проводить «дорогого покойника» **не пришел никто**.

У гроба Владимира Владимировича Ермилова не было ни души. (Кроме, разумеется, служащего литфонда, постоянного тогдашнего устроителя всех писательских похорон.)

Ситуация была до такой степени необычная, что литфондовское и клубное начальство растерялось. Резонно предполагая, что лицам, провалившим важное общественное мероприятие, придется за это отвечать (пойди потом доказывай, что ты не верблюд), кто-то из них в панике позвонил в ЦК. И последовало мудрое решение. Не просто решение, а — приказ: в добровольно-принудительном порядке согнать в Малый зал всех служащих ЦДЛ: официантов, уборщиц, секретарш, счетоводов, библиотекарей... Явилось, конечно, и всё клубное начальство. Строго поглядывая на подчиненных, они нагнетали гражданскую скорбь, а те послушно шмыгали носами. Некоторые, говорят, даже плакали.

ИМ ПРИШЛОСЬ ЭТО ВЫСЛУШАТЬ

Шло собрание московских писателей. Не помню уж, по какому случаю собрали нас тогда. Помню только, что на сцене, за столом президиума восседали все секретари. Да и не только секретари — были там еще и какие-то морды то ли из райкома, то ли из горкома, а может быть, даже и из ЦК. Все было чинно, торжественно и до смерти скучно.

Скука была такая, что я на время как-то выключился. Вроде как даже задремал. И вдруг — очнулся. Почувствовал: что-то произошло. Какой-то тихий шорох прошел по залу. И — тишина. Но не та мертвая, тухлая тишина, которая царила в этом зале до того, как я отключился. Это была совсем другая тишина: живая, напряженная. Весь зал кого-то внимательно слушал. Слушал так, как давно уже никого не слушали в этом зале.

Приглядевшись, я узнал оратора. Это был Степан Павлович Злобин — человек редкой смелости, честности и благородства. Что же он такое сказал? — успел подумать я, ругая себя за то, что проспал что-то интересное, а может быть, даже и важное. Но оказалось, что очнулся я вовремя: самое интересное и важное только началось.

Обернувшись к столу президиума и указывая на сидящих за этим столом рукой, Степан Павлович кинул им прямо в их сановные рожи:

— Вы, жадную толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!..

Лица секретарей и партийных функционеров стали багровыми.

Голос Степана Павловича гремел:

— Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда — всё молчи!..

Зал наслаждался. Сидящие в президиуме ежились. Лица их из багровых стали фиолетовыми. Но что они могли сделать? Нельзя же было запретить оратору читать вслух стихи Лермонтова. Так что пришлось им — в кои-то веки! — услышать всю правду о себе. Высказанную публично, при большом стечении народа и в самых нелицеприятных выражениях.

«ТЕРПЕТЬ, МИШЕНЬКА!»

В день выхода в свет знаменитого постановления ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» Михаил Михайлович Зощенко — естественно, в растрепанных чувствах — шел по Невскому. И вдруг увидел — на другой стороне проспекта — Ахматову.

Пренебрегая опасностью попасть под автобус или еще какой-нибудь вид автомобильного транспорта, он кинулся к ней:

— Что же делать, Анна Андреевна? Неужели терпеть?!

— Терпеть, Мишенька, — величественно ответила она.

Юмор этой истории заключается в том, что Зощенко уже знал о постановлении, круто сломавшем их жизнь, а она о нем еще ничего не знала.

Впрочем, если бы и знала, отреагировала бы, я думаю, точно так же.

НАРОД НЕ БЕЗМОЛВСТВОВАЛ

После знаменитого постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой в бакалее стояла за чем-то большая очередь. Очередь гудела, толкалась и переругивалась. Всем было некогда, и все дружно ругали директора магазина, создающего очереди. Он и пьет, и ворует, и вообще его давно пора посадить в тюрьму.

— Но кого будет жаль, если его посадят, так это его жену, — сказала сердобольная старушка. — Жена-то в чем виновата?

— Да, — сказали в очереди. — Жены за все в ответе. Вот и

сейчас, ведь все знают, что Зошенко подлец и мерзавец, а жену его Ахматову за что так ругают? Все за него же!

— Да, бедная она, бедная, — дружно жалела очередь.

КТО КОГО КОМПРОМЕТИРОВАЛ

В те времена, когда Зошенко был в жестокой опале и отчаянно бедствовал, остановился под окнами его квартиры сверкающий лаком автомобиль. В автомобиле сидел Катаев и две бойкие девицы. Валентин Петрович был навеселе (в обоих смыслах этого слова), девицы тоже.

Размахивая довольно толстой пачкой денег, Катаев радостно заорал:

— Миша! Погляди! Это гонорар, который я сейчас получил, и мы с тобой должны немедленно его пропить!

Поскольку появившийся в окне Зошенко отнесся к этому предложению без всякого энтузиазма, Катаев счел нужным пояснить:

— Не думай, пожалуйста, будто я боюсь, что общение с тобой может меня скомпрометировать!

— Дурак! — крикнул ему в ответ Зошенко. — Это ты меня компрометируешь!

ПРИНЯТЬ ИЛИ ВОССТАНОВИТЬ?

Выписка из стенограммы заседания

Президиума ССП

от 23. VI. 1953 г.

о приеме в Союз

т. СОФРОНОВ.

Прежде чем перейти к персональным делам, у нас имеется поступившее в Президиум и Секретариат ССП заявление М. М. Зошенко следующего содержания (зачитывается заявление) — о восстановлении его в Союзе писателей. Это заявление было получено Секретариатом, Секретариат слушал его и поручил товарищам Симонову, Грибачеву и Соболеву ознакомиться с новыми произведениями Зошенко и свои соображения представить Президиуму.

т. ШАГИНЯН.

Я видела Зошенко каждый год после постановления ЦК, и я должна сказать, что это по-настоящему человек. Он хорошо реагировал на постановление, понял свои ошибки. Он работающий и по-настоящему талантливый советский писатель. И нам стыдно, если мы сейчас не протянем ему руку помощи. Он находится в очень тяжелом моральном и материальном положении. Вопрос о восстановлении Зошенко может быть решен нами единогласно.

т. СИМОНОВ.

Я был бы против того, чтобы восстанавливать Зошенко. Мы в свое время исключили его из Союза правильно, исключили за серьезные ошибки.

Я согласен с Мариэттой Сергеевной, что он правильно отнесся к критике, что он много и честно работал, что он создал после этого ряд вещей, которые позволяют его принять в Союз — не восстановить, а принять в Союз.

Я бы Зошенко принял в Союз на основании произведений, написанных им за эти годы, с 1946-го по 1953-й, среди них и партизанские рассказы (это первое, что он опубликовал). Это не очень сильно художественно, но это очень честная попытка стать на правильные позиции. Там есть и хорошие вещи — в этих рассказах. Его переводческая деятельность во многом просто блестяща. Это тот случай, когда я принял бы в члены Союза как переводчика за один перевод. Это блестящее художественное произведение.

Я предложил бы принять Зошенко в члены Союза писателей как прозаика и переводчика.

Какие еще есть предложения?

т. ТВАРДОВСКИЙ.

Если употребить выражение «восстановить», это значит отменить решение об исключении из Союза. Восстанавливают тогда, когда признают неправильным исключение, тогда восстанавливают.

Возьмем даже более серьезное дело: исключение из партии. Восстанавливают только в случае признания высшим органом неправильности исключения.

т. ШАГИНЯН.

Это, мне кажется, неверно.

т. СИМОНОВ.

Или когда человек был исключен на срок.

т. ШАГИНЯН.

ЦК не вычеркивал всего литературного пути Зошенко, он дал постановление об определенных его вещах, он не опорочил всё то, что Зошенко сделал до этих вещей. Дело идет не о простой формальности. Восстановить — это значит признать его стаж, это значит дать ему право на пенсию. Человек находится в страшно тяжелом психическом состоянии. Принять его в Союз как новичка — это значит делать его начинающим писателем. Кажется, это простая форма, а есть в ней глубокий смысл.

Давайте обратимся с нашим решением в ЦК, может быть, он санкционирует наше решение. Но ставить вопрос, что будто бы восстановление отменяет исключение, это неверно.

Был прецедент: Ахматову мы восстановили. Слабый, чуждый нам поэт.

т. СИМОНОВ.

Мы ее приняли или восстановили?

т. ШАГИНЯН.

А Зошенко, который сформировался при Советской власти, который ближе нам по существу, по внутренней позиции, которую он не менял всё время, — его мы будем принимать, а не восстанавливать. Почему вы так отнеслись к Ахматовой?

т. СИМОНОВ.

Для объяснения своих позиций я хочу сказать, что я не присутствовал при восстановлении Ахматовой, а если бы присутствовал, несомненно, голосовал бы не за восстановление, а за прием. Считаю, что и Ахматову надо было бы принимать в Союз заново, а не восстанавливать. А если есть формулировка о восстановлении, то это — неверная формулировка.

т. ТВАРДОВСКИЙ.

Я не понимаю, почему так хлопочет Мариэтта Сергеевна Шагинян, — на пенсию писателя это не влияет.

т. ГРИБАЧЕВ.

Пенсия — вещь персональная, а дается отнюдь не за выслугу лет.

т. ШАГИНЯН.

Всё же партия не вычеркивает всей прежней его работы.

т. СОБОЛЕВ.

Мы его исключили из Союза. Прошел какой-то срок, он поработал, показал себя как человек не бесполезный, и мы считаем возможным, чтобы он был в нашей организации, не восстанавливая его, а вновь принимая на общих основаниях, как старого литератора.

т. СИМОНОВ.

Есть два предложения: предложение Мариэтты Сергеевны Шагинян восстановить Зошенко в ССП, и моё предложение — принять его в члены ССП. Я хотел бы, чтобы члены комиссии, назначенной Секретариатом, высказались по этому вопросу.

т. ГРИБАЧЕВ.

Была приведена серьезная мотивировка. Ведь если мы восстановим его, мы делаем вид, что Зошенко ничего не совершил, что всё было ошибкой и Зошенко возвращается в Союз. Этого, по-моему, делать нельзя.

т. СОБОЛЕВ.

Я также не понимаю, почему вы упираетесь в эту формулировку? Вы говорите, что для него это тяжело. Но если после известного случая и постановления ЦК мы приняли решение о том, чтобы расстаться с писателем, исключить его из наших рядов, то если мы сейчас будем говорить о восстановлении, то по логике русского языка это означает, что мы признаем свою ошибку по поводу исключения из Союза Зошенко и считаем это исключение ошибочным.

т. ШАГИНЯН.

А как же быть с Ахматовой?

т. СОБОЛЕВ.

Была допущена ошибка, если она была «восстановлена», а не «принята». Если бы я присутствовал на этом заседании, я сказал бы так же.

Если вы говорите, что это на него подействует, — то тогда он просто не понял, что тогда произошло.

т. СИМОНОВ.

Для него было бы гораздо тяжелее, если бы мы не приняли его в Союз. Я прошу голосовать. Первое предложение

Мариэтты Сергеевны Шагинян о том, чтобы восстановить Зошенко в ССП. Кто за это предложение? (Один.) Кто за моё предложение – принять в члены Союза? (Единогласно.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять М.М. Зошенко в члены ССП.

ГЛАС НАРОДА

Ночью того дня, когда сняли Хрущева, во внутреннем дворе нашего писательского дома раздался зычный мужской голос:

– Писатели!.. Слышите меня?!

Проснувшиеся писатели приникли к окнам. Некоторые даже высунулись из форточек.

Голос внятно, отдельно произнес:

– Гов-ню-ки!

Возражений не последовало.

Писатели отпрянули от окон и легли спать.

ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА

«Незаменимых людей у нас нет!» Этот лозунг (или, как нынче говорят, – слоган), насколько мне помнится, выкинул Сталин. Но сам он при этом хорошо знал, что на самом деле незаменимые люди у нас есть, о чем свидетельствует такой, например, хорошо известный факт.

Когда Д.А. Поликарпов (партийный функционер, назначенный руководить писателями) пожаловался ему на разные безобразия, творящиеся во вверенном ему ведомстве (Алексей Толстой разводится с женой, Фадеев – пьет, и т. д.), он ответил:

– В настоящий момент, товарищ Поликарпов, мы не можем предоставить вам других писателей. Хотите работать, работайте с этими.

Да, при всех своих недостатках и слабостях Сталин все-таки понимал, что в таком сложном и тонком деле, как литература, незаменимые люди должны быть.

Но – процесс пошел. И тридцать лет спустя уже спокойно

можно было назначить главным писателем страны любого партийного функционера. Что и было сделано.

Прогуливались мы как-то вечером с моим другом Владимиром Бахновым по нашей Аэропортовской улице. И подошел к нам кто-то из братьев по цеху и рассказал о том, что произошло в тот день на очередном съезде Союза писателей СССР.

Первый секретарь Союза Георгий Мокеевич Марков во время доклада вдруг почувствовал себя худо. У него слегка закружилась голова, и он чуть было не потерял сознание. Но тут из президиума быстренько подскочил к трибуне Герой Советского Союза В. Карпов и, деликатно отведя Георгия Мокеевича в сторонку, заступил на его место и дочитал доклад до конца.

Сообщив нам все это, очевидец вышеизложенного события высказал уверенность, что наверняка именно Карпов будет теперь назначен первым писателем страны. (Так оно впоследствии и оказалось.)

Выслушав этот рассказ, Владик отреагировал на него в свойственной ему (и жанру, который он представлял) манере. Он сказал:

— Отряд не заметил потери бойца и яблочко-песню допел до конца.

КНЕЛИ ПАРОВЫЕ

Была в советские времена такая песня:

Пройдут года, настанут дни такие,
Когда советский трудовой народ
Вот эти руки, руки молодые
Руками золотыми назовет.

Песенка — что говорить! — плохонькая, насквозь фальшивая. Фальшь эта особенно была в нос, когда ее хором пели учащиеся ремесленных училищ (которым она, собственно, и была адресована) на каком-нибудь празднике трудовых резервов. Бледные лица заморенных подростков в унылой казенной форме особенно резко оттеняли бодрую ложь

старательно выпеваемых ими заказных оптимистических куплетов.

Но не будь этой убогой и лживой песни, не явилась бы на свет одна подлинная поэтическая жемчужина.

Было это в Малеевке, одном из самых старых и самых любимых московскими писателями литфондовских Домов творчества.

Дом, как и все такие же писательские дома, был привилегированным. Попастъ туда — даже члену Союза писателей — было не так-то просто. Борьба за путевки шла отчаянная. Существовала, кроме того, сперва неписаная, а потом уже и узаконенная табель о рангах, согласно которой одним писателям (секретарям, членам парткома) путевки выдавались в лучшие месяцы года (летом или в лыжный сезон), другим же — когда дом пустовал и там, вместе с писателями второго и третьего сорта, по льготным профсоюзным путевкам отдыхали шахтеры.

Как бы то ни было, Дом был действительно привилегированным.

Но когда вы, урвав наконец с бою свою путевку, приезжали в этот привилегированный Дом, вас ожидало там множество всяких — чисто советских — гадостей. Душевой шланг в вашей ванной был переломан пополам, так что душ принять было невозможно. Принять ванну без душа тоже было затруднительно, поскольку в ванне не было затычки: дыру, в которую утекала вода, приходилось затыкать свернутой в тугий комок собственной майкой или трусами. Впрочем, ванну без совсем уже крайней нужды принимать и так не хотелось, поскольку вода из обоих кранов обычно текла холодная, а если и появлялась горячая, то была она цвета конской мочи. В комнатах тоже все было далеко от идеала. В пятирожковой люстре в лучшем случае горели только две лампочки: люди опытные, любящие, чтобы у них в комнате по вечерам было светло, запасливо привозили с собою из Москвы несколько лампочек. Внутри графина, предназначенного для кипяченой воды, был такой прочный, несмываемый слой какого-то грязно-желтого налета, что пить воду из него было все равно, что пить из унитаза. Белье меняли по большим праздникам, ссылаясь на какие-то вечные затруднения с прачечной...

Но самой большой гадостью, ожидавшей вас в этом привилегированном Доме, была еда.

Впрочем, ничего необычного в этой еде не было. Еда была самая что ни на есть обыкновенная, нарпитовская. Для тех, кто не знает (или уже забыл), что это такое, даю цитату из романа Джорджа Оруэлла «1984»:

...Очередь за обедом продвигалась толчками... От жаркого за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом... Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки... Обоим выкинули стандартный обед: жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыру, кружку черного кофе «победа»... Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на металлический столик; на углу его кто-то разлил соус: грязная жижа напоминала рвоту... Он стал заглатывать жаркое полными ложками; в похлебке попадались розовые рыхлые кубики — возможно, мясной продукт...

Кстати говоря, именно эта картина внушила мне когда-то уверенность, что автор знаменитой антиутопии наверняка побывал в Советском Союзе. И никто никогда не мог меня в этом разубедить.

В привилегированном писательском Доме творчества, конечно, не было ни очередей, ни сальных подносов, ни металлических столиков. На столах были скатерти, были даже и официантки. Но еда была — та самая, оруэлловская.

Особенно отвратительным было одно — постоянно, изо дня в день — повторявшееся блюдо, обозначаемое в меню, как — «кнели паровые».

— Опять эти чертовы кнели, будь они прокляты! — ворчали привилегированные гурманы.

И вот в ответ на эту воркотню и родилась однажды та поэтическая жемчужина, ради которой я, собственно, и начал весь этот свой явно затянувшийся рассказ:

Пройдут года, настанут дни такие,
Когда советский трудовой народ
Вот эти кнели, кнели паровые —
Свинными отбивными назовет.

Это веселое (оно же мрачное) пророчество совершенно покорило меня — не столько даже иронией, сколько своим трезвым реализмом. Долго я пытался выяснить, кто его автор. Но установить это с полной достоверностью мне так и не

удалось: на авторство претендовали многие. Запишем поэтому так, как принято обычно писать в подобных случаях: «Слова народные».

БЕЗДЕЛЬНИКИ

В Коктебеле на набережной — перед писательской столовой — у балюстрады стояла группа писателей. Притом — весьма почтенных. Был там даже и сам Твардовский. И оказался среди них один старичок-академик — то ли физик, то ли математик. За свои академические заслуги он — по обмену — тоже проник в этот писательский дом.

Академики и членкоры, надо сказать, любили писательские Дома творчества. С одним моим приятелем-физиком (тоже, кстати говоря, академиком) я вел долгий, многолетний спор о том, кого советская власть больше подкупает: писателей или ученых?

Физик, естественно, утверждал, что писателей.

— Конечно, вас! — доказывал он. — В системе Академии наук таких Домов, как ваша Малеевка, нету и в помине. Одно только несчастное Узкое. Но там у меня была бы крохотная комнатеночка, а тут мне дают две комнаты: спальню и кабинет. Не говоря уже о персональном санузле. Недаром же я каждый год запасаясь кучей официальных просьб на разных красивых бланках и иду с ними в Литфонд, заискиваю, чтобы мне, в порядке обмена на какой-нибудь там вшивый Кисловодск, продали путевку в Малеевку. Или в Коктебель...

Этот наш спор, как я уже говорил, длился годами. И наверно никогда бы не кончился, если бы в один прекрасный день я не выдвинул формулу, которой, как говорится, закрыл тему.

— Вам, — сказал я, — платят за то, чтобы вы делали свое дело. А нам — за то, чтобы мы не делали своего дела. Ведь дело писателя состоит в том, чтобы говорить обществу правду.

До этой моей мысли, очевидно, самостоятельно додумался молодой парень, проносившийся на водных лыжах мимо балюстрады, около которой стоял Твардовский с коллегами-писателями и старичком-академиком. А может быть, и не додумался, а просто выразил некое общее чувство, стихийно овладевшее массами.

Как бы то ни было, проносясь мимо них на своих водных лыжах, он радостно выкрикнул:

– Писатели! Бездельники!

Старичок-академик прямо-таки зашелся от негодования.

– Какое свинство! – возмутился он. – Ну как так можно! Ведь здесь же не только писатели. Вот и я тут стою. Что ж, значит, я тоже бездельник?

ПИСАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ

Дом творчества писателей в Коктебеле, выросший на основе Дома Волошина, завещанного им Литфонду, был завещанием не шибко привилегированным. Во всяком случае, по своим – весьма скромным – бытовым условиям он даже в сравнение не мог идти с выстроенными гораздо позже и куда более фешенебельными литфондовскими домами в Пизунде или Дубултах. Но, как бы то ни было, писатели были в Коктебеле на особом положении. Особенно в сравнении с читателями, селившимися в деревне, а то и просто в палатках на берегу чудного Коктебельского залива.

Естественно, что при таком положении дел читатели недолюбливали писателей. Писателей же (как выяснится из дальнейшего, не всех) раздражали читатели. Раздражали тем, что были молоды и беззаботны, веселились напропалую, пели и танцевали, варили и жарили – прямо на берегу около своих палаток – какую-то свою, вкусно пахнущую еду. Но главное, конечно, – тем, что будучи, по их понятиям, совершенной шпаной, наслаждались солнцем, воздухом и морем чуть ли не на равных основаниях с ними, – достигшими всех этих жизненных благ в упорной борьбе за существование.

Это безобразие необходимо было пресечь.

Пресечь его взялся один из самых сановных обитателей Коктебеля – писатель Аркадий Первенцев.

В одной из центральных газет он опубликовал большую статью, в которой веселый лагерь читателей на берегу Коктебельского залива представил гнездилищем всех мыслимых и немыслимых социальных пороков.

Пересказывать содержание этой его статьи я не буду, а лучше приведу несколько куплетов из сочиненной тогда (в августе 1963-го) песенки Владика Бахнова. Тем более что она довольно точно воспроизводит основные тезисы той статьи:

Ах, что за славная земля
Вокруг залива Коктебеля:
Колхозы, бля, совхозы, бля, природа!
Но портят эту красоту
Сюда приехавшие ту-
неядцы, бля, моральные уроды!
Спят тунеядцы под кустом,
Не занимаются трудом,
И спортом, бля, и спортом, бля, и спортом.
Не видно даже брюк на них,
Одна чувиха на троих,
И шорты, бля, и шорты, бля, и шорты.
Девчонки вид ужасно гол,
Куда смотрели комсомол,
И школа, бля, и школа, бля, и школа?
Хотя купальник есть на ней,
Но под купальником, ей-ей,
Всё голо, бля, всё голо, бля, всё голо.
Сегодня парень виски пьёт,
А завтра планы выдаёт
Завода, бля, родного, бля, завода!
Сегодня ходит в бороде,
А завтра — где? В НКВДе —
Свобода, бля, свобода, бля, свобода!

Вся Владикова компания сразу же эту песню подхватила и радостно стала ее распевать. Правда, поскольку у всех у них тогда были семи- или восьмилетние дети, исполняя ее при них, слово «бля» они опускали, заполняя ритмическую паузу хлопком в ладоши. Но однажды, проходя мимо группы расппевающих его песню детей, Владик обнаружил, что, аккуратно хлопая в нужных местах в ладоши, они — одновременно с хлопком — произносят и злополучное запретное слово. Так что уловка не помогла: канонический текст остался неизменным даже и в детском варианте.

Читатели меж тем, прочитав статью Первенцева, сильно возбудились. И возбуждение их, естественно, обратилось на обитателей Дома творчества. Пошли даже слухи, что читатели собираются идти бить писателей, возомнивших, что весь Коктебельский залив должен принадлежать только им.

И вот тут-то и сыграла свою роль песенка Владика.

Она покорила всё народонаселение Коктебеля со скоростью лесного пожара. И мгновенно разрядила обстановку. Вдруг выяснилось, что среди писателей тоже есть вполне

нормальные люди, не только не одобряющие попытку Первенцева разделить коктебельцев по классовому признаку на чистых и нечистых, но даже склонные издеваться над таким разделением.

Песенка не только разрядила обстановку: она мгновенно установила новый режим взаимоотношений между читателями и писателями. Это был режим братания.

Установился, правда, этот новый режим не навсегда. Честно говоря, даже не надолго. Спустя какое-то время опять повеяло холодком, и в конце концов холодный ветер классовой неприязни, ежеминутно готовой вылиться в классовую ненависть, вновь вернулся на круги своя. Из чего можно заключить, что сила искусства, конечно, велика. Но, к сожалению, все-таки не так велика, как нам бы того хотелось.

ЕЩЕ О ПИСАТЕЛЯХ И ЧИТАТЕЛЯХ

На закрытом для простых смертных писательском пляже людей в тот день было совсем мало: человек пять-шесть, не больше. Была поздняя осень, купальный сезон уже кончился: в холодное море отваживались лезть лишь немногие смельчаки. Но солнце пригревало довольно сильно. И какая-то немолодая женщина с маленьким мальчиком — очевидно, внуком — шумно выражала свой восторг по поводу того, что нашлось все-таки в этом проклятом не обустроенном Коктебеле местечко, где от палящих солнечных лучей можно укрыться под тентом.

— Моему Андрюшке, — говорила она, — солнце категорически противопоказано. И для нас это такое счастье!

Загорающая на солнце писательская жена — красивая холеная женщина — вполголоса сказала мужу:

— Володя, по-моему, эти люди не из нашего Дома...

— Ну и что же, Наденька? — робко возразил он.

— Во-ло-дя, — стальным голосом сказала она.

Володя нехотя встал и поплелся к возведенной недавно у входа на пляж помпезной деревянной арке, возле которой сидела дежурная в белом халате.

Он что-то пошептал ей, кивая в сторону прячущихся под тентом, и вернулся к жене.

А следом за ним на пляже появилась и дежурная.

Подойдя к счастливой бабушке внука, которому врачи строго-настрого запретили лежать на солнце, она вежливо спросила, есть ли у них пропуск. Пропуска, естественно, не оказалось. Тогда она так же вежливо объяснила, что этот пляж — не для всех, а только для тех, кто имеет право.

И пошли они, солнцем палимы...

ИЗ ЖИЗНИ ЖОПИСОВ

Во внутреннем дворике писательского дома, в котором я живу, прогуливали своих собачек жописы.

Но сперва надо объяснить, что обозначает это странное слово.

«Жописы» — это жены писателей. Какой-то остряк (а может, и целый творческий коллектив остряков) разделил всех членов семей советских писателей («сописов») на категории. И каждой категории дал свое название: жены писателей назывались — «жописы», сыновья — «сыписы», жены сыновей — «жосыписы», дочери писателей были, соответственно, «дописы», а мужья писательских дочерей — «мудописы».

О каждой из этих категорий, вероятно, можно было бы поговорить особо. Но этот мой рассказ — о жописах.

Итак, во внутреннем дворике писательского дома, где я живу, гуляли дамы, жены писателей, с собачками. Собачки ревелись и, естественно, время от времени радостно взлаивали.

Дамы судачили о каких-то своих дамских (жописовских) делах.

Ничто не предвещало скандала.

Вдруг отворилось окно второго этажа, и высунувшаяся из него дама, явно тоже принадлежащая к категории жописов, обратилась к коллегам с такой речью:

— Послушайте! Ведь сейчас — самое золотое время для творческого процесса. Мой муж работает, а ваши собаки своим непрерывным лаем мешают его творческой мысли. Не могли бы вы найти какое-нибудь другое место для прогулок? Ведь вы же интеллигентные люди, вы должны меня понять!

Одна из гуляющих дам смерила говорившую презрительным взглядом:

— Интеллектуалка сраная! Что же это там у твоего мужа на ниточке висит, если мой Кузька гавкнет и это всё у него пропадает?!

Оскорбленная интеллектуалка со звоном захлопнула свое окно. В мире жописов вновь наступили мир и согласие.

ПОКУШЕНИЕ

Заглянув однажды в ЦДЛ, я наткнулся на знакомого поэта: мы вместе когда-то учились в Литинституте. Поэт этот когда-то подавал надежды. Потом перестал их подавать. Опустился, стал пьяницей. Давно уже ничего не писал. Постоянно околачивался в писательском клубе, выклянчивая у знакомых — у кого пятерку, у кого трешку. Вот и сейчас, столкнувшись со мной, он попытался вытянуть из меня хоть рублишко. Но я вынужден был отказать ему, поскольку месяца за два до этой нашей встречи я дал ему десятку, и он, сильно упившись, сделал попытку выброситься из окна. После этого случая его жена взяла с меня клятву, что я больше никогда, как бы он ни умолял, не дам ему ни копейки.

— Ну, ладно, — легко принял он мой отказ. — Тогда хоть пивком угости.

Я купил в буфете две бутылки пива, мы взяли стаканы и присели за свободный столик.

Говорить мне с ним было не о чем, но о чем-то говорить все-таки нужно. Я спросил:

— Ну, что у тебя нового?

Вяло, как-то очень буднично, словно речь шла о самом обыкновенном деле, он сообщил:

— Покушение на меня было.

— Как покушение? — изумился я. Кто мог на него покушаться? Зачем? Кому он был нужен?

Но он — так же буднично, как о чем-то само собой разумеющемся — дал понять, что покушение на него устроили ОНИ. Те самые ОНИ, которые когда-то в Болгарии укололи кого-то зонтиком, а совсем недавно чуть не укололи римского папу. В зонтике, как известно, был смертельный яд. Каким способом собирались убить папу, он не знал. А к нему изобретательные ОНИ применили особый, до сих пор еще ни разу не применявшийся способ.

— Представляешь, — рассказывал он, — сел я в автобус. И только он тронулся, выбегает на дорогу какая-то баба и кидает прямо под колеса корыто. Ну, самое обыкновенное корыто, в котором стирают. Еще миг, автобус перевернулся бы и — кранты!

— А ты разве один был в том автобусе? — спросил я.

— Какой один! Человек двадцать было.

— Так ведь не только ты, все погибли бы, — сказал я, пытаясь тем самым осторожно намекнуть на некоторую несостоятельность его версии. Но он посмотрел на меня как на несмышлениша:

— А им что, жалко, что ли?

ЧТОБ ЕМУ ТАК ЛЕГКО ИКАЛОСЬ...

На гонорары за мои статьи и книги я прожить никогда не мог. И всю жизнь, сколько себя помню, подрабатывал разной литературной поденщиной. Главным образом так называемыми внутренними рецензиями, а еще чаще — ответами на так называемый самотек. То есть на рукописи разных самоучек, преимущественно графоманов. Этот последний заработок был самым надежным. Особенно, когда дело это было централизовано, и при Союзе писателей было создано специальное учреждение: «Литературная консультация».

При этой литературной консультации одно время кормился и мой сын. Сперва — под моим именем, а потом, когда он уже достаточно набил себе руку, — и под своим собственным.

Обучая его своему нехитрому ремеслу, я дал ему такой совет:

— Никогда не обрушивай сразу на несчастного графомана всё, что у тебя там накопело. Для начала скажи ему что-нибудь поощрительное. Какой-нибудь комплимент.. А уж потом...

— А если, скажем, стихи — полное дерьмо? — возразил сын. — Ну просто не за что ухватиться! Ни одной живой строки...

— Ну, — посоветовал я, — тогда сперва напиши, что стихи его грамотные, гладкие. Что стихотворная речь дается ему легко. Но это, однако, еще не делает его вирши поэзией. Объясни разницу между нехитрым умением складывать слова в рифму и истинным призванием поэта...

Сын внял моему совету и пустил эту мою идею на поток. И вот однажды на один из таких его ответов пришла жалоба.

«Чтоб Сарнову так легко икалось, — писал в ней оскорбленный в лучших своих чувствах графоман, — как мне легко дается стихотворная речь!»

ОТЕЦ РУССКОЙ СКОБКИ

Так прозвали Наума Мельникова. Он был первым литератором, псевдоним которого публично раскрыли обозначенной в скобках его «девичьей» фамилией. Статья называлась: «Гнилая повесть "Редакция"».

Запомнилась мне из нее такая фраза:

«Н. Мельников (Мельман) смотрит на советского человека откуда-то сзади, с болезненным любопытством копаясь во всем отсталом и старом».

ПОЭТ ОН ТАКУ-УСЕНЬКИЙ!

Как только стало известно о присуждении Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии, в печати появилось заявление, подписанное всеми членами редколлегии «Нового мира». Первой там стояла подпись главного редактора журнала А.Т. Твардовского. В заявлении говорилось, что творчество Пастернака «носит сугубо индивидуалистический характер, далеко от жизни народа, отходит от реалистических и демократических традиций великой русской литературы».

Было там много и других обвинений, лживых и неискренних, но, по обстоятельствам того времени, обязательных в заявлениях такого рода: в номерах служить, подол заворотить. Но, подписываясь под этими словами, Александр Трифонович, я думаю, как раз не кривил душой. Мне рассказывали, что примерно в это же время, спускаясь в окружении друзей и соратников по деревянной лестнице Дубового зала ЦДЛ, он обернулся к одному из них и, продолжая начатый ранее разговор о Пастернаке, сказал, показывая кончик мизинца:

— Поэт он таку-усенький...

ТАК НЕ ГОВОРЯТ О ВЕЛИКИХ ПИСАТЕЛЯХ!

Читаю «Дневник» К.И. Чуковского. Запись 30-го января 1968-го года:

Люда Стефанчук сказала за ужином, что один из рассказов Солженицына (которого она обожает) понравился ей меньше других. Лида (Лидия Корнеевна. — Б.С.) сказала железным голосом:

— Так не говорят о великих писателях.

И выразила столько нетерпимости к отзыву Люды, что та, оставшись наедине с Klarой, заплакала...

Вот как давно это началось.

Оттуда все и пошло.

Про Толстого я могу сказать, что рассказ «Маша и медведь» мне нравится меньше, чем «Анна Каренина». А про Александра Исаевича — ни-ни!

НАДО ПОМОЧЬ ФРАНЦУЗСКИМ ТОВАРИЩАМ!

Приехала как-то в Париж группа советских писателей. А в Париже в это время была забастовка. Бастовали рабочие завода Рено. Они были недовольны тем, что администрация завода слишком далеко от заводских ворот расположила стоянку для их автомобилей. Им не нравилось, что от стоянки им еще приходилось некоторое расстояние идти пешком.

Причина забастовки сильно позабавила наших писателей. Кое-кто даже позволил себе некоторые шуточки по этому поводу, что сильно не нравилось руководителю группы.

Руководителем был Александр Исбах — человек скорее простодушный, чем умный. (Бывшие его сокамерники рассказывали, что возвращаясь в камеру после очередного допроса, избитый до полусмерти, он постоянно повторял: «Мы должны помогать следствию, это наш партийный долг».)

А главным шутником был Александр Альфредович Бек. Он был шутником высочайшего класса, что проявлялось, в частности в том, что никогда нельзя было понять, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Самую уморительную чепуху он ухитрялся нести с такой убедительной серьезностью, что люди и поумнее Исбаха попадались на эту удочку.

И вот Бек говорит:

— Меня очень тревожит эта забастовка. Я считаю, что мы не имеем права оставаться в стороне.

— Что вы хотите сказать? — испугался Исбах.

— Я считаю, что мы должны помочь французским товарищам, — объяснил Бек.

— Товарищ Бек! — нервно осадил его Исбах. — Это сугубо внутреннее дело французских рабочих. Мы тут совершенно ни при чем.

— То есть как это ни при чем? — удивился Бек. — А как же международная пролетарская солидарность?

— Товарищ Бек! — еще больше занервничал Исбах. — Мы не занимаемся экспортом революции.

— Но ведь мы помогли только что нашим чешским товарищам, — возразил Бек.

Упоминание о вводе советских войск в Чехословакию лишило бедного Исбаха последних остатков разума.

— Чешские товарищи нас попросили... Они к нам обратились... — не найдя других аргументов, лепетал он.

— О, за этим дело не станет, — парировал Бек. — Это я вам сейчас устрою! Мы обратимся в стачечный комитет, скажем, что хотим поддержать их требования, и они, конечно, согласятся сделать вид, что инициатива исходит от них...

Исбах был уже близок к инфаркту (или к инсульту), когда Александр Альфредович наконец сжалился над ним и признался, что шутит.

Но Исбах, кажется, не очень в это поверил. И до самого конца поездки поглядывал на Бека с опаской. Кто его знает! А вдруг и в самом деле пойдет к французам и попросит их, чтобы они обратились к нам за помощью?

КОМУ УЛЫБАЛСЯ БЛОК

Когда я работал в «Литгазете», нашему отделу полагались внештатные консультанты. Обычно на эту роль брали каких-нибудь молодых, начинающих литераторов. Тем более что платили за эту работу немного: рубль за ответ. Но мы решили, что молодые подождут, и предложили эту работу трем нашим друзьям, которые очень в этом нуждались: Борису Балтеру, который писал тогда свою ставшую впоследствии знаменитой повесть «До свидания, мальчики!», Владимиру Максимову,

который тоже работал тогда над первой своей повестью, и Эмке Манделю (Коржавину). Этот последний, в отличие от двух первых, ни в какой долгой работе не увяз, но в деньгах нуждался не меньше, чем они. Он всегда в них нуждался.

С Балтером у нас никаких хлопот не было. Дело это было для него привычное, литконсультацией он занимался издавна, поскольку на гонорары от книг рассчитывать особенно не приходилось: печатали его не щедро. С Максимовым все было не так гладко: он иногда запивал. Но и это была беда не большой руки: просто на эти периоды поток графоманских рукописей делился на двоих, а не на троих, что сулило остающимся в строю дополнительную нагрузку, но и дополнительный заработок.

Больше всего хлопот было с Манделем.

Начать с того, что стихи, отдаваемые ему на отзыв, он время от времени терял. С этим ничего нельзя было поделать: он и свои-то стихи постоянно терял.

Тут я хотел написать, что к собственным сочинениям он относился как Хлебников, который при переездах с места на место набивал ими наволочку, но вовремя сообразил, что у Манделя даже и такой наволочки не было. Когда я собрался составлять его первую книгу (понимая, что сам он этого никогда не сделает), я попросил его притащить мне рукописи. И тут выяснилось, что никаких рукописей у него нет. Есть зато поклонник, профессор-биолог, который отбирает у него все его стихи и хранит. Только он вряд ли согласится выпустить их из рук. Профессора все-таки удалось уговорить (поверил он, что рукописи не пропадут, разумеется, мне, а не Манделю), и книга «Годы», составленная нами, в конце концов увидела свет.

Но в то время, о котором я рассказываю, до этого было еще довольно далеко.

Вторая проблема Манделя-литконсультанта заключалась в том, что ответы его были непомерно длинны. Каждый ответ состоял по меньшей мере из пяти-шести, а иногда и десяти тетрадных листков бумаги, исписанных неповторимым манделевым почерком: круглыми, крупными буквами. Так пишут ученики третьего или четвертого класса, не сумевшие на уроках чистописания подняться выше двойки. Листки, вырванные из тетрадей, подклеивались друг к другу, образуя

длинные ленты – «простыни», как мы их называли. Санитарное состояние этих «простынь» тоже оставляло желать...

Но главная проблема Манделя-литконсультанта заключалась в том, что он за каждым письмом, за каждым графоманским стихотворением видел человека. Уговорить его, что для этой работы надо иметь готовый набор штампованных советов (читайте классиков, прочтите статью Маяковского «Как делать стихи» и книжку Исаковского «О поэтическом мастерстве») было совершенно невозможно. На поэтическое мастерство у него были свои взгляды, ничего общего не имеющие с рекомендациями Исаковского. Маяковского же он вообще не признавал. А кроме того, он считал, что к каждому графоману нужен особый подход и свои, сугубо индивидуальные советы и рекомендации.

При такой методе каждый заработанный рубль обходился ему в несколько дней, а иногда и ночей упорного, вдохновенного труда. Компенсировалось это, как он уверял, тем, что, трудясь над каждым таким письмом, он и для себя самого находил ответы на многие сложные вопросы, над которыми раньше не задумывался.

Не знаю, были ли довольны его ответами те, кому он их адресовал. Но сами ответы, несмотря на все описанные выше сложности, как правило, были блестящими.

Вот, например, один из них, особенно мне запомнившийся.

Как раз в то время исхитрились мы опубликовать в нашей газете несколько стихотворений Ахматовой. Было это по тем временам совсем не просто, и мы этой акцией ужасно гордились. Но она, разумеется, вызвала поток гневных читательских писем. Особенно сильное негодование вызвало стихотворение, в котором, как показалось многим, не совсем почтительно упоминался Блок:

И, в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный, и сладкий.

И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок –
Трагический тенор эпохи.

Больше всего возмутило почитателей Блока, что их любимый поэт был в этом стихотворении назван тенором. Но читатель, письмо которого попало к Манделью, в дополнение к этому — массовому — негодованию добавил еще и свое, индивидуальное. «Не мог, — клокотал он, — никак не мог наш великий поэт улыбаться презрительно!»

Как всегда, подробно ответив на все обвинения этого запальчивого читателя, а заодно осветив и некоторые общие проблемы поэзии Серебряного века, в заключение своего обстоятельного письма Мандель коснулся и этого вопроса.

«Ну а о том, мог или не мог Блок улыбаться так, как говорится об этом в стихотворении Ахматовой, — писал он, — я думаю, ей лучше знать. Ведь улыбался он ей, а не вам».

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА...

Вдова поэта Николая Дементьева («Коля, не волнуйтесь, дайте мне!..»), по слухам, покончившего с собой из-за того, что его вербовали в стукачи, сама, кстати сказать, отсидевшая свой срок, рассказывала про такой свой разговор с Бабелем.

— Двух вещей мне не дано испытать, — сказал он ей. — Я никогда не буду рожать, и никогда не буду сидеть в тюрьме.

— Ох, Исаак Эммануилович, — вздохнула она. — Вспомните пословицу: от тюрьмы, да от сумы...

— Ну что вы, — сказал Бабель. — При моих-то связях.

ТОГДА, МНЕ КАЗАЛОСЬ, Я ЗНАЛ...

Рассказывал К.Г. Паустовский.

Дело было в Ялте, в литфондовском Доме творчества. Он ездил туда чуть не каждый год. И сбилась у них там своя тесная компания: он, Гайдар, Александр Иосифович Роскин и кто-то еще, четвертый, кажется, Абрам Борисович Дерман.

А в тот год (дело было перед самой войной) жил там и Василий Семенович Гроссман.

Время было тревожное. Невеселое было время. Но они веселились напропалую. Шутили, смеялись, разыгрывали друг друга. А Василий Семенович, хоть он и был самым младшим из них (Паустовский был старше Гроссмана на

тринадцать лет, Роскин — на пятнадцать, а Дерман — на четверть века) в этом веселье не участвовал. Держался особняком. Сидел как бирюк в своем номере и работал. И это их, естественно, слегка раздражало, поскольку такое его поведение было для них как бы немым укором. Он, быть может, вовсе даже и не хотел играть эту роль, но им казалось, что он слишком уж важен. Слишком исполнен сознания своей высокой писательской миссии.

И вот однажды поздно вечером, а может быть, даже уже и полночь, они — все четверо — постучались к нему в номер. И когда он открыл дверь, дружно опустились перед ним на колени и хором произнесли заранее заготовленную фразу:

— Учитель! Научи нас, как жить!

Прошло много лет. И вот однажды — уже в Москве — столкнулись на улице Паустовский и Гроссман. Разговорились. Вспомнили Гайдара и Роскина, которые не вернулись с войны. Вспомнили Ялту. И Паустовский сказал:

— А помните, Василий Семенович, как мы пришли к вам тогда вчетвером, ночью?..

Гроссман улыбнулся. А потом задумался и как-то вдруг погрузился.

— Да, — сказал он. — Тогда мне казалось, что я знаю, как надо жить. А теперь...

Он вздохнул.

— Теперь не знаю.

ДВА СТОЛБА С ПЕРЕКЛАДИНОЙ

Рассказывала Вера Михайловна Инбер.

В молодой веселой компании, встречавшей новый 1917-й год, они стали забавляться гаданьем. Гадать решили по Пушкину, благо оказалось в том доме замечательное его издание: весь Пушкин — стихи, поэмы, драмы, проза, письма — всё в одном томе. Суть гаданья состояла в том, что каждый называл — наугад — страницу и строку. (Или пару строк.) Скажем, так:

— Страница 218-я, 6-я и 7-я строки сверху.

Раскрывали однотомник на указанной странице, находили указанные строки, читали:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

В ответ раздавался громогласный хохот, поскольку юная красотка, которой выпали эти строки, супружеской верностью, как это было хорошо известно всей компании, как раз не отличалась.

Кому-то вышло:

Не гонялся бы ты поп за дешевизной.

Хохот — еще пуше: случайно угаданная строка и на этот раз комически совпала с характером или каким-то поступком того, кто ее загадал.

Особенно бурное веселье вызвали доставшиеся кому-то строки:

Ох, отвяжись, я знаю только то,
Что ты дурак, да это уж не ново.

Но вот очередь угадывать свою судьбу дошла до Цветаевой. Она так же произвольно — беспечно, наугад — назвала страницу, строку. И ей выпало:

...два столба с перекладиной.

ХОЗЯЙКА ДОЛЖНА РАЗЛИВАТЬ ЧАЙ!

Лиля Юрьевна Брик рассказала однажды о своей ссоре со Шкловским.

Не помню, то ли это было какое-то заседание редколлекции «Нового ЛЕФа», то ли просто собрались друзья и единомышленники. Происходило это в Гендриковом, на квартире Маяковского и Бриков.

Шкловский читал какой-то свой новый сценарий. Прочитал. Все стали высказываться. Какое-то замечание высказала и она.

— И тут, — рассказывала Лиля Юрьевна, — Витя вдруг ужасно покраснел и выкрикнул: «Хозяйка должна разливать чай!»

— И что же вы? — спросил я.

— Я заплакала, — сказала она. — И тогда Володя выгнал Витю из дома. И из ЛЕФа.

ПОСЛЕДНЮЮ РАДОСТЬ ОТЫМАЕТЕ...

Это мне рассказал Корней Иванович Чуковский.

Зашел он как-то на дачу к своему переделкинскому соседу — Леониду Максимовичу Леонову. Тот молча, ни слова не

говоря, повел его в самый дальний конец участка. А участки там у них, на их переделкинских дачах, громадные: чуть ли не по два гектара, так что идти пришлось довольно долго. Наконец пришли. Леонов — так же молча — указал Корнею Ивановичу на какое-то полусгнившее бревно. Сели.

К.И. огляделся и увидел, что они сидят у небольшого прудика, почти сплошь заросшего ряской. Он хотел спросить у Леонова, зачем тот его сюда привел, но Леонид Максимович — все так же молча — приложил палец к губам. И тихонько, вполголоса позвал:

— Иван Тихоныч!

На середину пруда вылезла и утвердилась на какой-то коряге огромная лягушка.

— Ну как дела, Иван Тихоныч? Как она, жизнь-то? — спросил Леонов.

Лягушка забормотала что-то в ответ на своем лягушачьем языке.

Задав еще несколько вопросов и получив на них соответствующие ответы, Леонов сказал:

— Ну ладно! Бог с тобой, Иван Тихоныч. Ступай!

И лягушка послушно бултыхнулась обратно в воду.

— Леонид Максимыч! — вскричал экспансивный Чуковский. — Да ведь это же чудо! Что же вы молчали?! Это должны видеть все. Особенно дети! Я сейчас созову сюда детей со всей деревни! Вы представляете себе, как они будут счастливы, увидав такое!

Леонов поднял на него глаза и жалостно вздохнул:

— Последнюю радость отымаете, Корней Иваныч!

...ОНИ ЕЩЕ ЛЕТАЮТ!

Оказавшись — в очередной раз — в Париже, Евтушенко посетил Шагала. Тот был очень мил с поэтом, приехавшим из России, тепло вспоминал свой родной Витебск и вообще был настроен очень доброжелательно. Евтушенко подумал: а что если попробовать помирить великого эмигранта с советской властью?

Он осторожно навел Шагала на эту мысль, намекнул, что постарается организовать в Москве его выставку. И тут же

придумал такой гениальный ход: Шагал передаст через него какой-нибудь роскошный свой альбом в дар Хрущеву. Разумеется, с соответствующей дарственной надписью. Этот альбом Евтушенко в Москве переправит Хрущеву с объяснением, кто такой Шагал и как выгодно для престижа Советского Союза наладить с ним добрые отношения. Ну а уж потом все пойдет как по маслу.

Шагал, выслушав это предложение, легко согласился. Принесли альбом. Шагал сделал надпись: «Никите Сергеевичу Хрущеву в память о нашей общей родине». Евтушенко был счастлив. Хитроумный план его удался. Дело теперь было за малым: оставалось — как в анекдоте — уговорить графа Потоцкого (то есть Хрущева). Но в положительной реакции Хрущева он не сомневался: слишком уж очевидна была политическая выгода такой акции.

Прилетев в Москву, поэт отправился к Лебедеву — помощнику Хрущева по культуре, известному своей «прогрессивностью»: именно через этого Лебедева Твардовский незадолго до того передал Хрущеву рукопись рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

И вот сидит Евгений Александрович в кабинете Лебедева, вдохновенно излагает ему свой план, объясняет все его выгоды. А Лебедев меланхолично листает альбом.

Речь поэта становится все горячее, все убедительнее. А Лебедев молча слушает и — листает, листает альбом страницу за страницей.

— Евгений Александрович, — вдруг говорит он. — Это что же? Евреи?

В голосе хрущевского помощника звучал неподдельный ужас:

— И они еще летают?

И укоризненно, как маленькому:

— И вы хотите, чтобы я показал это Никите Сергеевичу?

Евтушенко живо представил себе, как Никита Сергеевич разглядывает эти картинки, на которых изображены евреи, которые к тому же еще летают, и понял, что гениальный его план, еще минуту назад казавшийся ему совершенно неотразимым, не просто невыполним, а прямо-таки безумен.

ПЕРЕСТРАХОВКА В ЛУЧШЕМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА

Когда немцы оккупировали Францию, Эренбург был в Париже. И в Москву вернулся не сразу — не просто, видно, было оттуда выбраться. А в Москве тем временем прошел слух, что он остался у немцев.

Бред, конечно! Чтобы известный антифашист, да к тому же еще и еврей Эренбург снюхался с гитлеровцами... Кто мог в это поверить?

Дурацкий слух этот, однако, оказался чреват некоторыми последствиями. Он нанес мнимому невозвращенцу довольно серьезный — и не только моральный — ущерб: Фадеев тут же распорядился переделкинскую дачу Эренбурга отдать Катаеву, и тот, разумеется, быстренько ее занял, что дало повод известному остроумцу Михаилу Светлову, встретив Катаева в писательском клубе, обратиться к нему с ироническим возгласом:

— А-а! Троекуров!..

А когда после всех мытарств Эренбург все-таки добрался до Москвы, смущенный Фадеев так объяснил ему причину своего скоропалительного решения:

— Т-ты должен меня п-понять. Это была п-перестраховка в хорошем смысле этого слова.

ВЫЧЕРКИВАЙТЕ ВСЕХ!

Илья Григорьевич Эренбург редко ходил на писательские собрания. Но на одно какое-то — очень, как тогда считалось, важное — пришел. Предстояли выборы правления.

Раздали бюллетени для голосования. И было в этих бюллетенях трое Смирновых.

Первым из них был Василий Александрович Смирнов, известный прозаик, более, впрочем, известный как ярый антисемит. В полном соответствии с этим своим качеством он был тогда главным редактором журнала «Дружба народов».

Второй Смирнов — поэт, злобный горбун, о котором тогда была сложена такая эпиграмма:

Поэт горбат.
Стихи его горбаты.
Кто виноват?
Евреи виноваты.

Третьим Смирновым, включенным в списки для голосования, был Сергей Сергеевич Смирнов — будущий автор «Брестской крепости». Он незадолго до того был заместителем Твардовского по «Новому миру», и когда Твардовского снимали (в первый раз, за первую редакцию «Теркина на том свете») — повел себя довольно трусливо и даже предательски. А в будущем ему еще предстояло быть председателем на том писательском собрании, на котором исключали из Союза писателей Пастернака.

До исключения Пастернака, впрочем, было еще далеко, и Сергей Сергеевич — особенно на фоне двух других Смирновых — считался человеком приличным, во всяком случае, как тогда выражались, — прогрессивным. Тем более что о трусливом его поведении в «Новом мире» мало кто знал.

И вот Эренбург, запутавшись во всех этих сложностях, подошел к Твардовскому и сказал:

— Александр Трифонович! Тут — трое Смирновых. Мне объясняли, что двое из них плохие, а один — хороший. Вы не могли бы подсказать мне: кого из трех надо вычеркнуть?

Твардовский ответил:

— Вычеркивайте всех троих. Не ошибетесь.

ШАБЕС-ГОЙ НАОБОРОТ

Однажды, придя к нему, я сразу увидел, что он нынче не в духе. Пожалуй, это даже слишком слабо сказано: он был мрачнее тучи.

Оказалось, что его дурное настроение вызвано письмами читателей. Два из них он мне прочел.

В одном речь шла о том, что в своих мемуарах, вскользь упоминая о своих близких отношениях с неким Николаем Ивановичем, он ни разу не назвал его фамилии.

Я-то догадался, — писал автор этого письма, — что вы подразумеваете Николая Ивановича Бухарина. Я хорошо знал этого прекрасного человека. Мне посчастливилось

несколько лет работать с ним. Почему же вы, Илья Григорьевич, постеснялись назвать его фамилию? Неужели вы считаете, что еще не настала пора вернуть доброе имя тому, кого Ленин называл любимцем партии?

Другой читатель с негодованием вцепился в такую его фразу. Рассказывая об антисемитизме, с которым он столкнулся в юности, Илья Григорьевич мимоходом обронил: «Антисемитизма тогда еще стыдились».

Почему вы прямо не написали, — возмущался этот наивный читатель, — что теперь антисемитизма у нас уже не стыдятся, что этой гнусной болезнью заражены даже многие члены партии...

Эренбург этими письмами был не столько оскорблен, сколько удивлен. Он был даже растерян.

— Ну кто они, по-вашему, эти люди? — спросил он меня. — Идиоты?

— Ну почему же идиоты, — сказал я. — Раньше ходили легенды, что вы в случае чего всегда можете прямо обратиться к Сталину. А теперь — помните, вы же сами это говорили, — они уверены, что вы с Хрущевым каждый день чай пьете. Вот они и считают, что если вы чего-то там не написали, значит, побоялись.

— Неужели они не понимают, — сказал он, и в голосе его дрогнула обида, — что я работаю на пределе возможного!

Особенно, как я понял из дальнейшего разговора, его задело второе письмо. Во-первых, потому что фраза «антисемитизма тогда еще стыдились» представлялась ему исчерпывающей, не нуждающейся ни в каких дополнительных пояснениях: если «тогда» еще стыдились, значит, сейчас уже не стыдятся. Уж куда яснее! А во-вторых, как оказалось, именно из-за этой фразы в редакции разгорелся настоящий бой. Собственно, даже не из-за всей фразы, а из-за этих вот двух слов: «тогда еще».

Его настойчиво упрасивали их вычеркнуть. («Ведь это же ничего не меняет, Илья Григорьевич!»)

Упрашивал, собственно, только один член редколлегии, еврей, до смерти боявшийся любого прикосновения к этой щекотливой теме. (Тут я слегка поколебался, не мог сразу решить, стоит ли называть этого — ныне уже покойного — литератора. Но поколебавшись, решил все-таки назвать:

страна должна знать своих героев. Это был Борис Германович Закс.)

— Шабес-гой наоборот, — презрительно сказал о нем Эренбург.

Увидав недоумение на моем лице (я не знал, что означает это слово), он объяснил, что «шабес-гой» (шабес — суббота, гой — иноверец) — это слуга, специально приглашавшийся на субботу, когда правоверному еврею строжайше запрещено не только исполнять какую-либо работу, но даже отдавать распоряжения прислуге. Нельзя было, например, сказать: «Зажги лампу!» Это уже — грех. Вот для этого и приглашался «шабес-гой», специально натренированный «субботный иноверец», умеющий угадывать все желания своего хозяина.

Именно эту роль и выполнял в «Новом мире» Борис Германович Закс.

Впрочем, вряд ли только один он: наверняка были и другие.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

В середине 60-х — началась в нашей стране эпоха так называемого «подписанства». Писатели (не только писатели, конечно, но я больше знаю эту среду, поэтому говорю именно о ней) подписывали коллективные письма в защиту преследуемых диссидентов. Сначала начальство просто игнорировало это поветрие, а потом слегка взволновалось и решило принять кое-какие меры. Поначалу — довольно мягкие. «Подписантов» стали вызывать на разные собеседования, увещевать, воспитывать, осторожно намекая в то же время, что если они будут упрямиться, могут воспоследовать и наказания.

Вызвали на такое собеседование и Лидию Корнеевну Чуковскую.

Беседовал с ней один из многочисленных тогдашних секретарей Московского отделения Союза писателей — Виктор Тельпугов.

Огорченно сообщив ей, что письмо, которое она подписала, злорадно подхватили и транслировали по радио «вражеские голоса», он сказал:

— Как же вы могли, Лидия Корнеевна, обратиться за помощью, или даже просто за сочувствием, — к врагам?

— Не понимаю, — пожалала плечами Лидия Корнеевна, — почему людей, которые меня печатают, я должна считать своими врагами, а тех, кто запрещает даже упоминать в печати мое имя, — друзьями?

ПАУСТОВСКИЙ И КОТ

О сложных взаимоотношениях Паустовского с котом рассказывала жена Константина Георгиевича Татьяна Алексеевна. Сам Константин Георгиевич в продолжение всего этого ее рассказа молчал.

Если кот, — рассказывала она, — вспрыгивает на его рабочий стол и ложится на рукопись, над которой он в данный момент работает, Константин Георгиевич спокойно продолжает писать, располагая строчки сочиняемого им рассказа так, чтобы они обтекали туловище животного, не мешая ему наслаждаться согревающим его теплом настолько лампы. Но вот настает момент, когда незанятая телом кота часть бумажного листа уже заполнена и надо начинать новый. Положение становится безвыходным, и тогда писатель, желая продолжить творческий процесс, кричит:

— Таня! Прогони кота!

— Константин Георгиевич, это правда? — спросил я.

Он молча кивнул.

— Но почему же вы сами его не прогоните?

— А зачем мне портить с ним отношения?

ЭРЕНБУРГ И СОБАКИ

Впервые я увидел Эренбурга в моем родном Глинищевском переулке. Дом, в котором он жил, стоял на углу этого переулка и Тверской (тогда — улицы Горького). И в этот же переулок одной своей стороной выходила и наша необъятная Бахрушинка. Так что мы с Эренбургом, можно сказать, были соседи.

И вот однажды я увидел его.

Он гулял с двумя то ли таксами, то ли пудельками, что не

слишком меня удивило. Гораздо больше удивило меня то, что он был в берете. Прохожие на него оборачивались. Думаю, не потому, что узнавали знаменитого писателя, а как раз из-за вот этого самого берета: этот головной убор мужчины тогда в наших краях не носили.

Берет, как мне тогда показалось, их тоже впечатлял гораздо больше, чем собаки.

Хотя однажды было высказано на этот счет и другое мнение.

В. Лакшин в своих дневниковых записях (*«Новый мир во времена Хрущева»*. М., 1991) приводит рассказ Твардовского о том, как он с Эренбургом «обменялся письмами» по поводу одной из первых частей книги «Люди, годы, жизнь»:

Твардовскому показалось, в частности, что чуткого читателя может смутить, как автор «Падения Парижа» описывает свой отъезд из оккупированной Франции с двумя болонками (расписывая при этом густо все тяготы путешествия). «Маленькие комнатные собачки всегда считались у нашего народа признаком барства», — писал Твардовский.

На самом деле всё было не совсем так. То ли Александру Трифоновичу изменила память, то ли (и это скорее) он в своем рассказе Лакшину нарочно дал другое объяснение своей редакторской претензии к Эренбургу, чтобы она выглядела более убедительной.

Никаких болонок в эренбургском рассказе об отъезде из оккупированной Франции нету и в помине, как нет и «расписывания» — ни густого, ни жидкого — физических тягот этого путешествия. Речь там идет только о душевном его состоянии, которое было ужасно из-за того, какими глазами глядели на него все его друзья-антифашисты. (У нас ведь тогда был пакт с Гитлером, и немцы к сотрудникам советского посольства, вместе с которыми уезжал Эренбург, относились как к союзникам.)

А вызвавший отрицательную реакцию Твардовского эпизод с собаками был связан с совершенно иной ситуацией:

Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой-то номер: «С вами будет разговаривать товарищ Сталин».

Ирина поспешно увела своих пуделей, которые не ко времени начали играть и лаять.

Вот эта последняя фраза и вызвала гражданское негодование Твардовского.

В письме, посланном Эренбургу по поводу очередной порции публикуемых его мемуаров, среди множества других замечаний — разной степени серьезности — Александр Трифонович высказал и такое:

Фраза насчет собак в момент телефонного звонка от Сталина, согласитесь, весьма нехороша. Заодно замечу, что для огромного количества читателей ваши собаки (комнатные) в представлении народном — признак барства, и это предубеждение так глубоко, что, по-моему, не следовало бы его «эпатировать».

Какие-то редакторские (в сущности, цензорские) замечания Твардовского Эренбург принял: что-то вычеркнул, а что-то попытался спасти, слегка изменив текст. А по поводу «нехорошей» фразы о собаках высказался так:

Я не считаю, что собаки оскорбительно вмешиваются в рассказ о телефонном звонке. Что касается Вашего общего замечания, то позвольте мне сказать, что среди моих читателей имеются люди, которые любят и не любят собак. Как есть люди, которые любят и не любят Пикассо. Поскольку Вы великодушно разрешили мне излагать мои эстетические суждения, которые Вам были не по душе, разрешите мне выходить на прогулку с моими собаками.

ПЕРЕМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ

До войны на письменном столе Владимира Луговского (он жил в Лаврушинском переулке, в том самом доме, который громила булгаковская Маргарита) стояла фотография молодой Ахматовой. Но в 1946 году, после печально знаменитого постановления ЦК, жена Владимира Александровича, «страха ради иудейска», убрала этот портрет. А на его место водрузила фотографическое изображение одной из химер Собора Парижской Богородицы.

Михаил Аркадьевич Светлов, заметив эту перемену экспозиции, сказал:

— Как изменилась за эти годы Анна Андреевна!

ПРИШЛОСЬ ВРЕМЕННО ПЕРЕПОСВЯТИТЬ

Эту историю рассказал Евгений Евтушенко, вспоминая (на страницах «Огонька») о своей борьбе с советской цензурой.

Я не изменил в рассказе поэта ни одного слова:

— Одним из самых моих дерзких обманных маневров была публикация стихотворения на смерть Пастернака «Ограда». Имя Пастернака тогда в советской прессе было синонимом предательства Родины. Напечатать это стихотворение даже без посвящения было невозможно, ибо образ Пастернака просвечивал в нем явственно. В это время умер поэт В. Луговской. Я испросил у его вдовы Е. Быковой милостивое разрешение временно перепосвятить мои стихи о Пастернаке Луговскому, чтобы удалось пробить цензуру. Все читатели прекрасно поняли, о ком идет речь, а вдова Луговского, печально улыбнувшись, сказала: «Володя не обидится. Он это поймет...»

ОДИН В ДВУХ ЛИЦАХ

Самуил Яковлевич Маршак шутил, что Ваншенкин и Винокуров — это, в сущности, один поэт. У них ведь и фамилия одна и та же: Ваншенкин — это измененное «Вайншенкер». В переводе на русский — «Винокуров».

Женя Винокуров, когда я пересказал ему эту остроту старика, отнесся к ней довольно добродушно. (Как видно, услышал ее уже не в первый раз.)

— Бог с ним, с Маршаком, — сказал он. — Гораздо хуже то, что и Лесючевский тоже рассматривает меня и Ваншенкина как одного поэта.

Лесючевский был тогда директором (точнее — председателем Правления) издательства «Советский писатель».

В ответ на мой немой вопрос Женя пояснил:

— Недавно говорю я ему, что давно пора бы уже выпустить новую мою книгу. А он мне: «Ну, знаете, вы с Ваншенкинским не можете на нас обижаться. В прошлом году мы выпустили книгу Ваншенкина. И в позапрошлом. Да и три года назад тоже, мне помнится, вышла у нас книга Ваншенкина. Нет-нет! Кто другой, но вы с Ваншенкинским никак не можете на нас обижаться!»

КОГДА БОЛЬШЕ НЕЧЕМ ВЗЯТЬ...

В последние годы жизни Владлена Бахнова мы — вечерами — часто гуляли с ним по переулкам и закоулкам, пролегающим меж нашими кооперативными домами на Аэропортовской. Гуляя, естественно, разговаривали.

Однажды разговорились на самую болезную для него (отчасти и для меня тоже) тему: о гибели любимого жанра — литературной пародии. сетовали на то, что нынешние пародисты пишут, в сущности, не пародии, а растянутые эпиграммы, стихотворные фельетоны, поскольку пытаются пародировать пустоту: прозаиков и поэтов, у которых нет ни своего голоса, ни своей манеры, ни своего индивидуального, узнаваемого стиля.

Главным губителем жанра при этом мы дружно называли самого знаменитого, да, пожалуй, и самого одаренного современного пародиста — тоже, увы, теперь уже покойного Александра Иванова.

Владик в том разговоре был более резок, чем я. Резок настолько, что в какой-то момент мне вдруг захотелось вступить за изничтожаемого им «пересмешника».

Я сказал:

— Вообще-то ведь он человек талантливый.

Владик мгновенно отреагировал:

— Когда больше нечем взять, берет талантом.

У НАС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НЕ БЫВАЕТ

Одно время я кормился при «Новом мире», отвечая на рукописи. В основном это был так называемый самотек. За каждый ответ платили какую-то ерунду, но я брал своим количеством, благо поток этого самотека был неиссякаем.

И вот однажды, принеся и сдав очередную пачку своих ответов, уже на выходе я услышал голос вахтерши. Она говорила с кем-то по телефону.

— Получите, — говорила она. — Обязательно получите... Когда вы сдали ваши стихи? Месяц назад? Ну вот, скоро, значит, и получите... Все, что надо, вам напишут... Как, вы говорите, ваша фамилия?.. Булыга?.. Не волнуйтесь, товарищ Булыга, обязательно будет вам ответ... Какой ответ?.. Отрицательный...

Тут я остановился и с интересом стал слушать.

Среди авторов рукописей, ответы на которые я принес, был и Булыга. (Фамилия довольно редкая, поэтому я хорошо ее запомнил.) И вот что самое интересное: отзыв мой на стихи этого Булыги действительно был отрицательный.

— Это уж я не знаю. Не могу вам сказать, — продолжала меж тем тетя Паша. — Это вам все подробно напишут. А я только знаю, что отрицательный...

Когда разговор был закончен и трубка повешена, я спросил:

— Тетя Паша! А откуда вы знаете, что ответ ему будет отрицательный?

Тетя Паша объяснила:

— А у нас положительных не бывает.

ИНКОГНИДА

Вахтерша «Нового мира» тетя Паша была совершенно права. Положительных ответов на самотек быть просто не могло. Это предполагалось самой сутью существовавшей тогда системы.

Это сейчас на титульном листе каждого периодического издания предупреждают: «Рукописи не возвращаются и ни в какие объяснения с авторами отвергнутых рукописей редакция не вступает». А при советской власти была твердая установка: на каждое письмо в редакцию автор во что бы то ни стало должен получить ответ. Так возник институт «литконсультантов». Существовало даже специальное централизованное учреждение: «Литературная консультация при Союзе писателей СССР». Это была неплохая кормушка для нашего брата. Рукописи шли непрерывным потоком. Как правило, они были чудовищно бездарны. Унылая их безликость лишь изредка оживлялась какой-нибудь чудовищной, особенно вопиющей безграмотностью, иногда, впрочем, граничащей с гениальностью. Вот — пример, ставший в своем роде классическим:

Окончилась драма,
Закончен жизни путь.
Течет вода из крана,
Забытая заткнуть.

Такие перлы попадались, к сожалению, не часто. Но однажды и мне повезло. На отзыв была прислана пьеса. Вся она умещалась в школьной тетрадке. В чем там было дело, я сейчас уже не помню. Помню только список действующих лиц. Заключала его такая фигура:

ИНКОГНИДА — враг народа. Действует за сценой.

МОЁ ПОЗОРНОЕ ЛЕГКОМЫСЛИЕ!

В середине 60-х Евтушенко опубликовал на Западе свою «Автобиографию», и это стало поводом для очередного политического скандала. Насколько я помню, никакой крамолы в этой «Автобиографии» не было. С упоением автор рассказывал там о многочисленных своих победах — в жизни и в искусстве. Но главным образом почему-то — в физкультуре и спорте. Был там, например, замечательный рассказ о том, как в юности, играя в футбол, он, стоя вратарем, забил гол прямо из своих ворот в ворота противника, послав мяч через все поле. Запомнилась еще такая душераздирающая история. Гостя у Федерико Феллини и Жюльетты Мазини, отправился он на рассвете купаться. Заплыл — по обыкновению — далеко в море. А когда стал возвращаться, вдруг началась у него судорога — свело ногу. И он стал тонуть. Никакого страха, однако, он при этом не испытывал. Было только чувство некоторой неловкости от того, что, утонув, он причинит тем самым некоторые неприятности своим друзьям — Федерико и Жюльетте. Именно эта мысль побудила его отчаянно бороться за свою жизнь. И он вспомнил, что в плавках, в специальном карманчике, у него, как у всякого опытного пловца, была припрятана иголка — специально на такой вот случай. Достав иголку, он воткнул ее себе в ногу, судорога прошла, и он благополучно выплыл на берег. Федерико и Жюльетта так и не узнали, какой опасности подвергалась их репутация гостеприимных хозяев.

Именно из таких вот историй, напоминающих не столько даже рассказы Хлестакова, сколько рассказы барона Мюнхгаузена, и состояла эта «Автобиография».

Скандал тем не менее разразился большой. Крамола — с точки зрения начальства — состояла не в содержании нераз-

решенного произведения, а в самом факте его опубликования. И поэту пришлось каяться, признавать ошибки, разоружаться, как тогда говорили, перед партией.

«Разоружение» происходило в большом зале Центрального дома литераторов. Зал был полон. Были там и сочувствующие поэту, были и злорадствующие. А поэт, стоя на трибуне, держал речь.

Наблюдая это зрелище, я подумал, что если бы снять все это на кино пленку и показать потом на экране немой фильм, зрителям этого фильма представилась бы картина, не имеющая ничего общего с тем, что происходило в натуре. Они увидели бы на трибуне — агитатора, горлана, главаря. С вдохновенным лицом, потрясая сжатым кулаком, он выкрикивал что-то гневное и патетическое. Это был пламенный трибун, готовый идти за свои убеждения на костер, как какой-нибудь Джордано Бруно.

Но если бы под эту не озвученную пленку подложили фонограмму и немой фильм стал звуковым, изумленные зрители услышали бы:

— Мое позорное легкомыслие!

ШКЛОВСКИЙ НА БЕЛОМОРКАНАЛЕ

В начале 30-х арестовали брата Виктора Борисовича, известного филолога Владимира Борисовича Шкловского. Виктор Борисович обратился за помощью к Горькому, и тот — не так чтобы очень охотно, — но все-таки поговорил с Ягодой. И Ягода позвонил Шкловскому. Назвав его по имени и отчеству, он сказал, что Владимир Борисович на Беломорканале, куда он отправлен на «перевоспитание», что условия там хорошие и вообще все в порядке, в чем он, Виктор Борисович, может лично убедиться, если захочет туда поехать. Заодно и посмотрит своими глазами на эту великую кузницу, где бывших преступников чекисты перековывают в полезных членов общества. И Виктор Борисович поехал.

Спасти брата ему не удалось: Владимир Борисович впоследствии так и погиб там, на сталинской каторге.

Но Виктора Борисовича во все время его поездки по Беломорканалу чекисты принимали как дорогого гостя: знали

ведь, по чьему личному указанию он сюда прибыл. И как-то один из хозяев поинтересовался у дорогого гостя, как он себя тут, у них в гостях, чувствует.

И вот тут-то и прозвучал его знаменитый ответ:

— Как живая чернубуря лиса в меховом магазине.

ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ НЕ БЫВАЕТ ХОРОШИХ ВРЕМЕН

Из многих моих разговоров с Виктором Борисовичем особенно запомнился мне один, который быстро перешел в спор, чуть было не кончившийся скандалом.

Начал Виктор Борисович.

— Я за вас не боюсь, — сказал он. — Время, конечно, плохое... Что говорить, скверное время. Но ведь все времена плохие. Для литературы не бывает хороших времен. Назовите мне хоть одного писателя, который жил в хорошее время... А-а, не можете?... Вот то-то и оно!

Не знаю, какая муха меня тогда укусила (с Шкловским я раньше никогда не спорил, не смел спорить), но в ответ на это мудрое замечание я вдруг стал орать, что нет! Неправда! Того, что творится с литературой у нас, не было никогда! Ни в одну эпоху! Никогда литератору, особенно молодому, начинающему, входящему в литературу, не было так плохо, как у нас.

— Ваши жалобы, — ответил Шкловский со своей неповторимой «улыбкой Будды», — напоминают рассуждения девицы, которая боится выходить замуж: «Вам небось хорошо, маменька! Вас-то выдали за папеньку! А мне за чужого мужика иди!»

НАДО ЛИ УСТУПАТЬ ДОРОГУ АВТОБУСУ

Виктор Борисович спросил меня, что я пишу или собираюсь написать (дело было в начале 60-х). Я сказал, что главный редактор «Дня поэзии» (это был Смеляков) предложил мне написать, о ком хочу. Дал мне, так сказать, карт-бланш. Я сказал ему, что хочу написать об Ахматовой. (Тогда после долгого перерыва вышла ее маленькая зелененькая книжка, которую она называла «лягушкой».) Ярослав Васильевич на это мое предложение отреагировал без энтузиазма. Хмуро буркнул:

– Ну, пишите.

Когда я рассказал об этом Виктору Борисовичу, он вздохнул:

– Ведь не напечатают.

Я согласился, что да, конечно, скорее всего не напечатают. А когда он сказал в ответ, что не понимает, зачем тратить время и силы на заведомо обреченное предприятие, стал доказывать, что наше дело — барахтаться, пытаться сделать всё, что в наших силах, не думая о том, каков будет результат.

Спокойно выслушав эти мои доводы (сейчас я изложил их значительно короче, чем в том своем монологе), он сказал — все с той же, хорошо мне знакомой, ласковой и печальной «улыбкой Будды»:

– Понимаете... Когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости.

А ВЫ НЕ БОИТЕСЬ?

В середине 50-х большая группа московских писателей заселила новый, только что построенный кооперативный дом на улице Черняховского — около метро «Аэропорт». (Сейчас в нашем микрорайоне его зовут «старый писательский».)

Среди вселившихся был Виктор Борисович Шкловский. Вдвоем с женой они заняли сравнительно небольшую двухкомнатную квартиру, разместив в ней свой нехитрый скраб (в основном — книги). Трехкомнатную квартиру, которую Шкловский для себя просил, ему не дали. Так и жил он до смертного часа в этой двухкомнатной, где ему было все-таки тесновато (книги, книги, всегда, где бы ни жил, он обрастал невероятным количеством книг: это была уже третья его библиотека).

В отличие от Шкловских, многим новоселам достались трехкомнатные и даже четырехкомнатные квартиры.

Среди них тоже были литераторы разного достатка. Но владельцы четырехкомнатных, как правило, были люди богатые, и свой новый быт они устраивали с размахом. Обставляли квартиры красным деревом и карельской березой. Вешали какие-то немислимые антикварные люстры. Каждый (а каждый из них, говоря словами Зощенко, был «кавалер и у власти») старался в чем-то превзойти соперника. И едва ли не каждый норовил при этом зазвать в гости Виктора Борисовича.

(Человек «с раньшего времени», повидал кое-что на своем веку, кто еще, если не он, может оценить истинный вкус.)

В иную, более позднюю эпоху мне случилось побывать в одной такой квартире. С несколькими друзьями мы собирали среди писателей подписи под обращением к писательскому съезду в поддержку Солженицына. Мой напарник сказал:

— Давай пойдем к такому-то!

Он назвал фамилию известного драматурга, достаточно сервильного и потому неизменно преуспевавшего: и в сталинские, и в послесталинские времена. Я поначалу уперся, твердо зная, что тот нашего письма ни за что не подпишет. Но напарник меня уговорил.

Драматург предстал перед нами в каком-то неописуемом пурпурном халате, провел в свой кабинет, усадил в ампирные кресла, а сам уселся за письменный стол, за которым впору было бы сидеть Людовику Четырнадцатому.

Прочитав имена писателей, которые уже поставили под нашим воззванием свои подписи, он сказал:

— Нет, этого письма подписать не могу. У вас ведь тут нет ни одного коммуниста!

В общем, мы с напарником ушли несолоно хлебавши, и в памяти моей от того визита осталась только эта фраза в сочетании с пурпурным халатом и столом Людовика Четырнадцатого.

Тут, конечно, вышло бы очень славно, если бы ту знаменитую реплику, ради которой я затеял этот мой слегка затянувшийся рассказ, Виктор Борисович кинул именно ему, этому коммунисту в барском халате. Но для такого утверждения у меня, к сожалению, нет никаких данных. Твердо знаю только одно: будучи зазван к кому-то из этих «кавалеров и у власти», Виктор Борисович оглядел всю представшую пред его взором антикварную роскошь и с той же неизменной своей улыбкой произнес:

— А вы не боитесь, что придут красные?

ЧЁРНАЯ ИКРА

Один московский писатель, большой франт, мечтал сшить себе костюм из только входившей тогда в моду материи, именуемой в их среде «черной икрой». Фактура этой материи и в самом деле чем-то напоминала черную икру:

темный фон и — мелкие-мелкие, как икринки, серовато-блеклые крапушки.

В магазине купить такую материю, разумеется, было невозможно. В ателье Литфонда ее тоже не было. С колоссальным трудом проникнув в еще какое-то закрытое ателье, он убедился, что и там тоже этой вожденной материи не оказалось. Тем не менее люди в таких костюмах все-таки попадались ему на разных премьерах, вечерах и приемах. Где-то, значит, всё-таки существовало какое-то — еще более закрытое — ателье, где шились эти замечательные костюмы!

Знающие люди объяснили ему, что такое — еще более закрытое — ателье действительно существует. Это — ателье КГБ. И сшить костюм, о котором он мечтал, можно только там.

Предприняв поистине героические усилия, писатель все-таки добился своего: проник в это самое сверхзакрытое ателье и заказал себе там свой вожденный костюм из материи «черная икра». А когда костюм был готов, ему как раз представился замечательный случай обновить его: он был приглашен на какой-то важный кремлевский прием.

Оказавшись на этом приеме, он внимательно оглядывал всех знакомых и незнакомых писателей и с удовольствием отмечал, что ни на одном из них такого костюма, как на нём, не было. Нет, вообще-то люди в таких костюмах там на глаза ему попадались. Но это всё были не писатели, а, судя по всему, представители иных, более высоких сфер, куда простым писателям доступа не было.

Почувствовав себя причастным к этим высоким сферам и потому очень собою довольный, уже сидя за банкетным столом, он потянулся к блюду с черной икрой, мысленно придумывая каламбур насчет «черной икры», облегаящей его фигуру, и черной икры, щедро намазываемой им на хлеб, как вдруг сидящий рядом человек — в точно таком же костюме, какой красовался на нём, — пронзив его недовольным, осуждающим взором, склонился к его уху и прошипел:

— Полковник велел на икру не налегать!

...И НЕ ПИСАЛ!

Был такой человек — Владимир Иванович Орлов. По образованию он был, если не ошибаюсь, физик. А по роду занятий — карьерист. Карьеру начал делать еще в сталинские

времена и делал ее весьма успешно. При Хрущеве довольно долго был главным редактором газеты «Советская культура».

В последние годы своей жизни, находясь уже на заслуженном отдыхе, он часто и подолгу жил в Малеевке.

Это был полный, даже несколько рыхлый господин с пресыщенным лицом римского патриция. Весьма пожилой. Пожалуй, даже старый. Он обычно сидел в кресле — в вестибюле — в окружении молодых женщин, которые глядели ему в рот. А он что-то такое им вкручивал.

Мне стало интересно: чем этот потрепанный господин так привлекает к себе юные женские сердца? И вот однажды, проходя мимо, я нарочно замедлил шаги и прислушался. Он говорил о том, какое благотворное действие оказывает близость молодых женщин на стареющего и даже совсем дряхлого мужчину. И привел классический пример: царю Соломону, когда он был уже чуть ли не при смерти, подкладывали в постель юных девиц. И хотя царь вроде уже не мог извлечь из общения с ними решительно никакого удовольствия, близость их юных тел производила необыкновенное оздоравливающее действие на его старческий организм, даже на деятельность его слабеющего мозга.

— Жаль, — не удержался я, — что это замечательное средство не применили к Сталину. Может быть, если бы и ему догадались подкладывать на ночь юных девиц, его мозг тоже стал бы лучше работать.

Орлов мрачно на меня поглядел и, помедлив, злобно ответил:

— Хрущеву надо было их подкладывать.

Не нашел более остроумного ответа.

Это меня удивило: человек он был ума острого.

Однажды — там же, в Малеевке, — ему дали газету, в которой появилась какая-то особенно гнусная даже по тем временам антисемитская статья.

Он долго, внимательно читал её. Дочитал до конца. Аккуратно сложил газету и задумчиво сказал:

— Да-а... Давно я таких статей не читал.

Подумал и добавил:

— И не писал.

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Когда я работал в «Литературной газете», там на каких-то неведомых мне ролях подвизался очень милый, добродушный пожилой еврей по фамилии Бланк. Он был сотрудником Отдела внутренней жизни. Каковы были там его обязанности, я не знаю, да, по правде сказать, не очень этим и интересовался: отдел литературы, в котором я работал и который, естественно, представлялся мне самым важным в газете, был своего рода государством в государстве. Сотрудники всех других отделов по тогдашней моей самонадеянной глупости представлялись мне людьми второго, а то и третьего сорта. Тем более какой-то там старик-Бланк, который с тем же успехом мог бы работать в любой другой газете — скажем, в «Социалистической индустрии» или даже в какой-нибудь затруханной заводской многотиражке, — и только волею каких-то неведомых мне, наверняка совершенно случайных обстоятельств оказался в Литературке.

Но однажды я увидал, как с Бланком обнимается и целуется, как с родным, знаменитый в ту пору литературный ас — Зиновий Паперный. Он как-то особенно любовно оглаживал Бланка, хлопал его по плечу. Потом они долго о чем-то говорили, снисходительно поглядывая на пробежавших мимо с гранками в руках молодых (вроде меня) сотрудников. Сразу видно было, что старые бойцы «вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». И вот тут-то я и соблаговолил наконец поинтересоваться, кто такой Бланк и чем он занимается в моей родной газете.

— О! Это великий человек, — сказал Зяма, когда я задал ему этот вопрос. И рассказал такую историю.

Когда он — Зяма то есть — пришел работать в Литгазету, он, естественно, ничего не умел, понятия не имел, что тут с чем едят, и страшно боялся первого своего редакционного задания. И вот этот грозный миг наступил. Его вызвал к себе сам Ермилов (он был тогда главным редактором). Трепеща и содрогаясь, юный Паперный переступил порог редакторского кабинета. Там уже сидел Бланк.

Без долгих предисловий, коротко и ясно Ермилов сформулировал задачу, которую им двоим предстояло выполнить. Необходимо было срочно — в номер — написать передовую

статью под названием «Литература и жизнь». Зяма хотел было что-то спросить, уточнить, получить какие-то дополнительные пожелания и инструкции, но — не успел: Бланк молча кивнул и, взяв Зяму под руку, вывел его из редакторского кабинета.

— Как мы будем работать? — спросил растерянный Зяма, когда они с Бланком остались одни.

— Очень просто, — сказал Бланк. — Я ничего не понимаю в литературе, но я знаю жизнь. А вы ничего не понимаете в жизни, но знаете литературу. Поэтому вы идите к себе и пишите про литературу. А я пойду к себе и буду писать про жизнь.

— А как это всё потом соединится? — спросил мало чего соображающий Зяма.

— Очень просто, — ответил Бланк. — Свою часть вы закончите такой фразой: «А между тем литература всё еще не...»

Зяма так и сделал. И эта волшебная фраза соединила написанный им текст с текстом Бланка так прочно, что два эти текста сразу срослись в один. И никакому, самому придирчивому читателю (разумеется, если исходить из того, что у газетных передовиц был тогда хоть один читатель) даже в голову бы не пришло, что этот монолит создавали порознь два совершенно не знающие друг друга, почти даже не знакомые друг с другом человека.

В литературе Бланк и в самом деле ничего не понимал. Но что правда, то правда: жизнь он знал.

РАССКАЗ О РАБОЧЕМ КЛАССЕ

Эту историю мне рассказал Александр Альфредович Бек.

Позвонил ему как-то один писатель, живущий в соседнем — тоже писательском — доме, и сказал, что он сейчас составляет для одного крупного столичного издательства сборник рассказов о рабочем классе. Так вот, не найдется ли у Александра Альфредовича какого-нибудь рассказа на эту тему.

Александр Альфредович вспомнил, что да, действительно, есть у него небольшой рассказ, который подходит под эту галочку. Обещал разыскать рукопись. Разыскал. Договорились встретиться в нашем дворе.

Встретились, сели на лавочку. Бек достал обещанный

рассказ и вручил его соседу. Тот поблагодарил. И стал жаловаться.

Вот, издательство поручило ему составить сборник рассказов о рабочем классе. Он взялся. Но дело это оказалось совершенно неподъемное. О рабочем классе, как выяснилось, никто из писателей сейчас не пишет. А ведь это такая важная тема. Ведь быть рабочим — это самая высокая, самая прекрасная должность человека на земле. Но молодые люди этого, к сожалению, не понимают. Мы обязаны воспитывать молодежь в этом духе...

Бек вежливо выслушал этот монолог и хотел было уже распрощаться. Но ему было неудобно прервать встречу, ограничившись, так сказать, официальной частью. Поэтому — прежде чем уйти — он спросил у своего собеседника:

— Ну, а как, вообще, жизнь?

— Плохо, — ответил тот. — Сын еле-еле тянул на тройки, а сейчас вот совсем бросил школу. В институт, конечно, уже не поступит. Будет простым рабочим...

Выразив свои соболезнования отцу будущего представителя рабочего класса, Бек простился с ним и пошел домой — писать свой многострадальный роман «Новое назначение».

ЗНАЧИТ, ВЫ НЕ ПИСАТЕЛИ...

К нам в институт приехал Эренбург.

Но сперва несколько слов об институте. Назывался он — «Литературный институт имени А.М. Горького при Союзе советских писателей». Над ним посмеивались, как над еще одной из множества наивных, романтических и нелепых затей великого пролетарского писателя. Что-то вроде им же брошенного лозунга: «Ударники в литературу!»

Тем не менее мы гордились своим институтом, — как твердили нам на каждом шагу, единственным в мире. На ехидные замечания, что «на писателя» выучиться нельзя, поскольку поэтами не делаются, а рождаются, отвечали, что институт наш, как сказано в его уставе, «имеет целью дать высшее литературно-филологическое образование молодым писателям, уже проявившим себя...» и т. д. Предполагалось, таким образом, что принятые в Литературный институт и

обучающиеся в нем молодые люди — уже писатели. Необразованные, не слишком грамотные, но — писатели.

То, что формула эта как бы предполагала, будто писатель может быть необразованным и даже не шибко грамотным, нас ничуть не смущало. Появилась же однажды в «Правде» передовая статья, самым заголовком своим утверждающая, что — «Писатель должен быть интеллигентным человеком». Статья эта, помню, наделала в писательской среде большой переполох. Писатели возмутились: мало того, что их постоянно призывают учиться у партии, у народа, изучать жизнь и уметь отыскивать в ней ростки нового, так вот — на тебе! Новая напасть: надо еще, оказывается, быть интеллигентным...

Но это было много позже. А в то время когда я учился в Литинституте, таких непомерных требований к писателям еще никто не предъявлял. И почти никто из моих однокашников не подвергал сомнению тот безусловный факт, что все мы и в самом деле — писатели. Тем более что многие из нас уже постоянно печатались, а у некоторых даже прорезались — или были на подходе — первые книги.

И вот к нам приехал Илья Эренбург.

Три вечера подряд он рассказывал нам о тайнах писательского ремесла.

Слушали его нельзя сказать, чтобы с восторгом, но, во всяком случае, с интересом. И всё шло гладко. Но на исходе третьего вечера произошел такой небольшой казус.

Сказав, что описывая гибель своего героя писатель как бы примеряет свою собственную смерть, Эренбург припомнил хрестоматийную историю про Бальзака.

— Однажды к Бальзаку, — рассказывал он, — пришел его приятель. Он увидел писателя сползавшим с кресла. Пульс был слабый и неровный. «Скорее за доктором! — закричал приятель. — Господин Бальзак умирает!» От крика Бальзак очнулся и сказал: «Ты ничего не понимаешь. Только что умер отец Горио...»

И тут в зале засмеялись.

Не стану утверждать, что гоготал весь зал, но это не был смех двух-трех белых ворон. Смеялись многие, могло даже показаться, что все.

Эренбург побелел. У него задрожали губы. Видно было, что этот смех ударил его в самое сердце. Он воспринял его

как личное, смертельное оскорбление, ответить на которое можно было только пощечиной. И он ответил.

— Вы смеетесь? — с презрением кинул он в зал. — Значит, вы не писатели!

ОБРАТИМСЯ К БОГУ!

В Союзе писателей (в Московском отделении) обсуждали первую часть «Ракового корпуса». (Вторая еще не была написана.) Когда автору кто-то дипломатично указал на это обстоятельство, опасливо заметив, что, может быть, стоило бы подождать с обсуждением, пока вещь не будет доведена до конца, он — не менее дипломатично, но без ложной скромности — ответил, что в русской литературе разные случаи бывали. Бывало, например, и такое, что вторая часть какой-нибудь повести так и осталась недописанной или даже была уничтожена (сожжена) автором.

Как бы то ни было, обсуждение состоялось. Было оно весьма выразительным, но пересказывать всё, что там было, я не стану, тем более что краткий стенографический отчет этого обсуждения опубликован в шестом томе собрания сочинений А.И. Солженицына, изданного «Посевом». Расскажу только о том, что в стенограмму не попало.

Не попал, например, скандальный эпизод, связанный с моим выступлением. А его запечатлеть стоит. Что я и сделаю, заранее испросив прощения у читателя за вынужденную нескромность.

Сознавая всю важность предстоящего мероприятия, я свою речь написал, хотя выступать «по бумажке» никогда не любил. Но тут всё-таки был случай особый, и я решил поступиться принципами. Человек, однако, предполагает... В общем, из этих моих благих намерений ничего не вышло.

Случилось так, что как раз передо мною выступала Зоя Кедрина, связь которой с нашими славными органами ни для кого не была тайной, поскольку незадолго до этого ее выпустили в роли «общественного обвинителя» на процессе Синявского и Даниэля. С той ролью она более или менее справилась, поскольку там на ее стороне были все силовые ведомства могущественной ядерной державы. Здесь же обстановка была другая. Здесь ей можно было и возразить.

Короче говоря, когда председательствующий Георгий Берёзко выкликнул мое имя, я сразу свернул свою заранее заготовленную речь в трубочку и спрятал ее в боковой карман. А сказал примерно следующее:

— Мой учитель Виктор Борисович Шкловский написал однажды, что Булгарин вовсе не травил Пушкина. Он просто давал ему руководящие указания. С той поры прошло много лет. Отменили крепостное право. Разразились две или даже три революции. И вот сегодня, как ни в чем не бывало, Кедрина дает руководящие указания Солженицыну...

Кедрина при этих словах встала и, шурша юбками, с гордо поднятой головой покинула зал.

Берёзко, который и до этого-то уже сидел на своём председательском месте в мокрых штанах, тут совсем потерял голову.

— Как вы смеете! — тонким фальцетом завизжал он. — Как у вас язык повернулся своего товарища, писателя, сравнить с агентом Третьего отделения!

Отнюдь не стремясь найти удачный ответ, скорее от чистой растерянности, я сказал:

— Своего товарища я сравнил с Пушкиным.

Понятное дело, скандальность происшествия я этой репликой не уменьшил.

С грехом пополам выговорив всё — или почти всё, — что было написано в лежавшей у меня в кармане бумажке, я протолкался через битком набитый зал и боковой дверью вышел на лестницу, куда в таких случаях направлялись обычно только заядлые курильщики. Там стоял Виктор Николаевич Ильин — бывший генерал-лейтенант КГБ (если только генералы этого ведомства бывают бывшими), а ныне — оргсекретарь Московского отделения.

Укоризненно покивав мне, он сказал:

— Не ожидал... Не ожидал от вас...

Не помню дословно, что я ответил, но, видимо, что-то очень похожее на традиционный плаксивый ответ нерадивого пятиклассника, вызванного на ковер директором школы: «А что я сделал?..»

— Ну как же, — пояснил Виктор Николаевич. — Вы ведь знаете, как к нам сейчас относятся... На Московское отделение каких только собак не вешают... Знаете, каких усилий

нам стоило провести это обсуждение... Всё так хорошо шло, спокойно, корректно... И вдруг — бац! Вылезаете вы и сравниваете своего товарища, коллегу, с агентом Третьего отделения...

Не оценив даже по-настоящему всю пикантность этой реплики (важный чин этого самого Третьего отделения сравнение с агентом его ведомства воспринимает как оскорбление), скорее всё от той же растерянности я возразил:

— Позвольте, Виктор Николаевич! Это ведь не я, это Берёзко сказал про Третье отделение. А я имел в виду совсем другое. Я просто хотел сказать: кто она такая, Кедрина, чтобы поучать Солженицына? Она в сравнении с ним — как Булгарин в сравнении с Пушкиным. Ничтожная литературная вошь имеет наглость как ни в чем не бывало, с полным сознанием своего права учить Солженицына, как надо ему писать свои книги.

— Вы в самом деле только это имели в виду? — быстро спросил Ильин.

— Ну да, конечно! — с чистым сердцем подтвердил я.

— Так, может, вы объясните это собранию?

— Ну нет, — сказал я. — Раз уж вы все поняли меня так, пусть оно так и остается.

Виктор Николаевич был человек неглупый, настаивать он не стал.

Когда мы с ним вернулись в зал, спектакль приближался к финалу. Берёзко уже даже произносил какие-то обтекаемые заключительные слова. Но тут из зала послышались выкрики:

— Резолюция!..

— Надо принять решение!...

— Какое еще решение?

— А вот такое: собрание московских писателей считает, что повесть Солженицына непременно должна быть опубликована...

— Но у нас нет таких полномочий! — задергался до смерти перепугавшийся Берёзко. — Это не наша прерогатива...

— Значит, мы должны обратиться с таким требованием...

— К кому обратиться?.. Куда мы можем обратиться?.. — беспомощно вопрошал несчастный Берёзко.

И тут на подиум (никакого подиума там, понятное дело,

не было, но именно это слово почему-то кажется мне тут наиболее подходящим) вышла Белла Ахмадулина. Ее юное лицо, возбужденное одушевлявшим ее прекрасны порывом и немного алкоголем, было прелестно. Божественным своим голосом она произнесла:

— Если нам не к кому обратиться, давайте обратимся... — по-балетному пластичным, но в то же время каким-то очень естественным движением воздев свои тонкие изящные руки к потолку, она пропела: — к Бо-огу!

Случайно я взглянул в этот момент на Солженицына. Он смотрел на Беллу с каким-то отстраненным любопытством — острым, цепким, изучающим взглядом. Как на какое-нибудь редкое, экзотическое животное.

Впрочем, я думаю, он на всех нас тогда смотрел так же.

ЛУЧШЕ ЭТИХ НЕСКОЛЬКИХ СТРОК ОН В СВОЕЙ ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ НАПИСАЛ

Когда я работал в «Литературной газете», моим начальником был очаровательный человек — Михаил Матвеевич Кузнецов. Мы сразу с ним подружились: легко перешли «на ты» и называть я его стал фамильярно — Михмат. Такое амикосонство в отношениях с высоким начальством было явлением не то чтобы редким, а прямо-таки уникальным. Михмат и по возрасту был гораздо меня старше, а по субординации — и говорить нечего: я был рядовой литсотрудник (исключительно для красоты слога нас именовали спецкорами), а он — заместитель главного редактора.

По работе, однако, у нас с Михматом постоянно возникали конфликты. И не только у меня одного: у всех сотрудников нашего (литературного) отдела. Близко сойдясь со всеми нами, Михмат — не без некоторых к тому оснований — подозревал каждого из нас в желании протащить на газетные полосы какую-нибудь крамолу. Поэтому любой материал, который мы клали ему на стол, он норовил забодать. Реакция при этом у него всегда была одна и та же. Строго говоря, реакции было две. В одних случаях он говорил:

— Нет, ребята, это не пойдет! Это антисоветчина!

В других случаях фраза звучала несколько иначе:

– Нет, ребята, это не пойдет! Это – жеребятина!

Поскольку по части антисоветчины – равно как и по части того, что он называл жеребятиной, – Михмат не только нам, но и себе самому тоже не очень доверял, он постоянно дул на холодное. Мы же с самым невинным видом уверяли его, что антисоветчина (уже не говоря о жеребятине) в наших материалах ему только мерещится.

И вот вызвал меня однажды Михмат в свой кабинет и строго, заранее пресекая всякую полемику, сказал:

– Это статья Панферова. Я ставлю ее в номер. Ты будешь ее вести. Только, пожалуйста, без всяких этих ваших штучек. Никакой правки... Ни одной запятой... Панферов – это Панферов! Грамотно там или неграмотно, вот так, как он написал, так и напечатаем... Ты меня понял? Ни одной запятой!..

Я пожал плечами и, даже не заглянув в рукопись живого классика, отнес ее в машинное бюро. Потом, так же, не читая, заслал перепечатанный текст в набор. Так же, не читая (зачем читать, если все равно нельзя изменить ни одной запятой?) подписал гранки. Но когда пришла контрольная полоса, я подумал: «Дай-кось все-таки прочту этот бред!» И прочел. И к огромному своему удовольствию обнаружил там такой абзац:

Вот уже сорок лет советский народ, преодолевая неимоверные трудности, по колено в крови, по колено в гвоздях и строительном мусоре, безропотно строит коммунизм!

По колено в крови и по колено в гвоздях – это тоже было неплохо сказано. Но более всего меня восхитило, конечно, слово «безропотно». Вот уж правда: умри, Денис, лучше не напишешь!

«Ну, погоди, – злорадно подумал я о Михмате. – Сейчас я тебе покажу ни одной запятой!»

– Воля твоя, Михмат, – сказал я, войдя к нему в кабинет, – но я не могу выполнить твое распоряжение. Кое-что в статье Панферова все-таки придется поправить.

– Я русским языком тебе сказал! – заорал Михмат. – Ни одной запятой! Неужели непонятно, что эти ваши эстетские штучки тут неуместны! Это Панферов! У него свой стиль! Он, в конце концов, имеет право даже и на безграмотность!..

– На безграмотность, пожалуйста, – сказал я. – Сколько угодно. Но есть вещи, которые мне просто моя гражданская

совесть не позволяет... Как хочешь, но в таком виде я эту статью не подпишу...

Тут с Михматом случилась настоящая истерика. Он долго выкрикивал какие-то слова насчет вонючих эстетов с шестого этажа. Орал, что дядя Митя (так мы звали между собой главного нашего врага – заведующего отделом культуры ЦК партии Дмитрия Алексеевича Поликарпова) вскорости нас разгонит и будет совершенно прав...

Но когда он открывался, я все-таки ткнул его носом в тот злополучный абзац.

Продолжать крик у Михмата сил уже не было, и ему не оставалось ничего другого, как вникнуть в отчеркнутый мною текст. А когда он вник...

– Предоставляю тебе самому определить, что это такое, – сказал я. – Антисоветчина? Или, может быть, скорее все-таки жеребятина?

Задумчиво взяв свой красный редакторский карандаш, Михмат – с некоторым даже, как мне показалось, сожалением, – вымарал крамольные строки.

Сожаление его было мне понятно. Ведь ничего лучше этих нескольких строк за всю свою долгую жизнь Федор Иванович Панферов не написал.

АУКЦИОН В ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ

На этом аукционе были выставлены на продажу книги с автографами писателей. Томик сонетов Шекспира в переводах Маршака с автографом Самуила Яковлевича ушел за 100 рублей. (В описываемое время – деньги немалые.)

Когда цена эта была объявлена, из зала прозвучала громкая реплика Ярослава Смелякова:

– Если с автографом Шекспира – даю тысячу!

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ В ИНСТИТУТЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Институт Мировой Литературы имени А.М. Горького Российской Академии Наук – учреждение весьма почтенное. И все проходящие там научные дискуссии носят, как правило, характер сугубо академический.

Но на этот раз дело приняло несколько иной оборот.

Обсуждался вопрос: насколько бесспорен тот факт, что автором «Тихого Дона» действительно является Михаил Шолохов?

Дискуссия шла довольно вяло. Почти все высказывавшиеся пели осанну Михаилу Александровичу, говорили о его гениальности и о том, что любое сомнение в его авторстве — прямое кощунство.

Кто-то сказал, что Шолохов не просто русский писатель, он еще и православный писатель. Говорят, он был атеистом? Да, но это ничего не значит, поскольку атеизм на русской земле — это тоже православие.

Писатель Петр Проскурин сказал, что из русских писателей двадцатого века через пятьсот или тысячу лет будут помнить лишь немногих. Этих немногих он уже сейчас мог бы назвать, но делать этого не станет, чтобы не смущать кое-кого из сидящих в зале. И поэтому называет только одного Шолохова.

Остальные высказывались примерно в том же духе.

В этом хоре аллилуйщиков редкие голоса сомневающихся в шолоховском авторстве были еле слышны.

А последнюю точку поставили приглашенные для участия в этой научной конференции земляки Михаила Александровича.

Представитель донского казачества сказал буквально следующее:

— Перед Россией и всеми порядочными людьми в присутствии средств массовой информации хочу заявить, что казаки попросту выпорют тех, кто не верит, что именно Шолохов написал «Тихий Дон». И выпорют как следует! Если на них не действует метод убеждения, придется нам прибегнуть к традиционному казачьему средству. Ну как, казаки? Любо?

И приглашенные станичники дружно гаркнули:

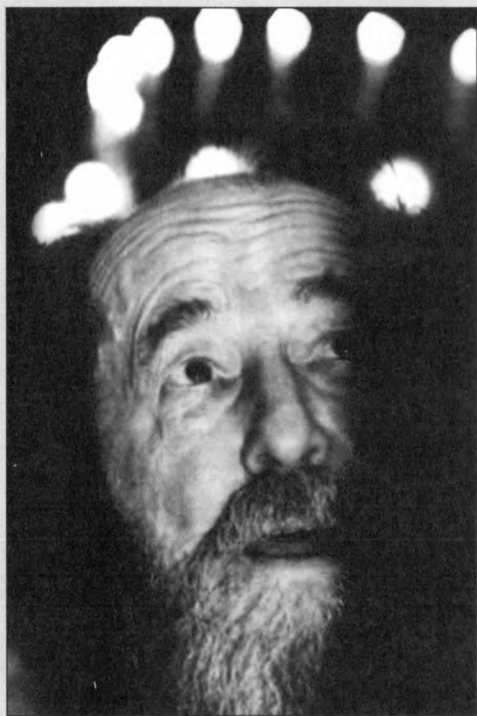
— Любо!

На том научная дискуссия и закончилась.

У ХУДОЖНИКА НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА

В книге А. Солженицына «Бодался теленок с дубом» установил меня такой абзац:

...необъяснимым путем вырвался в «Ди Цайт» 5 декабря отрывок из «Прусских ночей» и обещалась вскоре вся поэма!



«Обратимся к Богу!»
Александр Солженицын



«Занимательная
диалектика»

Борис Слуцкий



«Сколько стоил партийный билет»

Фазиль Искандер

«Глава
поэтической
школы»

Михаил Светлов



«Только
одна буква»
Леонид Зорин



«...и пусть летает»
Ярослав Смеляков

«За того парня»

Белла
Ахмадулина

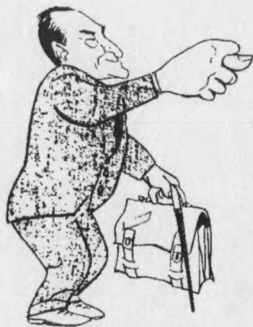
Александр
Твардовский



Роберт
Рождественский



«Перестраховка
в лучшем смысле этого слова»



Валентин Катаев



Илья Эренбург

«Петь будете стоя»

*Сергей
Михалков*



«Не дай вам Бог
увидеть, как он плачет»

Юрий Трифонов



«Друзья и враги
Пушкина»





«Только снег»





«Антокольский, встать!»

*Павел
Антокольский*

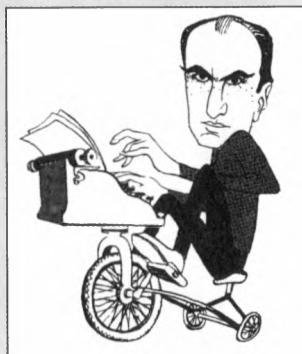


«Вы идиот?»

Семен Липкин

«Сочинение с эпиграфом»

Анатолий Аграновский



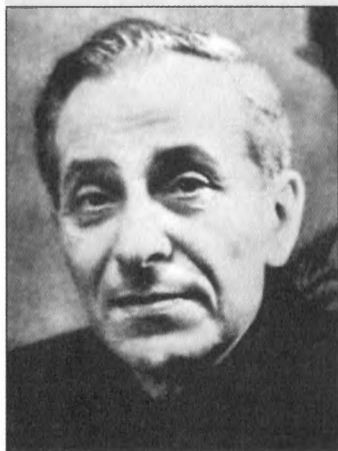
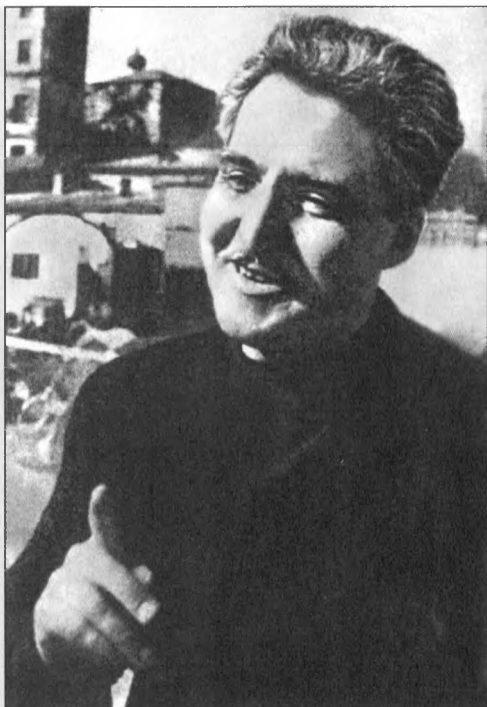
«Кому улыбался Блок»
Наум Коржавин



«Я еще не родился...»
Андрей Вознесенский

«А я все думаю
о Достоевском...»
Юрий Олеша





«Товарищ Зошенко
бьет на жалость»

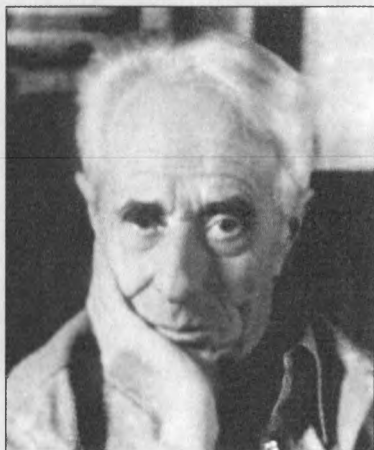
*Константин
Симонов*

*Михаил
Зошенко*



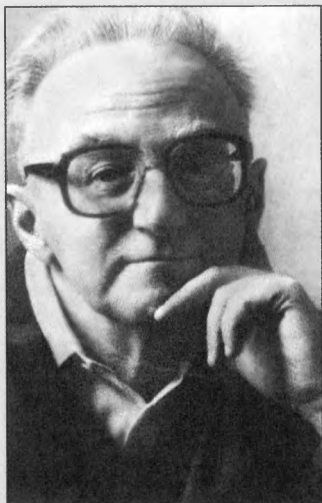
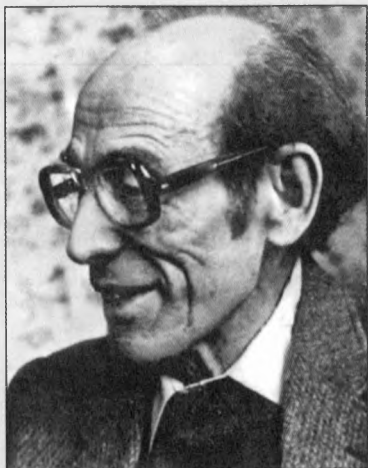
«Адмирал Исаков
и Буденный»

*Георгий
Мунблит*



«Пусть вступит
в другую партию»

Борис Биргер



«В сущности они
были правы»

Борис Хазанов



«Не любите
вы нас»

Клим Ворошилов



Николай Асеев

«Надо помочь
французским
товарищам»

*Александр Бек
Александр Исбах*



«Лишние знания
тоже не к добру»

*Государственные экзамены
в Литературном институте*





«В этой банде...»
Наум Коржавин





«Святые люди»
Лиля Брик

Это удалось остановить... Но тут слух пришел, что и в Москве поэму уже читают. Я кинулся со следствием по Москве, разъяснилось: некие добродееи из членов СП, считавшие опасным меня защищать, для меня после исключения считали уже не опасным ничто – и решили... распространять «Прусские ночи».

На самом деле всё это было не совсем так. Строго говоря, даже совсем не так. Никакие «добродееи из членов СП» ничего не считали и ничего не решали. А утечка действительно произошла.

Случилось это так.

Пришла однажды ко мне наша давняя приятельница и соседка Мима Гребнева и говорит:

– Хочешь поэму Солженицына почитать?

Еще бы! Конечно, я хотел.

Читать при ней, наспех, мне не хотелось, и я уговорил ее оставить мне рукопись на один день.

Мима от солженицынской поэмы была в восторге. Именно этот восторг и побудил ее, нарушив все правила конспирации, показать поэму мне и даже оставить ее у меня на целые сутки. Я же, прочитав её, по правде сказать, особого восторга не испытал: стихи, как мне показалось, – не его, Солженицына, стихия. Хотя были там и яркие, талантливые строчки. Некоторые даже навсегда впечатались в память. Например, вот эти:

Жданов с платным аппаратом,
Шагинян, Сурков, Горбатов,
Главный фокусник – Илья...
Мог таким бы стать и я.

Прочел я эту поэму и совсем было уже собрался отнести ее в соседний подъезд Миме, но помешал Мандель. Он появился, как всегда, без предупреждения, без телефонного звонка. То есть телефонный звонок был: он позвонил снизу, из подъезда, и сказал, что едет ко мне из своего Беляева. Не прошло и минуты, как раздался звонок в дверь нашей квартиры, и Эмка, очень довольный тем, как он меня (снова, уже не в первый раз) разыграл, радостно возгласил с порога:

– Мимо тещино дома я без шуток не хожу...

Эта шутка у него была постоянной. Как постоянной была и фраза, которой он объяснял обычно свою манеру приходить к кому-нибудь из друзей, живущих в нашем доме, с

самого утра и сидеть чуть ли не до вечера. Если друг, которого он осчастливил своим визитом, пытался дать ему понять, что хотел бы хоть час-другой посидеть за письменным столом — нельзя же целый день провести в праздной болтовне, надо ведь и работать — Эмка отвечал:

— Понимаешь, солнышко! Тот день, когда я еду в поликлинику, он у меня уже все равно пропал...

Вот и в этот раз, поняв, что день уже все равно пропал, я решил отложить свой визит к Миме до вечера. А потом, подумав, что не дать Эмке поэму Исаича, которого он боготворил, было бы просто подло, сказал:

— Хочешь поэму Солженицына прочесть?

Конечно, он хотел.

Ну а дальше события развивались стремительно. Прочитав поэму, Эмка, вопреки всем моим ожиданиям, задерживаться у меня не стал, а сразу куда-то заторопился. И, как это всегда бывает с людьми, отмеченными перстом Божиим, выйдя от меня и пройдя буквально несколько шагов, наткнулся на Солженицына.

— Александр Исаич! — радостно заорал он. — А я только что вашу поэму читал!

— Что?.. Как?.. Где?

— У Сарнова...

Вот так и вышло, что Александр Исаевич Солженицын нанес мне персональный визит.

Надо сказать, что это короткое — в полном смысле слова мимолетное — знакомство с ним произвело на меня совершенно оглушительное впечатление. И отнюдь не только потому, что на меня подействовал гипноз его имени. Этот человек мог произвести (и наверняка производил) такое впечатление задолго до того, как имя его стало живой легендой.

Когда я впервые так близко увидел его, он только начал отпускать бороду. Борода была еще не толстовская, даже не «достоевская», а — короткая, шкиперская. И во всем его облике виделось что-то офицерское, спортивное — чёткое, ловкое, быстрое. Он был обворожительно любезен, как мне показалось, даже чуть-чуть играл, наслаждаясь своей подчеркнутой куртуазностью. Но за этой безукоризненной любезностью чувствовался холодок хорошо ощутимого расстояния между

ним и мною. Дистанция эта сохранялась на протяжении всей нашей встречи и ни на миг не была нарушена.

Я позвонил Миме, чтобы узнать, дома ли она. К телефону никто не подошел. Я успокоил Александра Исаевича, сказав, что ждать нам наверняка придется недолго. Так оно и вышло. Но эти недолгие минуты ожидания для меня оказались довольно томительными. Все, что мог сообщить ему на интересующую его тему, я уже сказал. А вести праздные, ни к чему не обязывающие, пустые разговоры с ним мне, естественно, не хотелось.

О чем-то все-таки говорили... Не прекращая разговора, он несколько раз вынимал блокнот и что-то записывал, не забывая всякий раз извиниться предо мною. Я сказал, что и у Толстого читал, и по себе знаю, что мысль надо схватывать в тот самый миг, когда она к тебе пришла, иначе она потеряет свою силу, будет сформулирована уже гораздо менее точно — вяло, расплывчато. Он и тут объяснил мне, что дело совсем не в том. Вынимал блокнот и делал свои записи он вовсе не потому, что его осенила какая-то мысль и он боялся, что если тотчас же ее не записать, она ослабеет. Обыкновенно у человека, сказал он, уходит восемь часов на сон, восемь часов на работу (кажется, он выразился как-то иначе, назвав эти восемь часов активным временем, что-то в этом роде). Остается, таким образом, еще восемь часов, которые, как правило, уходят неизвестно на что. Так вот, сказал он, я не могу позволить себе такую роскошь, я стараюсь, чтобы у меня все время, остающееся мне от сна, все эти шестнадцать часов, были активными...

Разговаривая, я все время называл Гребневым. Но слышал только долгие гудки. Александр Исаевич нервничал. И тогда вдруг меня осенило, что наверняка всё можно выяснить у Бахновых. Жили они с Гребневыми рядом — квартира к квартире. И не было на свете более близких друзей. Никаких секретов друг от друга у них, конечно, быть не могло. Позвонил Бахновым и, услышав голос Нели, жены Владика, я, ничего не объясняя, спросил, можно ли к ним сейчас заглянуть на минутку. Да, конечно, — сказала Неля.

И мы пошли.

Когда она открыла нам дверь и узнала моего спутника, у нее подкосились ноги. Но, сохраняя — хоть и с трудом —

самообладание, она провела нас в крошечный кабинет Владика. Первое, что сразу бросилось нам там в глаза, был большой — как мне тогда показалось, огромный — фотопортрет Солженицына, глядящий на нас из застекленного стеллажа с книгами. Александр Исаевич цепким своим взором эту деталь интерьера, конечно, сразу углядел. По моим понятиям она должна была если не умилить, так хоть немного смягчить его. Но, как я теперь понимаю, она только усилила его неприязнь к «добродеям из членов СП», у которых достало смелости только на то, чтобы выставить у себя дома на всеобщее обозрение его портрет, но оказалось слишком ее мало, чтобы опрометью кинуться защищать его.

Кстати, в том же «Теленке», спустя лишь несколько страниц после упоминания об этих презренных «добродеях», Александр Исаевич так объясняет, почему он сам не выступил в защиту Владимира Максимова, а до него — Синявского и Даниэля, а потом — и других преследуемых властями диссидентов:

А я не защищал и его, как остальных, всё потому же: разрешив себе заниматься историей революции и на том отпустив себе прочие долги. И по сегодня: не стыжусь таких периодов смолкания: у художника нет другого выхода, если он не хочет ископиться в протекающем и исчезающем сегодня.

Простая мысль, что такое же разрешение имеет право дать себе и какой-нибудь другой художник, ему в голову не приходила. Да он, конечно, и не мог представить себе, что среди этих самых «добродеев из членов СП» отыщется хоть один истинный художник. С какой стати вдруг может он там среди них оказаться?

Вспомнил это я — так, к слову. А на самом деле в этом его убеждении я его ничуть не виню. Признаю, что у него были основания так про нас думать.

Вернусь, однако, к своему сюжету.

Так и не опомнившимся от внезапного появления «бога на машине» Неле и Владиду он задал несколько коротких, быстрых вопросов, самым темпом своим и лаконичностью исключаящих слишком многословные и не слишком вразумительные ответы. После недолгих колебаний они раскололись. Выяснив, откуда взялась принадлежащая им с Мимой машинописная копия поэмы, Александр Исаевич сказал,

что изымает ее. Узнав, что есть еще и другая копия — в Уфе, у Нелиной мамы, — он разрешил пока там ей и оставаться. При условии, конечно, чтобы никаких других копий снимать с неё не смели. После еще нескольких таких же коротких, четких распоряжений он встал и откланялся.

Выйдя вместе с ним из подъезда, я спросил, почему он так встревожился, узнав, что произошла утечка. «Прусские ночи», конечно, крамольнее и «Ракового корпуса», и «Круга». Но он и без того так далеко уже зашел в своем противостоянии с властью, что еще одна утечка вряд ли что-нибудь изменит.

Тут я, конечно, был не прав. Распространение «Прусских ночей» в тот момент было крайне для него опасно. Но растолковывать мне это, да и вообще откровенничать со мною он не стал. А почему поднял тревогу, объяснил так:

— У меня железный порядок. Если я решил какую-нибудь вещь пустить, я нажимаю кнопку. А без моей команды никаких неподконтрольных утечек быть не должно. И вы не могли ни одной рукописи моей прочесть, если не я сам ее пустил.

— Как сказать, — возразил я. — Вот, например, я слышал такое словосочетание: «Архипелаг ГУЛАГ».

Он внимательно поглядел на меня:

— А вы встречали хоть одного человека, который говорил бы вам, что он эту книгу читал?

— Нет, — признался я. — Не встречал.

— Вот то-то.

Кажется, я еще о чем-то спросил его. Он — всё так же любезно — удовлетворил моё любопытство, и, еще раз извинившись, что вынужден был обеспокоить, попросался. И тут вдруг в поле моего зрения попали его глаза. Не могу сказать, что я увидел в этих глазах. Знаю только, что в этот момент я с непререкаемой ясностью понял, всей кожей почувствовал, что, одарив меня прощальной улыбкой, он в ту же секунду забыл о моем существовании.

ЭТО БЫЛ ЕГО ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС

Елена Сергеевна Булгакова перед смертью мужа поклялась ему, что не умрет, пока не опубликует его главную книгу — роман «Мастер и Маргарита». И она выполнила эту свою клятву.

Как только ей показалось, что настал наконец тот час, которого она так долго ждала, она отнесла рукопись романа в журнал «Москва».

Казалось, это было чистым безумием. Единственным журналом в то время, который мог решиться напечатать Булгакова, был «Новый мир» Твардовского. Но «Новый мир» уже только что опубликовал «Театральный роман», исчерпав таким образом свой лимит. И Елене Сергеевне не оставалось ничего другого, как пойти в «Москву». Не в «Октябрь» же — к Кочетову!

Главным редактором «Москвы» был тогда Евгений Поповкин, автор романа «Семья Рубанюк». Роман этот я не читал, но думаю, что он был похож на роман Кочетова «Братья Ершовы», который я тоже не читал.

Образованный читатель, вероятно, уже отметил, что старая шутка эта украдена мною у Генриха Гейне. Это он сосрился однажды про какого-то немецкого поэта, своего современника, что никогда его не читал, но думает, что он похож на... — тут он назвал имя другого своего современника, которого он тоже не читал.

Если же без шуток, то имя Поповкина стояло в моем сознании в одном ряду с Сартаковым, Пермитиным, Закруткиным и прочими забытыми ныне корифеями соцреализма, о которых кто-то хорошо сказал, что писателями они могли быть только при поддержке армии и флота.

Но, как оказалось, чем-то Евгений Ефимович Поповкин от них от всех всё-таки отличался.

Прочитав «Мастера и Маргариту», он сказал Елене Сергеевне, что напечатать этот роман в его журнале совершенно невозможно.

— Но, — добавил он, — я ведь понимаю, что это единственный мой шанс остаться в истории литературы.

И — совершил невозможное. Напечатал.

ОГОНЬ УПАДЁТ С НЕБА

Когда в редакции «Нового мира» появилась повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», Твардовский, прежде чем начать трудную и почти наверняка обреченную на неуспех борьбу за нее, дал ее прочесть некоторым ближайшим

своим друзьям: помимо всего прочего хотел заручиться их поддержкой. В числе первых ее читателей (если не считать сотрудников редакции) был Самуил Яковлевич Маршак.

Рассказывая мне о ней, он, между прочим, сказал:

— Я всегда говорил Александру Трифоновичу. Надо терпеливо, умело, старательно раскладывать костер. А огонь упадет с неба...

Рукопись «Одного дня...» в «Новый мир» принес Лёва Копелев. Никаких таких слов про огонь, упавший с неба, он при этом не говорил. Просто отдал рукопись Асе Берзер и, как-то не слишком даже ее рекомендуя, попросил прочесть: то ли побаивался хвалить, то ли ему и в самом деле повесть не шибко нравилась и отдать ее в журнал он вызвался просто по дружбе с Александром Исаевичем. Но Ася сразу поняла, какого значения и масштаба вещь свалилась с неба ей в руки, и, улучив момент, отдала ее — сказав все полагающиеся в этом случае слова, — Твардовскому.

Твардовский рукопись взял, пообещав прочесть ее в тот же вечер. Читать начал поздно, уже лёжа в постели. Но, прочитав первые страницы, как он потом рассказывал в редакции, понял (лучше сказать, почувствовал), что читать такую вещь лёжа нельзя. Встал, оделся, сел к столу. Дочитав до конца, вернулся к началу. Стал читать снова: не мог оторваться. Тогда же твердо решил, что сделает всё — возможное и невозможное, — чтобы повесть была напечатана.

Друзья и соратники Александра Трифоновича по журналу его в этом намерении дружно поддержали. Но ближайший из них, правая его рука — Александр Григорьевич Деметьев, — человек, бесконечно Твардовскому и журналу преданный, но битый, а потому осторожный, — все-таки не преминул с глазу на глаз сказать ему:

— Учти, Саша! Даже если нам удастся эту вещь пробить, и она будет напечатана, они нам этого никогда не простят. Журнал на этом мы потеряем.

Умный был человек: как в воду глядел!

Твардовский не спорил. Понимал, что тёзка говорит дело.

— А ты ведь понимаешь, Саша, — продолжал Александр Григорьевич, — что такое наш журнал. Не только для нас с тобой. Для всей России...

– Понимаю, – сказал Твардовский. – Но на что мне журнал, если я не смогу напечатать это?

ГОЛУБЧИК, ЭТО ЖЕ РОССИЯ!

Когда в 1946-м году, прямо со школьной скамьи, я пришел в Литературный институт, старые литинститутцы, задирая нос перед такими желторотыми юнцами, как я, с гордостью перечисляли всех, кто в разное время учился в их «лицее». Громко назывались имена Константина Симонова, Маргариты Алигер. И шепотом – другие имена, тогда нам ничего не говорившие.

Из тех, о ком говорили шепотом, особенно мне запомнилось имя Аркадия Белинкова. О нем рассказывали, что он написал книгу, которую назвал так: «Черновик чувств. Антисоветский роман». Роман этот он довольно широко читал в кругу не очень близких знакомых. Последствия не замедлили сказаться. Ходили слухи, что Белинков расстрелян. (А на что еще, собственно, мог рассчитывать человек, который сам назвал сочиненный им роман антисоветским, если за сравнительно невинный анекдот в те годы свободно можно было схлопотать «десятку».)

Впоследствии выяснилось, что приговор был несопоставимо более мягкий: 8 лет лагеря. Но там, в лагере, он был осужден еще раз – на 25 лет..

И вот он – жив. Реабилитирован. (Впрочем, нет – кажется, пока еще только амнистирован.) Живет в Москве. И даже опубликовал книгу – говорят, замечательную – о Тынянове.

Книгу я прочел, и она действительно оказалась замечательной. А потом до меня стали доходить разного рода устные рассказы о Белинкове. В основном от общих знакомых: Виктора Борисовича Шкловского и Серафимы Густавовны Нарбут. (Белинков одно время жил у них на даче в Шереметьеве.)

В рассказах этих он представлял совсем не таким, каким рисовало его мое воображение. В них возникал образ человека жеманного, манерного, кокетливого и – отчаянно-го лгуна.

В том же духе изобразил мне как-то Белинкова (впрочем,

без всякого осуждения, скорее с симпатией, пронизанной добродушным юмором) мой друг Эма Мандель. В одной компании ему передали рассказ Аркадия о том, как следователь пытал его, вымогая признание. Пытка была такая: следователь якобы опускал ноги подследственного в кастрюлю с кипящей водой. Кастрюля стояла на примусе, который следователю приходилось время от времени подкачивать. Соль рассказа состояла в том, что примус работал очень плохо, следователя это злило, а душу подследственного переполняло злорадным весельем: вот, даже орудия пытки (примус) и те у них никуда не годятся...

Выслушав эту историю, Мандель, который и сам провел одиннадцать месяцев во внутренней тюрьме Лубянки, выразил сомнение в ее правдоподобии. И вот однажды на улице к нему подошел Белинков и, церемонно раскланявшись, сказал:

— До меня дошли слухи, что вы защищали от меня сталинских палачей. Вас будто бы привели в негодование мои рассказы, бросающие тень на их светлый образ...

— Нет, — слегка растерявшись, ответил Мандель. — Я никого не защищал. Я только усомнился в достоверности вашей истории про примус.

— А-а, стало быть, сталинских палачей вы не защищали? — с удовлетворением констатировал Белинков.

— Нет, сталинских палачей не защищал, — решительно подтвердил Мандель.

— Тогда другое дело.

Вполне удовлетворенный этим объяснением, Белинков, так же церемонно раскланявшись, удалился.

Таких анекдотов о Белинкове я слышал множество. И хотя у меня не было никаких оснований им не верить, я все-таки думал, что на самом деле он совсем не таков, каким его обычно изображают. Очень уж не соответствовал этот образ моим представлениям о человеке, отважившемся не только сочинить, но и читать вслух «антисоветский роман».

Однако когда я познакомился с Аркадием и в особенности когда сошелся с ним поближе, я убедился, что все эти юмористические истории довольно точно передают самую суть этого необыкновенного, причудливого, экстравагантного человека.

Он был миниатюрен, изящен. Внешне (узкое лицо, гладко зачесанные набок темные волосы, очки в тонкой оправе) слегка напоминал Грибоедова. Очень любил изысканные, архаические речевые обороты. Один из самых любимых: «Полноте, голубчик!» Никто из моих сверстников и даже те из моих знакомых, которым я годился в сыновья, таких выражений не употребляли. Всё это наводило на мысль, что Аркадий стилизует себя — и внешний облик, и манеры, и речь — под старого русского интеллигента. Но это не было чистым актерством. То ли облик этот пришелся ему точно впору, оказался самой подходящей одеждой для его душевного склада, то ли маска, как говорят в таких случаях, прочно приросла к лицу.

Однажды у нас зашла речь о довольно близком к нему человеке, которого многие тогда считали стукачом. Незадолго до того был обыск у одного видного литературоведа, который якобы рассказывал потом, что обыскивавшие подходили к его книжным полкам и безошибочно точным жестом снимали с них именно те книги, которые на протяжении последних месяцев брал у литературоведа почитать тот самый человек, которого многие и раньше подозревали (а теперь эти подозрения укрепились) в стукачестве.

Аркадий по этому поводу сказал:

— Вы, люди цивилизные, очень падки на такие обвинения. С легкостью необыкновенной так сразу и припечатываете: «стукач!» А мы, старые лагерники, на сей счёт весьма шепетильны. Я бы не советовал вам, голубчик, повторять этот слух. По крайней мере до тех пор, пока он не получит совершенно точных и неопровержимых подтверждений.

Я согласился, что называть человека стукачом, основываясь на слухах, возмутительно.

Прошло несколько дней, и Аркадий вернулся к этой теме.

— Вы помните, голубчик, давеча мы с вами говорили о таком-то, что он, дескать, тайный агент охранки. Так вот, сведения эти, как ни грустно, полностью подтвердились.

— Да что вы?

— Увы, друг мой. С совершенной точностью. Однако же не скрою от вас, что я вовсе не намерен на этом основании отказывать ему от дома.

— Вот как? И приятельствовать с ним по-прежнему будете? — спросил я, невольно впадая в свойственную Аркадию изысканную манеру речи.

— А почему бы и нет? Бояться мне, слава Богу, уже нечего. Я своё заплатил сполна. А что до его нравственных качеств, так они меня, по правде говоря, мало заботят.

— То есть как? — изумился я.

— А вот так. Человек он занятный. Притом у него множество достоинств.

— Например?

— Например, бескорыстная любовь к литературе.

— А как эта бескорыстная любовь, — уже слегка раздражаясь, сказал я, — сочетается у него с отнюдь не бескорыстной службой в Третьем отделении?

— Ах, полноте, голубчик! Разве Гончаров не был цензором? Ведь это же Россия!

Продолжать спор я не стал, тем более что он тут же переменял тему.

— Я что-то сегодня совсем скверно себя чувствую. Вы не проводите меня до дому? Боюсь, один я нынче просто не дойду.

Жил он тогда неподалеку от меня — на Красноармейской. Мы двинулись в путь. Шел он очень медленно, поминутно останавливаясь и картинно изображая, что ему не хватает воздуха. Я не сомневался, что ему действительно худо: уже тогда я знал, что человек он очень больной. Но незадолго до того наш общий знакомый Юра Тимофеев, знавший Аркадия с детства, рассказал мне, что в Доме творчества в Переделкине у Аркадия был тяжелейший сердечный приступ. Юра привёл к нему по случаю оказавшегося в том же Доме известного кардиолога, давнего своего знакомого. Отвечая на расспросы профессора, Аркадий сообщил ему, что тяжелая сердечная болезнь, которой он страдает (ревмокардит), приобретена им в лагере и является результатом пыток и издевательств сталинско-бериевских палачей.

— Зачем он морочил ему голову? — удивлялся Юра. — Кто-кто, но я-то ведь прекрасно знаю, что ревмокардит у него с раннего детства!

Может быть, ощущение, что Аркадию не так уж худо, как

он старается это изобразить, возникло у меня под влиянием этого рассказа.

Как бы то ни было, хоть и гораздо медленнее, чем мне бы хотелось, но мы все-таки дошли до его дома и остановились под окнами, намереваясь распрощаться и разойтись. Но тут вдруг распахнулось окно и нас облили, как мне сперва показалось, водой.

— Вот чёрт! — довольно беззлобно пробормотал я. Но, приняв себя, убедился, что то была отнюдь не вода. Не могло быть ни малейших сомнений, что кто-то из соседей Аркадия просто-напросто сблевал на нас сверху. Тут уж я «чёртом» не ограничился, произвольно прибегнув к более сильным выражениям.

— Дорогой Бен, — попытался утихомирить меня Аркадий. — Я не советовал бы вам так откровенно намекать на ваши интимные отношения с матушкой этого хама. Чего доброго, он еще решит, что вы и впрямь ее дефлорировали.

Это тонкое рассуждение меня не остановило. Я прибегнул к еще более сильным выражениям. На что услышал знакомое:

— Полноте, голубчик! Это же Россия!

На другой день я заглянул к нему, чтобы узнать, как он себя чувствует. Он лежал на кушетке в позе умирающего. На моё приветствие ответил слабым движением руки. Вид у него при этом был совсем не болезненный: на щеках играл румянец, глаза блестели.

— Выглядите вы отлично! — бодро сказал я, ничуть при этом не покривив душой.

— Да, — слабым голосом ответил он. — Как раз незадолго до вашего визита я написал об этом небольшой рассказ. Благоволите взглянуть... Он совсем коротенький... Лежит прямо на машинке...

На машинке лежал листок бумаги.

— Да, это он, — подтвердил Аркадий, проследив за моим взглядом. — Сделайте милость, прочтите!

Взяв в руки листок и не обнаружив на нем никакого текста, я перевернул его. На обороте было написано следующее:

— Как хорошо вы сегодня выглядите, — сказал Виктор Борисович Шкловский, навестив Сергея Михайловича Эйзенштейна.

— Да, с нами, сердечниками, это бывает, — ответил Сергей Михайлович, отвернулся к стене и умер.

— Впрочем, — сказал Аркадий, — не будем сегодня говорить о смерти. У меня нынче день ангела. Приходите вечером. Будут... — И он перечислил несколько человек из числа наших общих знакомых, упомянув и того, кто отличался бескорыстной любовью к литературе, состоя одновременно нештатным сотрудником КГБ.

«И как это не надоест всегда притворяться, вечно играть какую-то роль, постоянно думать о том, чтобы не выйти из образа!.. — с раздражением думал я. — Опять это вечное вранье!.. У него, видите ли, сегодня день ангела!.. Ну какой у тебя, к чёртовой матери, ангел! Крестили тебя, что ли? В 1921-м году это было как-то уже не в обычае. Тем более в еврейских интеллигентных семьях...»

Я уже предвкушал унылый, тоскливый вечер. Что-то вроде известной картины: Белинский у постели больного Некрасова.

Каково же было моё изумление, когда, явившись на эти именины, я застал шумное застолье. Комната была набита битком. Дым стоял коромыслом. Аркадий смеялся, острил, ораторствовал, пил шампанское, самозабвенно танцевал твист.

Всё это продолжалось до глубокой ночи.

«Вот и верь после этого, что он болен! Актёр, фанфарон, феерический лгун!» — уже совсем не сдерживая своего раздражения думал я.

Впоследствии я готов был сгореть со стыда, вспоминая эти свои мысли. Потому что в прочитанном мною в то утро «рассказе» Аркадия про Сергея Михайловича Эйзенштейна, как оказалось, не было и тени кокетства. Это была всего лишь спокойная констатация медицинского факта, истинность которого Аркадий довольно скоро неопровержимо подтвердил собственной смертью.

Он умер именно так, как предсказал в этом своём «рассказе», успев перед смертью совершить свой последний головокружительный прыжок: по какой-то не очень надёжной характеристике из группкома литераторов уехал с женой туристом в Югославию и, нырнув таким образом под железный занавес, махнул оттуда через океан в Америку.

Но это уже совсем другая история — куда более интересная, чем то, что я сейчас вспомнил и рассказал. А вспомнил и решил записать всё рассказанное выше я потому, что в тот вечер, когда я глядел на вдохновенно пляшущего Аркадия и злился, предвестие истины все-таки коснулось меня.

«Нет, — подумал я тогда. — Он не лгун. Он — художник».

А недавно один дотошный человек каким-то чудом проник в архивы КГБ, разыскал и опубликовал протоколы допросов Аркадия. Протоколов таких сейчас опубликовано уже множество, и, казалось бы, еще одна стопка пожелтевших архивных документов, извлеченная из кагебешных закров, ничем и никого уже не сможет удивить. И тем не менее, читая их, не перестаешь изумляться.

— Вы признаете, что изготовленные вами материалы являются антисоветскими? — спрашивает следователь.

По-разному отвечали подследственные на такие вопросы. Кто пытался уйти в глухую несознанку. Кто начинал вилить, доказывая, что вовсе не имел в виду нанести ущерб любимой советской власти. Аркадий отвечает ясно и определённо:

— Да, признаю.

— С тех пор вы изменили свои антисоветские взгляды и убеждения? — следует новый вопрос. Это, в сущности, спасательный круг, кинутый утопающему. Ну как не ухватиться за него, не ответить: «Да, конечно... Это старые, давно преодоленные мною заблуждения... Сейчас я уже думаю иначе...»

Аркадий отвечает:

— Нет, не изменил.

И вот я, давно уже давший себе зарок никогда и ничему больше в жизни не удивляться, читаю эти его ответы, за которые ему и намотали там, в лагере, новый — двадцатипятилетний — срок, и не могу понять: откуда в этом хрупком, дышащем на ладан, изнеженном, жеманном человеке, — откуда в нем эта упорная, яростная, непобедимая сила сопротивления, эта способность не сломаться, даже не согнуться под страшным давлением чудовищной репрессивной машины, ломавшей и сгибавшей и не таких, как он?

И нет у меня на этот вопрос иного ответа, чем тот, который я столько раз — по разным поводам — слышал из его собственных уст:

— Голубчик! Это же Россия!

**ПЕРЕСТАНЬТЕ
ТОЛЬКО СНЕГ
УДИВЛЯТЬСЯ!**

ТОЛЬКО СНЕГ

Было это, если не ошибаюсь, году в 58-м или 59-м — в Ялте. Дело было зимой, и в ялтинском Доме творчества — во всем этом довольно поместительном доме — жили всего-навсего шесть человек. И вот сидели мы как-то на набережной, болтали о каких-то пустяках. И кто-то из нас вдруг возьми да и брякни:

— А ведь именно отсюда в двадцатом году драпали врангелевцы. Представляете себе, что тут тогда творилось?

И тут раздался спокойный голос:

— Вы ошибаетесь. Войска барона Врангеля не драпали. Мы отступили в полном боевом порядке.

Так я познакомился с Игорем Александровичем Кривошеиным.

Был он сыном Александра Васильевича Кривошеина, — того самого, ближайшего сподвижника Столыпина по аграрной реформе, до революции — члена Государственного Совета, а в 20-м — председателем правительства Юга России (официальное наименование его тогдашней должности было такое: Председатель Совета при Главнокомандующем Вооруженных Сил Юга России).

О том как эвакуировались из Крыма войска барона Врангеля, Игорь Александрович знал не по рассказам отца: он и сам был тогда уже не свидетелем, а активным участником происходящих событий. Если не ошибаюсь — штабс-капитаном.

Оказавшись в Париже, он окончил Сорбонну, стал инженером-энергетиком. Во время войны участвовал в Сопротивлении. Близко знал мать Марию, Вики Оболенскую, других русских героев французского Сопротивления: их фотографии он показывал мне, когда про этих замечательных женщин у нас еще никто и не слыхивал.

После войны Игорь Александрович взял советский паспорт и вернулся домой. Дома его, естественно, посадили. Сидел он в разных местах, одно время был даже на той самой шарашке, которую описал Солженицын.

В начале 70-х он уехал в Париж, откуда прислал письмо, в котором была такая прелестная фраза:

«Я доживаю последнюю, самую прекрасную, четвертую треть моей жизни».

Четвертая треть! Можно ли сказать лучше, выразительнее об этих последних его годах, выпавших ему, так сказать, сверх плана: в подарок.

А здесь, у нас, когда длилась еще не четвертая, а третья треть его жизни, мы каждый год встречались с ним в Коктебеле, где и он и я любили бывать поздней осенью, в октябре: в этом месяце Коктебель был прекрасен своим малолюдством.

Однажды, прощаясь, я сказал ему:

— Ну что? На следующий год в Иерусалиме?

Он кивнул:

— Да... В Париже мы повторяли это постоянно. Но тогда Иерусалимом для нас была Москва.

Об эмиграции я его никогда не расспрашивал, хотя очень хотелось. Один только раз отважился задать ему такой — не слишком простодушный — вопрос:

— Когда вы вернулись сюда в сорок шестом, как вам тогда показалось: осталось в этой новой, неведомой вам России что-нибудь от той, старой, которую вы знали когда-то?

Он ответил:

— Только снег.

ПЯТНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК НА СУНДУК МЕРТВЕЦА

— Ты помнишь песенку Билли Бонса из романа Стивенса «Остров сокровищ»? — как-то спросил меня один мой приятель.

Смешной вопрос!

Роман Стивенсона «Остров сокровищ» был любимой книгой моего детства. Одной из самых любимых. А песенку Билли Бонса мы с друзьями-сверстниками с большим чувством ревели в четыре глотки, играя в пиратов:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Еще бы мне было ее не помнить!

— А что это значит «пятнадцать человек на сундук мертвеца» — знаешь? — с какой-то хитроватой ухмылкой спросил он.

Я хорошо помнил, что загадка этого таинственного сундука очень волновала главного героя «Острова сокровищ» — Джима Гокинса:

Первое время я думал, что «сундук мертвеца» — это тот самый сундук, который стоит наверху, в комнате капитана.

В моих страшных снах этот сундук нередко возникал передо мною вместе с одноногим моряком.

Сам я, в отличие от Джима, над смыслом этой пиратской песни никогда особенно не задумывался. В непонятности этих ее загадочных слов, быть может, как раз и заключалось тогда для меня главное ее очарование. Но сейчас, подозревая, что мой приятель решил устроить мне что-то вроде экзамена, я, чтобы не ударить лицом в грязь, напряг все свои умственные способности и попытался дать на его вопрос более или менее вразумительный ответ.

Я сказал, что «сундук мертвеца» — это, по-видимому, сундук с сокровищами капитана Флинта, на обладание которыми претендуют пятнадцать пиратов, считающих себя его законными наследниками. Выражено всё это, конечно, добавил я, довольно неуклюже. Но в этом, наверно, виноват дурной перевод.

— Нет, — покачал головой мой приятель, выслушав эти мои сбивчивые объяснения. — Выражено это как раз очень хорошо. Прямо-таки замечательно. Лучше не скажешь.

И пояснил:

— «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» — это когда первого мая и седьмого ноября наши вожди взбираются на мавзолей Ленина.

ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК В БЛАГОРОДНОМ СОБРАНИИ

Была такая — очень популярная в годы первой мировой войны — то ли комедия, то ли водевиль, то ли оперетта — «Шельменко-денщик». А потом настали другие времена: революция, гражданская война, коллективизация, индустриализация... Мудрено ли, что этот ураган вместе с другими перлами предреволюционного театрального репертуара начисто смел с театральных подмостков и эту забавную пьеску. И бойкий герой ее забылся, исчез, выпал из сознания современников.

Но людям старшего поколения название это запомнилось. И двадцать лет спустя оно вдруг неожиданно воскресло в ироническом прозвище, которым сослуживцы наградили генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко. Его прозвали: «Штеменко-денщик». По созвучию, наверно.

В Отечественную войну — с сорок третьего года — он был начальником Оперативного управления Генерального штаба, потом — заместителем начальника Генштаба, а после войны дослужился до самой высокой своей должности: стал начальником Генерального штаба, в какой должности прослужил с 1948 по 1952 год.

Как и многие другие крупные советские военачальники, когда пришла пора, Сергей Матвеевич засел за мемуары, и где-то в начале 70-х выпустил довольно объемистую книгу под названием «Генеральный штаб во время войны».

Тогда же случилось мне прочитать эти воспоминания генерала.

Особенно понравился мне в этой книге безыскусный рассказ автора о том, как однажды выпало ему и нескольким его сослуживцам встречать новый год в компании членов Политбюро и лично товарища Сталина.

Дело было во время войны. Приехав с фронта в Москву для какого-то доклада, они были вызваны к Верховному под самый новый год. По дороге на сталинскую — так называемую ближнюю — дачу, генерал изволил пошутить: уж не на встречу ли Нового года их приглашают? Спутники генерала радостно заржали: шутка показалась им в высшей степени остроумной. Вот так же, наверно, реагировал бы герой той

старой пьески денщик Шельменко и его дружки-приятели, если бы им вдруг сказали, что «их благородия» — поручики и штабс-капитаны — приглашают их на рождественский бал в дворянское собрание.

Но шутка вдруг обернулась правдой.

— На даче у Сталина, — рассказывает Штеменко, — мы застали еще нескольких военных. Как выяснилось, нас действительно пригласили на встречу Нового года, о чем свидетельствовал уже накрытый стол.

За несколько минут до двенадцати, все вместе, прибыли члены Политбюро и с ними некоторые наркомы. Всего собралось человек двадцать пять мужчин и одна-единственная женщина — жена присутствовавшего здесь же Генерального секретаря Итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти...

Итак, «денщики» оказались за одним столом с «господами». Но если они сперва даже и испытали по этому поводу чувство некоторой неловкости, неловкость эта быстро прошла, поскольку тут же выяснилось, что очутились они в компании таких же «денщиков», как они сами:

... С.М. Буденный внес из прихожей баян, привезенный с собой, сел на жесткий стул и растянул мехи. Играл он мастерски. Преимущественно русские народные песни, вальсы и польки. Как всякий истый баянист, склонялся ухом к инструменту. Заметно было, что это любимое его развлечение. К Семену Михайловичу подсел К.Е. Ворошилов. Потом подошли и многие другие.

Когда Буденный устал играть, Сталин завел патефон. Пластинки выбирал сам. Гости пытались танцевать, но дама была одна и с танцами ничего не получилось. Тогда хозяин дома извлек из стопки пластинок «Барыню». С.М. Буденный не усидел — пустился в пляс. Плясал он лихо, вприсядку, с прихлопыванием ладонями по коленам и голенищам сапог. Все от души аплодировали ему...

Интересно тут совсем не то, что вкусы и развлечения у «господ» оказались самые что ни на есть денщицкие. Гораздо интереснее и, я бы сказал, поучительнее другое: очутившись в родной «денщицкой» компании, генерал не растворился в ней. Он и тут сохранил свое денщицкое (а лучше сказать — лакейское) самочувствие, тот особый денщицкий взгляд на свое

место в системе мироздания, который так ярко выразился в его шутовском предположении (мыслимое ли это дело — предположить такое всерьез!), что их (гы-гы-гы!) везут к Сталину не по делам службы, а к новогоднему застолью.

Из всего этого следует, что прозвища своего генерал армии Штеменко удостоился не только из-за созвучия своей фамилии с фамилией заглавного героя той забытой дореволюционной пьески.

ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК ПИШЕТ ОПЕРУ

Желание смеяться, подтрунивать и даже глумиться над нашими государственными святынями нас никогда не покидало. Но были тут какие-то таинственные, не всегда поддающиеся рациональному объяснению приливы и отливы. В начале семидесятых, например, вдруг градом посыпались анекдоты про Чапаева. И был среди них такой.

— Чего это ты все пишешь, Петька? — спрашивает Чапаев у своего верного оруженосца.

— Оперу пишу, Василий Иванович, — отвечает Петька.

— Оперу? — удивляется Василий Иванович. — Про кого?

— Про тебя, про комиссара, про Анку... Опер сказал: про всех напиши.

Опер, как вы понимаете, это — оперуполномоченный. По-лагерному — Кум.

Анекдот этот мне вспомнился в связи с тем же героем, которому посвящен мой предыдущий рассказ.

Как я уже говорил, вскоре после войны генерал армии С.М. Штеменко стал начальником Генерального штаба. Достичь этой высокой должности и удержаться на ней ему, надо полагать, помогли те самые свойства его личности, благодаря которым он получил свое прозвище: «Штеменко-денщик». Поэтому все были удивлены, когда Сталин вдруг снял его с этого высокого поста и отправил на понижение. Удивлен был и непосредственный начальник генерала — министр Вооруженных Сил маршал Василевский. И даже позволил себе поинтересоваться у Верховного, чем прогневал его известный своей услужливостью и исполнительностью нач. Генштаба.

— Да ну его, — ответил Сталин. — Надоел... Всё пишет, и

пышет, и пышет... Про всех пышет... И про тебя тоже пышет, — ткнул он в маршала трубкой.

Из истории этой мы можем заключить, что словом «денщик» служебная и личная характеристика генерала отнюдь не исчерпывалась. Ко всему прочему он был, как оказалось, еще и порядочная шельма. Так что прозвище, которое так прочно к нему прилепилось, было метким вдвойне.

ТАМ ЖИВЕТ ГРАФ...

Всю свою советскую жизнь я был невыездной. Границу большой зоны впервые пересек в 1987-м году, когда железный занавес уже был разгерметизирован.

И вот еду я в дивной какой-то иномарке вдоль Рейна. Машину ведет милая молодая дама.

— А это, — говорит она, — замок нашего графа.

Оглядев очередную средневековую достопримечательность, я спрашиваю:

— А что там сейчас?

Она пожимает плечами:

— Там живет граф.

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОН ПОЁТ?

Осенью 1956-го года Константин Георгиевич Паустовский впервые в жизни оказался в Париже. Вспоминая об этих нескольких незабываемых днях, он с какой-то особой нежностью говорил об одной русской женщине, с которой ему там довелось познакомиться. Она принадлежала к так называемой первой эмиграции: родители увезли ее в Париж, когда ей было три года. Рассказывая о знакомстве с ней, Константин Георгиевич всё время повторял, что он испытывал прямо-таки физическое наслаждение, слушая ее русскую речь — необыкновенно чистую и какую-то по-особенному певучую. Он сказал, что сперва даже стеснялся говорить с нею. Он выразился так:

— Мы отвыкли от такого языка. Мы говорить на нем уже не умеем.

А вот что рассказали мне про такую же русскую даму мои друзья уже из новой, третьей эмигрантской волны.

На концерте Галича, напряженно вслушиваясь в его песни, в эти привычные, такие естественные для нас галичевские словечки и выражения («Я возил его, падлу, на «Чаечке»...», «Ты, бля, думаешь, напал на дикаря, а я сделаю культурно, втихаря...», «Схлопотал строгача — ну и ладушки...», «Тут его цап-царап — и на партком!..», «Индпошив — фасончик на-ка выкуси!..»), она обернулась к человеку, сидящему в соседнем кресле, и с искренним недоумением спросила:

— На каком языке он поёт?

МЫ САМИ ТАЩИЛИ СВОИ ЧЕМОДАНЫ

В гостях у Паустовских были только что приехавшие из Парижа Натали Соррот с мужем. Они возбужденно делились своими впечатлениями о Москве, а мы (хозяйева дома и пришедшие чуть раньше Боря Балтер и я) с интересом их слушали.

Особенно восторгался новой для него и не очень ему понятной советской жизнью муж знаменитой писательницы. Он впервые оказался в Советском Союзе, и восторг его был беспределен.

Но мы слушали эти его излияния с довольно кислыми минами.

«Интересно, — неприязненно думал я, — что же ему здесь у нас, в этой нашей, как любил говорить один мой приятель, срани, могло понравиться?»

И тут раздался голос моего друга Бори.

— Объясните все-таки, — не очень вежливо перебил он знатного иностранца, — что именно, что конкретно вам здесь, у нас, так уж понравилось?

— О! — радостно объяснил тот. — Я почувствовал сразу, что попал в совершенно иной мир... Из аэропорта приехали мы в отель. Вошли. И никто не кинулся к нам, не подхватил наши вещи... Не было даже и тени этого гнусного лакейства, этой отвратительной угодливости! — Лицо его сияло. — Мы сами втащили свои чемоданы в лифт, сами нашли свой номер... Это было прекрасно!

ВО ВСЁМ ДОМЕ — ТОЛЬКО ПИСАТЕЛИ?

Когда мы въехали в наш новый — писательский — дом, в квартире моего соседа работал старик-столяр. Он соорудил ему полки для книг.

Время от времени хозяин квартиры заглядывал к нему — поглядеть, как идёт работа. И они разговаривали.

Разговоры были вполне дружелюбные, но хозяин все время чувствовал, что старика сверлит какая-то одна навязчивая мысль. Какой-то вопрос, который он хочет ему задать, но не решается.

Но однажды он все-таки решился.

— А правда, — спросил он, — что в этом вашем доме одни писатели живут?

— Правда, — сказал хозяин.

Старик покрутил головой, хмыкнул.

— А что? — спросил хозяин.

— Да нет, ничего, — ответил старик. — Просто я подумал: мог бы я в таком доме жить?

— В каком таком? — не понял хозяин.

— Ну, большущий дом, вот вроде вашего. А в нём — одни столяры...

МЫ ТЕБЕ ДРУГУЮ НАЙДЁМ...

То ли во внутренней тюрьме Лубянки, то ли позже, в ссылке, Мандель познакомился с одним белоэмингрантом, которого наши вывезли из Белграда и состряпали ему дело. Собственно, он был даже не белоэмигрант, а сын эмигрантов первой волны, — то ли ребенком вывезенный за границу, то ли уже там родившийся.

По образованию он был юрист (кончил Сорбонну). И никак не мог понять, в чем, собственно, его обвиняют. Обвиняли его по статье, которая называлась «Измена родине». Он же полагал, что, не будучи гражданином СССР, изменить этой своей «родине» никак не мог. И изо всех сил пытался толковать это своему следователю.

Но тот Сорбонну не кончал. Он был юристом совсем другой школы. И никак не мог понять, чего тот от него хочет. Когда же наконец понял, облегченно вздохнул и сказал:

— Тебе что, статья не нравится? Так мы тебе другую найдем!

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБОБЩЕНИЕ

Дело было в начале 60-х. Я работал тогда в «Литературной газете». И вот однажды позвонил мне Корней Иванович Чуковский и попросил помочь в одном деликатном деле. Некто Мирон Петровский, милый, интеллигентный, одаренный молодой человек, работающий над монографией о нем (Чуковском), попал в беду. Он живет в Киеве. Киев — не Москва, хрущевская оттепель тамошней жизни почти не коснулась. Не исключено поэтому, что Миرونу грозят неприятности очень даже серьезные. Могут и посадить...

История, как выяснилось, была такая.

В Киевской (республиканской) молодежной газете появилась статья, в которой пять-шесть молодых людей, в числе которых был и подопечный Корней Ивановича, обвинялись в разных политических грехах. Все обвинения — полная ерунда, разнузданная фантазия бойкого журналиста. Статья между тем была воспринята как руководство к действию. (Так уж было принято в те времена.) Всех упоминавшихся в ней ребят мгновенно исключили из комсомола, выкинули из институтов, где они учились, уволили с работ, где они работали. Короче говоря — перекрыли им кислород. Ожидались и другие, гораздо более крутые меры. Даже если обойдется и без ареста, мальчику переломают спинной хребет, навсегда закроют ему дорогу в литературу. А мальчик — талантливый. Надо его спасать.

Мало на что надеясь, я поплелся с этой информацией к Главному редактору. Но тот, вопреки моим ожиданиям, отнесся к моему лепету благожелательно. (Как потом выяснилось, Корней Иванович позвонил не только мне, но и в ЦК, и Главному с той же просьбой уже звонили оттуда.)

Дело завертелось.

Явился ко мне Мирон, принесся злополучный «клеветон». Статья была солидная — два газетных подвала. Называлась она лихо: «Конец литературной забегаловки». Картина, жирными мазками нарисованная ее автором, была ужасна. Некие растленные молодые люди вместо того, чтобы учиться или работать, отдавая все свои силы строительству коммунистического общества, собирались в каком-то гнусном притоне, читали стихи Пастернака, танцевали голые, вели

(очевидно, между собой) антисоветскую пропаганду, а некоторые из них, самые растленные, сговаривались даже, тайно перейдя государственную границу, сбежать на Запад.

— Скажите, Мирон, что тут клевета, а что — правда? — спросил я.

Мирон честно признался, что он и его друзья действительно собирались и читали друг другу стихи Пастернака. Все остальное — полная чепуха. Голые не танцевали, антисоветской пропагандой не занимались, границу переходить тем более не сговаривались. Да и какая у них там, в Киеве, граница?

Мы срочно отрядили в Киев нашего специального корреспондента.

Приехав, он явился в редакцию газеты, опубликовавшей статью о конце литературной забегаловки, и поинтересовался, уверены ли ее сотрудники в достоверности изложенных в ней фактов.

Сотрудники в ответ промямлили что-то невразумительное.

Тогда корреспондент напрямую спросил у них, откуда они добыли весь этот сенсационный материал. И тут газетчики признались, что добывать, а тем более проверять им ничего не пришлось, поскольку статья поступила к ним в готовом виде прямо и непосредственно из Комитета Государственной Безопасности.

В былые времена наш корреспондент, услышав такое, сразу наложил бы в штаны. Но был, как я уже говорил, самый разгар оттепели. А кроме того, прибыв в качестве корреспондента столичной газеты с ревизией материала, появившегося в газете провинциальной, он был уверен, что его козырь старше. Короче, он не испугался, а прямехонько отправился в тот самый зловещий Комитет. Разыскал там людей, заваривших всю эту кашу, и ласково, по-отечески стал их журить. Ребята, дескать, что же это вы делаете? Ведь все ваши обвинения — чистая клевета!

— Как это то есть клевета? — возмутились сотрудники Комитета. И выложили на стол свои доказательства.

— Знаем, знаем, как вы добываете эти свои доказательства, — усмехнулся наш корреспондент.

Это предположение оскорбило их до глубины души.

И, как выяснилось, они, в общем-то, были правы. Их методы с методами их предшественников и в самом деле не имели ничего общего. Предъявленные ими доказательства они вовсе не выколачивали из своих «клиентов» какими-нибудь недозволенными, строжайше запрещенными способами ведения следствия. Все факты, изложенные в статье «Конец литературной забегаловки», как выяснилось, действительно имели место. С одной только, совершенно не существенной, как это им представлялось, поправкой.

На самом деле, оказывается, была в Киеве не одна «литературная забегаловка», а — три! Посетители одной (в их числе и был наш Мирон) собирались и читали стихи Пастернака. Другие юноши и девушки, раздевшись догола, танцевали друг с другом под магнитофонную музыку при мягком свете торшера. А третьи — вели разные политические дискуссии, иногда, наверно, и впрямь поговаривая о том, что хорошо было бы покинуть любезное отечество.

Само собой, участники всех этих — довольно разных, как видим, — молодежных собраний, понятия не имели друг о друге.

— Как же вы могли, — изумился наш корреспондент, — свалить их всех в одну кучу?

— А мы обобщили, — объяснили ему сотрудники Комитета. Как коллеги — коллеге. И выразили даже при этом некоторое недоумение: мол, ему ли, журналисту, не знать, что такое художественное обобщение.

ДВА МИРА, ДВА ШАПИРО

На протяжении многих лет в Москве жил и работал известный американский журналист, корреспондент одной из самых влиятельных американских газет — Генри Шапиро. Фамилия его время от времени появлялась на страницах и наших газет. Однажды, кажется, он даже удостоился чести взять интервью у самого Сталина. А в Центральном доме литераторов был администратор — маленький, тщедушный, заморённый еврей — тоже Шапиро. И — не знаю уж по какому поводу, пересекся он как-то с тем, знаменитым, американским Шапиро, или просто так, смеху ради, — но возникло и

быстро прижилось в нашей писательской среде это ёрническое выражение. Я и сам по разным поводам то и дело повторял: «Два мира, два Шапиро». Но повторяя, вкладывал в эту реплику довольно плоский смысл: мол, где уж нашему брату, затраханному советскому человеку тягаться с американцем, — всё равно, что людоедке Эллочке с дочкой Вандербильдта.

Истинный, неизмеримо более глубокий смысл этого примелькавшегося выражения открылся мне, когда я прочел однажды в «Известиях» статью, в которой стиль американской деловой жизни сравнивался с нашим. Автор, как видно, много лет проживший в Америке, приводил там такой яркий пример. Вот звонит, скажем, какой-нибудь американец в какое-нибудь американское учреждение и спрашивает:

— Могу я поговорить с мистером Бейкером?

Отлично вышколенная секретарша отвечает:

— Мистер Бейкер сейчас в отпуске. Его замещает мистер Таккер. Его телефон — такой-то. Если вам угодно поговорить с мистером Таккером сейчас, я могу вас соединить.

В наших широтах, — сокрушался автор статьи, — в аналогичном случае всё происходит совсем иначе. Вы задаете тот же вопрос:

— Могу я поговорить с товарищем Петькиным?

— Его нет! — отвечает секретарша и швыряет трубку.

Вы вторично набираете тот же номер:

— Простите, это я вам только что звонил. Мне нужен товарищ Петькин. Вы сказали, что его нет. Что это значит? Может быть, он будет через час? Или, может быть, он здесь уже не работает?

Секретарша так же отрывисто отвечает:

— Он в отпуске.

И снова швыряет трубку.

Вы звоните снова:

— Простите, пожалуйста, это опять я. Вы не скажете, когда товарищ Петькин вернется из отпуска?

— В конце месяца.

И трубка снова швыряется.

Поразмыслив, вы снова набираете тот же номер:

— Ради Бога, извините, что я вам надоедаю. Может быть, вы скажете мне, кто замещает товарища Петькина?

– Товарищ Васькин.

И снова – отбой.

Вы звоните еще раз:

– Мне очень неловко, что я вас так беспокою, – подобострастно начинаете вы. – Будьте так любезны, если вам не трудно, дайте мне, пожалуйста, телефон товарища Васькина!

И только тут (и это еще хорошо!) вы наконец получаете то, что вам было нужно: номер телефона товарища Васькина, замещающего ушедшего в отпуск товарища Петькина.

Сколько времени убито понапрасну! – сокрушался автор статьи. – Какая нелепая трата сил и человеческих нервов! А всё потому, что наша советская секретарша не прошла соответствующей школы. Она просто не знает, в чем состоят ее секретарские обязанности.

В то время когда в «Известиях» появилась эта замечательная статья, я как раз замещал (временно, конечно) редактора отдела «Литературной газеты». Сидел в большом редакторском кабинете с таким предбанником, в котором помещалась моя личная секретарша – не молоденькая какая-нибудь щебетунья, а весьма почтенная матрона. Очень милая, надо сказать, была женщина. Но вела она себя с посетителями и отвечала на телефонные звонки примерно так же, как та «среднестатистическая», которую так убийственно изобразил в своей статье автор «Известий». Ну, может быть, не так грубо, чуть более вежливо. Но схема была совершенно та же.

Причина, однако, была совсем не в том, что моя Инна Ивановна, в отличие от американской секретарши, не прошла должной выучки. И уж совсем не в том, что она была неопытна.

Когда я – не слишком рано, а так что-нибудь после полудня – появлялся на своем рабочем месте, она входила ко мне и докладывала:

– Вам звонил Икс. Я сказала ему, что у вас сегодня творческий день. Потом позвонил Игрек. Я сказала, что вы с утра поехали в ЦК. Позже заходил Зет. Ну, этому я дала понять, что вас не будет до конца недели. Начальство тоже интересовалось, почему вы не на месте: я сказала, что с утра вы собирались поехать к Маршаку...

Нет, неопытной моя Инна Ивановна не была. Как раз наоборот: она была очень опытна. Строго говоря, она была не

просто опытная, а прямо-таки идеальная, идеально вышколенная секретарша. Но эта ее вышколенность была нацелена совсем не в ту сторону, в какую направляла свою деловитость ее американская коллега. Ее цель состояла в том, чтобы любым способом оградить шефа, грудью заслонить его от любого покушения на его драгоценный покой, от кого бы это покушение ни исходило — от какого-нибудь докучливого посетителя или от высокого начальства.

Разница между моей Инной Ивановной и ее американской коллегой, конечно, была. Но, строго говоря, разница эта была не между ними — секретаршами двух разных школ, — а между учреждениями, в которых они служили. Американское учреждение, если судить по описанному выше четкому поведению американской секретарши, было запрограммировано на то, чтобы ДЕЛАТЬ ДЕЛО. Главная же цель любого нашего, советского учреждения состояла в том, чтобы НЕ ДЕЛАТЬ ДЕЛА. Непроницаемой стеной отгородиться от необходимости делать какое бы то ни было дело.

Воистину — два мира...

ПОБЕДИЛ МОПАССАН

Один мой приятель некоторое время был членом редакционного совета издательства «Художественная литература». И вот какую историю он мне рассказал.

В издательстве готовилось к выпуску собрание сочинений Мопассана и собрание сочинений Ванды Василевской. В ходе обсуждения выяснилось, что выпустить оба эти собрания издательство — по чисто техническим или там финансовым причинам — не может. Надо выбирать.

Голоса разделились. Одни члены редсовета были за то, чтобы оставить в плане выпуска Мопассана, другие стояли за Ванду Василевскую.

До рыночных отношений тогда в нашем государстве было еще далеко, и фирма не стояла перед затратами. Но кое-какую роль соображения издательской выгоды все-таки играли. Поэтому большинство членов редсовета склонялось все-таки к Мопассану. Сторонники Ванды Василевской возражали:

— Мы не имеем права забывать о главной нашей обязанности, о конечной цели всей нашей деятельности. Цель же

эта, как известно, состоит в том, что мы должны воспитывать нашего читателя в духе коммунистической идейности. Главное для нас — именно идейное содержание выпускаемой нами книжной продукции.

И тут поднялся присутствовавший на том заседании представитель Книготорга.

— Простите, — сказал он. — У меня вопрос. Как именно представляете вы себе вот это самое воспитание читателя в коммунистическом духе? Как конкретно оно будет происходить?

— Неужели не понятно? — удивился защитник Ванды Василевской. — Если мы будем издавать книги, проникнутые нашими, коммунистическими идеями, люди будут их читать, и...

— Так читать-то как раз и не хотят! — перебил его представитель Книготорга. И сообщил, что на складах лежит — целехонькое, не распроданное — предыдущее собрание сочинений Ванды Василевской. Так стоит ли издавать новое?

Сторонники Ванды пытались еще как-то там отстаивать свои позиции. Говорили, что издательство не должно идти на поводу у пошлых коммерческих соображений, что идейность — превыше всего. Но их игра была проиграна. Выступление представителя Книготорга решило дело: на этот раз победил Мопассан.

С КНИГАМИ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ!

В рассказе Василия Гроссмана «Несколько печальных дней» героиня размышляет о библиотеке только что умершего брата:

Эта библиотека сейчас умерла вместе с Николаем Андреевичем. Марью Андреевну поразила мысль, что книги, собранные волей одного человека, выразили его духовную жизнь. И сейчас, со смертью брата, библиотека начала распадаться, как распадается на клеточки мозг умершего.

Это очень тонкая и точная мысль. Но среди интеллигентов новой, советской формации люди, подобные гроссмановскому Николаю Андреевичу, были белыми воронами. В большинстве случаев дело обстояло иначе.

Один мой сосед — довольно известный писатель — пере-

езжал на другую квартиру. Он поменялся квартирами с другим интеллигентом, кажется, тоже писателем.

Я как-то заглянул к нему. Квартира была уже наполовину разорена, и мы, естественно, заговорили о том, какая это морока — переезд. Повторялась при этом, разумеется, классическая фраза насчет того, что два переезда равны одному пожару.

— Труднее всего будет с этим, — вздохнул сосед, указывая на стеллаж с книгами, занимавший целую стену его довольно просторного кабинета. — Полки делались на заказ, встроены в стену. Теперь всю эту конструкцию разбирать придется. Как еще довезут, да как установят...

— А книги! — посочувствовал я. — Стеллаж поцарапают — не беда. А вот если книги порвут или загадят... Тебе надо коробки какие-нибудь добыть, чтобы упаковать их как следует...

— Ну, с книгами у меня как раз никакой мороки не будет, — возразил он.

И со смехом рассказал мне, что книги он перевозить не будет, поскольку у его сменщика те же самые книги, что у него. Те же многотомные собрания сочинений Бальзака, Гюго, Золя, Драйзера, Горького, Лескова... Одним словом, подписные издания. Книги ведь они оба — и он, и его сменщик — приобретали не те, какие им были жизненно необходимы, а те, на которые можно было подписаться. Простой советский книголюб, чтобы подписаться на какого-нибудь там дефицитного Драйзера, должен был с ночи занять очередь, а потом бегать отмечаться, трепеща, не пролетел ли при очередной переключке его номер. А наш брат-писатель мог получить любую подписку без всяких хлопот. Ну как же тут было не подписаться!

— Так что возьму я в портфельчик какой-нибудь десяток книг, отражающих мою индивидуальность, — посмеялся мой сосед, — и все дела. А остальное — махнем не глядя!

ГЛАВНЫЙ ИДЕЙНЫЙ ПОРОК РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА»

В 60-е годы я работал в «Литературной газете», где по долгу службы мне приходилось знакомиться с читательскими письмами, а иногда даже и отвечать на них. Не могу себе

простить, что не собирал их, не снимал с них копий: могла бы получиться совершенно поразительная книга.

Но кое-что (отдельные реплики, фразы, абзацы, отрывки) я все-таки догадался сохранить (авось пригодятся!). Вот некоторые из них:

Том Соьер — врожденный дегенерат, вор, хулиган, лгун с уродливой наследственностью. Все злокачества человеческого уродства выплеснуты гнилой утробой на белый свет.

Эта опасная книга — мрачный спутник воровских шаек, извращенных преступников и всевозможных притонов. При ликвидации беспризорных групп, при разгроме Дома Ермака в Москве всюду находился «Том Соьер» — в карманах малолетних преступников и беспризорных.

Вредная книжонка эта должна быть изъята из советских библиотек.

Опять и в который раз вышло произведение Корнея Чуковского о Мухе-Цокотухе. На этот раз это произведение выпущено тиражом в 1 300 000 экземпляров.

До каких пор К. Чуковский будет вводить в заблуждение советских детей? Муха — самое отвратительное насекомое на земле. Она садится на экскременты, на всякую падаль, а затем на лицо человека, на пищу. Вызывая ряд инфекционных заболеваний, как дизентерию. Это насекомое отравляет все лучшие человеческие чувства. Мух надо убивать, уничтожать для удобства человеческой жизни, но Корней Чуковский воспел эту гадость, он восхваляет Муху-Цокотуху, празднует ее именины. Вместо того чтобы привить ненависть к этому гнусному и отвратительному насекомому, причиняющему человечеству постоянный вред...

Это противоестественно, чтобы комар мог жениться на мухе. Вошь не может жениться на клопе и комар на мухе. Это все несусветная чушь и обман. Муха откладывает семьдесят яиц не от комара, и ее потомство растет в геометрической прогрессии. Она заражает пищу, она является источником многих болезней. У детей должно быть развито чувство ненависти к отвратительной мухе.

Не пройдет много времени, когда мы уничтожим вредную муху, воспеваемую К. Чуковским.

Бесполезную книжечку К. Чуковского о мухе можно смело сжечь...

Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но помните, я прошел очень большой путь от блокады Ленинграда, от забойщика до начальника шахты, и сейчас работаю, конечно,

после переезда с Донбасса в Черкассы, не на большой должности бригадира склада горючих материалов. Я страстный любитель музыки, участник в прошлом в художественной самодеятельности, но хочу сказать, что для меня противно то, что не является реальным, а главное, зачастую в передачах, вы заметьте и учтите, когда идет по радио речь о каком-то классическом оперном или балетном произведении, не делайте ударение на сюжет старого, ибо оно может заразить многих. А делайте ударение на вреде, могущем принести нашим дням. Например, каким бы ни было произведение «Пиковая дама» классическим, это среда картежников, любителей взять всё от жизни, а это, значит, и порожденные в наше время стилиги всякого рода, и те, кто презирает физический труд. Это результат этой классики, идущей наряду с большими карманами пап и мам, допускающим этих паразитов общества. Я не равнодушен к таким стилигам и в любом произведении, хотя сам люблю музыку, конечно, не оперу и балет, ибо это равно абстрактному искусству.

По вполне понятным причинам я сохранил в своей маленькой коллекции только вот такие, самые сочные отклики, особенно, как мне тогда казалось, поражающие своей монструозностью. Теперь я понимаю, что самыми монструозными были как раз другие — написанные гладко, литературно: чувствовалось, что авторы их — люди более или менее интеллигентные, даже образованные, во всяком случае, начитанные. Но какие поразительные мысли они высказывали! Один, например, был возмущен поведением толстовской Анны Карениной. Но упрекал он ее (не ее, а Толстого, конечно) не в том, что она изменила мужу. Любовь — дело святое, это он понимал. Возмутило же его то, что Толстой заставил свою героиню изменить крупному государственному деятелю, человеку, отягощенному важными государственными заботами. Вот она — главная ошибка автора, вот он — коренной его идейный порок.

С РУССКОГО — НА РУССКИЙ

В Литературном институте, где я учился, преподаватели были самые разные. Были среди них блестящие университетские профессора, ученые мирового класса — такие, как Валентин Фердинандович Асмус, Сергей Михайлович Бонди,

Сергей Иванович Радциг, Александр Александрович Реформатский... Были персонажи совершенно реликтовые, неизвестно как сохранившиеся в многочисленных советских чистках.

Одной из самых колоритных фигур среди этих последних был Сергей Константинович Шамбинаго: он читал нам фольклор и древнюю русскую литературу. Это был тучный, очень старый, даже дряхлый, как нам тогда казалось, человек. На кафедре он восседал в академической ермолке. Плечи его всегда были прикрыты каким-то ветхим пледом.

Удивил он нас сразу, на первой же своей лекции. Она была посвящена краткому обзору всех школ и направлений русской фольклористики. Заканчивался этот перечень изложением основных принципов исторической школы. А последняя реплика профессора была такая:

— Поскольку ученики мои, братья Соколовы, теперь марксисты, то выходит, что глава исторической школы сейчас я.

Чтобы вот так вот прямо, во всеуслышание объявить себя отказавшимся примкнуть к великому учению, в то время надо было быть либо человеком редкостного мужества, либо — окончательно выжившим из ума. Мы склонились к последнему объяснению. Дальнейшее, более близкое наше знакомство с Сергеем Константиновичем это предположение как будто бы подтвердило.

Однажды во время одной из его лекций (каждый из нас занимался чем-то своим: кто сочинял стихи, кто читал какую-нибудь книгу, кто — сладко дремал) вдруг раздался выстрел.

Все встrepенулись.

Шамбинаго тем же спокойным тоном, с той же интонацией, с которой он только что говорил про храброго Мстислава, «иже заръза Редедю предъ пълкы Касожьскими», произнес:

— Кто-нибудь, пойдите и узнайте, что произошло.

Кто-то из студентов радостно подхватился, выскочил из аудитории, быстро вернулся и доложил:

— Володя Львов застрелился! Из учебной винтовки! От несчастной любви!

Забегая вперед, тут надо сказать, что Володя Львов тогда не застрелился, а только ранил себя, даже своими ногами дошел до машины «скорой помощи». И девушка, из-за которой он пытался покончить с собой, потрясенная этим его поступком, вышла за него замуж. Из института его, правда,

исключили: за поступок, не совместимый с высоким званием советского студента.

Но в тот момент, когда мы услышали, что Володя Львов застрелился, никто всего этого еще не знал. И все мы, естественно, подумали, что попытка самоубийства удалась, что застрелился Володя насмерть. И реагировали соответственно.

Но Шамбинаго выслушал эту информацию совершенно невозмутимо. И тем же тоном, каким только что читал нам лекцию, — произнес:

— Алексей Александрович Шахматов в молодые годы без памяти влюбился в дочь Ивана Александровича Бодуэна де Куртене. Ну-с... Соответственно, сделал ей предложение руки и сердца. Она ему, извольте ли видеть, отказала. Он же не только не застрелился, но написал совершенно замечательную работу «Вводная часть к учению о предложении», ставшую впоследствии главой его книги «Синтаксис русского языка». Всем вам советую следовать этому примеру, а не то вырастаете оболтусами а la Алексис Толстой.

По правде говоря, последняя перспектива нас устраивала гораздо больше, чем почтенный пример А.А. Шахматова. Необыкновенным талантом Алексея Николаевича Толстого все мы искренне восхищались. По какой причине старик Шамбинаго считал его оболтусом, не догадывались. Как не догадывались и о том, что это определение нравственных качеств только что почившего классика на самом деле было еще сравнительно мягким. Мы просто сочли эту реплику нашего профессора еще одной очередной чудаческой выходкой славного, но уже окончательно выжившего из ума старика.

Потом, кстати, выяснилось, что неприязнь старого профессора к Алексею Николаевичу Толстому была вызвана причинами сугубо личного свойства. Алексей Николаевич, как оказалось, однажды публично осрамил его, высказавшись о нем в таком духе:

— А этого старика, — будто бы сказал он про Сергея Константиновича, — надо утопить в мужской уборной на станции Жмеринка.

И после короткой паузы (большой был шутник) добавил: — После сам же будет благодарить.

Профессор Шамбинаго был, конечно, чудачком. Но монстром он не был.

Первый наш студенческий экзамен мы сдавали именно ему.

Нас было четверо: неразлучные тогда Бондарев и Бакланов, Гриша Поженян и я. Экзамена этого все мы очень боялись и, чтобы победить свой страх, не стали дожидаться официально назначенного дня, а решили пойти навстречу этому суровому испытанию, встретить его, так сказать, грудью. Договорившись по телефону и заручившись согласием профессора проэкзаменовать нас досрочно, мы отправились к нему домой.

Трое из нашей четверки пришли в институт с войны, и только я один — прямо из школы. Поэтому я среди друзей считался эрудитом. Как я уже сказал, представления наши о древней русской литературе были весьма туманны, и на военном совете было принято такое решение: как только по ходу экзамена кто-нибудь из нас начнет плавать, я (как самый насвистанный) сразу задам профессору какой-нибудь хитроумный вопрос и таким образом отвлеку его внимание от бедственного положения товарища.

И вот мы пришли.

Не успели мы войти и толком поздороваться, как я получил от кого-то из друзей резкий удар локтем в бок. Намек я понял: ребята жутко трусили и мне предлагалось вопрос мой задать сразу же, немедленно, чтобы заранее, еще до экзамена расположить к нам профессора, по возможности смягчить его суровость.

Не придумав ничего лучшего, я сказал:

— У нас к вам вопрос, Сергей Константинович. Какой перевод «Слова о полку Игореве» вы считаете лучшим?

— Мой! — яростно рявкнул старик.

Усадил нас рядом на диван и долго объяснял, чем именно все другие переводы «Слова» уступают его, единственно верному переложению и толкованию великого памятника древней русской письменности. А в заключение сказал:

— Только никогда применительно к «Слову...» не употребляйте слово «перевод». Надо говорить не «перевод», а — «пересказ». Никаких переводов «Слова о полку Игореве» нет и быть не может. Мыслимое ли это дело — перевод с русского языка на русский!

Высказавшись таким образом, он выстроил нас в шеренгу, прошелся перед нами и бодро спросил:

— На войне все были?

Я хотел было заикнуться, что не все, но, не успев и слова вымолвить, получил еще один — довольно сильный — удар локтем в бок. После чего мы хором гаркнули:

— Все!

— Все раненые?

Мы снова гаркнули:

— Все!

— Раны к погоде болят? — последовал вопрос.

Так же хором мы ответили:

— Болят!

— Ну, ладно. Давайте ваши зачетки, — сказал профессор. И усевшись за стол, медленным старческим прочерком вывел нам всем по пятерке.

Прощаясь, он пожал всем нам руки и, провожая до дверей, сказал:

— Итак, запомните. Крепко запомните. На всю жизнь... Не перевод, а пересказ. Не может быть перевода с русского языка на русский.

По правде говоря, такая зацикленность на этой теме тогда показалась мне еще одним из многочисленных чудачеств милого старика. Тем более что к «Слову о полку Игореве» эта его сентенция, как мне тогда представлялось, была применима не вполне. Все-таки, что ни говори, а современный русский язык от языка «Слова...» отличается сильно. Пожалуй, не меньше, чем русский от украинского. Так что слово «перевод» в данном случае вполне уместно. Ну а насчет других русских поэтов... Ведь только сумасшедшему может прийти в голову бредовая идея перевести «с русского на русский» Пушкина или Лермонтова. Так что такая опасность нам, слава Богу, не грозит...

Но, как сказал Александр Александрович Блок, — «И невозможное возможно...» Или, как любил, бывало, говорить Борис Абрамович Слуцкий: «Как взяться!»

Не так давно вышла в свет книга М. Гаспарова «Экспериментальные переводы».

В чем состоит их экспериментальность, станет видно из

дальнейшего. Пока же скажу, что в числе переведенных маститым нашим ученым поэтов есть и Пиндар, и Ронсар, и Мильтон, и Гельдерлин, и Джон Донн, и Верхарн, и Рильке, и Элиот, и Киплинг, и Оден, и Клейст, и Кавафис... В общем, им переведена («экспериментально») чуть ли не вся мировая поэзия. И русская поэзия тоже не обойдена. Целый раздел этой удивительной книги посвящен переводам – с русского на русский – стихов Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Баратынского, Вяземского, Гнедича, Козлова, Полежаева, Лермонтова.

Для наглядности я приведу лишь три примера: Пушкина, Лермонтова и Баратынского.

У Пушкина М. Гаспаров выбрал для своего эксперимента стихотворение «Любовь одна – веселье жизни хладной...» (у Гаспарова оно называется просто «Любовь»), у Лермонтова – «Элегию» (у Гаспарова оно называется – «Конец»), а у Баратынского – «К Коншину» (его переводчик тоже озаглавил по-своему, назвав его – «Ободрение»).

Сперва напомним читателю пушкинское стихотворение. Прочитую только самое его начало. (Желающие более досконально сравнить оригинал с переводом всегда ведь могут заглянуть в том пушкинской лирики, чтобы восстановить в своей памяти пушкинский текст целиком.)

Итак – вот как выразил своим неуклюжим стихом то, что ему хотелось выразить, Александр Сергеевич Пушкин:

Любовь одна – веселье жизни хладной,
Любовь одна – мучение сердец.
Она дарит один лишь миг отрадный,
А горестям не виден и конец.
Стократ блажен, кто в юности прелестной
Сей быстрый миг поймает на лету;
Кто к радостям и к неге неизвестной
Стыдливую преклонит красоту!..

И т. д.

А вот как усовершенствовал этот старомодный многословный текст М. Гаспаров. Текст его «перевода» привожу полностью:

В розах любви – счастье,
В терниях любви – песня:

Будьте блаженны, будьте бессмертны —
Я люблюсь вами, любовники и певцы.
Я люблюсь вами из сумрака,
Из седого шума дубрав и волн,
Из холодного сна души, —
Слишком много боли:
В мертвом сердце мертва и песня,
Слабый дар отлетает, как легкий дым.

А любовь —
Пусть поет ее любящий и любимый.

Перехожу к гаспаровскому переводу «Элегии» Лермонтова.
Здесь тоже ограничусь цитированием только начальных
строк лермонтовского стихотворения:

Дробись, дробись, волна ночная,
И пеной орошай берега в туманной мгле.
Я здесь стою близ моря на скале,
Стою, задумчивость питаю.
Один; покинув свет и чуждый для людей
И никому тоски поверить не желая.
Вблизи меня палатки рыбаков;
Меж них блестит огонь гостеприимный;
Семья беспечная сидит вокруг огонька;
И внемя повесть старика
Себе готовит ужин дымный!..

И т. д.

В переводе Гаспарова это передано так:

Берег, ночь, скала, одиночество.
Вдалеке — рыбаки вокруг костра.
В черной памяти — блеск и пляска города,
И сквозит боль — незабываемый светлый взор.
Жить бы мне здесь —
Как много был бы я судьбою одолжен, —
А теперь у ней нет прав на благодарность.
Это юность стала раскаяньем,
Опыт пустотой,
И желания мои — изгнанием.

Ну и наконец еще один, последний пример: Баратынский.

Вот как начинается его стихотворение «К Коншину»:

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам!
Не испытай его, нельзя понять и счастья:
Живой источник сладострастья
Дарован в нем его сынам...

А вот во что превратил это стихотворение Гаспаров:

Несчастливцы — мы богаче счастливых.
Счастье — лень, счастье — праздность, счастье — скука.
Лишь в ненастье волна узнает берег,
Где опора — друг,
И целенье, пусть краткое, — подруга.
Не равняйте нас: праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Для наглядности и отчета о проделанной работе возле каждого перевода помечено, сколько строк в оригинале и в какое количество строк сумел уложить мысль поэта переводчик. Выясняется, что в пушкинском стихотворении — 56 строк, а в переводе Гаспарова — всего 12. В Лермонтовской «Элегии» — 32 строки, а у Гаспарова — всего 10. Но рекорд лаконизма переводчик поставил в своем переложении стихотворения Баратынского. То, на что у автора ушло аж целых 36 строк, он сумел уложить в 7.

Правду, видно, молвил великий старец (Гёте), что писать умеют подмастерья, вычеркивать — лишь мастера. Опять же и Чехов высказался в том же смысле: краткость, мол, — сестра таланта. Вот и судите теперь сами, кто тут мастер, а кто — подмастерье, и кто этой сестре приходится родным братом, а кто троюродным или четвероюродным племянником.

Эти свои «экспериментальные» переводы М. Гаспаров называет еще — конспективными. А смысл и цель своего смелого художественного эксперимента объясняет так:

Во-первых, мне хотелось проверить: что остается от стихотворения, если вычесть из него то, что называется «музыкой»?.. Во-вторых, мне хотелось дать себе отчет: что я сохраняю из подлинника XIX века, что мне кажется художественно живым и выразительным, а что вялым, многословным и надоевшим? Мы любим притворяться, что нам близко и дорого всё, всё, всё, — а на самом деле?.. Я получил картину своего художественного вкуса: как мало я вмещаю из того, что мне оставлено поэтами. Одну четвертую или шестую часть... Картина эта мне показалась очень непривлекатель-

ной... Было бы интересно сверить ее с картиной вкуса моих ближних и решить, что здесь от общего нашего времени, а что от моей личной душевной кривизны.

Это было бы интересно, конечно, поскольку свидетельствовало бы о степени всеобщего нашего одичания. Но мне лично гораздо интереснее было бы узнать, что сказал бы обо всем этом мой старый профессор Сергей Константинович Шамбинаго, большую часть своей жизни проживший в той России, от которой нам остался только снег.

МЫ, ДЕТИ, ТРЕБУЕМ!..

Владислав Ходасевич в своих воспоминаниях рассказывает о глупой, мелочной склоке, случившейся в игровой зале Московского Литературно-Художественного Кружка в 1907-м или 1908-м году. Сцепились Толстой и Достоевский. Предваряя недоумение образованного читателя, знающего, что Лев Николаевич и Федор Михайлович ни разу в жизни не встречались, даже знакомы не были, а Федор Михайлович к тому же в 1907-м году давно уже был покойником, Ходасевич тут же сообщил, что в ссоре той участвовали не те самые Толстой и Достоевский, а их сыновья, впрочем — уже пожилые: Сергей Львович и Федор Федорович.

Эта история напомнила мне другую, которую я слышал от старого работника Московского Литературного фонда.

Явилась однажды в это учреждение депутация бородатых, лысых, потрепанных жизнью мужчин и расплывшихся, морщинистых, седых дам. Представ перед изумленными взорами литфондовских девиц, глава депутации возгласил:

— Мы, дети, требуем!..

Это были отпрыски давно, еще до революции умерших писателей, которым Литфонд в 30-е годы оказывал какую-никакую материальную помощь. Толстого и Достоевского, про которых упоминает Ходасевич, среди них, конечно, не было. Но потомки классиков второго эшелона — какого-нибудь там Помяловского, Решетникова или Глеба Успенского вполне могли быть.

ЧТОБ ЖИТЬ

О причине этого «бунта на корабле», который учинили «дети», рассказывавший про него сотрудник Литфонда мне ничего не сообщил. Но причины и без всяких объяснений были мне понятны.

Как раз в это самое время советский Литературный Фонд стал постепенно принимать те формы, которые окончательно заостенели уже в послевоенные годы.

Пастернаку, который одно время сильно нуждался, кто-то сказал, что можно взять в Литфонде небольшую ссуду. Кажется, даже так называемую безвозвратную. В Литфонде Бориса Леонидовича хорошо знали, и когда он обратился туда с этой своей скромной просьбой, ему сказали:

— Да, конечно... Надо только заявление написать.

Борис Леонидович попросил листок бумаги, присел к краешку стола и быстро написал: прошу, мол, выдать... указал сумму, на которую он, как ему сказали, мог рассчитывать, поставил точку и расписался.

— Очень хорошо, — сказали ему, прочитав текст заявления. — Только, Борис Леонидович, надо в конце указать, на что нужны вам эти деньги.

— А-а, — сказал Борис Леонидович, — ну, конечно. Сейчас...

Взял листок со своим заявлением, точку в конце переправил на запятую и дописал всего два слова: «чтоб жить».

Борису Леонидовичу мизерную его ссуду тогда, наверно, выдали. Ну, посмеялись, конечно, между собой над небожителем, как назвал его однажды Сталин, но просьбу все-таки удовлетворили, поскольку происходило все это задолго до Нобелевской премии. А смеялись, потому что, «чтоб жить», в те времена никому никаких ссуд, тем более безвозвратных, уже не выдавали. Ссуды выдавались писателям, которые указывали в своих заявлениях, что деньги им нужны на строительство дачи, или на покупку автомобиля, или на приобретение мебельного гарнитура.

А по прошествии нескольких лет никто из литфондовских дам и девиц уже даже и не знал, кто такой Пастернак. Зато все они хорошо знали — и в лицо, и по имени-отчеству — каждого из «чёртовой дюжины» секретариата, не говоря уже о членах парткома.

КТО ОСНОВАЛ ЛИТФОНД

Пришел как-то в этот новый, не знакомый ему Литфонд Виктор Борисович Шкловский и, поговорив о своем деле с одной из таких литфондовских девиц, вдруг понял, что она понятия не имеет, кто он такой. Придя в ярость, он заорал на нее своим громоподобным голосом, который какой-то парижский газетчик назвал голосом Дантона:

— Вы обязаны меня знать! Вы понимаете, где вы сидите? В каком учреждении вы служите? Вы знаете, кто основал Литфонд?

Ошеломленная девица испуганно пролепетала:

— Вы!

На такой эффект Виктор Борисович, понятное дело, не рассчитывал. Задавая свой риторический вопрос, он имел в виду тех, кто в 1859 году основал тот, первый, старый, настоящий Литфонд — Дружинина, Толстого, Некрасова, Островского, Тургенева, Анненкова... Но у заведения, в которое он пришел, с тем, старым Литфондом, общим было теперь только название.

Деятельность того, старого Литфонда началась с назначения пенсии семье В.Г. Белинского. Поначалу и новый, советский Литфонд, вероятно, хотел продолжить эту традицию и даже назначил какой-то жалкий пенсион великовозрастным «детям» умерших классиков. Но, как правильно заметил кто-то из тогдашних московских литературных острословов, разница между старым и новым Литфондом заключалась в том, что тот, старый, создали богатые писатели, чтобы помогать бедным, а новый, советский, собирает членские взносы у бедных писателей, чтобы помогать богатым.

Потребности богатых писателей всё росли и росли. Пастернаку или Шкловскому некоторое время еще перепадали какие-то крохи с барского стола. Но на внука Помяловского и внучатого племянника Глеба Успенского денег уже не хватило.

ПУШКИН — ЭТО НАШЕ ВСЁ

Эту историю рассказал мне мой приятель Алик Борин, который на протяжении многих лет был штатным сотрудником «Литературной газеты».

Однажды по какому-то заданию редакции он приехал в город Орёл. Председатель горисполкома, слегка обеспокоенный приездом корреспондента из столичной газеты, старался представить культурную жизнь города в наилучшем свете и в качестве одной из главных городских достопримечательностей показал ему дом, в котором некогда жила Анна Петровна Керн.

Продемонстрировав корреспонденту дом и установленную на нем заботами городских властей мемориальную доску, председатель дал понять, что хорошо осведомлен о том, какое место в жизни великого поэта занимала славная жительница их города. Но между прочим сказал, что, к сожалению, неизвестно, чем там у них дело кончилось. Свелось все только к стихотворению («Я помню чудное мгновенье...») или было у Пушкина с этой самой Анной Петровной и что-то еще, более серьезное.

— То есть как это неизвестно? — удивился Алик.

И он довольно близко к тексту процитировал известное письмо А.С. Пушкина С.А. Соболевскому:

Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2100 рублях мною тебе должных, а пишешь мне о мадам Керн, которую с помощью Божией я на днях у...

Письмо это Алик читал собственными глазами. То ли сам на него набрел, то ли ему показал его ближайший друг, известный наш историк и пушкинист — Натан Эйдельман. Во всяком случае, в точности сообщаемых им сведений Алик был совершенно уверен.

Письмо это напечатано в 14-м томе полного — академического — собрания сочинений А.С. Пушкина, и все интересующиеся могут легко убедиться, что председателя Орловского горисполкома Алик в заблуждение не ввел. Разве только в собрании сочинений вместо трех букв известного русского глагола стоят три точки, а Алик, поскольку разговор его с председателем исполкома носил приватный и, я бы сказал, сугубо мужской характер, произнес сакраментальное слово полностью. Что, конечно, придало его сообщению особую убедительность.

Выслушав его, председатель сказал:

— Завтра же расскажу об этом на бюро. Вот товарищи обрадуются!

ЗА СВЯЗЬ С АВТОРАМИ

Виктор Борисович Шкловский однажды так объяснил мне, почему ему все-таки удавалось иногда протащить сквозь редактуру (читай — цензуру) какую-нибудь удачную мысль:

— Почему в тюрьмах случаются побеги? Потому что тюремщик не все время думает, что заключенный может убежать. А заключенный думает об этом все время. Понимаете? Ну вот!..

Виктор Борисович, как известно, славился парадоксальностью своих суждений и блеском их выражения. Но однажды мне довелось ту же мысль увидеть воплощенной в еще более совершенную форму.

Мой приятель Юра Тимофеев работал в Детгизе. Должность у него была довольно высокая — он был заместителем главного редактора. Но отношения с начальством у него как-то не складывались. Да они и не могли сложиться, потому что Юра там, в издательстве, был белой вороной. Во-первых, он любил литературу. Это уже было подозрительно. А во-вторых, он любил авторов — писателей, поэтов. Некоторые из них (Борис Слуцкий, Давид Самойлов) были даже близкими его друзьями.

Этих своих дружб Юра не скрывал, за что и поплатился: его уволили.

Ничего примечательного в этой истории, разумеется, не было. Примечательна была лишь формулировка приказа об увольнении Ю.П. Тимофеева с поста заместителя главного редактора издательства. Формулировка эта гласила: «За связь с авторами».

Звучало это совсем как злое клеймо 30-х годов: «За связь с врагами народа». Тем самым как бы подразумевалось, что автор — это враг.

Но парадоксальность формулировки состояла не только в этом. Ведь редактор по самой своей должности не может не состоять «в связи» с авторами. Как же можно его увольнять за связь с ними?

Так-то оно — так. Но ведь и тюремщик по самой своей должности состоит «в связи» с заключенными. Однако если начальство уличит его в приятельских, а тем более дружеских с ними отношениях, его немедленно уволят. И правильно сделают.

ПОСМОТРИ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО!

У Тодика Бархударяна было длинное, узкое лицо. Тонкие губы постоянно кривила ироническая усмешка. Такой же усмешкой светились его глаза под большими очками в роговой оправе.

В юности Тодик мечтал стать актером. Для этого у него вроде были все данные. Во всяком случае, руководитель их школьного драмкружка неизменно его хвалил и предрекал ему славное актерское будущее. Вот только роли он почему-то всегда давал ему какие-то неприятные. А Тодик, естественно, стремился заполучить хорошую роль. Он все ждал и надеялся, когда же наконец ему выпадет сыграть главного героя какой-нибудь пьесы. И однажды, не выдержав, прямо обратился с этой просьбой к руководителю.

Выслушав его, тот сказал:

— Тодик! Посмотри на себя в зеркало. Ведь у тебя же умное, интеллигентное лицо. Ну сам подумай, разве ты можешь с таким лицом играть положительного героя в советской пьесе? С таким лицом тебе надо играть троцкиста, меньшевика, эсера. В лучшем случае — иностранного шпиона.

ОНИ УМИРАЛИ ОТ СТРАХА

Тодик наверняка согласился бы и на такой вариант: пусть меньшевик, пусть шпион, пусть даже троцкист. Лишь бы роль была не третьестепенная («Кушать подано!»), а из самых важных в пьесе. Он был тогда молод и глуп и не понимал, какими опасностями был бы чреват для него такой поворот событий.

Вот, например, два знаменитых наших актера — Берсенев и Жаков (у них на беду тоже были умные и интеллигентные лица.) в фильме «Великий гражданин» играли троцкистов. Роли их были как раз из главных, и сыграли они их блестяще. Но именно в высоком их актерском мастерстве, именно в том, что негодяи-троцкисты, погубившие главного героя, выглядели в их исполнении очень уж натурально, таилась для них смертельная опасность. Они просто умирали от

страха. (Я читал об этом в мемуарах чуть ли не самого Берсенева). Каждую ночь просыпались они в холодном поту: им снилось, что, посмотрев фильм, Сталин говорит, посасывая свою знаменитую трубу:

— А к этим двоим надо получше присмотреться. Уж хорошо хорошо удалась им их роли. Не иначе, каждый нашел в своей душе какие-то черты, роднящие их с мерзавцами, которых они играют.

НУ ЧТО, СЛАВЯНЕ?..

Рассказывал Юра Давыдов.

Когда их часть вошла в Выборг и они сообразили, что им предстоит там зимовать, они сразу же ободрали с домов водосточные трубы, чтобы ладить из них «буржуйки».

Офицер, командующий их подразделением, скомандовал им построиться.

Они построились.

Пройдясь перед строем, он остановился и сказал:

— Ну что, славяне? Засрём Европу?

Он был из старых военных моряков, еще дореволюционной выучки — каким-то чудом уцелевший бывший гардемарин. Речь у него была хорошая, петербургская. Он даже слегка — по-дворянски — грассировал. Поэтому слово «засрём» в его устах прозвучало особенно выразительно.

Тонкая ирония его, впрочем, ни до кого не дошла. Какая Европа? При чем тут Европа? Застывшим в строю морским пехотинцам не было никакого дела ни до славян, ни до Европы: их интересовали только предстоящие холода и — «буржуйки».

КТО ТАКАЯ АННА КАРЕНИНА?

У Александра Трифоновича Твардовского однажды сломалась машина, и старик Маршак, с которым они были дружны, предложил ему:

— Я стар, все равно почти никуда уже не езжу. Бери мою.

На следующее утро машина Маршака стояла у подъезда Твардовского.

Шофер отложил в сторону какую-то толстую книгу и взялся за руль, ожидая указаний: куда ехать?

Твардовскому, понятно, захотелось узнать, что за книгу читает шофер. Он перегнулся через сиденье, глянул: это была «Анна Каренина». Сердце поэта залило волной радости.

— Ну как? Нравится? — спросил он, кивнув на книгу и, само собой, не сомневаясь в ответе.

— Ох, и не говорите, — вздохнул шофер.

И по дороге он рассказал ему такую горестную историю.

— Еду я как-то с Самуил Яковлевичем. Проезжаем мимо какого-то железнодорожного пути. Самуил Яковлевич говорит: «Не узнаете, где мы едем? Это ведь то самое место, где Анна Каренина под поезд бросилась». Я говорю: «Места знакомые. А кто это такая, Анна Каренина? Я ее вроде никогда у вас не встречал...» Только я сказал эти слова, вижу, Самуил Яковлевич аж побелел. «Остановите машину, голубчик! — говорит. — Я не могу находиться в одной машине с человеком, который не знает, кто такая Анна Каренина». Насилу я его уговорил, чтобы до дому доехать. Подъехали мы к дому, он говорит: «Подымитесь со мной, голубчик!» Ну, думаю, всё. Сейчас даст расчет. Однако вышло иначе. Выносит он мне книгу, эту вот самую. И говорит: «Вот, читайте. А до тех пор пока не прочтете, считайте, что мы с вами не знакомы...» Вот я и читаю, — горько вздохнул он.

ИЗ ЖИЗНИ ПРОКУРОРОВ

Когда я женился, жить нам с женой, естественно, было негде — кроме как у родителей. Отец мой по этому поводу высказался так:

— Разве я сторонник брака по расчету? Разве я против брака по любви? Но неужели нельзя было полюбить девушку с квартирой?

Никакого другого выхода, однако, не было, и мы поселились в родительской комнате. За шкафом.

Комната была хорошая. В коммуналке, конечно. Но — в самом центре Москвы, около Елисеевского магазина. Как нам тогда казалось — большая (18 квадратных метров). Но был у нее один существенный недостаток. Она была продолговатая,

вытянутая в длину. А окна, как на грех, располагались в торцовой, короткой стене. Поэтому перегородить ее было невозможно: получилось бы два длинных узких коридора.

Короче говоря, решили мы эту комнату менять.

О том, чтобы сменять ее на две, хоть и небольшие, мы, разумеется, не смели даже и мечтать. Мечта наша была гораздо скромнее: найти более или менее равноценную, но такую, которую можно было бы перегородить, сделав из нее две.

Пересмотрев тьму разнообразных вариантов (описание их могло бы стать основой для пухлого романа в духе натуральной школы), мы наконец набрали на тот, который оказался нам прямо-таки идеальным. Это было как раз то, о чем мы мечтали. Комната того же размера, что и наша, в том же районе, и не в развалюхе какой-нибудь, а в хорошем доходном доме, с внушительным подъездом, высокими потолками, просторной кухней. И соседей вроде не так уж много: всего шесть семей. Главное же ее достоинство заключалось в том, что окна (такие же два окна, как у нас) располагались в ней по длинной стене. Так что, если бы ее перегородить, получились бы две — хоть и маленькие — но уютненькие, квадратненькие, светленькие комнатки.

Счастливые, мы с женой объявили, что комната эта нам подходит. Уходя, уже в дверях, я сказал:

— Смешно, конечно, спрашивать, есть ли в вашей квартире ванная. В таком доме, как ваш...

И вдруг я вижу, что владельцы комнаты как-то замялись.

— Ванная у нас, конечно, есть, — после долгой паузы ответил наконец глава семьи. — Но во время войны в нее вселился прокурор. С семьей. И до сих пор там живет.

— Но вы не волнуйтесь, — перебила его жена. — Он — прокурор! Ему обязательно что-нибудь дадут. Как только они выедут, ванная будет!

Мы, конечно, не сомневались, что рано или поздно прокурору наверняка предоставят какую-нибудь другую жилплощадь, более достойную его высокого чина и звания. Но перспектива иметь в квартире вместо ванной прокурора, да еще с семьей, нас не прельстила. Обмен не состоялся, и мы с женой так и остались жить в родительской комнате — за шкафом.

ЭТОТ ВОПРОС ТОЖЕ БЫЛ В КОМПЕТЕНЦИИ КГБ

Один мой приятель, работавший в отделе науки «Литературной газеты», рассказал мне о долголетней борьбе двух направлений в отечественной астрономии. Одна группа ученых утверждала, что какое-то (уж не помню, какое именно, но какое-то очень важное) событие в жизни Вселенной произошло пять миллионов лет назад. Противники же их придерживались мнения, что событие это действительно имело место, но не пять, а десять миллионов лет назад.

Борьба между этими двумя научными направлениями приняла такие яростные формы, что противники стали писать друг на друга доносы. В Академию наук, еще куда-то. Ну и, разумеется, в КГБ. Этот, казалось бы, бесконечно далекий от политики, да и вообще, по правде говоря, не такой уж животрепещущий вопрос, выходит, тоже находился в компетенции наших, как их тогда называли (оказывается, не зря!), компетентных органов.

БИРАФ-БИРАФ

Вряд ли надо объяснять, почему именно туда обращались ученые-астрономы, как в высшую, самую авторитетную научную инстанцию: потому что верховным ее шефом был ОН, Корифей Всех Наук. Так кому же, как не им было решать, пять или десять миллионов лет тому назад произошло то, что стало предметом той научной дискуссии.

Ну а если уж сам Отец Народов произносил какие-то слова, они тотчас же объявлялись непреложной научной истиной, а то и новым научным откровением. И тут уже совершенно не важно было, с каким-то обдуманым, дальним прицелом решил он вмешаться в тот или иной научный вопрос, или просто взбрело ему на ум что-то такое брякнуть — в случайном разговоре или хотя бы даже в застолье.

Вот, например, такая история: ее рассказал мне Семен Израилевич Липкин. Как известный знаток и переводчик таджикской поэзии он был приглашен в Кремль на большой прием, устроенный по случаю проходившей в Москве декады таджикской литературы и искусства.

Банкет был уже в самом разгаре, когда за столом, где восседали члены Политбюро, с бокалом вина в руке поднялся Сталин.

Все смолкло.

Медленно, неторопливо, не повышая голоса, как человек хорошо знающий, что каждое его слово будет услышано, как бы тихо и даже неразборчиво он его ни произнес, он начал:

— Великий таджикский поэт Фирдоуси...

И тут произошло неожиданное. За одним из дальних столов (между прочим, том самым, за которым сидел и рассказывавший мне об этом С.И. Липкин) вскочил маленький щупленький старичок и, прервав вождя, громко выкрикнул:

— Бираф, бираф!..

Рядом со старичком тут же оказались два дюжих молодца в одинаковых темно-синих костюмах. Они подхватили его с обеих сторон и молча, не произнеся ни единого слова, усадили обратно на стул.

Переждав эту маленькую суматоху, так же медленно, раздумчиво, вождь повторил:

— Великий таджикский поэт Фирдоуси...

Двое молодцов крепко держали непредсказуемого старичка за руки. Но сила его волнения была, видать, так велика, что он вырвался из их мощных дланей, вскочил на ноги и снова выкрикнул свой странный лозунг, слегка даже его расширив:

— Бираф! Бираф! Литературоведения умерла!

Из всех присутствующих, кажется, один только Липкин понимал, что все это значит.

Непонятные слова «бираф, бираф» расшифровывались просто. Это значило: «Браво, браво!» Со второй же частью лозунга дело обстояло несколько сложнее.

Не удержавшегося в рамках приличий старичка звали Садриддин Айни. Это был живой классик, считалось даже, что основоположник таджикской литературы. На протяжении многих лет он вел упорную борьбу с традиционным литературоведением, утверждавшим, что Фирдоуси был великим персидским поэтом. Он же, Айни, доказывал, что тот был не персидским, во всяком случае не только персидским, а главным образом и прежде всего таджикским поэтом. Над этим его утверждением смеялись, ни один литературовед не принимал его аргументов всерьез. Но он не сдавался, упорно

продолжал отстаивать то, что считал истиной. И вот наконец свершилось. Многолетний спор был закончен: «Литературоведения умерла».

Старик Айни ничуть не преувеличил в своем эмоциональном порыве значение сталинской реплики. После слов, произнесенных вождем, «литературоведения» действительно «умерла».

ВЫ, ГРУЗИНЫ, КАК И МЫ, БАШКИРЫ...

Фейерверк всевозможных празднеств и юбилеев был как бы постоянным фоном нашей прежней, советской жизни. Особое место в этой череде знаменательных дней, недель и декад были праздники разных национальных культур. (Это была плата за сохранение рухнувшей в 1918-м году империи, существование которой большевикам удалось продлить на целых семьдесят лет.)

Декада таджикской культуры сменялась декадой киргизской, киргизская – узбекской, та – якутской, карельской или еще какой-нибудь. И так – по кругу. А когда круг замыкался, все начиналось сызнова.

Ритуал таких праздников был более или менее одинаков. Одни и те же речи, тосты. Одни и те же слова благодарности советской власти и, разумеется, старшему брату – русскому народу, который вывел всех меньших братьев из тьмы к свету.

И вот однажды – дело было в Тбилиси, на очередном празднике грузинской культуры, – один из ораторов, представлявших какой-то из малых народов многонациональной нашей империи, безмятежно произнес фразу, которую он, видать, уже неоднократно произносил на разных таких же торжествах, всякий раз ловко приспособивая ее к конкретным обстоятельствам места и времени.

– У вас, грузин, как и у нас, башкир, – сказал он, – до Великой Октябрьской социалистической революции не было своей письменности...

Не знаю, как удалось темпераментным грузинам примирить естественную реакцию на это чудовищное оскорбление с не менее древними, чем грузинская письменность, законами кавказского гостеприимства.

ОПТИМИСТ

В Тбилиси на каком-то важном собрании писателей доклад о поэзии делал Иосиф Н. — поэт весьма скромного дарования, не шибко преуспевший ни в трудах, ни в личной жизни, и к тому же довольно-таки — мягко говоря — непривлекательной наружности.

Доклад его, как полагалось, сплошь состоял из призывов к торжеству жизнеутверждающей, бодрой поэзии.

— Мы оптимисты!.. Советская поэзия должна быть пронизана духом оптимизма!.. — патетически восклицал он.

Когда доклад кончился, кто-то из внимавших докладчику задумчиво сказал:

— Подумать только!.. Байрон... Лорд... красавец... богач... умница... гений... — пессимист!.. А наш Иосиф... Урод... дурак... бездарность... нищий... — оптимист!

КРАЙНЯЯ МЕРА

У народной артистки СССР Варвары Осиповны Массалитиновой была старая домработница — Настя. Жила она у Варвары Осиповны много лет и, как это часто бывает, к хозяйке относилась свысока, полагая, — вероятно, — и не без некоторых оснований, — что в жизни понимает лучше, чем она. В связи с этим часто возникали конфликты. Хозяйке, естественно, хотелось поставить на своем. Но сладить с упрямницей она не могла.

Когда жизнь со строптивой старухой становилась совсем уже невыносимой, Варвара Осиповна прибегала к самой крайней мере. Она подходила к телефону, снимала трубку, набирала какой-то — якобы секретный, только ей одной известный номер, и говорила:

— Ёсь Виссарионыч?... Здрасьте, Ёсь Виссарионыч!.. Массалитинова говорит... Да, да... Она самая... Народная артистка Массалитинова...

Выслушав ответ, тяжело вздыхала:

— Да, Ёсь Виссарионыч, опять она... Настька... Ну никакого сладу... Грубит, своевольничает...

Старуха тем временем уже тряслась на своем сундуке от

страха. А народная артистка продолжала разыгрывать свой сценический этюд.

— А может, еще погодим, Ёсь Виссарионыч? — вдруг меняла она тон. — Жалко ведь дурёху... Пропадёт она там... Да я понимаю, что уж не первый раз... Но, может, всё-таки образумится? А?... Ну так уж и быть, Ёсь Виссарионыч, последний раз... Ей-богу, последний... Ну спасибо вам, Ёсь Виссарионыч... Век за вас буду Бога молить...

Массалитинова вешала трубку и, ни слова не говоря, уходила к себе. А Настя на какое-то время становилась шелковой.

Впрочем, через месяц-другой она снова начинала ворчать, а потом и грубить, и своевольничать, и Варваре Осиповне снова приходилось прибегать к своей крайней мере.

ПУСТЬ ДУМАЕТ, ЧТО Я ТРОЦКИСТКА

Эту историю рассказала мне Ольга Львовна Слиозберг, промыкавшаяся по сталинским тюрьмам и лагерям свои семнадцать лет.

В тюрьме она сблизилась с одной совсем простой, неграмотной женщиной, обвинявшейся, естественно, в троцкизме. И вот однажды эта женщина обратилась к ней за советом. Дошло до нее с воли письмо от дочки. Дочке исполнилось пятнадцать лет, и ей предстояло вступать в комсомол. И она просила мать, чтобы та написала ей: правда ли, что она троцкистка, что злоумышляла против нашей страны, против товарища Сталина. Если правда, она проклянет ее и вступит в комсомол. Если же мать честно напишет ей, что ни в чём не виновата, то вступать в комсомол она ни за что не станет. Девочка признавалась, что ей, конечно, очень страшно думать, что при таком повороте она сразу станет изгоем. (Выражала она это, конечно, другими словами, но мысль была именно такая.) И все-таки, — писала она матери, — лучше бы мне узнать, что никакая ты не троцкистка, не враг народа.

Получив это письмо, мать девочки проревела всю ночь. А наутро попросила Ольгу Львовну написать дочери от ее имени, что все, в чем ее обвиняют, — правда. «Так прямо и напиши, — сказала она. — Вступай, доченька, с чистым сердцем вступай. У тебя перед комсомолом никакой вины нет, а за

мать ты не ответчица. Сам товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает».

Ольга Львовна изо всех сил старалась уговорить ее не возводить на себя напраслину, не признаваться в несуществующей вине. Но та твердо стояла на своем.

— Ей жить, — сказала она. — Лёгкое ли это дело девчонке знать, что мать сидит ни за что? Нет, пусть уж лучше думает, что я троцкистка.

А НАШ-ТО — ЗАБИВАЕТ АМЕРИКАНЦА!

Эту историю рассказала в одной из своих книг Светлана Аллилуева.

На концерте приехавшего из Америки Иегуди Менухина она оказалась в одной ложе с Кагановичем: какой-то его родственник был скрипач, и поэтому дети иногда затаскивали его на концерты.

Этот вечер был настоящим праздником искусства, — вспоминает Светлана. — Менухин и Ойстрах играли концерт для двух скрипок Баха.

Она наслаждалась необыкновенно гармоничным ансамблем двух виртуозов.

Вдруг сидящий рядом с ней Каганович наклонился к ее уху и, подмигнув, сказал:

— А ведь наш-то — забивает американца!

БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ ТОЖЕ ПЛОХО

Любовь Михайловна Эренбург однажды рассказала мне, что жена Пикассо пожаловалась ей на гениального своего супруга. Тот, оказывается, каждый вечер, пренебрегая всякими приличиями, подымается наверх, в комнату служанки.

— Бог ты мой! — пожалала плечами Любовь Михайловна. — Есть из-за чего беспокоиться! Ему девяносто лет. Что он может ей сделать?

— Как что? — удивилась жена великого художника. — Завещание.

Не знаю, в самом ли деле у них там, на Западе, можно

единым росчерком пера отказать всё своё имущество какой-нибудь шлюшке. Но у нас, я думаю, такой номер скорее всего не прошел бы. Да и не в обычае у нас было писать завещания. Что завещать-то?

Однако медаль эта, как оно всегда бывает, имела и другую, оборотную сторону.

Сидел я однажды в суде, болея за приятеля, который отсуживал у издательства какой-то свой зажиленный гонорар. Одно сквалыжное дело сменялось другим. Вдруг — в перерыве между двумя слушаниями — судья сказал:

— Гражданин такой-то! Пройдите ко мне, пожалуйста!

Сидевший рядом со мной старик неторопливо поднялся, поковылял по проходу и скрылся в судейской комнате.

— Мой-то, — кивнула ему вслед сидящая рядом старуха, — когда помер...

— Кто помер? — не понял я.

— Ну, мой старик... Вот, что пошел сейчас к судье-то... Когда он помер...

— Как помер? — опять не понял я. — Ведь он же живой!

— То-то и дело, что живой, — вздохнула старуха. — Он, стало быть, помер, а его... это... ре...

— Реанимировали? — догадался я.

— Вот-вот... ре... это самое... В общем, воскресили... Ну, а пока воскрешали, то, да сё, как сказали нам, что он, значит, помер...

— А-а! У него была клиническая смерть! — догадался я.

— Ну... Я ж тебе про это самое и толкую... Тут дети наши налетели и всё имущество растащили. Вот мы сейчас с ними и судимся.

СКОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО ЗИМ!

После какой-то очередной реорганизации киностудия «Мосфильм» была разделена на несколько «Объединений». Во главе каждого Объединения стоял главный редактор и в каждом была своя сценарноредакционная коллегия. А кроме того была еще — главная сценарно-редакционная коллегия, тоже возглавляемая редактором. Но тот, чтобы не путать его с главными редакторами Объединений назывался уже не главным, а — генеральным редактором.

Сергей Александрович Ермолинский, как и я, был членом редколлегии одного из шести объединений. А бывший следователь по особо важным делам Лев Романович Шейнин — Генеральным редактором всего Мосфильма. И вот однажды всех членов нашей редколлегии пригласили к Генеральному на какое-то важное совещание.

Он принял нас в огромном, роскошном своем кабинете. На гигантском столе его стояло по меньшей мере восемь телефонов.

Встретил он нас, несмотря на всю эту роскошь, весьма демократично и даже радушно. Вышел из-за стола, каждому — с улыбкой — пожал руку. А когда очередь дошла до Сергея Александровича, он прямо-таки расцвёл.

— Сергей Александрович! Дорогой! Сколько лет, сколько зим! — повторял он, радостно тряся его руку. — Давненько мы с вами не виделись!

— Да, Лев Романович, — сказал Сергей Александрович, не отнимая руки. — Давненько. С тех самых пор, как вы допрашивали меня в том, другом своем кабинете. Тот, правда, был не таким роскошным, как этот.

ЭТО ВАШ РОДСТВЕННИК?

Эту историю мне рассказала Серафима Густавовна Нарбут (в девичестве — Суок). Я знал ее уже в последнюю пору ее жизни, когда она была женой Виктора Борисовича Шкловского.

Первым мужем Серафимы Густавовны был Юрий Карлович Олеша. Потом, когда она с ним рассталась, женой Юрия Карловича стала ее сестра — Ольга. Юрий Карлович, — объясняла Серафима Густавовна, — когда она, Сима, ушла от него к Нарбуту, стал ходить к Ольге — жаловаться ей на ее негодницу-сестру. Ходил-ходил, жаловался-жаловался, и дело кончилось тем, что они поженились.

А старшая сестра Серафимы — Лидия Густавовна — была женой Багрицкого. Такая вот была троица.

Во время войны, в эвакуации, Лидию Густавовну посадили. Уж не знаю, что ей там шили — шпионаж, или подготовку террористического акта, или еще что-нибудь в том же роде.

Дело было в Караганде. И надо же было так случиться, что

здание местного отделения НКВД располагалось на улице Багрицкого. И следователь, допрашивавший Лидию Густовну, спросил:

– Скажите, а тот Багрицкий, именем которого наша улица названа, он вам не родственник?

Лидия Густавовна сухо ответила, что это ее муж.

Не знаю, поверил он ей или не поверил. Хотя, он ведь легко мог это установить по материалам следственного дела. Как бы то ни было, этим ее ответом он удовлетворился вполне и больше к этой скользкой теме не возвращался ни разу.

СТРАДАНИЯ ЧЛЕНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА

История эта случилась с одним моим другом – художником.

Художник он был не преуспевающий. Не лауреат, не знаменитость... Не был он и человеком общественным. Сидел сиднем в крохотной своей мастерской и малевал свои, как он их называл, картинки.

Картинки были занятные. Во всяком случае – не банальные.

Раз в два-три месяца он приглашал нас – нескольких своих друзей – к себе в мастерскую и показывал всё, что успел наработать за то время, что мы не виделись. А помимо этих регулярных показов никаких других встреч у меня с ним никогда не бывало. Поэтому я был очень удивлен, встретив его однажды на каком-то вернисаже.

– Понимаешь, какая штука, – сказал он, сразу поняв причину моего удивления, – в моей жизни произошло некоторое событие.

– Надеюсь, хорошее?

– Еще не понял. Меня, представь, сделали членом художественного совета...

– Что же тут плохого?

– Да нет, плохого, в общем, ничего. Только, боюсь, не гоюсь я для этого дела. Представляешь, показывают одну картинку. Все в один голос: «Слабо, скверно... Никуда не годится... Ни цветом автор не владеет, ни композицией...»

– Ну и что? – не понял я. – Неправду, что ли, говорят?

– То-то и дело, что правду. Действительно, понимаешь, совсем слабая картинка. Ну ни в какие ворота...

— Что же делать, — посочувствовал я. — Забодать работу товарища — дело, конечно, неприятное. Но ты ведь не кривишь душой...

— Да нет, не в том дело, — прервал он меня. — Ты дослушай!.. Уносят, значит, ту картинку, которую мы только что боданули. Вносят другую. Все в один голос: «Замечательно! Великолепно! Какое чувство цвета! Какая композиция!..» И принимают, понимаешь, на ура... А картинка — ну совершенно такая же, как та, которую они только что дружно долбали. Гляжу я на нее и — хоть убей, не понимаю разницы. Ну ничем, ни одним, понимаешь, атомом, ни одной молекулой она от той не отличается... Нет, — сокрушенно покачал он головой. — Не гожусь я для этого дела. Надо мне из этого худсовета бежать...

— Погоди, — сказал я. — Зачем бежать? Деньги-то тебе за это какие-никакие платят?

— Деньги платят, — вздохнул он.

— Ну и сиди... Не хитрая штука, научишься... А не научишься, притворяйся. Кивай с важным видом — и все дела.

На том мы и расстались. А месяца через три я снова встретил его на каком-то вернисаже.

— Ну что? — спросил я. — Как твой худсовет? Не сбежал еще?

— Нет, — уныло покачал он головой.

— Ну вот! Я же говорил: дело нехитрое, научишься... Или так и не научился?

— Да нет, научился, — сказал он. — Так насобачился... Только гляну — и сразу вижу, какую картинку будут до небес возносить, а какую с дерьмом мешать. Усвоил, понимаешь, их критерии... Нет, брат, — вдруг страстно зашептал он. — Бежать, бежать мне надо из этого худсовета! И как можно скорее! А то поздно будет!

На этот раз я его отговаривать не стал.

ГРУЗИНСКИЙ ТОСТ

В 1985-м году я подрядился переводить один грузинский роман. Работа эта не так дурна, как кажется, — говорит классик. Вспоминая о том, как он всю ночь «прорубал просеки в чужом переводе», он эту свою мысль поясняет так:

Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва осязатимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Я, правда, в отличие от Бабеля (или его героя) переводил не Мопассана. Да и переводом мою работу в строгом смысле этого слова назвать было нельзя. Рукопись (так называемый подстрочник), которую я должен был превратить в роман, представляла собой ком сырого теста, из которого мне предстояло вылепить некое подобие человеческой фигуры. Помимо всего прочего, и теста-то было маловато: приходилось добавлять свое. Тут уж было не до фраз, и рычаг приходилось поворачивать не раз, и не два, а вертеть его постоянно в самые разные стороны. Но книга, как и фраза, тоже рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. И в самой плохой книге всегда можно найти, за что зацепиться воображению.

Ну а кроме того, за такую работу в то время неплохо платили.

Впрочем, главный мой гонорар исчислялся не деньгами. Он состоял в том, что я увидел Грузию. И уже одно это стоило обедни.

У автора книги, которую я должен был перепереть на язык родных осин, был друг — секретарь райкома. Он и открыл нам самое сердце этой благословенной страны.

Для начала он повез нас в горы — показать какой-то старинный грузинский храм. Он не был действующим, но в нем не было и следа той разрухи и гнилостного запустения, какими были отмечены превращенные в склады для картошки бездействующие русские церкви. Принимая во внимание его возраст (двенадцатый век), он поражал удивительной своей сохранностью.

Когда я выразил по этому поводу восторженное изумление, наш гид (секретарь райкома) подмигнул мне и сказал: «Так не большевики ведь строили», — чем навсегда завоевал мое сердце.

Но окончательно он покорила меня чуть позже — одним своим тостом.

Тост этот был произнесен во время большого застолья, которое нам устроили в тот же вечер. Дело происходило на

дивной лесной полянке, как видно, давно уже приспособленной для мероприятий такого рода. Там уже был накрыт длинный стол, за которым разместилось все районное начальство. Рядом плескался ручей, в котором охлаждались бутылки с грузинским вином и чешским пивом. На столе было все, что только может вообразить фантазия художника — лобио, бастурма, шашлыки, золотая форель, красная и черная икра. Вино лилось рекой. И рекой лились тосты — один затейливее другого. Официальные, государственные перемежались личными и даже интимными. Никогда в жизни не чувствовал я себя так легко и радостно, как во время этого застолья: вероятно, вино было легкое, хорошее, и похмелье от него было приятное. Одна только мысль где-то на дне сознания терзала меня: что если вдруг кто-нибудь из этих уже сильно принявших на грудь грузинских партийных начальников предложит выпить за Сталина? Я гнал от себя эту ужасную мысль, но время от времени она все-таки возникала и начинала меня мучить. И вдруг — о ужас! На самом дальнем краю стола встал маленький человечек с бокалом в руке. Лицо его было залито слезами.

— Дорогие друзья! — сказал он. — Этот тост, который сейчас скажу, прошу выпить стоя.

«Вот оно!» — с ужасом подумал я.

— Кто это такой? — шепотом спросил я у соседа.

— Рапо, — таким же таинственным шепотом ответил он мне.

Что такое «Рапо», я не знал, но в этом слове мне почудилось что-то жуткое.

Человек, которого звали «Рапо», тем временем стоял, заливаясь слезами, и, еле ворочая языком, повторял:

— Как братьев прошу, выпить стоя.

Все встали.

И тогда «Рапо» торжественно провозгласил:

— Выпьем за наших матерей!

У меня сразу отлегло от сердца. И жуткий «Рапо» сразу показался мне очень милым человеком. И само это слово, как вскоре выяснилось, не таило в себе ничего ужасного: это была всего-навсего аббревиатура, означавшая что маленький человечек заведовал у них в райкоме агропромышленным отделом.

Тосты меж тем становились все менее официальными. Даже я расхрабрился и предложил выпить за великого грузинского художника Нико Пиросманашвили. Это мое предложение растрогало соплеменников художника до глубины души. Мой сосед слева громко говорил, восхваляя Нико:

— Какой талант! И какая нэсчастливая жизнь была у человека. Бэдний был. Совсем бэдний...

Я громко возразил ему:

— Да, он был бедный человек. Но он не был несчастным. Он был счастливый человек, — я сделал эффектную паузу, — потому что он не знал, что такое партийное руководство искусством!

Ликование, которым районная партийная элита встретила эту мою не совсем лояльную шутку, не поддается описанию. После этого я окончательно уверился, что все сидящие за этим длинным столом, люди бесконечно милые, а главное — свои в доску.

И вот тут-то и прозвучал тот тост, ради которого я начал этот свой несколько затянувшийся рассказ.

Не теряющий головы хозяин стола поднял свой бокал и торжественно начал:

— Дорогие друзья! Я хочу выпить за великий русский народ! Нет на свете другого такого народа. Великодушного, щедрого...

— А мы не русские, — вдруг к величайшему моему ужасу прервала его моя жена. — Я украинка, а он, — она кивнула в мою сторону, — еврей...

Хозяин стола улыбнулся.

— Дорогие друзья! — повторил он. — Как только что выяснилось, за нашим столом нет ни одного русского. С тем большим удовольствием я хочу выпить за великий русский народ. Нет на свете другого такого народа. Великодушного, щедрого...

Он говорил еще долго. Но я уже не слушал. Я просто смотрел на него и восхищался. Восхищался свободой и артистизмом, которые были у него в крови и до которых нам, посланцам того великого народа, о котором он говорил, было еще расти и расти.

ГДЕ МОЯ КОШКА?

Застенчиво улыбаясь, он останавливал одного прохожего, другого, третьего и каждому задавал один и тот же вопрос:

— Где моя кошка?

Прохожие реагировали по-разному. Один вежливо сказал: «Простите, не обратил внимания». Другой грубо буркнул в ответ: «Почем я знаю, где твоя кошка?» Третий и вовсе ничего не ответил, только пожал плечами, покрутил пальцем у виска и пошел не оглядываясь. Но пятнадцатый, а может, двадцатый прохожий, внимательно выслушав странного человека, — догадался: тот, оказывается, спрашивал вовсе не про кошку. Вопрос его означал: «Где Маяковская?»

Это у него был такой жуткий акцент.

Научиться более или менее сносно говорить по-русски Хулио Матеу, в отличие от других знакомых мне московских испанцев, для которых русский давно стал родным, так и не смог. Объяснялось это, вероятно, тем, что те, другие, попали в Россию детьми, а он приехал в Москву хоть и сравнительно молодым, но уже вполне взрослым.

Этот худенький невысокий человек с постоянной застенчивой улыбкой, не вполне гармонирующей с такой же постоянной печалью, льющейся на собеседника из его черных, огромных, как сливы, глаз, безусловно заслуживает отдельного рассказа. Но сейчас я вспомнил о нем в связи с другим, не менее ярким человеком, знакомством с которым я обязан именно ему — испанскому поэту Хулио Матеу.

Алика Янова он привел в редакцию журнала «Пионер», где я тогда работал, и представил его как своего переводчика. Он сказал, что никому никогда еще не удавалось перевести его стихи так хорошо, как это сделал Алик.

Переводы и в самом деле были замечательные.

Краски, которыми пользовался поэт, поражали свежестью и новизной. И все предметы, изображаемые этими красками, были настолько реальны, что их можно было не только увидеть, но, казалось, даже потрогать руками.

Стихи мы, конечно, напечатали. И не раз, не два: стоило только Алику принести какое-нибудь новое переведенное

им стихотворение Хулио Матеу, как мы сразу же ставили его в очередной номер.

А потом Хулио Матеу как-то пропал с нашего горизонта. Но Алик Янов не пропал. Он продолжал приносить нам все новые и новые свои переводы. Теперь уже не с испанского, а с греческого. Он стал переводить революционного греческого поэта Янниса Рицоса, которого черные полковники в то время гноили в тюрьме, а все прогрессивное человечество дружно встало на его защиту.

Переводы и на этот раз были замечательные. Просто великолепные. Мир, создаваемый словом поэта, был так же реален. И так же казалось, что все предметы этого мира можно не только увидеть, но даже потрогать руками. И нас совсем не смущало, что этот мир, отразившийся в стихах греческого поэта Янниса Рицоса, напоминает уже хорошо нам знакомый мир испанского поэта Хулио Матеу.

А потом бум, связанный с именем Янниса Рицоса, кончился. Не помню, то ли черные полковники под давлением мировой общественности наконец выпустили его из тюрьмы, то ли что-то другое с ним случилось, но так или иначе, мода на него прошла. И тогда Алик Янов стал приносить нам переводы стихов турецкого поэта Орхана Вели. А потом каких-то еще турецких поэтов, имена которых я уже не могу вспомнить.

Эти переводы тоже были замечательные. И мир, созданный воображением турецких поэтов, был таким же зримым и осязаемым, как мир испанского поэта Хулио Матеу и мир греческого поэта Янниса Рицоса. И так бы, наверно, продолжалось еще долго – бесконечно долго. Ведь стран на свете много, и в каждой стране наверняка можно отыскать поэта, стихи которого близки чаяниям всего прогрессивного человечества.

Но тут произошла заминка.

Вторгаясь на турецкую территорию, Алик не предполагал, что эта золотоносная жила уже давно разрабатывается мощной группой специалистов по турецкой поэзии. Специалисты, монополизировавшие эту золотую жилу, разумеется, не могли допустить никакой конкуренции. Короче говоря, разразился грандиозный скандал, в ходе которого выяснилось, что стихи Орхана Вели и других турецких поэтов, Алик сочинял сам. Это были его собственные стихи.

Как обстояло дело с Хулио Матеу и Яннисом Ридосом — не знаю. Быть может, и им тоже Алик дарил свои собственные поэтические перлы. А может быть, постепенно входил во вкус и только на турецкой территории распоясался окончательно.

Как бы то ни было, поэтическая его карьера на этом кончилась.

Навсегда покончив со стихами, Алик опубликовал ряд блестящих статей о русских славянофилах XIX века. А потом — уехал в Америку.

Узнав, что он стал эмигрантом, я живо представил себе, как он бредет по какой-нибудь там нью-йоркской или вашингтонской улице и с растерянной улыбкой спрашивает что-то у прохожих на своем московском английском. И ньюйоркцы (или вашингтонцы) так же не могут его понять, как некогда москвичи не могли понять испанского поэта Хулио Матеу.

Но я недооценил Алика.

Как оказалось, он довольно быстро и легко вписался в американскую жизнь. Теперь он известный американский ученый, профессор какого-то знаменитого американского университета. И он даже оттуда, из-за океана, шлет нам разные советы космического масштаба. В основном насчет того, как вытащить Россию из пропасти.

Один из этих его советов довольно широко обсуждался в нашей печати. Суть его сводилась к тому, что надо выкопать из-под земли какой-то медный кабель, цена которому двадцать пять миллиардов долларов, и на вырученные деньги тащить из болота гигантского нашего бегемота.

Наши политики и экономисты Алика не послушались. А — зря. Лично я не сомневаюсь, что, в отличие от никогда не существовавших стихов Орхана Вели и других турецких поэтов, медный кабель, за который он предлагал нам ухватиться, действительно существует.

КАК ОН ПРЯТАЛСЯ

Выходя из дому, я достал из почтового ящика газету, развернул и тут же наткнулся на очередную гневную отповедь академику Сахарову. Под письмом, исполненным самого бурного гражданского негодования, стояли подписи, среди

которых мне сразу бросилась в глаза фамилия моего соседа — известного кинорежиссера. И только вышел я во двор, как — вижу! — он...

Завидев меня, он сделал на лице выражение гражданской скорби и, кивнув на газету в моей руке, быстро заговорил:

— Уже читали?.. Да, да... Ужас, ужас... Всю неделю я прятался, уехал на дачу, не подходил к телефону... Жене велел говорить, что она не знает, где я... Нашли, приехали, посадили в машину, привезли... Крутили руки... заставили... Ничего не мог сделать...

Несколько дней спустя я был по своим делам на Мосфильме — как раз в том объединении, где мой сосед был худруком. Сидели, болтали о том, о сем. И вдруг кто-то сказал:

— А наш-то! Видали? Тоже оскоромился...

— Да, я как раз в тот день его встретил, — сказал я. И вкратце пересказал наш разговор.

Все расхохотались.

А отсмеявшись, рассказали, что их худрук, прослышав где-то, что готовится такое письмо, прямо весь извертелся. Звонил в Госкино, в ЦК, еще куда-то. И в конце концов добился-таки, чтобы под проклятиями Сахарову красовалась и его подпись тоже.

— Господи! — изумился я. — Зачем это ему?

Все снова расхохотались. А отсмеявшись, объяснили мне, как несмышлелен я:

— То есть как это — зачем? Ведь он тоже — основоположник, Герой Социалистического Труда, и все такое... Все «гертруды» подписали, а его подписи нет... Не дай Бог, подумают, что он уже выпал из обоймы...

У СТАЛИНА БЫЛ ТОНКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВКУС

Эту историю рассказал мне Александр Григорьевич Зархи.

Когда члены Политбюро смотрели, как это тогда было принято, только что сделанный им с Хейфецем фильм «Член правительства», произошла очень неприятная для создателей фильма — мало сказать, неприятная, жуткая! — заминка.

Просмотр закончился, но никакого обсуждения не было. Никто из высокого начальства не вымолвил ни единого слова.

Режиссеры поехали домой и стали ждать.

День прошел. Второй. Третий... Ужас, охвативший соавторов, да и всю съемочную группу, не поддается описанию. Наконец на четвертый или пятый день раздался звонок. Звонил Поскребышев.

Разговор был очень хороший, благожелательный. Он сказал, что картина понравилась. Никто из членов Политбюро не высказал никаких замечаний. Но лично у него, у Поскребышева, возникло одно легкое недоумение. Во всей картине — ни слова о Сталине...

Александр Григорьевич понял намек с полуслова и тут же заверил звонившего, что досадная эта промашка немедленно будет исправлена.

Легко сказать — исправлена... Не вставишь ведь великое имя абы как, ни к селу ни к городу. Да и надо все-таки не попортить при этом тонкую художественную ткань произведения.

Несколько ночей Александр Григорьевич провел без сна. И наконец его осенило.

По ходу дела героиня фильма пишет письмо «на самый верх». Вот тут бы и дать понять зрителю, кому — лично! — адресовано это письмо, из-за которого судьба героини чудесным образом переменилась. Но — как? Дело происходит глубокой ночью. Собеседника, с которым героиня могла бы поговорить на эту тему, у нее быть не может. Можно было, конечно, показать крупным планом листок бумаги, на котором корявыми крупными буквами было бы старательно выведено: «Дорогой...» Ну и так далее. Но это было бы, как говорят в таких случаях герои Зощенко, «маловысокохудожественно». А Александру Григорьевичу, понятное дело, хотелось, чтобы было художественно.

И он таки нашел выход из этого сложного положения.

Героиня, сочиняющая свое письмо при свете керосиновой коптилки, встает, подходит к кровати, в которой спит ее маленькая дочь, осторожно будит ее и шепотом спрашивает:

— Доченька! «Виссарионыч» — одно «сы»? Или два «сы»? Девочка, не разлепляя сонных глаз, отвечает:

— Два «сы».

Соавтору Александра Григорьевича — режиссеру Хейфецу —

эта придумка очень понравилась. Нравилась она и самому Александру Григорьевичу. Возникло, однако, сомнение: понравится ли она Сталину? Не покажется ли она ему чересчур тонкой? Не захочет ли он, чтобы имя его прозвучало в фильме без всяких этих художественных тонкостей и намеков, а как сказал поэт — весомо, грубо, зримо...

К счастью, эти опасения оказались беспочвенными.

У вождя, как оказалось, был тонкий художественный вкус: изящная выдумка режиссера Александра Зархи полностью его удовлетворила.

ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ В ШТАТСКОМ ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

В 60-е годы был распространен такой анекдот. В Египте обнаружили не известную прежде мумию какого-то фараона. Необходимо было установить личность покойника. Для этой цели съехались искусствоведы из всех стран мира. Из СССР тоже прибыли два искусствоведа в штатском. И разгадать загадку удалось только им. Искусствоведы других стран долго что-то там высматривали, вынюхивали, но толком ответить на поставленные вопросы так и не смогли. А наши провели наедине с мумией несколько часов и сразу назвали имя фараона, эпоху, годы его царствования. Все, понятное дело, стали интересоваться, как удалось им так быстро все это выяснить, да еще с такой потрясающей точностью. Они охотно объяснили:

— Сам признался!

После этого анекдота выражение «искусствоведы в штатском» стало расхожим. А в литературной среде у него тотчас появился аналог: «Литературоведы в штатском». Кличка эта пристала ко многим...

Ни один из литературоведов, о которых пойдет речь в этом моем рассказе, к категории «литературоведов в штатском» в собственном (одиозном) смысле этого слова отнесен быть не может. А почему я так его озаглавил, станет ясно из дальнейшего.

В 70-е годы Марина Цветаева уже прочно вошла в первую десятку (а может быть, даже и пятерку) русских поэтов XX века.

На Западе о ней писались диссертации, выходили монографии, собирались специально посвященные ей симпозиумы и научные конференции. Одну из таких конференций — весьма представительную — предполагалось провести в Италии. И устроители этой конференции направили в Москву, в Союз писателей СССР письмо, в котором они приглашали принять в ней участие соотечественников поэта — известного литературоведа Владимира Николаевича Орлова, подготовившего и выпустившего со своим предисловием том Цветаевой в большой серии «Библиотеки поэта», родную сестру Марины Ивановны — Анастасию Ивановну Цветаеву, Владимира Брониславовича Сосинского, дружившего с Цветаевой в эмиграции, в Париже, и двух литературоведов, давно занимающихся изучением жизни и творчества Цветаевой — Анну Саакянц и Ирму Кудрову.

Посоветовавшись и, разумеется, согласовав свое решение с начальством, руководство Союза писателей ответило на это приглашение письмом, в котором сообщалось, что делегация в указанном выше составе, безусловно, на конференцию прибудет. Но при этом высказывалась просьба, чтобы в число ее членов включили еще двух известных советских литературоведов: литературоведа Т. (автора книги о Салтыкове-Щедрине) и литературоведа П. (автора книги о Бальзаке).

Не вдаваясь в выяснение причин, по которым автор книги о Щедрине и автор книги о Бальзаке должны участвовать в конференции, посвященной творчеству Цветаевой, устроители пошли навстречу пожеланиям московских коллег и ответили, что охотно пригласят указанных господ тоже.

Однако перед самым открытием конференции из Союза писателей СССР полетело в Италию новое письмо, в котором сообщалось, что В.Н. Орлов, А.И. Цветаева и В.Б. Сосинский — люди преклонного возраста и слабого здоровья — отправиться в столь далекое путешествие, к сожалению, не могут. Что же касается госпожи Саакянц и госпожи Кудровой, то эти две дамы, увы, не являются членами Союза писателей, по каковой причине связаться с ними руководством Союза не удалось. По всему по этому советская делегация прибудет в Италию лишь в составе двух ее членов — литературоведа Т. (автора книги о Салтыкове-Щедрине) и литературоведа П. (автора книги о Бальзаке).

На это, естественно, последовал ответ, что если лица, приглашавшиеся на конференцию итальянской стороной, приехать не смогут, то и господ Т. и П., навязанных организаторам конференции московской стороной, тоже просят не беспокоиться.

Гнев «московской стороны», вызванный этим вежливым отказом, не поддается описанию. Наглым итальянцем была послана нота, выдержанная в лучших традициях советской дипломатии. В ней говорилось, что нежелание допустить к участию в Цветаевской конференции двух известных советских литературоведов нельзя расценить иначе, как провокацию, цель которой состоит в том, чтобы железным занавесом отгородиться от выдающихся достижений ученых, живущих и работающих на родине поэта.

Чем дело кончилось, я, по правде сказать, не знаю. Может быть, литературоведам Т. и П. так и не привелось съездить в тот раз в Италию. А может быть, итальянцы — так часто бывало — дали задний ход и в конце концов все-таки приняли странные условия игры, навязываемые им великой ядерной державой.

ЭТО СУМАСШЕДШИЙ ДОМ!

Пришел однажды к нам на Мосфильм один московский писатель и принес заявку на сценарий. Заявка была в высшей степени невнятная. Что-то такое про пограничников. Совершенно очевидно было, что затея эта тухлая, ничего хорошего из нее не выйдет.

При других обстоятельствах мы — члены сценарно-редакционной коллегии — эту заявку дружно бы забодали. Но тут случай был не простой.

Писатель этот был тогда в опале. Незадолго до того он выступил с очень смелой речью на собрании московских писателей.

Сегодня это трудно себе представить, но в те времена, о которых я рассказываю, ох, какое непростое это было дело — выступить на большом собрании и сказать вслух всё, что думаешь. Мой друг Борис Балтер, человек большого личного мужества, выведивший в сорок первом из окружения полк, говорил после одного такого своего выступления,

что подниматься на трибуну ему было страшнее, чем подниматься в атаку. А речь писателя, слабенькую заявку которого мы не решились отвергнуть, была не просто смелой. Она была дерзкой. Даже скандальной.

Большой зал Центрального дома литераторов в тот день был переполнен, что бывало далеко не на каждом собрании московских писателей. Но это собрание было не совсем обычным. В президиуме сидел важный гость: секретарь ЦК КПСС. Поговаривали, что он, может быть, даже будет выступать. Ораторов поэтому слушали не очень внимательно. Все ждали выступления секретаря ЦК. Гадали: выступит? Не выступит? И если выступит, что скажет?

От того, что он скажет, как тогда казалось, зависело многое...

И вот наконец настал этот волнующий миг. Председательствующий в мгновенно наступившей тишине торжественно начал:

— Слово предоставляется секретарю Центрального Комитета нашей партии, товарищу...

И тут произошло непредвиденное.

У края сцены появился коренастый широкоплечий человек с буйной шевелюрой. Он что-то возмущенно говорил, обращаясь к президиуму. Слышно было плохо, но сидящие впереди услышали и передали по рядам:

— Требуется, чтобы ему дали слово... Говорит: почему дали ему, а не мне... Я, говорит, раньше послал записку...

— Дать!.. Дать!.. — закричали из зала.

Секретарь ЦК, уже идущий к трибуне, в растерянности остановился. Председательствующий, потеряв от страха голову, предложил поставить вопрос на голосование.

Неизвестно, чем кончилось бы это голосование, но тут у края сцены появилась еще одна фигура, на сей раз женская.

Фазиль Искандер в своем романе «Сандро из Чегема» поделил население нашей страны на две категории: «работающих» и «присматривающих».

Эта была из «присматривающих».

— Товарищи! — взволнованно заговорила она. — Я считаю в высшей степени бестактным ставить вопрос на голосование, после того как было объявлено, что слово предоставляется секретарю Центрального Комитета...

Зал шумно выдохнул:

— У-у-у!..

Выдох был таким единодушным и мощным, что «присматривающую» словно ветром сдуло.

Секретарь ЦК, быстро сориентировавшись в этой непривычной для него обстановке, сделал рукой широкий приглашающий жест, и бунтарь под аплодисменты зала поднялся на сцену, прошагал к трибуне и утвердился на ней. И произнес свою скандальную речь.

Он говорил о цензуре, которая душит писателей, не позволяя сказать ни словечка правды. О том, что в литературе процветают ничтожества и подхалимы, а всё честное и талантливое тщательно выпалывается и даже преследуется... Речь его продолжалась долго, не раз прерывалась аплодисментами, а когда он закончил, давно уже не слышавший таких речей зал устроил оратору настоящую овацию. Так что даже секретарь ЦК, выступивший следом, вынужден был промямлить о ней что-то одобрительное.

Возмездие, однако, не замедлило.

Храброго вояку после этой скандальной речи стали тягать по разным партийным инстанциям, требовать, чтобы он признал свое выступление очернительским, клеветническим, на худой конец — ошибочным. Он не соглашался. Кончилось дело тем, что его исключили из партии и полностью, как это тогда называлось, отлучили от кормушки. Сделать это было несложно: цензура — та самая, против которой он выступал, — включила его фамилию в черный список, и его автоматически перестали печатать.

И вот в этот-то драматический момент своей жизни он и появился у нас со своей злосчастной заявкой.

При таких обстоятельствах, разумеется, и речи быть не могло о том, чтобы эту заявку отклонить. И мы все (точнее — почти все) дружно высказались за то, чтобы заявку принять, а автору немедленно выплатить полагающийся аванс. Возражал против этого только один, самый почтенный член нашей редколлегии — Сергей Александрович Ермолинский. Он на том знаменитом собрании не был, о подвигах и бедственном положении автора заявки ничего не знал и никак не мог взять в толк, почему эту очевидно бесперспективную затею мы все так дружно хотим поддержать.

Но после того как мы всё ему объяснили, он умолк, и заявка единогласно была принята.

А месяца через три автор принес нам готовый сценарий. За это время он успел смотаться куда-то к черту на кулички, аж на Памир, на какую-то труднодосягаемую пограничную заставу. Добираться до нее было тяжело, а дышать там разреженным горным воздухом даже и небезопасно для здоровья этого, не такого уж молодого человека. Но в его положении выбрать не приходилось.

Итак, сценарий был сочинен. Но был он совсем никудышный. Просто из рук вон... О том, чтобы принять его — даже как первый вариант (была такая спасительная формула) — не могло быть и речи. И мы совсем было уже собрались этот никудышный сценарий забодать, послав автору официальное письмо с давно уже заготовленной для таких случаев дипломатической фразой («Вас постигла творческая неудача»). Совесть при этом у нас была бы чиста, поскольку благодаря этой эластичной формулировке (для того она и была в свое время придумана) полученный им аванс автор возвращать был не должен.

Спасительное решение было уже принято, но тут вдруг слово взял наш директор.

— По поводу этого сценария, — сказал он, — к нам пришло письмо...

Он достал из папочки, в которой держал обычно самые важные документы, какую-то бумагу, развернул ее и показал нам. Даже издали мы разглядели три зловещие буквы: КГБ. Письмо было напечатано на бланке Комитета государственной безопасности.

«Ну вот, начинается...» — подумал я. Ничего хорошего письмо, пришедшее оттуда, нам, разумеется, не сулило. И ничем удивить нас, казалось бы, не могло.

Тем не менее оно нас удивило.

Официальный документ, подписанный каким-то крупным кагебешным чином, удостоверял, что сценарий товарища такого-то был прочитан в высоких сферах его ведомства. Дав рассмотренному произведению самую лестную оценку (сценарий назывался там талантливым, правдивым и высокохудожественным), ведомство ходатайствовало перед нами, чтобы он как можно скорее был запущен в производство,

поскольку народ давно уже ждет, чтобы советский кинематограф достойно отразил героические будни наших славных пограничников.

Немая сцена, последовавшая за чтением этого документа (директор не отказал себе в удовольствии прочесть нам его вслух), могла бы посоперничать с знаменитой гоголевский.

Прервал ее голос Ермолинского.

— Я ничего не понимаю, — задумчиво сказал Сергей Александрович. — Когда я предупреждал, что сценарий будет плохой, меня уговаривали поддержать автора, потому что его преследует КГБ. А теперь я должен поддержать этого же автора, потому что за него, оказывается, хлопчат КГБ...

Мы сконфуженно молчали.

Сергей Александрович пожал плечами, покачал головой и как бы про себя подвел итог своим раздумьям:

— Сумасшедший дом!

На этот раз с ним спорить никто не стал.

ПАРТИЙНАЯ ЭТИКА

Фрол Козлов, второй секретарь ЦК, то есть второй человек в государстве после Хрущева, наткнулся однажды в цеховском коридоре на давнего своего однокашника — Попова. Когда-то, в юности, они то ли в школе вместе учились, то ли в техникуме, то ли в каком-то училище. Попов тоже преуспел в жизни, хоть и не так, как Фрол: он стал министром культуры РСФСР. Вот и оказался в ЦК по каким-то своим министерским делам.

— А ты как тут? — удивился Козлов.

— Я, Фрол Романыч, министр культуры РСФСР, — не без гордости объяснил Попов.

— Да ну?.. Молодец!..

Поговорили. Вспомнили молодость. Расчувствовавшийся Фрол сказал:

— А у меня завтра день рождения. Юбилей. Приезжай, приглашаю!

Попов был на седьмом небе. Назавтра они с женой весь день провели в поисках подарка для знатного именинника. Купили какой-то невероятно дорогой сервиз и вечером отправились в гости к юбиляру.

На дальних подступах к Козловской даче их задержал специальный пост. Попов объяснил, что едут они, хоть и по устному, но личному приглашению самого Фрола Романовича. Их пропустили.

Каким-то образом удалось прорваться и сквозь второй пост. Но у самой дачи их все-таки задержали и дальше — ни в какую. Без специального пропуска, говорят, пропустить не можем. Не имеем права.

— Как же так! — горячился министр. — Меня сам Фрол Романыч... Лично...

Он был так настойчив и так убедителен, что ему пошли навстречу: согласились выяснить этот вопрос у самого Фрола Романовича. И Фрол Романович — лично — к нему вышел.

— А-а, — сказал он, узнав Попова. — Это ты?.. Пригласил, говоришь?.. Да ты что, брат, спятил? Ты кто? Член ЦК? Кандидат? Даже и не кандидат? Член Ревизионной Комиссии? Как же я могу тебя приглашать... Это что у тебя, подарок? Подарок сдай охране и езжай с Богом... Ишь ты! Пригласил!.. Да я, если хочешь знать, даже Петра Нилыча Демичева не имею права пригласить. Потому как я член Президиума (так называлось тогда Политбюро), а он — только кандидат. Ничего не поделаешь, — он вздохнул. — Партийная этика.

ВЫ ВСЁ МОЖЕТЕ, ПЁТР НИЛОВИЧ!

До того как он стал секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро, Петр Нилович Демичев был секретарем МК — Московского городского комитета партии. А там, в МК, у них более или менее регулярно проводились разные встречи, совещания: то с деятелями культуры, то со строителями, то еще с кем-нибудь. И вот проводит Петр Нилович очередную такую встречу: на этот раз — с членами Московской коллегии адвокатов.

Участники встречи выступают с речами. Кто благодарит высокое начальство за помощь в работе, кто жалуется на разные трудности, кто взывает о помощи. Все идет — как всегда в таких случаях. Но чем внимательнее вслушивается Петр Нилович в речи адвокатов, тем яснее открывается ему во всем своем безобразии их повседневная деятельность. Оказывается, — понял он, — адвокаты защищают преступников!

Нет, он и раньше, конечно, знал, что адвокат — это защитник. И функция его в суде заключается в том, чтобы защищать обвиняемого. Но он полагал, что адвокат выполняет эту свою функцию лишь в разного рода неясных случаях: когда вина обвиняемого не доказана или доказательства эти вызывают некоторые сомнения. А тут вдруг выяснилось, что адвокаты защищают и самых что ни на есть настоящих преступников. Отлично знают, что человек совершил уголовно наказуемое деяние, ни на секунду в этом не сомневаются — и все-таки защищают!

— Товарищи! — сказал потрясенный Петр Нилович, когда эта истина открылась ему во всей своей отвратительной наготе. — Это что же происходит? Партия ведет беспощадную борьбу с преступностью, а тем временем тут у нас, под самым носом, в самом центре Москвы обосновалась организация, вся деятельность которой направлена на защиту преступников!.. Вот мы тут обсуждаем, как лучше наладить вашу работу, какую помощь вам оказать и все такое... А не можем ли мы просто взять да и закрыть эту вашу контору?

Председатель Московской коллегии адвокатов, к которому, как он понял, и был в первую очередь обращен этот неожиданный вопрос, встал и сказал:

— Вы все можете, Петр Нилович!

Я — ЗА КЛУБ!

Это было на таком же совещании в МК. Но секретарем Московского горкома в то время был уже не Демичев, а — Гришин. И встречался он не с адвокатами, а с руководителями всех ведущих московских театров.

Собрался весь цвет тогдашней московской театральной элиты: Охлопков, Завадский, Уланова, маститые — еще живые в ту пору — старики-мхатовцы...

Гришин произнес, как полагалось в таких случаях, краткую вступительную речь. О том, что в области балета мы впереди планеты всей. О воспитательной роли искусства. О том, что выдающиеся деятели советского театра должны воспитывать зрителя — особенно молодежь — в духе преданности высоким идеалам коммунизма. Слова все были знакомые и

слушали его — вполуха. И вдруг высокопоставленный оратор замолчал, задумался — и сказал:

— Но лично я — против театра. Я — за клуб. Ну что — театр... Разве только в антракте в буфет сходишь, съешь что-нибудь, выпьешь, и опять сиди целый акт. А в клубе — и в домино можно сыграть, и в шашки. И другие культурные развлечения. Ну и постановку какую-нибудь тоже можно представить. Опять же — самодеятельность... Массы таким образом тоже, так сказать, приобщаются... Нет, — решительно подытожил он. — Вы как хотите, а я — за клуб!

ЧЕТАЛ

Командир Сумского партизанского соединения Сидор Артемьевич Ковпак был удостоен многих чинов и регалий: генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. Одно время он был даже заместителем Председателя Президиума Верховного Совета Украины. Но всего этого ему было мало. Он решил ко всем этим официальным знакам народного признания его заслуг перед отечеством добавить еще и лавры писателя. А может быть, он и не сам это решил. Может быть, мысль о книге, написанной легендарным героем Отечественной войны, пришла в голову кому-нибудь другому. Так или иначе, книга была написана. Само собой, не Ковпаком, а профессиональным литератором. Дело было вполне обычное: литераторов таких тогда было множество. А начало этой туфты положили люди весьма почтенные. Первым был Горький. Эстафету подхватил Маршак, сочинив несколько книг за так называемых бывалых людей — героев-полярников и водолазов. Ну а чем всё это кончилось, хорошо известно — «Малой землей» Л.И. Брежнева, которую братья-писатели сразу поставили в ряд с величайшими достижениями мировой литературы.

Итак, книга Ковпака «От Путивля до Карпат» была написана, отредактирована, подготовлена к печати. И тут кто-то вспомнил, что перед тем как отправить рукопись в типографию не худо было бы показать её «автору». Чтобы он, если сочтет нужным, что-нибудь там поправил. Или дополнил. Или хотя бы устно высказал какие-нибудь свои замечания или пожелания.

Так и сделали.

Рукопись вскоре вернулась в редакцию. Отзыв «автора» был предельно краток. На титульном листе корявыми буквами не шибко грамотного человека было выведено единственное слово: «Четал».

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО ЯЗЫКА

Председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев высказал однажды недовольство по поводу того, что его называют спикером. Заодно он выступил против употребления и других иностранных слов: «консенсус», «саммит»... А в заключение сказал:

– Нам это не надо. У нас, у русских, свой имидж.

НЕ ХОЧЕШЬ – НЕ ГОВОРИ

У Дмитрия Дмитриевича Шостаковича что-то случилось с руками. Ни ленинградские, ни московские врачи не могли вылечить. И кто-то посоветовал ему поехать в Сибирь, в город Курган, к знаменитому хирургу Гавриилу Абрамовичу Илизарову. У того была там тогда какая-то маленькая больничка.

Кормили в этой больничке бог знает какой дрянью. Но изредка больным разрешалось выходить за пределы больничной территории, чтобы купить какую-никакую еду в близлежащем ларьке.

И вот решил Дмитрий Дмитриевич навеститься в этот ларек.

Одет он был соответственно: в шлепанцах на босу ногу и застиранном больничном халате.

У входа его сразу подхватили два каких-то оборванца. Сказали: «Будешь третьим». Он безропотно вручил им червонец. Они быстро купили поллитровку, честно отдали ему сдачу, разлили водку по стаканам. И как приличные люди, прежде чем выпить, пожелали с ним познакомиться. Один из них сказал, что он рабочий. Другой назвался инженером.

– А ты кто? – любопытствовал у нового знакомца «инженер».

Шостакович сказал:

– Я – композитор.

«Инженер» переглянулся с работягой и сказал:

– Ну ладно. Не хочешь – не говори.

КАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЦА!

Теперь у нас многие объявляют себя монархистами. А лет сорок назад монархист у нас был один: Володя Солоухин. Он, конечно, не кричал о своем монархизме на всех перекрестках, но – довольно демонстративно носил на пальце золотое кольцо с изображением Николая Второго. Однажды, взяв его за руку и приблизив это кольцо к глазам, я спросил:

– Что это у тебя?

– Память от бабушки, – ответил он, улыбнувшись слегка сконфуженной улыбкой. – Бабушка мне пятерку царскую оставила, вот я на память о ней и ношу.

Но в последние годы Володя своих монархических взглядов уже не скрывал.

Однажды (я случайно включил телевизор и увидел) он читал стихи Георгия Иванова и с особым чувством, с некоторым даже вызовом прочел такое его стихотворение:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие прекрасные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

Странное дело!

Я давно и хорошо знал эти стихи. При всей моей чуждости «миру державному», даже любил их. Но тут я словно бы услышал совсем другое стихотворение. Ничего общего не имело оно с тем, которое я так хорошо знал и помнил. Хотя в тексте стихотворения, читая его по памяти, Солоухин сделал только одну, на первый взгляд, совсем не существенную ошибку. У Георгия Иванова в первом четверостишии лица членов императорской семьи не прекрасные, а – печальные:

«Какие печальные лица!» И только во второй строфе – впервые! – возникает другой, новый эпитет: прекрасные.

Эта замена одного эпитета другим создает совершенно особую – и единственно возможную – интонацию прочтения этого коротенького стихотворения.

Много лет спустя после катаклизма, вышвырнувшего его за пределы родной страны, где-нибудь там, в Париже, попалась поэту на глаза, – может быть, в подшивке старой «Нивы», – эта фотография. Он вглядывается в нее, и чувство, которое она рождает в его душе («... как это было давно!») неотлично от того, которое выплеснулось в другом его стихотворении: «Мы жили тогда на планете другой!» Пока еще речь только об этом, о случайно оказавшемся в его руках осколке, обломке той прежней жизни, которая исчезла, ушла на дно – как некая новая Атлантида. Но вот первое и, пожалуй, главное из того, что замечает он, вглядываясь в эту старую фотографию, в лица изображенных на ней людей: «Какие печальные лица!»

Слово «печальные» здесь – ключевое. Оно означает, что когда он глядел на эту фотографию раньше, в той, прежней, безмятежной петербургской своей жизни, – эти лица вовсе не казались ему печальными. Печальными они кажутся ему сейчас, когда он глядит на них из будущего, уже зная их грядущую судьбу, и ему чудится, что на их лицах, в выражении этих лиц тоже отразилось это знание будущей своей судьбы: оттого они и печальные. (Невольно тут приходят на ум строки Ахматовой: «Когда человек умирает, изменяются его портреты, по-иному глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой...»)

Конечно, тогда они знать не знали и думать не думали о грядущей трагической своей судьбе. Не могли знать! Вот почему в этом неожиданном восклицании поэта – «Какие печальные лица!» – слово «печальные» звучит словно бы удивленно. В нем как бы слышится вопрос: «Почему уже тогда они были печальными, эти лица?»

И то же удивление, пожалуй, даже слегка усиленное, слышится во второй строфе, в этом новом, другом эпитете: «Какие прекрасные лица!»

Этим удивленным эпитетом поэт как бы говорит: оказывается, они прекрасны, эти лица! Почему же я не замечал

этого раньше? Как мог я раньше глядеть на эти же самые лица и не видеть, как они прекрасны?

А не мог он увидеть это раньше, потому что в той, прежней жизни эти лица ассоциировались у него с Ходынккой, с Кровавым воскресеньем, с Распутиным, с шепотком о предательнице-царице, немке, тайно сочувствующей заклтому врагу России — Вильгельму, со всей той атмосферой глубочайшего, тотального неуважения к царствующему дому, какой было пронизано тогда все общество, весь тот круг, к которому он принадлежал, частью которого был.

Чтобы увидеть эти лица прекрасными, надо было пережить трагический финал той исторической драмы. И еще: надо было увидеть лица новых властителей России, пришедших на смену этим.

Для Солоухина это стихотворение Георгия Иванова, судя по тому как он его прочел (с пафосом: «Какие прекрасные лица!» и с двойным, возрастающим упором на слово «прекрасные»), — просто славословие батюшке-царю, государыне-императрице, наследнику и великим княжнам. Весь тонкий и сложный подтекст стихотворения до него не дошел.

Да он и не мог до него дойти: ведь ему и лицо Сталина, которого он охранял в юности, когда был кремлевским курсантом, тоже, наверное, казалось прекрасным.

НЕТАКТИЧНО ПОСТУПИЛИ

В девятом классе наш сын стал плохо учиться. Он потерял последние остатки интереса к школьным занятиям. Вернувшись из школы домой и наскоро пообедав, обзванивал каких-то своих приятелей и исчезал до позднего вечера, а иногда и до глубокой ночи.

Жена вышла из себя, но ничего не могла с ним поделать. И вот однажды она объявила мне, что — всё! Ее терпение кончилось.

— Сегодня же ты пойдешь к директору школы, скажешь, что так дальше продолжаться не может, что школа превратилась для него в ширму. Я всё решила: мы забираем его из школы и отдаем на шинный завод.

— Почему именно на шинный? — спросил я.

— Я сегодня встретила свою давнюю подругу Лену К. Она рассказала, что у нее с сыном была точно такая же история. Они взяли мальчика из школы, отдали его на шинный завод, и через три недели он стал шелковый. Блестяще закончил школу рабочей молодежи и в тот же год поступил в институт.

Я не стал спорить и послушно поплелся в школу, объясняться с директором.

Директором оказалась энергичная, властная женщина лет сорока.

— Мой сын, — начал я, — учится в девятом классе... Собственно, это только так говорится — «учится». То-то и горе, что ни о каком учении давно уже нет и речи. Школа, в сущности, превратилась для него в ширму...

— Моя школа? — вскинулась директриса, сделав возмущенное ударение на слове «моя». — Моя школа? В ширму?

— Нет-нет, вы меня не так поняли, — испугался я. — Не ваша школа, а школа вообще. Школа как таковая...

Зазвонил телефон. Директриса сняла трубку.

— Да? Слушаю... Да-да, директор школы... Слушаю вас... Из милиции?... Ну конечно, догадываюсь...

Я тоже сразу догадался, что означал этот звонок из милиции. Накануне сын рассказал мне, что у них в школе — ЧП. Два восьмиклассника пытались изнасиловать свою одноклассницу. К счастью, у них ничего не вышло. Но родители девочки обратились в милицию, и дело грозило обернуться крупным скандалом.

Не сомневаясь, что разговор идет именно об этом, я с интересом стал к нему прислушиваться.

— Я с вами согласна, — говорила директриса. — Да... Конечно... Они нетактично поступили с девочкой... Но ведь у мальчиков сейчас такой сложный возраст. Вы знаете, как им трудно... У них такие перегрузки, такое нервное напряжение. А родители... Знаете, как сейчас у нас, мы ведь все диссертации пишем... Вот- вот... А дети без внимания... Ну да, конечно... А насчет девочки я совершенно с вами согласна. Нетактично, нетактично они с ней поступили...

Закончив разговор, она вновь обратила свое внимание на меня. Я попытался придать своему лицу самое безмятежное выражение.

— Да, так что там у вас? — спросила она.

— Сын у меня. В девятом классе, — напомнил я. — Учиться не хочет. Школа для него — это, в сущности, ширма...

— Моя школа — ширма? — снова вскинулась она. Но, видимо, вспомнив о только что закончившемся телефонном разговоре, сменила тон. — А в чем это, собственно, выражается?

— Ну, как вам сказать... Уроков не делает. Придет из школы и сразу давай названивать друзьям-приятелям...

— Пойдите, пойдите, — прервала она меня. — Вот вы говорите: придет из школы... Стало быть, в школу он ходит?

— В школу ходит, — подтвердил я. Но ведь школа для него — это только ширма...

— Так что же вы мне голову морочите! — возмутилась она. — Сами говорите: в школу ходит. А у меня есть такие, что по полгода в школе не появляются. И я даже и не думаю их исключать...

Пристыженный, я поспешил откланяться.

Жена, которой я рассказал о результатах моего визита, была очень мною недовольна. Но мысль о том, чтобы взять сына из школы и отдать его на шинный завод, у нее с тех пор больше не возникала.

РАЗВЕ Ж ТОВАРИЩИ ТАК ПОСТУПАЮТ!

В деревне Глухово, где мы жили однажды летом, все старухи были на одно лицо. Все до одной — толстые, ленивые. Сидели целыми днями на завалинках, лузгали семечки и точили лясы. Если на деревенской улице появлялся какой-нибудь случайный прохожий, не из местных, долго, прикрыв глаза ладонью, глядели ему вслед. И целый день потом гадали, кто бы это такой мог быть.

Но одна старуха была там совсем другая. Худая как жердь, она за целый день не присаживалась ни на минуту. То с ведрами шла к колодцу. То спешила куда-то с косой. А потом, накосив травы, огромными охапками таскала ее к себе в сарай. То бежала кормить кроликов. И так — целый день, как белка в колесе.

— Что это ты, тетя Катя, все время мечешься? — спросил

я ее однажды. — Как заводная — туда-сюда, туда-сюда! Все, вон, сидят, никуда не торопятся. Одна ты всё бегаешь. Слово и не здешняя...

— А я и есть не здешняя, — сказала она. — Я ведь из-под Смоленска. Это я в войну здесь оказалась. У меня немцы в сорок первом избу сожгли с детьми. Все до одного сгорели. Заживо. Я одна осталась... Теперь вот говорят, что они — немцы-то — товарищи наши. А я с этим ну никак не согласна. Разве ж товарищи так поступают?

Я Ж КОММУНИСТ!

Эту историю мне рассказал Володя Войнович. И хотя она вполне в войновичевском духе, я не сомневаюсь, что она — подлинная. Выдумать, как любили говорить в таких случаях Ильф и Петров, Войнович мог бы и посмешнее. На то он и Войнович.

А история — такая.

Один человек должен был получить квартиру. Всё у него уже было на мази. И документы все были в порядке, и решение всеми мыслимыми и немыслимыми инстанциями давно уже было принято. А ордер ему всё не выдавали. И тянулось это бесконечно долго. И он не понимал, что происходит. Так бы, наверно, и не понял, если бы какой-то сведущий человек ему не объяснил, что надо дать взятку. И не только объяснил, но и свёл его с тем, кому надо было дать.

И вот они сидят в ресторане «Арагви» — потенциальный, так сказать, «взяткодатель» и потенциальный «взятковзятель». На столе — сациви, лобиа-мобиа, цыплята табака, хванчкара или, там, киндзмараули, а может, коньяк — в общем, всё, что полагается в таких случаях. А потенциальный «взяткодатель» томится, мнется, не знает, как приступить к делу.

Наконец, не придумав ничего лучшего, он сказал:

— Вы знаете, я взятку никогда не давал, не знаю, как это делается, поэтому не будем валять дурака. Вы мне прямо скажите: сколько? Кому? Где? Когда?

Тот ответил:

— Две тысячи. Мне. Здесь. Сейчас.

У «взяткодателя» прямо камень с души свалился.

Быстро совершив операцию, они радостно стали выпивать и закусывать. И тут вдруг «взятокодатель» хватился.

— Послушай, — озабоченно сказал он. — А это дело верное? Не выйдет так, что деньги я тебе отдал, а всё — как было, так и останется на мёртвой точке?

— Ты что? — обиделся тот. — Я ж коммунист!

Я ХОЧУ ПЛАТИТЬ!

Мой друг Борис Балтер лежал с инфарктом в Боткинской больнице. Рядом маялись такие же, как и он, привыкшие к неудобствам советского больничного быта страдальцы. Но на беду среди них оказался один иностранец — кажется, канадец. Его привезли в Боткинскую по «скорой» с острым приступом аппендицита.

Положили его, — то ли не разобравшись, то ли по причине отсутствия низкопоклонства перед иностранцами, — как и всех новичков, в коридоре.

Описывать обстановку, в которой оказался непривычный к таким передрыгам иноземец, я не буду: кто лежал в советской больнице (а кто в ней не лежал!), легко домыслит всё это сам.

Короче говоря, едва только наш канадец пришел в себя, как тут же потребовал, чтобы вызвали к нему представителя канадского посольства. Тот прибыл. Канадец объявил, что болеть в Советском Союзе категорически отказывается: пусть его сейчас же везут домой, в Канаду.

Тут весь персонал Боткинской больницы всполошился. Забегало все больничное начальство. Стали объяснять — и пациенту, и посольскому служащему, — что везти больного в таком состоянии никуда, а тем более так далеко, ни в коем случае нельзя. Опасно. Необходима срочная операция.

Но канадец на все эти уговоры не поддавался и твердо стоял на своем: немедленно домой, в Канаду.

И тогда кто-то из больничного начальства пустил в ход самый, как ему казалось, веский аргумент.

— У вас в Канаде, — сказал он, — такая операция стоит очень дорого. А у нас в стране медицина бесплатная, и вам ничего не придется платить ни за саму операцию, ни за уход, ни за пребывание в больнице...

И тут наш канадец, до этого момента державшийся хоть и настойчиво, но корректно, заорал что было сил на весь больничный коридор:

— Я хочу плати-ить!

А ВОТ ТЫ ОБ ЭТОМ И ПОДУМАЙ...

Эту историю мне тоже рассказал Боря Балтер. И тоже из своего больничного опыта.

В этот раз он лежал уже не в Боткинской, а в Первой Градской.

В просторной светлой палате их было трое. Один из его сопалатников был, судя по всему, какой-то мелкий партийный функционер, другой — простой работяга.

В то время разворачивалась и с каждым оборотом набирала все большую силу очередная газетная кампания против академика Сахарова, и все разговоры в палате вертелись вокруг этого сюжета.

Функционер, само собой, поливал академика, называя его отщепенцем и предателем. Упоминал про вычитанный из какой-то газетной статьи «синдром инженера Гарина». Боря вяло отругивался, понимая, что спорить бесполезно. Работяга, отвернувшись к стене, молчал.

Исчерпав все аргументы и проклятия, почерпнутые из газет, функционер вдруг внес в этот поток клишированных обвинений некую личную ноту.

— Ну скажи, чего ему не хватало? — вдруг совсем по-человечески спросил он. — Дача... Машина... Квартира... Зарплата у них, у академиков, тоже, я думаю, будь здоров... Трижды Герой Социалистического Труда. Значит, кремлевка. А ты знаешь, что такое кремлевка? Питание почти бесплатное. И какое питание! Не то что у нас с тобой... Нет, ты скажи: ну чего? Чего ему не хватало?!

И тут работяга, упорно молчавший на протяжении всего этого многодневного спора, вдруг отвернулся от стены, поднял голову, поглядел насмешливо на разгорячившегося функционера и сказал:

— Вот ты об этом и подумай.

КТО СООБЩИЛ?

Мой приятель Миша Л. в молодые годы работал на радио. И вот однажды шел он на работу и остановился у газетного стенда, взглянуть, что нынче интересного пишут в газетах. И прочел леденящее душу сообщение, в котором фигурировала «известная американская шпионка Анна Луиза Стронг». Сообщение это ошеломило Мишу совсем не потому, что его потрясло коварство неведомой ему Анны Луизы. Сенсациями такого рода в те годы (последние годы жизни Сталина) нас было не удивить: мир вокруг нас кишел разоблаченными шпионами, среди которых были люди куда более знаменитые, чем пресловутая Анна Луиза. Скорее уж удивить Мишу могла некоторая несообразность газетного сообщения, заключающаяся в том, что Анна Луиза, если исходить из точного смысла прочитанной им фразы, была широко известна как шпионка задолго до своего разоблачения. Не совсем понятно было в этом случае, что же, собственно, мешало разоблачить ее раньше. Но об этих стилистических тонкостях Миша тогда тоже не задумался. Поразило его до глубины души в этой газетной заметке совсем другое.

Среди разоблаченных в шпионаже сотрудников американского посольства упоминался его родной дядя.

Встречались они не часто. Но Миша знал, что тот и в самом деле работает в посольстве Соединенных Штатов Америки. У него даже был с ним на эту тему однажды весьма примечательный разговор. Встретившись с ним как-то на улице и узнав, что он устроился на работу (по какой-то там хозяйственной части) ни больше ни меньше, как в посольство враждебной нам супердержавы, Миша очень этому удивился, на что дядя, многозначительно подмигнув, сказал: «Так надо!».

И вот теперь этот дядя оказался американским шпионом.

Придя на работу, Миша сразу же, не заходя в свою редакцию, направился к председателю Радиокомитета. Тот, вопреки Мишиным опасениям, сразу его принял.

Усевшись напротив высокого начальства, Миша осведомился, успел ли уже министр прочесть сегодняшней номер «Правды». Тот сказал, что да, конечно, он всегда начинает с этого свой день. Тогда Миша спросил, обратил ли внимание

министр на ту самую заметку. Министр подтвердил, что да, обратил.

— Но вы, вероятно, не придали особого значения тому, что в этом сообщении упоминается некто...

Миша назвал фамилию своего дяди. Сейчас я ее уже не вспомню: запомнилось мне только, что это была ничем не примечательная, самая обыкновенная еврейская фамилия. Допустим — Ройтман.

Министр насторожился. Развернув газету, он нашел упомянутую фамилию и на всякий случай подчеркнул ее красным карандашом.

— Дело в том, что это мой дядя, — объяснил Миша. И добавил: — Пусть вас не смущает, что у нас с ним разные фамилии. Ройтман — это фамилия моей мамы.

Министр, встав из-за стола, торжественно поблагодарил Мишу за важное сообщение, пожал и даже слегка потряс его руку. После чего успокоенный Миша отправился в свою редакцию.

Там уже висел приказ о его увольнении.

Когда раздавленный всеми этими событиями Миша вернулся домой, на него обрушился шквал телефонных звонков. Звонили родственники — близкие и не очень близкие: их всех тоже уволили. И все они почему-то обвиняли в этом Мишу.

И начались для Миши жуткие дни. Он сидел дома и ждал ареста. Томительно тянулись сутки, часы, минуты. Но дело почему-то застопорилось. А Миша, надо сказать, был человек очень впечатлительный. Даже нервный. И он не выдержал. И в один прекрасный день сам отправился на Лубянку. Точнее — на Кузнецкий, в приемную КГБ. Пусть уж лучше, решил он, меня наконец возьмут, чем эта проклятая неизвестность.

Как только он заикнулся о причинах своего визита, его — без всякой волокиты — принял какой-то кагебешный чин. Спокойно выслушав душераздирающий Мишин рассказ, он спросил:

— Простите, я не совсем понял: кто сообщил по месту вашей работы, что арестованный органами безопасности гражданин Ройтман ваш дядя?

— Я, — сказал Миша.

— Вот именно, — сказал кагебешник. — А мы не сообщали.

Не сочли, так сказать, необходимым. А должен вам сказать, что в некоторых случаях мы о таких фактах сообщаем...

Так Миша и ушел ни с чем. И так его и не посадили. А поскольку на штатную работу после этого ему устроиться уже не удавалось, он стал сочинять пьесы и киносценарии, надеясь, что когда-нибудь, когда ситуация переменится к лучшему, он опять вернется на радио или найдет еще какую-нибудь штатную работу. Но к тому времени, когда ситуация изменилась, он был уже известным драматургом. Его пьесы с успехом шли в разных театрах, по его сценариям снимались фильмы, удостоивавшиеся разных высоких премий, и устраиваться на штатную работу ему было уже ни к чему.

КО МНЕ СЕЙЧАС ПРИДЁТ ПИСАТЕЛЬ

Этот мой приятель Миша Л. был человек очень мнительный. При любом, самом пустяковом недомогании ему рисовались разные жуткие картины, мерещились всевозможные варианты самых ужасных, опасных для жизни осложнений.

И вот однажды понадобилось ему удалить зуб.

О том, чтобы доверить эту процедуру врачам нашей литфондовой поликлиники, разумеется, не могло быть и речи. Внесут инфекцию. Сделается гангрена, сепсис, мало ли что еще — такие случаи уже бывали... И вот — по большому благу, при посредстве разных влиятельных знакомых — направили Мишу к какому-то зубохирургическому светилу.

Профессор назначил ему день и час. Миша явился точно вовремя. Его встретила молоденькая девушка, то ли медсестра, то ли практикантка... Сам маэстро выглянул на секунду, сухо Мише кивнул, дал девице короткие указания и скрылся в недрах своего кабинета. Девица усадила Мишу в зубохирургическое кресло и стала как-то нерешительно перебирать инструменты. Появился профессор.

— Ну? — сказал он. — Почему замешкалась?

Девица вполголоса что-то ему сказала.

— Пустяки, — возразил он. — Ничего сложного... Смелее! Этак ты никогда ничему не научишься...

И опять удалился.

Девица наложила щипцы на обреченный зуб. Что-то хрустнуло. «Боль, — рассказывал потом Миша, — была адская».

Отломив верхнюю часть зуба, практикантка долго возилась с корнями. Их было целых три. Она их долбила, потом выдирала каждый по отдельности. Продолжалось это довольно долго. А когда вся эта мучительная процедура была наконец завершена, она уложила полуживого Мишу на кушетку и велела лежать минут двадцать, не двигаясь.

Но долго отлеживаться и приходиться в себя Мише не пришлось. Минуты через три вновь появился профессор. Взглянув на часы, он сказал:

— Ну, ладно. Заканчивайте. Ко мне сейчас писатель должен прийти. Я ему назначил на одиннадцать, но он что-то задерживается.

С трудом поднявшись на ноги, Миша пролепетал какие-то вежливые благодарственные слова и поплелся домой. Объяснить профессору, что он как раз и есть тот самый писатель, которому было назначено на одиннадцать, он не стал.

САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

А вот еще одна история про бесплатную советскую медицину.

Собрались как-то у меня друзья-коллеги и разговор завязался о литературных лекциях, которые каждому из нас приходилось читать. На гонорары от критических статей и рецензий прожить было трудно. В сущности, даже невозможно. Вот мы и кормились лекциями. Обозначалось это в нашем кругу формулой: «Советская власть не дает пропасть». Было тогда (в советские времена) при Союзе писателей «Бюро пропаганды художественной литературы». И каждый член означенного Союза мог время от времени получить от этого бюро такой бланк — направление: в какую-нибудь там школу или библиотеку. За лекцию платили пятнадцать рублей. Но при этом необходимо было, чтобы по окончании лекции какое-нибудь ответственное лицо удостоверило на бланке, что лекция прошла на высоком идейно-художественном уровне, непременно указав при этом, сколько собралось слушателей. Происходили эти лекции обычно после рабочего дня, когда всем сотрудникам школы или библиотеки уже не терпелось как можно скорее попасть домой. На лекции же их сгоняли в

так называемом добровольно-принудительном порядке. Слушателей поэтому обычно бывало немного, и сердобольные ответственные лица великодушно проставляли нам в бланке какую-нибудь липу: вместо восьми или десяти присутствовавших указывали тридцать, сорок, а то и пятьдесят. Вот об этом обо всём мы и вспоминали в тот вечер. Каждый старался рассказать историю посмешнее, не щадя себя, не скрывая нелепости, а иногда даже и униительности ситуаций, в которые ему случалось попадать. Я, рассчитывая побить рекорд, приберег для слушателей историю о том, как — уже в новые, постсоветские времена — в Нью-Йорке, в Колумбийском университете мне пришлось читать лекцию перед аудиторией, состоявшей из двух человек, одним из которых был мой сын, а другим — случайно забредший туда пожилой человек, как впоследствии выяснилось, — глухой как пень. Впрочем, даже если бы он и не был глухим, дела это совершенно не меняло бы, поскольку он ни слова не знал по-русски. Конечно, я мог взбрыкнуть и отказаться читать свою лекцию при таких обстоятельствах. Но мне в тот раз светило не каких-то там несчастных пятнадцать рублей, а — ни много ни мало — сто пятьдесят долларов. Поэтому я сдержал свои чувства и честно выполнил условия контракта.

История эта моими друзьями-коллегами была встречена довольно холодно. Ну, посмеялись, конечно, но особых восторгов не было. Рекорд побил мой коллега, рассказавший историю, которую при других обстоятельствах рассказывать наверное бы постеснялся.

Однажды его по большому благу согласился осмотреть знаменитый профессор-уролог. Осмотр начался с того, что профессор велел ему спустить штаны, стать на колени и правой рукой оттягивать детородный член. Сам же он свою правую руку в резиновой перчатке засунул ему глубоко в задний проход, стараясь как можно лучше прощупать его предстательную железу. При этом он покрикивал:

— Оттягивайте член, я вам говорю! Неужели так трудно оттянуть член!

Когда член оттянуть удалось, профессор сменил этот раздраженный тон на более спокойный и сказал:

— У меня очень мало свободного времени. Поэтому я не могу следить за современной литературой так внимательно,

как мне бы хотелось. Не можете ли вы сказать мне, что, на ваш взгляд, самое интересное из того, что появилось в печати в последнее время?

Отказать урологу в этой его скромной просьбе мой коллега никак не мог. Ведь принимая его, он оказал ему большую любезность. Никаких денег за прием профессор, разумеется, не брал. А приятельница его, составившая ему этот блат, как видно, напела своему другу профессору, что ее протеже — непревзойденный знаток современной русской литературы и лучшего экскурсовода по садам и паркам российской словесности ему не сыскать. И вот, продолжая старательно оттягивать член и испытывая не очень приятные ощущения от того, что его слушатель продолжал довольно активно пальпировать его предстательную железу, мой коллега прочел своему мучителю краткую лекцию о современной литературе, честно посоветовав ему не обойти вниманием «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и «Хранитель древностей» Юрия Домбровского и ни в коем случае не тратить свое драгоценное время на чтение «Вечного зова» и романов Юрия Бондарева.

АМЕРИКАНЦУ ЭТОГО НЕ ПОНЯТЬ

Эту историю мне рассказал мой приятель и сосед Шера Шаров.

Дело было в начале шестидесятых.

Я, как и все мои друзья и знакомые, давно уже брился электрической бритвой, и совсем не знал, что мои соотечественники, сохранившие верность старому способу бритья, попали в то время в весьма трудное, отчасти даже безвыходное положение. Из магазинов исчезли лезвия для безопасной бритвы. То ли производители этих лезвий и те, кто решил вопрос об их импорте, исходили из того, что эпоха этого старинного способа бритья уже прошла. То ли были у них какие-то иные соображения. А может быть, сталь, которая раньше шла на изготовление этих лезвий понадобилась для каких-то других, более важных государственных нужд. Так или иначе, лезвий в продаже не было. И Шера, который, в отличие от меня, на электрический способ бритья не перешел, очень от этого страдал. Он брился одним лезвием десять-пятнадцать

раз. Потом точил его (кто-то его научил) о внутренность стеклянного стакана. Однажды даже приобрел у спекулянта — за немалые деньги — какую-то специальную машинку для точки использованных и затупившихся лезвий. Но все эти хитрости лишь увеличивали его страдания. А переходить на электрический способ он не хотел. Вернее — не мог. У него это не получалось. У него была очень нежная кожа, и от бритвы электрической бритвой у него на лице появлялось раздражение.

Положение было безвыходное.

И вот однажды он отправился в путешествие по Волге. И пароход, на котором он совершал эту свою речную прогулку, остановился у какой-то пристани. Это был какой-то маленький городок, названия которого Шера даже не запомнил. Пассажиры вышли на берег — погулять. Вышел и Шера.

Потолкавшись некоторое время около пристани, он двинулся дальше, по направлению к центру городка. И вдруг увидел магазинчик. Такой, знаете, маленький магазинчик, в котором продавались самые разные товары народного потребления. Что-то вроде сельпо. Из любопытства решил заглянуть: как-никак, писатель все-таки. Интересно было ему узнать, какие предметы имеются в этой местной лавчонке. И вдруг... О, радость! О, восторг! На прилавке лежали лезвия для бритвы. И не какие-нибудь там жалкие отечественные, а заграничные — «Матадор». Одним таким лезвием опытный Шера мог бриться целый месяц!

Дрожащими от нетерпения руками Шера достал бумажник и судорожно стал пересчитывать свои ресурсы, соображая, сколько денег оставить на окончание поездки, чтобы на все остальные закупить вожаделенные лезвия. Но — не тут-то было...

Оказалось, что лезвия принадлежат к числу тех дефицитных товаров, которые в этой лавчонке простым смертным не продаются. Они отпускаются только колхозникам. В обмен на сельскохозяйственную продукцию. На что, например? Например, на яйца...

Я — да, наверно, и не только я — тут бы сник, погоревал немного, поцокал сокрушенно языком (счастье было так близко, так возможно!) и отправился на свой пароход, несолоно хлебавши. Или стал бы канючить у продавщицы, чтобы она в порядке исключения продала лезвия за деньги. Может быть,

стал бы даже предлагать ей двойную или тройную цену. Но Шера недаром прожил при советской власти на двадцать лет больше, чем я. У него был другой — не то что у меня — социальный и исторический опыт. Не тратя времени на пустые уговоры, он пулей выскочил из магазина. Быстро разузнал у прохожих, где тут у них базар. Добежал до базара, купил там, не торгуясь, несколько десятков яиц, вернулся в магазин и на законном основании обменял эти яйца на лезвия. И успел добежать до своего парохода буквально за минуту до того, как начали поднимать сходни.

Представляю себе, как он был счастлив. Ведь даже несколько месяцев спустя, когда он рассказывал мне эту историю, лицо его прямо-таки светилось блаженным сознанием нежданно свалившейся на него удачи.

— Вот видите, — назидательно сказал я, когда он закончил свой рассказ. — Некоторые глупые наши соотечественники завидуют американцам. А ведь американцу не то что испытать, даже и умом постичь не дано такую радость.

— Да уж, — самодовольно согласился Шера. — Где ему.

Я ЖЕ ЭТОГО НЕ СДЕЛАА!

В Советском Союзе шахматный гроссмейстер, участвовавший в матче на звание чемпиона мира, играл не только со своим партнером, но и с Государством. Условия этой игры были хорошо известны. Вот, например, берут у кандидатов в чемпионы интервью. В числе задаваемых вопросов не последнее место занимает такой:

— Ваша любимая книга?

Гроссмейстер Карпов, не колеблясь, отвечает:

— «Как закалялась сталь» Николая Островского.

А гроссмейстер Корчной — то ли по недостаточно ясному пониманию правил игры, то ли одержимый бесом гордыни называет роман Хемингуэя «По ком звонит колокол».

Вот вам уже очко (а может, даже и не одно) в пользу Карпова.

Все гроссмейстеры, не желавшие — или не умевшие — считаться с этими правилами, в конце концов терпели поражение. И только один из них сумел одержать победу: Гарри Каспаров. Правда, это было уже на заре новой эпохи. Да и Гарри

тоже одно — главное! — правило все-таки принял во внимание: от фамилии, доставшейся ему от родителя («Вайнштейн») вынужден был отказаться: взял фамилию матери. Оставаться Вайнштейном в тех условиях — это было все равно, что играть без лады. Может быть, даже — без ферзя.

Но даже перестав быть Вайнштейном и став Каспаровым, свои шансы с Карповым Гарри все-таки не уравнил. Могучая ядерная держава делала всё, что было в ее силах, чтобы чемпионом мира стал Карпов.

Добиться этого, однако, она не смогла. Чемпионом стал Гарри.

Его победа была предвестьем наступающих новых времен. Может быть даже первым симптомом грядущего краха могущественной Империи Зла. И естественно, она вызвала бурное ликование в жидких рядах либеральной интеллигенции.

Кое-кому это ликование казалось не вполне обоснованным, а восторги, высказываемые по адресу юного чемпиона, преувеличенными.

Некоторое неудовольствие по этому поводу высказал и патриарх советской шахматной школы — Михаил Ботвинник.

— Этот ваш Гарри, — будто бы сказал он, — не такой уж герой, каким он вам представляется... Взял фамилию матери... Вот я же этого не сделал!

— А какая была фамилия у вашей мамы, Михаил Моисеевич? — спросили у него.

Ботвинник улыбнулся:

— Рабинович.

ВОЙНУ ЗАБЫЛИ!

Однажды жена попросила меня купить луку. Она готовила обед, и ей необходима была луковица.

Я заглянул в ближайший овощной магазин — луку там не было. Я заглянул во второй, в третий. Там надо мной сжалились и объяснили:

— Да вы что? Слуны свалились? Нету луку. Во всей Москве нету. Уже месяц как нету. Даже и не ищите.

К тому, что «в отдельных магазинах нет отдельной колбасы», что исчез сыр, что в ближайшей молочной вместо молока

и кефира продают мясорубки и детские куклы, — ко всему этому я в то время уже как-то притерпелся. Но лук!

— Чёрт знает что! — не выдержал я. — Докатились!

— Вот люди! — возмутилась продавщица. — Подумаешь, какое дело: луку нет!.. Войну забыли!

Совсем молоденькая девушка. Ну прямо девчонка. Во время войны не то что её самой, даже и матери её еще на свете не было. А вот поди ж ты: знает, что, соразмеряя свои потребности, мы и сегодня, сорок лет спустя, обязаны оглядываться на те далекие военные годы.

Это сознание закрепил язык. Когда старики говорят: «В мирное время», они вовсе не имеют при этом в виду предвоенные 30-е годы. «Мирным» называют они время до первой мировой войны, до 1914-го. А сорок (теперь уже шестьдесят) лет, прошедшие после Великой Отечественной, в сознании народа так и не стали мирными. Как, впрочем, и все девяносто, прошедшие с того выстрела в Сараеве, с которого начался «не календарный, настоящий XX век».

ЧЛЕНОМ БРИТАНСКОГО КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕСТВА БЫТЬ ВЫГОДНО

В сталинские и послесталинские времена академики (не только действительные члены Академии наук, но и членкоры) принадлежали к одной из самых привилегированных групп советского истеблишмента. Каждый академик и членкор, помимо зарплаты, причитающейся ему по должности (ведь каждый из них был или директором института, или завлабом, или еще кем-нибудь), получал и еще одну, академическую, полагающуюся ему только за то, что он академик (или членкор). И академическая эта зарплата была по тем временам совсем не маленькая.

Такое положение дел академикам представлялось вполне нормальным. И по их понятиям точно так же должно было обстоять дело во всех академиях мира.

И вот однажды приехал к нашим академикам гость из Англии. Тамошний академик. Или, как это у них, у англичан, называется, — член Британского Королевского Общества. И была у него с нашими академиками встреча по интересам.

Наши задавали английскому академику разные научные вопросы, а тот — отвечал. Но, видимо, не одной наукой жив человек, даже если он академик. И один из участников встречи возьми, да и спроси англичанина:

— А какая у вас зарплата?

Тот что-то такое стал объяснять, не сразу поняв, про что его спрашивают.

— Нет-нет, — уточнил ученый муж, задавший вопрос. — Нам интересно знать, сколько вы получаете именно как академик. То есть сколько вам платят только за то, что вы являетесь членом Британского Королевского Общества.

Может быть, ему было любопытно узнать, кто получает больше — он или его британский коллега? А может быть (и даже — скорее всего), в этом его вопросе таился некоторый подвох: давай, дескать, признавайся, как подкупает ваша власть своих ученых, этих «дипломированных лакеев буржуазии», как правильно назвал вас Ленин.

Сообразив, наконец, что интересуется советских академиков, англичанин ответил:

— Член Британского Королевского Общества платит членские взносы: пять фунтов стерлингов в год. Член Британского Королевского Общества получает — бесплатно — литературу по своей специальности на сумму, несколько превышающую пять фунтов в год. Таким образом, быть членом Британского Королевского Общества выгодно, джентльмены!

Мой друг, известный наш астрофизик Иосиф Шкловский, рассказавший мне эту историю, уверял, что этот ответ англичанина сильно разочаровал его коллег. А некоторые из них даже остались при убеждении, что всю правду о своих академических доходах англичанин им так и не раскрыл.

ВОЛШЕБНИК ЯХВЕ

Корней Иванович Чуковский мечтал издать для детей книгу библейских сюжетов, — наподобие знаменитой, любимой многими поколениями детей книги Куна «Что рассказывали древние греки о своих богах и героях». Он даже пытался сколотить коллектив авторов, чуть ли не каждому из

своих литературных знакомых предлагая переложить для детей какую-нибудь из библейских историй — на выбор.

Затея по тем временам была, конечно, совершенно не реальная. Другого автора, явись он в издательство с такой идеей, сразу бы завернули. Но авторитет Корнея Ивановича был высок, и ему отказать не посмели.

— Мне, — рассказывал он, — поставили только одно жесткое условие. Ни в одном из рассказов ни при каких обстоятельствах не должны были упоминаться два слова: «Бог» и «Евреи».

Представить себе изложение библейских сюжетов, не упоминая о евреях, я с грехом пополам еще мог. Но обойтись в этом случае без упоминания Бога? Это, по-моему, было просто невысказано.

Но нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Посовещавшись, многоопытные и изобретательные советские литераторы придумали для Бога псевдоним. В их переложениях библейских сюжетов Вседержитель именовался — «Волшебник Яхве».

Это, впрочем, им не помогло. Книгу все равно запретили.

ЛИФТ РАБОТАЕТ?

Это рассказал мне один мой приятель, который был родом из Кишинева. В тот день, когда Кишинев (как и вся Бессарабия) стал советским, в одном из лучших отелей города разместились военная комендатура. Военный комендант пригласил к себе хозяина отеля и спросил:

— Лифт работает?

Тот несколько растерянно ответил, что да, конечно, работает.

— Смотрите, чтобы лифт работал! — строго сказал военный комендант и кивнул, давая понять, что аудиенция окончена.

Хозяин отеля, как говорил мой приятель, долго потом терялся в догадках. Он никак не мог понять: что, собственно, имел в виду этот странный русский офицер? Почему вдруг у него возникла мысль, что лифт может не работать?

НЕ ТОМУ НАДО УДИВЛЯТЬСЯ...

Михаил Афанасьевич Булгаков с приятелем стояли на трамвайной остановке и ждали трамвая. А трамвай все не шел. Долго не шел. И приятель Булгакова, истомившись долгим ожиданием, занервничал. Сперва он ворчал, потом стал чертыхаться и вообще громко выражать крайнюю степень своего раздражения.

А Булгаков — молчал.

И только когда негодование его спутника дошло уже, как говорится, до белого каления, он разверз уста и назидательно произнес:

— Не тому надо удивляться, что трамваи не ходят, а тому надо удивляться, что трамваи ходят.

ПОЗВОЛЬТЕ ПОЖАТЬ ВАШУ РУКУ!

Мой сосед, поэт Герман Абрамов, человек в высшей степени импульсивный, стоял на Ленинградском проспекте у газетного стенда и читал газету «Правда». И, разумеется, наткнулся там на какую-то очередную парашу. Герману в его возрасте (было ему тогда уже сильно за шестьдесят) можно было бы уже научиться сдерживать свои чувства при чтении этой замечательной газеты. Но, будучи человеком, как я уже сказал, в высшей степени импульсивным, он не сдержался и громко сказал, прямо-таки выкрикнул:

— До каких пор они будут засирать нам мозги!

Выплеснув из себя этот крик души, он оглянулся, и с ужасом увидел, что рядом с ним, ну просто бок о бок, стоит какой-то мрачный тип, который, конечно же, слышал эту его неосторожную реплику.

Времена были хоть уже и не сталинские, но все-таки еще и далеко не вегетарианские, и выкрикивать такие лозунги на улицах было совсем не безопасно. Ну и, конечно, надо принять в расчет, что сознание Германа сформировалось в те — тогда еще недавние — годы, когда и за более невинные высказывания людей превращали в лагерную пыль.

Короче говоря, убедившись, что его крамольный выкрик был услышан, Герман сильно струсил. Ему бы тут повернуться и быстро уйти, но, как пишут в романах, ноги у него сделались ватные. А когда так некстати оказавшийся с ним

рядом мрачный тип положил руку ему на плечо, у него и вовсе упало сердце. Он уже не сомневался, что вот-вот будут произнесены страшные слова: «Пройдемте, гражданин!»

Но человек, подслушавший его крамолу, повел себя совершенно иначе. Обратив к Герману вдруг просветлевшее лицо, он проникновенно сказал:

— Позвольте пожать вашу руку!

В ЗООПАРКЕ

В конце 40-х или начале 50-х в Московском зоопарке в одной клетке жили огромный лев по имени Чандр и маленькая собачка, которую звали Тобик. Экскурсоводы красноречиво рассказывали глазающим на это диво зевакам, как трогательно относится царь зверей к крошечной собачонке и какой преданной и нежной любовью отвечает Тобик на дружеские чувства Чандра.

Эту идиллию слегка нарушала надпись на клетке. Она гласила:

«Дружба между этими двумя животными обеспечивается своевременной подачей пищи».

АЛЛАХ НЕ ФРАЕР

Магомет-Султан, дагестанский писатель, с которым я подружился, рассказал мне, что бывший редактор ихней областной партийной газеты, уйдя на пенсию, послал в ЦК свой партийный билет, объявив тем самым, что выходит из рядов КПСС.

Я изумился: в наших широтах ни о чем подобном мне слышать не приходилось.

— А что ты удивляешься? — сказал Магомет-Султан. — У нас многие так делают. Большие люди. Даже бывшие секретари райкомов или работавшие в аппарате ЦК.

— А зачем им это? — спросил я.

— Перед смертью с Аллахом помириться хотят. — Он усмехнулся. — Только зря все это.

— Почему зря? — задал я провокационный вопрос, не сомневаясь, что услышу в ответ что-нибудь насмешливо-атеистическое. Но услышал совсем другое.

— Не знаю, как ваш русский Бог, — сказал Магомет-Султан, — а наш Аллах не фраер.

НЕ ЗАБУДЬ СКАЗАТЬ ПРО САХАРОВА!

На одном московском заводе готовился какой-то большой митинг. По какому поводу — не помню, да это и не важно.

Все роли, как водится, были заранее распределены, все речи — написаны и утверждены. Но, как на грех, во всех утренних газетах появились новые разоблачительные статьи о какой-то очередной антигосударственной выходке академика Сахарова. Опальный академик не унимался, и советские патриоты в очередной раз давали ему отпор.

Вносить добавления в тексты написанных и утвержденных речей было уже поздно, и парторг, перед самым началом митинга, остановил одного из самых смышленных ораторов, какого-то передовика производства, и сказал ему:

— Ты, когда речь дочитаешь, потом от себя что-нибудь про Сахарова скажи.

Тот кивнул:

— Обязательно.

— Смотри, не забудь. Я на тебя надеюсь.

Тот жестом дал понять: не волнуйся, мол, все будет в порядке. Не забуду.

И действительно, не забыл.

Дочитав свою речь до конца, он аккуратно сложил бумажный листок, на котором она была напечатана, и спрятал его в карман.

— А теперь, товарищи, — сказал он, — я хочу сказать про Сахарова. Это что же получается! Мы ему дали всё! И зарплату высокую, и премиальные, и новую квартиру. А он — перебежал в Киевское «Динамо»!

ЭТО ЖЕ МОЙ ДРУГ!

В Малеевке, Доме творчества писателей, сын буфетчицы, молодой парень лет двадцати, поссорился со своим сверстником и пырнул его ножом. Рана оказалась смертельной. Был суд.

— Расскажите, как было дело, — сказал, обращаясь к обвиняемому, судья.

Тот рассказал.

Взяли они пол-литра, сели в холодке, выпили. И тут его собутыльник стал его задирать. Сперва какие-то мелкие насмешки, подначки, потом — все больше, больше...

— На первый раз, гражданин судья, я все это стерпел, — сказал обвиняемый.

Но на другой день они опять взяли пол-литра, опять сели в холодке, на том же самом, вчерашнем месте. Выпили. И тот снова стал его задирать. Опять те же подначки, и все с такой подленькой глумливой усмешечкой.

— Я и тут стерпел, гражданин судья. Ничего ему не сделал.

На третий день все повторилось снова, как по нотам. Опять взяли пол-литра, опять уселись на том же месте, выпили. И опять начались те же подначки и те же усмешечки.

— Ну и тут, гражданин судья, я уж не вытерпел...

— Но если он так донимал вас своими насмешками, если у вас, как вы выражаетесь, прямо все кипело внутри от этих его насмешек, — сказал судья, — зачем же вы пошли выпивать с ним во второй раз? А потом еще и в третий?

— То есть как это зачем? — искренне изумился тот. — Ведь это же мой друг!

НОТОВ НЕ ЗНАЕМ!

После знаменитой статьи «Правды» об опере Шостаковича «Катерина Измайлова» (статья называлась «Сумбур вместо музыки») началась развернутая кампания по борьбе с формализмом. Как всякая идеологическая кампания в Советском Союзе, она распространялась с быстротой лесного пожара и охватила все необъятные просторы нашей родины. Докатилась и до самых дальних аулов горного Кавказа. И то ли в Махачкале, то ли в Нальчике, то ли в еще какой-то столице одной из кавказских автономий, собрали всех местных ашугов, чтобы и их просветить насчет этой страшной идеологической заразы, наверняка им тоже угрожающей.

Был, как водится, сперва доклад. Потом — прения. И тут один из ашугов, как видно, лучше других понимавший, в каком царстве-государстве он живет, сообразил, что сейчас

кого-нибудь из них, согласно разнарядке, выдернут из толпы и — для примера — объявят формалистами. Ну а потом, как говорится, — ходи, доказывай, что ты не верблюду.

Он встал и, прижав руку к сердцу, обратился к приехавшему из центра докладчику:

— Слушай, дорогой, какой формализм?.. Нотов не знаем!

НА ПОХОРОНАХ ТВАРДОВСКОГО

Солженицына на похороны Твардовского приказано было не пускать. Гроб с телом умершего поэта был установлен на сцене большого зала Центрального дома литераторов. В зале сидели писатели. Мимо сцены негустым потоком проходили читатели.

О том, чтобы пройти через главный вход вместе с читателями — не могло быть и речи: не пустили бы. Друзья и поклонники Александра Исаевича решили провести его подземным переходом, соединявшим старый особняк Союза писателей на улице Воровского с новым зданием ЦДЛ — на Герцена.

Но начальство предусмотрело и этот вариант.

Когда Солженицын, без всяких приключений войдя в особняк «Дома Ростовых», спустился в подземный переход, путь ему преградила немолодая служащая Союза писателей, специально поставленная там на этот случай.

Протянув руку, она загородила довольно узкий коридор, ведущий в соседнее здание, и умоляюще сказала:

— Александр Исаевич! Если я вас пропущу, меня уволят!

Вероятно, тут можно было поступить по-разному.

Например, пуститься в объяснения. Или начать качать права. Или, наконец, пожалеть несчастную женщину и попытаться отыскать какой-нибудь другой способ проникнуть в зал.

Александр Исаевич выбрал самое простое решение.

Ребром ладони он ударил по вытянутой руке, загородившей ему дорогу, и, не оглядываясь, устремился по коридору в зал, где скоро должна была начаться гражданская панихида. И через несколько минут он уже стоял на сцене и осенял крестным знаменем гроб, в котором лежал бывший кандидат в члены ЦК КПСС Александр Трифонович Твардовский.

P.S.

После выхода в свет первого издания этой книги эта история подверглась резкой критике. Говорили и писали, что все это — ложь, что ничего похожего не было. Нашлись даже свидетели, рассказавшие, как оно было на самом деле.

Может, оно и так.

Сам я этого не видел, да и тот, кто мне это рассказал, тоже, наверно, не был очевидцем, а слышал об этом от кого-то. Но уж больно этот поступок в характере Александра Исаевича. А кроме того, и тот, кто мне это рассказал, и я, впервые ее услышавший, — оба были тогда восхищены этим его поступком. Такова была магия его личности.

Поэтому эту историю я все-таки сохраняю. Как легенду, что ли, дающую представление об атмосфере того времени.

ПУСТЬ ВСТУПИТ В ДРУГУЮ ПАРТИЮ

В 1968-м году к моему другу художнику Борису Биргеру приехала в гости тетка из Италии. Она не видела племянника больше сорока лет. Давным давно — как говорится, жизнь тому назад — она вышла замуж за итальянца, капитана дальнего плавания. Прожила с ним счастливо сорок лет в Италии. Овдовела. И на старости лет вспомнила, что в России есть у нее родное существо — племянник, сын ее родной, самой любимой сестры, очаровательный мальчуган, которого она когда-то тетешкала.

Очаровательный мальчуган за прошедшие годы превратился в седого и лысого, худого, нервного — нет, не старика, конечно, но...

Впрочем, встретились тетка и племянник очень нежно. Вся биргеровская семья итальянскую тетку холила и лелеяла. Ей показывали достопримечательности Москвы, водили по музеям, таскали на театральные премьеры. И жена Бориса, и его подросток-сын не знали, куда ее посадить и чем еще ублажить. Но сам Биргер был, как ей показалось, какой-то не такой... Мрачный, озабоченный, издерганный.

Тетка осторожно попыталась выведать у родственников, что происходит с ее любимым Боренькой. Те — объяснили.

А дело было в том, что долгожданный приезд итальянской тетки совпал с крупными неприятностями, обрушившимися тогда на голову художника. За подпись под письмом

в защиту известных диссидентов Гинзбурга и Галанскова он был исключен из партии, в которую вступил в сорок втором, под Сталинградом.

Не так уж дорого, конечно, было ему членство в партии. Но за этой репрессивной мерой могли последовать другие. Могли исключить из МОСХа, отобрать мастерскую. Очень резко высказался тогда об авторах дерзкого письма в каком-то своем выступлении сам Брежнев, и поговаривали даже, что «подписантов» вышлют из Москвы.

Вот это все и попытались растолковать ничего в наших делах не понимающей итальянской тетке.

Внимательно выслушав эти объяснения, та сказала:

— Теперь я понимаю, почему Боренька так взволнован... Но если быть членом партии для него так важно, пусть вступит в какую-нибудь другую партию.

МНЕ СОВЕРШЕННО ВСЁ РАВНО, СЭР...

Это рассказал мне один мой приятель, волею обстоятельств переселившийся в Америку.

Там у них, в Вашингтоне, была какая-то коммунистическая демонстрация. И полиция ее разгоняла. А в толпе демонстрантов оказался один довольно известный наш диссидент, ставший эмигрантом. Бог его знает, как оказался он в той толпе: то ли случайно, то ли любопытство привело его туда. Как бы то ни было, он оказался среди ненавистных ему коммунистов, и полицейский огрел своей дубинкой и его тоже.

— Как вы смеете! — возмущенно заорал он. — У меня с этими людьми нет ничего общего! Я антикоммунист!

На что полицейский хладнокровно и, честно говоря, довольно-таки резонно ответил:

— Мне совершенно все равно, сэр, коммунистом какого сорта вы являетесь.

И СРАЗУ — РАССТРЕЛ?

Житель небольшого сибирского городка — где-то под Новосибирском — убил свою жену. Убийство было какое-то особенно жестокое и гнусное, заранее спланированное, с

множествомотягчающих обстоятельств. Убийцу приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

Дело было такое громкое, что из Москвы для встречи и беседы с приговоренным приехал специальный корреспондент «Литературной газеты». (Александр Борин. Он и рассказал мне эту историю.)

Встречу с уже осужденным преступником корреспонденту устроили в тюремном красном уголке.

Своей вины убийца не отрицал. Ни одну из подробностей совершенного им преступления не оспаривал. С приговором, однако, согласен не был.

— Где бы я ни работал, — сказал он, — характеристики у меня всегда были самые отличные. За всю трудовую жизнь ни одного взыскания. Даже опоздания ни одного не было. И сразу — расстрел?

ЕГО СПРОВОЦИРОВАЛИ

Однажды мне рассказали забавную историю про советского человека за границей. Он постоянно твердил своим товарищам по поездке, что здесь надо быть крайне осторожным, опасаясь всякого рода провокаций. А когда от этих его предупреждений отмахивались, повторял:

— Вот вы не верите, а меня в одной такой поездке таки спровоцировали...

Провокация, как выяснилось, состояла в том, что он, уезжая, прихватил из своего номера в отеле маленький телевизор. За что и поплатился.

Строго говоря, он был прав: проклятые иноземцы его действительно спровоцировали. Телевизор, очевидно, был так хорош, что его просто невозможно было не украсть.

В связи с этой историей я вспомнил другую, приключившуюся в пору моей студенческой юности.

В Литературном институте на одном курсе со мною учился студент С., обладавший ярко выраженной еврейской внешностью: толстые семитские губы, грустные еврейские — слегка навывкате — глаза, а главное, конечно, — нос. Такой еврейский нос, как у него, можно было встретить не часто.

И вот однажды другой студент, без всякого к тому повода, ну просто-таки ни с того ни с сего, с криком: «Жидовская морда!», врезал кулаком по этому выдающемуся еврейскому

носу. Из носа хлынула кровь. Драчуна оттащили, пострадавшему оказали первую помощь. Дело, вероятно, так бы и кончилось ничем: обладатель замечательного еврейского носа был незлобив и готов был простить своего обидчика, тем более что тот после тяжелой контузии был слегка с приветом. Обладатель еврейского носа и сам прошел войну, что такое контузия понимал хорошо, потому и легко согласился с товарищами, уговаривавшими его историю эту оставить без последствий. Но вмешалась комсомольская организация. Возникло персональное дело.

Героем этого персонального дела, то есть объектом разбирательства, стал и получил суровое комсомольское взыскание, однако, не тот студент, который ударил, а тот – которого ударили.

Обвинялся же он в том, что спровоцировал русского человека на драку.

Строго говоря, так оно на самом деле и было.

Студент С. действительно спровоцировал своего сокурсника на этот безобразный поступок. Спровоцировал своей ярко выраженной «жидовской мордой». Точнее – носом. Нос – подтверждаю – был еврейским до отвращения. Такой нос не мог не возмутить и не вывести из себя истинно русского человека.

А ТЫ – КАЦАП!

Это было в Комарове, под Ленинградом. Мы с женой гуляли по поселку, забрели довольно далеко. Шли по какой-то пустынной улочке и увидели трех мужиков, которые стояли у забора и отправляли малую нужду. Один из них повернулся к нам всем корпусом, так что весь его инструментарий был хорошо виден, и заплетающимся языком (он был сильно подшофе) спросил:

– Эт-то Ком-марово?

Слегка шокированный (как-никак я был – с дамой), я ответил ему не слишком приветливо:

– Комарово, Комарово... Повернись – и давай, делай свое дело...

Моя грубость его, как видно, возмутила, и он, мгновенно сменив мирный тон на агрессивный, довольно злобно крикнул мне вслед:

– Жид!

Моя жена, не желая оставаться в долгу, обернулась и крикнула ему в ответ:

– А ты – кацап!

Все это произошло довольно быстро, но – на ходу. И мы тем временем успели уже отойти от этих мужиков шагов на десять-пятнадцать.

И вот я слышу топот: мужик, обозванный моей женой кацапом, нас догоняет.

– Ну что, довольна? – сказал я жене. – Только драки с тремя алкашами мне здесь не хватало.

Но обидчик мой, как тут же выяснилось, драться не собирался.

Догнав нас, он обратился ко мне:

– Послушай, друг! А ведь она права... Ты – жид, я – кацап. Ну и что в этом такого?

– Решительно ничего, – подтвердил я.

– Послушай, друг, – продолжал он. – Больше это не повторится. Веришь?

Он протянул мне руку.

– Верю, – сказал я.

Мы пожали друг другу руки.

– Больше не повторится, – повернулся он к моей жене. И поцеловал ей руку.

После этого, полюбовавшись друг другом, как сказано у Михаила Михайловича Зощенко в каком-то его рассказе, мы разошлись в разные стороны. Мы с женой пошли своим путем дальше, а он вернулся к своим друзьям, продолжать дело, от которого мы его оторвали.

СКОЛЬКО СТОИЛ ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ

Фазиль Искандер на сухумском базаре заговорил с человеком, который продавал водительские права. Покупать он их не собирался (у него и машины-то не было), но из любопытства спросил:

– Сколько?

Тот ответил:

– Пять тысяч.

— А за три не отдашь? — спросил Фазиль. (Тоже, разумеется, из чистого любопытства.)

Продавец обиделся:

— Что я тебе, партийный билет продаю?

Самое интересное в этом ответе, как объяснил мне Фазиль, было то, что цена партийного билета в его родном Сухуми составляла тогда ровно три тысячи рублей. В партию принимали преимущественно рабочих. И интеллигенту, которому для карьеры, или по иным каким-нибудь причинам (скажем, чтобы избежать очередного сокращения штатов) приспичило вступить в железные ряды, надо было уплатить (в виде взятки) именно такую сумму.

ИНАЧЕ ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО К НАМ ВЕРНЁТСЯ

Когда я познакомился — а вскоре и подружился — с Шуриком Воронелем, он произвел на меня впечатление прирожденного ученого-естественника. Он был влюблен в свое призвание физика-экспериментатора, суть которого, как он мне объяснил, состояла в том, чтобы задавать вопросы природе. И этому своему призванию он был верен. Верен настолько, что не только себе, но и коллегам — сотрудникам, ученикам — не позволял ни на миг изменять ему ради других склонностей и увлечений, какими бы почтенными эти склонности и увлечения ни были. Одному молодому физику, увлекшемуся самиздатом и правозащитной деятельностью, он даже сказал:

— Вы должны решить для себя, кем вы хотите быть: ученым или профессиональным революционером. Два эти рода деятельности несовместимы. Наука требует человека целиком.

Сам он, однако, этому принципу не последовал. В какой-то момент стал «профессиональным революционером» и даже начал издавать подпольный журнал «Евреи в СССР», из которого потом вырос и поныне выходящий в Иерусалиме журнал «22». (Шурик и сейчас его главный редактор.) Позже он написал несколько книг и множество статей на темы философские, исторические и даже литературоведческие.

Но тогда до всего этого было еще далеко. Тогда он был — повторю еще раз — преуспевающим физиком-экспериментатором, перед которым только-только открылись весьма

заманчивые научные перспективы: он был приглашен тогда на какую-то очень интересную и престижную работу в Дубну и не на шутку этой работой был увлечен. И тем не менее, уже тогда мне показалось, что в физике ему как-то тесно. В разговорах наших — а разговаривали мы часами и, если бы это было возможно, вели бы наши бесконечные разговоры сутками, не прерываясь даже для ночного сна, — доминировали темы сугубо гуманитарного свойства.

Это было так для меня удивительно, что однажды, не удержавшись, я сказал ему:

— Признайтесь, ведь по главным, самым тайным своим душевным склонностям вы совсем не естественник! Типичный гуманитарий: историк, философ. И как это только вас угораздило стать физиком?

Вопрос, разумеется, был риторический. И я ожидал, что Шурик в ответ только улыбнется своей милой застенчивой улыбкой. Риторический вопрос ведь потому и называется риторическим, что ответа не требует.

Но Шурик на этот мой риторический вопрос ответил. В ответ на него он рассказал мне такую историю.

В девятом классе, сколотив группу единомышленников, он стал выпускать с ними рукописный журнал. Журнал был скорее литературный, но отчасти и политический. Хотя — какая там могла быть у них политика! Ну, писали, что комсомол стал организацией не столько идейной, сколько формальной. Что нужна какая-то другая молодежная организация, в которую принимались бы только ребята, по-настоящему одушевленные великой идеей переустройства мира. Настоящие, пламенные революционеры... И хотя все эти идеи в основе своей вполне укладывались в официальную идеологию, — во всяком случае, никак ей не противостояли, напротив, хотели ее оживить, влить в ее омертвелую плоть толику молодой, свежей крови, — деятельностью молодых романтиков заинтересовались в «Министерстве Любви». И всех их, разумеется, забрали. Было следствие, после которого их отправили — к счастью, не в лагерь, а в детскую исправительную колонию.

Там, само собой, тоже было не сладко. Но на эту тему Шурик в своем рассказе особенно распространяться не стал. Он только сказал, что пробыл в той колонии сравнительно недолго: чуть меньше года. А потом вернулся в свой девятый класс.

А когда он учился уже не в девятом, а в последнем, десятом классе, его маму неожиданно вызвали в «Министерство Любви». И там с нею провел беседу очень милый и — как ни странно — на редкость доброжелательный полковник. Он спросил, как поживает ее сын, как он учится, какие у него интересы, какие планы после окончания школы: куда намерен он поступать.

Мама Шурика ответила, что настроение у сына хорошее. Все свои ошибки и заблуждения он полностью осознал. Учится хорошо. Из всех школьных предметов больше всего любит историю и поступать собирается на истфак.

— Так вот, — сказал ей на это полковник. — Мой вам совет: употребите всё ваше влияние и во что бы то ни стало убедите сына поступать не на истфак, а на какой-нибудь естественный факультет. Пусть займется химией. Или физикой. Только — ни в коем случае — не историей, не философией и — упаси, Господи! — не литературой. А иначе он обязательно к нам вернется. Вы меня поняли?

Мама Шурика очень хорошо его поняла. И употребила все свое влияние. И — что самое удивительное — Шурик внял совету полковника. (При его характере, он вполне мог и заартачиться. Но тут, видно, сыграл свою роль опыт, полученный в исправительной колонии: попасть снова в учреждение, подведомственное «Министерству Любви», ему совсем не хотелось.)

Так он стал физиком. Что, впрочем, не уберегло его от новых встреч с сотрудниками этого славного Министерства.

Но тут уж дело было не в профессии, а — в характере.

В УЖАСНЫЕ ВРЕМЕНА...

Великий мизантроп Михаил Михайлович Зощенко сказал однажды, что так называемые хорошие люди хороши только в хорошие времена. В плохие времена они становятся плохими, а в ужасные времена они — ужасны.

История, которую я собираюсь сейчас рассказать, произошла во времена, которые безусловно относятся к категории ужасных.

У одной известной поэтессы (тот, от кого я это услышал, говорил, что это была Вера Инбер) была подруга. Ближайшая,

самая близкая, ближе не бывает. Муж ее был каким-то ответственным работником не то Наркоминдела, не то Внешторга. И он души в ней не чаял. И была у них маленькая дочь, в которой оба они не чаяли души. Короче говоря, это была счастливая и, как тогда говорили, хорошо обеспеченная семья.

Но в тридцать седьмом, как и следовало ожидать, мужа арестовали. И по некоторым несомненным признакам стало ясно, что скоро арестуют и жену тоже. И тогда она собрала все самое ценное, что было в ее доме — деньги, драгоценности, какие-то там парижские туалеты, которые привозил ей из загранки муж, — и отнесла всё это своей ближайшей подруге, той самой поэтессе. С тем, чтобы, когда маленькая дочка ее останется одна на всем белом свете, та потихоньку продавала их, а деньги отдавала няньке — простой деревенской женщине, которая в девочке тоже души не чаяла и вообще была бесконечно предана всей их семье. При мысли о том, что ее маленькую дочку могут забрать в какой-нибудь ужасный детдом для детей врагов народа, она сходила с ума. И вот придумала такой выход.

Вскоре ее действительно арестовали. И нянька, как было условлено, пришла к поэтессе. Но та сказала, что ни о каких деньгах, драгоценностях и парижских туалетах она знать не знает, а о дочери арестованных врагов народа позаботится Государство. С тем нянька и ушла.

А однажды произошел такой случай. Девочка шла с домработницей по улице, а перед ними шла дочь поэтессы в хорошо знакомой ребенку шубе. Девочка кинулась за ней с радостным криком: «Мама!»

Дочь поэтессы обернулась, сразу все поняла и злобно прошипела — не девочке, разумеется, а домработнице:

— Еще раз тебя увижу, донесу!

Ситуация складывалась опасная. Да и жить с девочкой в большой городской квартире домработнице больше было не на что. Не говоря уже о том, что квартиру эту наверняка все равно вскоре бы отобрали, а девочку забрали в детдом. Поэтому, недолго думая, нянька увезла «сиротку» к себе в деревню и там, на медные гроши, на мифические какие-то свои трудодни с Божьей помощью ее вырастила.

А семнадцать лет спустя из лагеря вернулась мать. И все

узнала. И явилась, как тень отца Гамлета, к бывшей своей ближайшей подруге.

На такой поворот событий поэтесса, понятное дело, никак не рассчитывала. Она — как, впрочем, и все ее современники — не сомневалась, что люди, исчезнувшие в те ужасные времена, исчезли навсегда. И когда «мертвецы» вдруг стали возвращаться, для многих это стало самым настоящим, а для некоторых даже довольно жутким потрясением. Потом, конечно, они как-то от этого потрясения оправились, но поначалу, я думаю, им было очень даже не по себе.

Вот и поэтесса, о которой я веду свой рассказ, тоже была совершенно потрясена возвращением с того света бывшей своей ближайшей подруги. Она валялась у нее в ногах, обещала отдать всё, что присвоила, и даже больше. Гораздо больше! Сулила ей золотые горы, только чтобы та никому ничего не рассказывала.

Но подруга была неумолима.

— Непременно буду рассказывать, — сказала она. — Всем. Знакомым и незнакомым...

И рассказывала.

В СУЩНОСТИ, ОНИ БЫЛИ ПРАВЫ

Перед самой войной (мне было четырнадцать лет) я читал роман Фейхтвангера «Изгнание». Эпиграфом ко второй части этого романа был 66-й сонет Шекспира.

Так я прочел этот сонет впервые.

Позже я читал и перечитывал его много раз, в самых разных переводах — Маршака, Пастернака, Бенедиктова и разных других поэтов, старых и новых. Но самое сильное впечатление он произвел на меня именно тогда. Может быть, поэтому тот перевод (О. Румера) и сейчас мне кажется едва ли не лучшим:

Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ,
Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,

Как всюду в жизни торжествует плут,
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится
Все то, что называем мы Добром.

Но поразил меня тогда этот перевод не поэтическими своими достоинствами, а прямо-таки потрясающим совпадением всего того, о чем в нем говорилось, с окружающей меня реальностью. Вряд ли я так уж хорошо осознавал тогда всю полноту этого совпадения. Ведь то, что «над искусством произвол глумится», тогда меня еще мало волновало. И о целомудрии, которому «грозят позором», я тоже не задумывался. Но о том, «как топчется доверье чистых душ» кое-что уже знал. И строка о почестях, которые «мерзавцам воздают», не была для меня абстракцией: она сразу наполнилась живым и вполне конкретным смыслом.

Может быть, я сейчас и преувеличиваю степень моего тогдашнего понимания всех этих, как потом стали у нас говорить, аллюзий. Но как бы то ни было, стихи эти меня тогда поразили до глубины души. Поразили настолько, что я даже переписал их в какую-то свою тетрадку.

Сорок лет спустя я узнал, что точно так же они тогда поразили еще одного московского мальчика, моего сверстника, — Гену Файбусовича. (Теперь он известный писатель — Борис Хазанов.) Гена прочел этот шекспировский сонет в той же книге Фейхтвангера. И тоже был потрясен совпадением нарисованной в нем картины с окружающей его реальностью. И тоже переписал его в какую-то свою тетрадку. Но у меня дело на том и кончилось. А в судьбе Гены этот его поступок сыграл впоследствии весьма важную роль.

Когда несколько лет спустя Гену арестовали, в его бумагах — при обыске — нашли и этот сонет. И в числе прочих изъятых документов инкриминировали его арестованному как прямую антисоветчину.

Когда Гена рассказал мне об этом, я, естественно, посмеялся над тупостью и невежеством советских следователей, принявших стихи, написанные великим англичанином четырёхста лет тому назад, за сочинение московского школьника.

Но Гена пожал плечами и сказал:

— В сущности, они были правы.

ВЕДЬ МЫ ТЕПЕРЬ ЖИВЁМ СОВСЕМ ИНАЧЕ!

В середине 60-х мы втроем (Л. Лазарев, С. Рассадин и я) сочинили пьесу, предназначавшуюся для Московского театра сатиры. Главный режиссер этого театра Валентин Николаевич Плучек очень хотел поставить Зощенко. Ничего удивительного в этом его желании не было: Зощенко – признанный классик советской сатиры, и, как говорится, сам Бог велел ставить его на сцене театра, именуемого «Театром сатиры».

Проще всего, конечно, было бы взять для постановки какую-нибудь пьесу Зощенко. Но пьесы этого писателя не шли ни в какое сравнение с его прозой. И Плучек решился на смелый эксперимент: обратился с этой своей идеей не к профессиональному драматургу, а к трем литературным критикам, о которых ему только и было известно, что они – пламенные поклонники таланта Михаила Зощенко и более или менее прилично знают все им написанное.

Мы вдохновились этим предложением театра, и пьеса была сочинена.

В финальной сцене, помню, мы использовали рассказ про старичка, который заснул летаргическим сном, а все думали, что он умер. Возникла большая суматоха, старичка никак не могли похоронить, потому что то не могли найти катафалка, то не было лошадей. Когда же наконец и катафалк и лошади нашлись, старичок «воскрес». Но в его «воскресение» никто не поверил, и приехавшие похоронщики, а также соседи по коммуналке, где все это происходило, потребовали, чтобы старичок подал голос. Не отличаясь, как пишет Зощенко, большой фантазией, старичок сказал:

– Хо-хо!

Когда мы прочли нашу пьесу на труппе и артистам предложено было высказаться, наступило долгое молчание. Мы похолодели, решив, что это – провал. Но длинная томительная пауза была наконец прервана репликой молоденькой хорошенькой актрисы, сидевшей в первом ряду. Она сказала:

– Хо-хо!

Напряжение было снято. Все рассмеялись, и пьесу в один голос стали хвалить.

Реплика актрисы оказалась, однако, пророческой.

Пьеса была одобрена, принята к постановке, вот-вот уже

должны были начаться репетиции. Но тут вдруг разразилась непредвиденная катастрофа.

Как раз в это время молодой Марк Захаров поставил на сцене Театра сатиры спектакль «Доходное место». Спектакль этот оказался до такой степени злободневным, все происходившее на сцене так крепко и точно «рифмовалось» с нашей тогдашней жизнью, что старая пьеса А.Н. Островского наделала шуму куда больше, чем столетие назад, когда она впервые была представлена на сцене Александринского театра. Пьеса игралась чуть ли не в современных костюмах. Во всяком случае, в костюмах, не слишком отличающихся от современных. И Аристарх Владимирович Вышневецкий в исполнении Георгия Павловича Менглета куда больше походил на какого-нибудь номенклатурного работника ЦК КПСС, нежели на русского чиновника середины прошлого века.

Скандал разразился грандиозный. Екатерина Фурцева, бывшая тогда министром культуры, просто билась в истерике. Кажется, именно тогда и стало мелькать это знаменитое слово, надолго определившее мрачную атмосферу нашей художественной жизни: «аллюзии». Было даже, если не ошибаюсь, специальное постановление, предусматривавшее, как именно следует интерпретировать творения классиков, дабы не возникало у зрителя вот этих самых «аллюзий».

О том, чтобы после такого скандала ставить на сцене того же театра нашу пьесу, само собой, не могло уже быть и речи: она вся, от начала и до конца, была — сплошная аллюзия.

Речь (в лучшем случае) могла идти только о том, чтобы заплатить ни в чем не повинным авторам причитающийся им скромный гонорар.

Но и это тоже оказалось совсем не просто.

— Понимаете, — сказал нам Плучек, — договор у вас с театром. Но деньги платит министерство. Мы вам заплатить не можем. Поэтому вы подайте на нас — то есть на театр — в суд. Театр этот судебный процесс, разумеется, проиграет, и тогда вы получите свои деньги.

Судиться с театром нам, понятное дело, не хотелось. Но Плучек убедил нас, что все это — чистойшей воды формальность. И мы согласились.

Оказалось, однако, что суд вовсе не склонен был превращаться в простую формальность. Адвокат, представлявший интересы театра, отнесся к своей миссии весьма ревностно.

Он тщательно изучил не только злополучное постановление ЦК о Зошенко и Ахматовой и не только знаменитый доклад Жданова, но и всю критическую литературу тех незабвенных лет, когда Зошенко именовали подонком, злопыхателем, очернителем, клеветником и другими словечками того же смыслового и стилистического ряда.

Но эти словечки мелькали только на первом этапе — когда дело слушалось в народном суде. Убедившись, что весь этот джентльменский набор в новой исторической ситуации уже не очень действует, и потерпев в связи с этим сокрушительное поражение, к следующему акту драмы — слушанию дела в городском суде — адвокат решил изменить тактику. Теперь он уже говорил о Зошенко как о замечательном советском писателе, не скупился на комплименты не только в его, но даже и в наш адрес. Да, говорил он, Зошенко — классик советской литературы, выдающийся наш сатирик. И авторы пьесы добросовестно и даже талантливо инсценировали его рассказы. Но их постигла творческая неудача, потому что сегодняшняя наша жизнь не имеет решительно ничего общего с той, которую изображал в своих произведениях этот писатель.

— Ведь мы теперь живем совсем иначе! — то и дело повторял он. Это был как бы постоянный рефрен, пронизывающий всю сложную систему его аргументов.

Что рисовал Зошенко в своих сатирических рассказах? Какие картины он изображал? Он изображал узкий мешанский мирок, темных, невежественных и диких людей. Он был правдивым бытописателем эпохи нэпа. Но сегодня, сейчас мы живем совсем в другой действительности. И жизнь наша ничуть не похожа на ту, которую описывал Зошенко.

— Разве духовный мир современного советского человека так жалок и убог? — патетически восклицал он. — И разве наши люди говорят сегодня таким корявым, уродливым, безграмотным языком?

— Зошенко был замечательным писателем, — сказал он в заключение. — Но произведения его не выдержали испытания временем. Сегодня они имеют для нас лишь историческую ценность, как отражение быта и нравов давно минувшей эпохи. Что же касается сегодняшнего, духовно и интеллектуально выросшего советского зрителя, то для него Зошенко безнадежно устарел.

Речь адвоката несколько затянулась, и судья, извинившись

перед нами, объявил, что слушание нашего дела будет продолжено несколько позже, а пока он просит нас подождать: суду предстоит заслушать другое дело, не такое сложное, как наше. Мы же, если хотим, можем не покидать зал судебного заседания.

Посовещавшись, мы сперва хотели было выйти погулять, но как-то замешкались — и остались в зале. Жалеть об этом, однако, нам не пришлось.

Суть разбираемого нового дела была такова.

Истец и ответчик жили в одном доме. Кажется, даже в одном подъезде. Но истец, в отличие от ответчика, был обладателем «Москвича», который за неимением гаража оставлял прямо у подъезда, как раз под окнами ответчика. Ответчика это возмущало. Как выяснилось по ходу дела, возмущало его даже не столько то обстоятельство, что автомобиль соседа ему мешал, как то, что он занял место, где ответчик мог бы ставить свой собственный автомобиль — в том случае, если бы он у него был.

— Но ведь у вас, насколько я понимаю, автомобиля нет? — спрашивал его судья.

— Пока нет. Но я стою в очереди на «Фиат», — отвечал тот. (Вошедшие позже в наш повседневный быт слова «Жигуль», «Лада», «шестерка» и т.п. тогда еще не были в ходу.)

Итак, ответчик был до глубины души возмущен тем, что истец своим стареньким «Москвичом» занял то место, которое он мысленно уже запланировал для своего будущего новенького «Фиата». Возмущение это разрешилось тем, что он облил машину истца чернилами. Между соседями произошла по этому поводу небольшая перепалка. Но истец не внял этому предостережению: его «Москвич» по-прежнему стоял под окнами ответчика, всем своим гнусным неприглядным видом отравляя ему жизнь.

И тогда ответчик решился на крайнюю меру. Под покровом ночной темноты он старательно обмазал машину истца фекалиями. (Именно это деликатное выражение употреблял судья. Истец пользовался другим, более употребительным и общепонятным выражением, что время от времени вынуждало судью призывать его к порядку.)

Поступок ответчика был, конечно, из ряда вон выходящим. Но тут надобно принять в расчет, что совершен он был, как выражался в таких случаях писатель Зошенко, в минуту сильного душевного волнения.

Короче говоря, перед нами разыгралась драма в совершенно зощенковском духе. С той, правда, разницей, что в речи ее действующих лиц то и дело мелькали слова и понятия, зощенковским героям незнакомые:

— Я тогда как раз сдавал кандидатский минимум, — объяснял свои сложные жизненные обстоятельства истец.

— Я стою в очереди на «Фиат», — отстаивал свои позиции ответчик.

Безусловно, это был он — бессмертный зощенковский герой. Но как, однако, он вырос! Какой приобрел лоск! Как изменились его потребности и весь образ его жизни! Какие, наконец, слова он научился произносить!

Нет, — подумал я, — что ни говори, а он все-таки прав, этот адвокат. Мы и в самом деле теперь живем совсем иначе.

ДО СВИДАНИЯ, ТОВАРИЩ ЗОЩЕНКО!

Сперва два небольших отрывка.

Вот — первый:

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи.

Идя сзади их, я слышал, что один, В.А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях её.

А вот — второй:

Хоронили Михаила Михайловича — в Сестрорецке. Хлопотали о Литераторских мостках — не разрешили.

Ехали мы в автобусе погребальной конторы. Впереди меня сидел Леонтий Раковский. Всю дорогу он шутил с какими-то дамочками, громко смеялся. Заметив, вероятно, мой брезгливый взгляд, он резко повернулся ко мне и сказал:

— Вы, по-видимому, осуждаете меня, Алексей Иванович. Напрасно. Ей-богу. Михаил Михайлович был человек веселый, он очень любил женщин. И он бы меня не осудил.

И этой растленной личности поручили «открыть траурный митинг» — у могилы. Сказал он нечто в этом же духе — о том, какой веселый человек был Зошенко, как он любил женщин, цветы...

Не раз в этот день вспоминали мы с друзьями Конюшенную церковь, вагон для устриц и пр.

Первый отрывок — из воспоминаний Горького о похоронах Антона Павловича Чехова.

Второй — из письма Алексея Ивановича Пантелеева Лидии Корнеевне Чуковской, в котором он делился своими впечатлениями о похоронах Михаила Михайловича Зошенко.

Надпись «Устрицы» на вагоне, в котором привезли тело Чехова, произвела на российских интеллигентов впечатление какого-то жуткого символа. Недаром об этом — право, не таком уж значительном — факте упоминается во всех биографиях Антона Павловича. И недаром писатели, оскорбленные сценами, разыгравшимися на похоронах Зошенко, вспомнили про эти злополучные устрицы.

В разительном сходстве этих двух похорон им тоже помещился какой-то жуткий символ.

На самом деле, однако, общим в этих двух похоронах был «только снег». («Снег» — это, конечно, метафора. Настоящего снега ни там, ни тут быть не могло: Зошенко, как и Чехов, умер в разгар лета — в июле.)

Чтобы описать похороны Чехова, не надо было быть Чеховым. Или Горьким. Эти похороны могли бы описать — и, как я уже сказал, описывали — многие. А вот описать по-настоящему похороны Зошенко мог бы только один писатель: сам Зошенко.

К.И. Чуковский в своих воспоминаниях о Зошенко заметил, что жизнь словно бы нарочно старалась создавать для него ситуации в духе тех, какие он изображал в своих рассказах. В подтверждение этой своей мысли он привел несколько таких эпизодов. Вот один из них:

Мы проходили, — вспоминает он, — мимо большого четырехэтажного дома, и вдруг прямо к нашим ногам упала откуда-то с неба ошипанная, обезглавленная, тощая курица. И тотчас из форточки самой верхней квартиры высунулся кто-то лохматый, с безумными от ужаса глазами и выкрикнул отчаянным голосом:

— Не трожьте мою куру! Моя!

Прохожих на Литейном было много. Время стояло уже не

слишком голодное, но каждый прохожий глядел на курицу с таким вожделением, что мы оба сочли своим долгом защищать ее до последней минуты, чтобы она могла благополучно вернуться к своему обладателю.

Вот наконец и он. Выбегает из подворотни без шапки. Хватает курицу и, даже не взглянув на толпу, вскакивает, к нашему изумлению, на подножку трамвая и мгновенно исчезает вместе с курицей, потому что как раз в этом месте трамвай круто сворачивает на Семеновский мост.

Не успели мы догадаться, что сделались жертвой обмана, что схвативший курицу **вовсе не тот человек, который кричал из окна**, как этот человек налетел на нас ястребом, непоколебимо уверенный, что мы-то и есть похитители курицы и что мазурик, так ловко надувший и нас, и его, на самом-то деле наш компаньон, сообщник.

В толпе выразили такое же мнение, особенно те, что хотели сами овладеть этой курицей...

В присутствии Зошенко, — замечает, рассказав эту историю Корней Иванович, — постоянно рождались, возникали, клубились такие, чисто зошенковские ситуации, коллизии, сюжеты.

И именно такая, чисто зошенковская история «склубилась» и на похоронах Михаила Михайловича.

О сцене, разыгравшейся у его гроба, вспоминали и рассказывали многие. Но самую суть происшедшего лучше других ухватил и передал А.И. Пантелеев. В том самом своем письме, которое я уже цитировал:

Вытарашив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Запомнилась мне только последняя его фраза. Сделав полуоборот в сторону гроба, шаркнул толстой ногой и сухо, с достойным, вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек:

— До свиданья, тов. Зошенко...

Ну а дальше всё развивалось в привычных традициях и застывших словесных формах митинга. Точнее — собрания. Одного из множества тех собраний, на которых покойному писателю не раз приходилось бывать при жизни. Поразительное сходство этого собрания с теми было не только в том, что тут, как и там, постоянно звучала неременная казенная формула: «Слово предоставляется...». Неотличимо было это собрание от тех, на которых Михаилу Михайловичу доводилось присутствовать при жизни, прежде всего потому, что, как и на тех, так на этом, последнем в его жизни собрании, — его тоже прорабатывали.

Выступивший после Саянова Леонид Борисов сделал робкую попытку намекнуть на то, что при жизни покойника писательская братия обошлась с ним не совсем справедливо. Он даже — как бы от имени всех присутствующих — попросил у лежащего в гробу писателя прощения. И тут — уже во второй раз — взял слово Александр Прокофьев. Он дал отпор бесхребетному и безыдейному выступлению товарища Борисова. Разумеется, с единственно правильных, партийных позиций.

Но не успел Прокофьев закончить свою партийную отповедь, как вновь раздался голос Борисова:

— Прошу слова для реплики!

И стал испуганно оправдываться, поправляться, уверять, что его не так поняли.

А за ним — еще чей-то голос:

— Прошу слова для справки.

И еще:

— И мне, и мне... К порядку ведения...

Вдова М.М., — продолжает свой рассказ Пантелеев, — подняв над гробом голову, тоже встречает в эту, так сказать, дискуссию:

— Разрешите и мне два слова. И не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова:

— Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа.

Становится жутко. Еще кто-то что-то кричит. Суется, мечутся в толпе перепуганные устроители этого мероприятия.

А Зошенко спокойно лежит в цветах. Лицо его — при жизни темное, смуглое, как у факира, — сейчас побледнело, посерело, но на губах играет (не стынет, а играет!) неповторимая зошенковская улыбка-усмешка...

Я думаю, что эта неповторимая усмешка, которая играла на губах лежащего в гробу писателя, Алексею Ивановичу не привиделась. Я даже не исключаю при этом, что в той усмешке отразилась, помимо всего прочего, и толика удовлетворенного авторского самолюбия. Ведь Зошенко был не только действующим (точнее, недействующим) лицом, но отчасти и автором разыгравшейся у его гроба фантазмагории. Жизнь — сама уникальная, фантастическая, сумасшедшая наша советская жизнь — напоследок подарила ему еще один сюжет, поразительно схожий с теми, которые он так любил изображать в своих рассказах.

ПЕРЕСТАНЬТЕ
УДИВЛЯТЬСЯ!

БРОНЗОВЫЙ

ПРОФИЛЬ

ИСТОРИИ

БРОНЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИСТОРИИ

Это рассказал мне Михаил Давыдович Вольпин — друг и соавтор Николая Эрдмана, автор знаменитого в свое время четверостишия, которое любил повторять Маяковский:

- Как говорил Жан Жак Руссо,
Повернем истории колесо.
- Позвольте, не Руссо, а — Руссель!
- Ну что ж, тогда повернем карусель.

Вдвоем с Эрдманом, а иногда с Владимиром Массом они сочиняли коротенькие басни, среди которых была, например, такая:

Раз ГПУ, придя к Эзопу,
Схватило старика за жопу.
Из этой басни вывод ясен:
Не надо басен!

Несмотря на то что вывод им был ясен, они не унимались, и в один прекрасный день ГПУ пришло и к ним тоже. Но это случилось позже. А рассказ Вольпина, который я сейчас вспомнил, относится к более раннему времени — к 1929-му году.

В этом году Михаил Давыдович — уж не помню, как и почему, — на какое-то время отбыл из Москвы и оказался где-то в глубинке, в селе. И собственными своими глазами увидел все ужасы коллективизации и ликвидации кулачества как класса.

Увиденное потрясло его до глубины души. Подавленный — лучше даже сказать, раздавленный — этими своими впечатлениями, он поделился ими с Осипом Эмильевичем Мандельштамом. Но сочувствия у него не нашел.

Выслушав его рассказы, Осип Эмильевич надменно вскинул голову и величественно произнес:

— Вы не видите бронзовый профиль Истории!

К чести Осипа Эмильевича надо сказать, что его обошрение «бронзовым профилем истории» длилось недолго.

Разговор его с Вольпиным, которому он кинул эту свою высокомерную реплику, происходил году, надо думать, в 30-м, самое позднее — в 31-м. А в мае 33-го, как видно, уже собственными глазами увидав то, про что рассказывал ему Вольпин, он написал:

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные — Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

А потом — и знаменитые стихи про «душегубца и мужикоборца», стоившие ему жизни.

А Михаил Давыдович — выжил. Увидел ли он в конце концов бронзовый профиль истории, не знаю. Но, по-видимому, все-таки увидел, потому что однажды в разговоре со мной резко осуждал Булгакова (которого, кстати, тоже хорошо знал) за обывательский взгляд на революцию: речь шла о повести «Собачье сердце».

Вот такая получилась карусель.

В ДВУХ СЛОВАХ

Весной семнадцатого года, когда революционные события в России только разворачивались, фигура только что вернувшегося из эмиграции Ленина была не очень ясна, а для многих так и вовсе загадочна. И кто-то из действующих тогдашних политиков попросил Петра Бернгардовича Струве — хотя бы коротко, что называется, в двух словах — охарактеризовать этого мало кому известного человека, вдруг оказавшегося в самом центре событий:

— Ведь вы были с ним знакомы. Даже, кажется, жили рядом в эмиграции...

Струве усмехнулся.

— В двух словах, говорите? — переспросил он. — Ну что ж, извольте. Больше двух слов мне и не понадобится.

И отчеканил:

— Думающая гильотина.

ГИЛЬОТИНА В ДЕЙСТВИИ

Эту историю я вычитал в книге русского писателя-эмигранта Романа Гуля «Я унес Россию». А автор этой книги записал ее со слов старого большевика Александра Дмитриевича Нагловского.

Отец Александра Дмитриевича был придворный, генерал. В детстве будущий старый большевик играл с детьми великих князей, потом закончил Александровский лицей — тот самый, в котором некогда воспитывался Пушкин. Еще в лицее — лет шестнадцати — он увлекся марксизмом. А потом — уже студентом Института Путей Сообщения — вступил в РСДРП (б).

Он был наркомом в Зиновьевской Петрокоммуне. Занимал и другие ответственные посты. Последняя его советская должность была — торгпред в Италии. Оттуда он и махнул в Париж, порвав со своим большевистским прошлым и став «невозвращенцем».

Гуль подробно записал рассказы Нагловского о Ленине, Троцком, Зиновьеве, которых тот долгое время наблюдал с достаточно близкого расстояния. Из всех этих историй, записанных Романом Борисовичем, особенно запомнился мне один короткий эпизод.

Было это во время одного из обычных, ничем не примечательных заседаний Совнаркома.

Обстановку и характер этих заседаний Нагловский описывает так:

— У стены стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин, рядом — его секретарша Фотиева, женщина ничем кроме преданности вождю не примечательная. На скамейках, стоящих перед столом Ленина, как ученики за

партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы.

Такие же скамейки стояли у стен перпендикулярно по направлению к столу Ленина. На них также тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы, партийцы. В общем, это был класс с учителем, довольно-таки нетерпеливым и подчас свирепым, осаживающим «учеников» иногда довольно грубыми окриками, несмотря на то что «ученики» перед «учителем» трепетали и вели себя на удивление примерно.

Единственным исключением был Троцкий. Он держался свободно, хорохорился, иногда осмеливался даже возражать «учителю».

Несколько свободнее других «учеников» вел себя и Дзержинский.

Он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый, в больших сапогах, грязной гимнастерке, Дзержинский в головке большевиков симпатией не пользовался. Но к нему люди были «привязаны страхом». И страх этот ощущался даже среди наркомов.

У Дзержинского были неприятные прозрачные больные глаза. Он мог длительно «позабыть» их на каком-нибудь предмете или человеке. Уставится и не сводит стеклянные с расширенными зрачками глаза. Этого взгляда побаивались многие.

Вот на одно из заседаний, при обсуждении вопроса о снабжении продовольствием железнодорожников, в «класс» с послушными «учениками» вошел Дзержинский. Вошел и сел неподалеку от Ленина.

На заседаниях у Ленина была привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла Дзержинскому:

«Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?»

В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка:

«Около полутора тысяч».

Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Далее произошло странное. Дзержинский встал и как

обычно, ни на кого не глядя, вышел. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами.

Оказывается, Дзержинский всех этих «около полутора тысяч злостных контрреволюционеров» в ту же ночь расстрелял, ибо «крест» Ленина им был понят как указание.

Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот крест вождя и не вызвал бы, если бы он действительно означал распоряжение о расстреле. Но, как призналась рассказчику Фотиева, произошло недоразумение.

— Владимир Ильич, — объяснила она, — вовсе не хотел расстрела. Товарищ Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записках крест, как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению.

Рассказчик поинтересовался: а как Ленин реагировал на случившееся, когда «недоразумение» разъяснилось?

Оказалось, что никак не реагировал.

Вот если бы ему сказали, — замечает рассказчик, — что какой-то поезд с продовольствием не дошел вовремя до места назначения, — вот тогда он бы реагировал. И еще как! Повинные в разгильдяйстве подверглись бы самому жестокому разному. А тут...

Даже не поморщился.

И ТУТ КАЖДЫЙ РАЗ ОН ЗАЛИВАЛСЯ ХОХОТОМ

Сталин, как известно, был верным учеником Ленина. Но, в отличие от своего учителя, «думающей гильотиной» он не был, о чем свидетельствует, например, такая история, рассказанная Вячеславом Всеволодовичем Ивановым — сыном писателя Всеволода Иванова.

Вячеслав Всеволодович рассказал ее Анатолию Рыбакову и его жене Татьяне, а Татьяна пересказала в книге своих воспоминаний:

В двадцатые годы Сталин пригласил к себе на дачу Бабея, Пильняка и Иванова — почитать что-нибудь из написанного. Особенно ему понравился рассказ Иванова «Дитя».

Сталин заставил Иванова прочитать этот рассказ три раза. Сюжет его таков: где-то в Киргизии свирепствуют красноармейцы, убивают всех, кого хоть в чем-то подозреают, в том числе и русских. То ли у убитых, то ли в каком-то пустом доме находят младенца и решают его усыновить. Но младенца надо кормить грудным молоком, и его пристраивают к молодой киргизке, у которой свой грудной ребенок. Она кормит обоих. Через какое-то время красноармейцам начинает казаться, что их ребенок не прибавляет в весе. Взвешивают на весах младенцев, русского и киргизского, последний перевешивает, и тогда его шлепают из винтовки на глазах у матери.

Сталин в этом месте, по словам Иванова, начинал хохотать и просил вновь читать рассказ. Как я уже сказала, три раза. Три раза в этом месте он заливался смехом...

Пастернак, как известно, мечтал встретиться со Сталиным, чтобы поговорить с ним о жизни и смерти. Интересно, сохранилось бы у него такое желание, если бы он знал эту историю? А ведь он вполне мог ее знать: с Всеволодом Ивановым они были близко знакомы, даже дружны, и тот вполне мог бы ее ему рассказать.

НЕТ ТАКИХ КРЕПОСТЕЙ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕВИКИ НЕ МОГЛИ БЫ ВЗЯТЬ

В 1937 году остряки шутили:

Мой дом — моя крепость, но нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять.

Таких крепостей и в самом деле не было. У нас ведь не Англия: чекисты в любой час дня и ночи могли ворваться в любой дом и — с ордером, а то и без ордера — увести с собой хозяина.

Это был непререкаемый закон тогдашней нашей жизни. Общее правило. Но, как известно, не бывает правил без исключений.

Об одном таком исключении мне рассказал Алексей Яковлевич Каплер.

Был у него приятель — человек редкой храбрости и огромной физической силы. В Гражданскую войну он был конником в армии Буденного. А потом окончил Промакадемию, стал крупным советским хозяйственником, ездил по

каким-то своим хозяйственным делам в командировку в Америку, откуда привез шесть пижам и — невиданную тогда в наших краях редкость — холодильник.

И вот грянул 37-й год. И дом, в котором жил этот бывший буденновский конник, стал пустеть. Соседей брали по ночам — одного за другим. И он понял, что чаша сия не минет и его.

А он был довольно хорошо знаком с тогдашним Генеральным прокурором СССР Андреем Януарьевичем Вышинским. И решил пойти к нему, спросить: нельзя ли, мол, чего-нибудь сделать, как-нибудь обезопасить себя от неизбежного ночного вторжения чекистов.

Вышинский сказал, что сделать ничего нельзя, поскольку у нас не Англия, и «нет таких крепостей...». Но дал бывшему коннику хороший совет.

— Когда за вами придут, — сказал он, — потребуйте, чтобы вам показали ордер. И если там будет какая-нибудь — хоть самая пустяковая — ошибка, скажите, что никуда с ними не поедете, пока не приедут с новым ордером.

И вот раздался ночью звонок в его квартиру, и ОНИ вошли.

Хозяин квартиры стоял за холодильником в одной из шести своих американских пижам. В правой его руке был револьвер, а в левой — половая щетка на длинной палке. Взяв дорогих гостей «на мушку», он протянул к ним щетку и велел, не приближаясь ни на шаг, положить на нее ордер.

Чекисты, усмехаясь, выполнили этот приказ.

Но скоро им стало не до смеха.

Внимательно изучив ордер, бывший буденновец нашел-таки в нем какую-то мелкую погрешность и потребовал, чтобы привезли новый.

Чекисты стали объяснять ему, что ордер — это, в сущности, пустая формальность, что приехав на место, ошибку они тотчас же исправят или выпишут новый ордер. Но он тупо стоял на своем.

Что им было делать? Не открывать же стрельбу! И, скрипя зубами и отчаянно матерясь, они поехали за новым ордером.

И НЕ ВЕРНУЛИСЬ.

Время было горячее, надо было выполнять план. Взяли, наверно, вместо этого бывшего конника какого-то другого.

Так что совет Вышинского оказался хорош. Андрей Януарьевич знал, что советовал.

ЗА ВЫХОД ИЗ БАНДЫ

Когда волнения в Венгрии осенью 56-го года достигли критической точки и стало ясно, что вторжения советских войск не избежать, Имре Надь (тогдашний премьер-министр Венгерской Республики) обратился за помощью в Организацию Объединенных Наций.

До этого деятельность товарища Надя в нашей печати освещали по-разному: то обвиняли его в правом уклоне, популизме и других смертных грехах, то именовали верным ленинцем и чуть ли не единственным в венгерской компартии последовательным борцом за социализм.

24 октября Надь вновь (уже во второй раз) стал премьер-министром Венгрии. Но спустя несколько дней — 3 ноября — было создано «Временное революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Яношем Кадаром»: оно и обратилось к советскому руководству с просьбой о вторжении. И тут уже стало ясно, что песенка Надя спета. Хорошо зная нравы своих бывших товарищей, он укрылся в Югославском посольстве.

Когда мятеж был подавлен, советские власти обратились к Югославии с требованием выдать Надя. И после долгих переговоров те в конце концов его выдали, заручившись обещанием, что никакая суровая расправа ему не грозит.

Наши такое обещание с легкостью дали. И с такой же легкостью его нарушили: Имре Надь бы расстрелян.

Я тогда — по молодости лет — был потрясен этим беззастенчивым, а главное, как мне тогда казалось, совершенно бессмысленным коварством.

— Главное — зачем?! Ведь в этом же нет никакого смысла! — сказал я тогдашнему своему другу Илье Звереву, одному из немногих, с кем рисковал откровенничать на всю катушку.

Главная мысль моя заключалась в том, что моральные потери, понесенные в этом случае нашей родной советской властью, не диктовались никакой политической целесообразностью. В сущности, я мусолил (может быть, и не догадываясь об этом) знаменитую мысль Талейрана по поводу расстрела Наполеоном герцога Энгиенского: «Это хуже, чем преступление: это — ошибка».

Но Зверев отрезвил меня одной короткой фразой.

— Смысл в этом как раз есть, — сказал он.

И на мой немой вопрос пояснил:

— Чтобы все знали, что выход из банды карается смертью.

Этот давний (чуть ли не полувековой давности) разговор я вдруг с поразительной ясностью вспомнил сейчас (даже место вспомнил, где мы про это говорили), прочитав в книге Р. Пихоя «Советский Союз: история власти», в главе о венгерских событиях, такую короткую сноску:

И. Надь, эмигрировавший в СССР в 1929 г., с января 1933 г. стал агентом Главного управления госбезопасности НКВД по кличке Володя.

Умница Зверев, объяснивший мне, в чем состояла «политическая целесообразность» расстрела Имре Надя, при всей своей сообразительности, конечно, не подозревал, что предложенная им формула («за выход из банды») несёт в себе еще и этот, особый, вполне конкретный смысл.

ВЕСЕЛИЕ РУСИ...

В мемуарах Романа Гуля («Я унес Россию. Апология эмиграции», том 2-й — «Россия во Франции») приводится рассказ Николая Владимировича Вороновича — бывшего камер-пажа вдовствующей императрицы. В революцию он примкнул к эсерам и стал «камер-пажом» Александра Федоровича Керенского, верность которому сохранил на всю жизнь.

Когда государь с семьей был отправлен из Царского в Тобольск, — рассказал Воронович Гулю, — в Петрограде сформировалась группа офицеров, решивших организовать побег царской семьи из Тобольска. У него (Вороновича) была с этой группой прямая связь. И он — лично — передал заговорщикам два миллиона рублей, полученных им на это дело от Керенского. Как он выразился, «из секретных фондов».

— Почему же эта попытка не удалась? — спросил Гуль.

Объяснения тут могли быть разные. Причиной провала заговора могло быть предательство кого-нибудь из его участников. Или ротозейство, скверная конспирация. Наконец, какая-нибудь случайность. Не говоря уже о том, что затея могла быть просто невыполнима, что спасти царскую семью тогда было уже не в человеческих силах.

Но загадка объяснялась куда как проще.

— Почему? — раздраженно переспросил Воронович. — Да потому, что офицеры разворовали деньги и пропили.

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

Моя теща Анна Макаровна имела несчастье с середины двадцатых годов состоять в рядах ВКП(б). То есть она была, как это тогда называлось (не совсем тогда, название это возникло чуть позже), ветераном партии.

Выйдя на пенсию, теща стала секретарем парторганизации ЖЭКа. Однажды, разглядывая старенький альбом с ее фотографиями разных лет, я обратил внимание на большое групповое фото. Это был, как я сразу понял, весь партийный актив ЖЭКа, в полном составе. В центре стояла наша Анна Макаровна в парадном своем пиджаке, увешанном всеми заслуженными ею за долгую жизнь орденами и медалями. А рядом с ней — какой-то мужик, лицо которого показалось мне удивительно знакомым.

— Анна Макаровна! А это кто? — спросил я у тещи.

Она ответила:

— Это мой лучший пропагандист.

Такое объяснение, как вы понимаете, решительно ничего мне не говорило. А между тем я был уверен, что не ошибся, что физиономию этого ее «лучшего пропагандиста» я уже где-то видел. И даже, наверно, не один раз.

— А как его фамилия? — спросил я.

— Кириченко, — так же буднично ответила теща.

Она, судя по всему, совсем забыла (а может быть, даже и не знала?), кем был этот ее лучший пропагандист в не такие уж давние годы. А был он членом Политбюро и секретарем ЦК. Вторым — после Хрущева — человеком в государстве. Когда Хрущев ездил в Америку стучать башмаком по столу заседаний в Организации Объединенных Наций, Кириченко оставался в Кремле за Первого.

И вот — sic transit gloria mundi! — даже секретарь парторганизации, в которой он состоит, — знать не знает и помнить не помнит о его былом могуществе.

ЭТО БЫЛА НЕ ГЛУПОСТЬ

Я рассказывал Лёне Зорину про новое, только что вышедшее издание «Чукоккалы». И между прочим сказал, что там полным полно самой злой и ядовитой антисоветчины.

— Удивительно, — сказал Лёня, — что Корней Иванович не боялся всё это хранить. Откуда такая смелость? Или это просто беспечность?

И тут же, к слову, вспомнил такую историю. Ее рассказал ему Леонид Осипович Утесов. (Очень коротко — буквально пятью строчками — история эта приводится в книге Л. Зорина «Авансцена». Но я попытаюсь пересказать ее так, как услышал: в устном изложении она почему-то произвела на меня более сильное впечатление.)

Леонид Осипович был близок с Бабелем. И у него хранилось множество — что-то около двухсот — совершенно поразительных бабелевских писем. Когда Бабеля арестовали, в приступе отчаянного страха он все эти письма сжег.

Потом, конечно, горько раскаивался. И однажды рассказал об этом Эрдману.

Выслушав его, Николай Робертович сказал:

— Да, вы сделали глупость, Ледя. Ведь если бы ОНИ к вам пришли, нашли бы они у вас эти бабелевские письма или не нашли, не имело бы уже никакого значения.

— Он, конечно, был прав, — заключил Утесов свой рассказ. — В одном только я не мог с ним согласиться. То, что я сделал... Это была не глупость. Это было преступление.

ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО?

С этим взволнованным вопросом вбежал однажды к своему другу критику Семену Трегубу поэт Михаил Голодный.

— Что? Что случилось? — испугался Трегуб.

Но Голодный вместо того, чтобы ответить на этот вполне естественный вопрос, уселся на стул, уставился безумным взором куда-то мимо собеседника и тупо повторил еще несколько раз все ту же загадочную фразу:

— Нет, ты понимаешь, что произошло?

— Да скажешь ты мне наконец, что там у тебя стряслось? — разозлился Трегуб.

Но Голодный не реагировал, судя по всему уйдя мыслями куда-то далеко-далеко.

Как выяснилось, так оно и было.

— Мне было семнадцать лет, — сказал он. — Я жил тогда в Екатеринославе. И напечатал в тамошнем журнале «Юный пролетарий» свои первые стихи...

— Ну? — подстегнул его Трегуб.

— Я был молодой поэт. И вот я шел по городу и на каком-то доме видел вывеску: «Райком...». Нет, тогда это называлось уком... «Уком комсомола». Я заходил. Меня встречали: «О, Миша! Ну что, написал новые стихи?... Сейчас мы попьем чайку, и ты нам почитаешь!» Мы пили чай, и я читал свои новые стихи... Теперь ты понимаешь, что произошло?

— Ничего я не понимаю! — раздраженно сказал Трегуб.

— Выйдя из укома комсомола я шел дальше, — продолжал вспоминать Голодный. — Я видел вывеску: «Уком КП(б)У». Я заходил. И там мне тоже говорили: «О, Миша! Наш молодой поэт! Сейчас мы попьем чаю, и он почитает нам свои новые стихи!» И мы пили чай, и я опять читал свои новые стихи. И все хлопали меня по плечу. И говорили: «Молодец!» Потом я выходил на улицу и шел дальше. И мне в глаза бросалась вывеска: «ЧК». И я заходил. И там меня тоже поили чаем, и просили почитать новые стихи, и хлопали по плечу, и говорили «Молодец!» Теперь ты понимаешь, что произошло?!

Трегуб растерянно молчал.

Тогда, наклонившись к самому его уху и понизив голос почти до шепота, Голодный сказал:

— Теперь я их всех боюсь.

ЕСЛИ БЫ ПОБЕДИЛ ТРОЦКИЙ

Натану Эйдельману рассказывал его отец. В лагере, у костра, каждый день отчаянно спорили сталинцы с троцкистами. К этим спорам с интересом прислушивался один зэк — старый еврей, не принадлежавший ни к ортодоксам, ни к поклонникам Троцкого. После нескольких таких «политдискуссий» он сказал отцу Натана:

— Знаете, Яков Наумович, я наконец-таки понял, в чем разница между Троцким и Сталиным.

— ???

- Вот вы сколько писем имеет право посылать домой?
- Два письма в год.
- А если бы победил Троцкий... Что ни говорите, а Лев Давидович, в отличие от Сталина, был человек интеллигентный. Если бы победил он, вы имели бы право посылать не два, а три письма в год.

НЕ ЛЮБИТЕ ВЫ НАС!

Эта история – из тех, что я слышал от Бориса Слуцкого. В 1941-м году стукнуло сто лет со дня гибели Лермонтова. Дату решили отметить торжественно – на государственном уровне. Был создан юбилейный комитет во главе с К.Е. Ворошиловым. А одним из членов комитета – кажется, даже заместителем председателя – был Николай Николаевич Асеев.

И вот собрался комитет на свое первое заседание, и Климент Ефремович предложил свой план проведения торжеств. План этот он придумал сам и, судя по тому, как он его излагал, очень был им доволен.

Согласно этому плану праздноваться юбилей должен был в Большом театре. Первое отделение – торжественная часть: доклад и всё такое. Второе отделение – опера «Демон».

Все молча выслушали это предложение и, наверно, приняли бы его. Если бы не Асеев.

Николай Николаевич, никогда особой храбростью не отличавшийся, вдруг возьми да и скажи, что оперу «Демон» все-таки написал не Лермонтов, а композитор Рубинштейн. Поэтому не лучше ли будет провести торжественный вечер в Ленкоме (Театре Ленинского комсомола). Первое отделение – торжественная часть, доклад и всё такое, а второе отделение – с успехом идущий на подмостках этого театра спектакль «Маскарад». В отличие от «Демона», пьесу эту сам Лермонтов написал.

Обиженный Ворошилов пытался настоять на своем, но членам комитета план Асеева показался более резонным. После недолгих прений его и утвердили.

Когда, отзаседав, все уже расходились, Ворошилов, прощаясь, сказал Асееву:

- Не любите вы нас, Николай Николаевич!
- Кого вас? – удивился и даже слегка испугался Асеев.
- Вождей.

А НАС ЗА ЧТО?

Семен Израилевич Липкин рассказал мне однажды о том, как секретарь Дагестанского обкома Даниялов спас свой народ от судьбы, постигшей чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар...

Во время войны Берия был представителем Ставки Верховного Главнокомандующего на Северо-Кавказском фронте и жил у Даниялова, который и тогда уже был секретарем Дагестанского обкома. Вряд ли можно сказать, что они подружились, но, во всяком случае, отношения были не только официальные. Поэтому, почуяв, что дело пахнет керосином, Даниялов сразу кинулся в Москву, к своему другу Лаврентию. Тот не скрыл от него, как обстоит дело.

— Он все уже решил, — сказал Берия. — Вся территория до Дербента останется в РСФСР, а от Дербента — отойдет к Азербайджану. Народ будет выслан. Готовься.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросил Даниялов, прекрасно понимая, что если он уже решил, любые разговоры на эту тему бесполезны. Но Берия вдруг подал ему некоторую надежду.

— Один я ничего не могу, — сказал он. — Но я устрою тебе встречу с Георгием. (Имелся в виду Маленков.) Если Георгий согласится, вдвоем мы попробуем... Оставайся пока в Москве и жди.

И Даниялов стал ждать.

И вот в один прекрасный день ему объявили, что товарищ Маленков его примет. Встреча, которую он так долго ждал, к которой с трепетом готовился, наконец состоялась.

Восточный человек, он начал издали. Рассказывал о трудовом подъеме, с которым народы Дагестана приступили к весеннему севу. О строительстве железной дороги, которая должна была пройти через Дагестан...

Маленков слушал его вполуха. Вопрос был решен, и всё, о чем говорил секретарь обкома обреченной республики, не имело никакого значения. Но тут — без нажима, тем же деловым, будничным тоном — Даниялов сказал:

— Собираемся отметить круглую дату выступления товарища Сталина, лично провозгласившего автономию Дагестана. Маленков восторженно:

– Как это – лично?

– Лично. 13-го ноября 1920-го года выступал в Темир-Хан-Шуре, в местном театре.

– Речь опубликована?

Даниялов достал и положил на стол заранее припасенную книгу Отца Народов, где специальной закладкой была отмечена названная речь.

Быстро проглядев заложенную страницу, Маленков встал, протянул Даниялову руку для рукопожатия и сказал:

– Езжайте, товарищ Даниялов, домой и спокойно работайте.

Вопрос о высылке народов Дагестана в места не столь отдаленные больше не поднимался.

Этот рассказ Семена Израилевича я вспомнил однажды в разговоре со своим другом – дагестанским (точнее – кумыкским) писателем Магометом-Султаном Яхьяевым. Магомет-Султан жаловался, что Даниялов, который возглавлял Дагестанский обком на протяжении четверти века, будучи по национальности аварцем, неизменно выдвигал аварцев и оттеснял на второй план кумыков, хотя, как он уверял, по справедливости именно кумыки должны были бы играть в Дагестане ведущую роль. Несправедливость эта коснулась и истории Дагестана: всячески подчеркивалась роль Махача Дахадаева, даже столицу республики назвали его именем (Махачкала), потому что Махач был аварцем. А именем кумыка Уллубия Буйнакского назвали Темир-Хан-Шуру, заглохшую и прозябающую ныне бывшую столицу края. Поэтому и книга Магомета-Султана, главным героем которой был Буйнакский, обкомом не очень поддерживалась. Хотя это явно несправедливо: ведь Уллубий Буйнакский был большевик, а прославленный Махач даже и большевиком-то не был: был он то ли меньшевик, то ли эсер. (Исторический писатель, написавший несколько романов о революции и гражданской войне на Северном Кавказе, разницу между меньшевиками и эсерами Магомет-Султан представлял себе смутно. На мой вопрос: кем же все-таки был Махач, меньшевиком или эсером, он ответил: «Это ваши русские дела, я в этом плохо понимаю».)

И вот когда Магомет-Султан завел однажды в очередной раз эту свою пластинку про Даниялова, при котором на первые роли неизменно выдвигались аварцы, а кумыки, лезгины

и представители прочих народов республики оттеснялись на обочину, я сказал:

— Что ни говори, а ведь этот Даниялов, которого ты так не любишь, все-таки вас спас.

— Кого спас? От чего спас?

— От ссылки.

Я уже предвкушал, как поразится Магомет-Султан, услышав сейчас в моем пересказе рассказ Липкина.

— Ведь Сталин и вас тоже собирался выслать. Как чеченцев, как ингушей, как крымских татар...

Магомет-Султан поднял на меня глаза, в которых светилось искреннее изумление:

— А нас за что?

СВЯТЫЕ ЛЮДИ

Рассказывают, что на дверях квартиры Бриков какой-то их недоброжелатель нацарапал однажды такое двустишие:

Вы думаете, здесь живет Брик — исследователь языка?

Нет, здесь живет шпик и следователь ЧК.

Говорили даже, что сочинил это не кто иной, как Есенин. Он будто бы написал это на дверях бриковской квартиры мелом, а Осипу Максимовичу двустишие так понравилось, что он обвел буквы масляной краской.

Не знаю. Не думаю. На Есенина это непохоже. Но Брику стишок понравиться мог вполне. Рифма хорошая, глубокая. Что же касается содержания...

Пастернак однажды признался, что не любил бывать у Бриков, потому что их дом напоминал ему отделение милиции.

Насчет того, был или не был Осип Максимович следователем ЧК, мне ничего не известно. Вроде — не был. Работал там одно время кем-то вроде юрисконсульта. Да и то недолго — не больше месяца, кажется. Но вот — история, которой я сам был свидетелем.

Мы сидели у Лили Юрьевны и пили чай. Неожиданно пришел академик Алиханян с молодой женщиной. Слишком молодой, чтобы быть его дочерью, но все-таки недоста-

точно молодой, чтобы приходиться ему внучкой. Разумеется, это была его жена.

Он сказал, что торопится, долго засиживаться не может. Заглянул с единственной целью — дать прочесть одну коротенькую самиздатскую рукопись, которую сегодня же должен вернуть владельцу. Это был небольшой рассказ Солженицына — «Правая кисть». Чтобы ускорить дело, решили не передавать друг другу страницы, а прочесть рассказ вслух. Читать выпало мне.

Подробно этот рассказ я сейчас уже не помню: помню только, что главный его персонаж был — старенький, жалконький, смертельно больной, в сущности, уже умирающий человечешко, безнадежно пытающийся пробиться сквозь все бюрократические рогатки, чтобы лечь в больницу. В доказательство своих особых прав он совал ветхую, рассыпающуюся справку, выданную ему каким-то комиссаром в каком-то незапамятном году. Справка удостоверяла, что некогда он действительно состоял «в славном губернском Отряде особого назначения имени Мировой революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов». Вглядываясь в эту справку и в протягивавшую ее руку — правую кисть — такую слабенькую, что, казалось, у нее еле хватило сил вытянуть эту справку из бумажника, автор вспоминает, как они — вот эти самые чекисты-чоновцы — лихо рубили с коня наотмашь, наискосок безоружных пеших, совсем перед ними беспомощных людей.

Я дочитал рассказ до конца.

Слушатели подавленно молчали.

Первой подала голос Лиля Юрьевна. Тяжело вздохнув, она сказала:

— Боже мой! А ведь для нас тогда чекисты были — святые люди!

НЕ ДАЙ ВАМ БОГ!

В тот же вечер Алиханян рассказал о том, как познакомился с Солженицыным и пригласил его к себе домой. Тот охотно принял приглашение, но, оказавшись в квартире академика, вел себя как-то странно: все время глядел на пол. Причем — с каким-то особым, преувеличенным интересом.

Заметив некоторое недоумение хозяев, объяснил, что в бытность свою зэком работал в этом — только выстроенном тогда доме и, кажется, даже в этой самой квартире — паркетчиком.

Вспомнив это, Алиханян рассказал заодно и о том, как он получал эту квартиру.

Ему выдали так называемый смотровой ордер, и он с женой пришел поглядеть будущее свое жилье. И наткнулся там на какого-то мрачного рослого генерала, у которого, как оказалось, тоже были виды на эту квартиру. Генералу квартира, судя по всему, не показалась. Буркнув что-то не шибко вежливое, он удалился, дав понять, что он Алиханяну — не конкурент. Алиханян же, как человек воспитанный, прощаясь с ним, сказал какую-то вежливую фразу в том духе, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком... Может быть, Бог даст, еще когда-нибудь, где-нибудь...

Генерал мрачно выслушал эту речь и сказал:

— Не дай вам Бог!

Это был Абакумов.

СТИХОТВОРЕНИЕ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

От канцелярщины и спячки
Чтобы избавиться вполне,
Портрет товарища Землячки
Повесь, товарищ, на стене.

Бродя в тиши по кабинету,
Молись, что ты пока узнал
Землячку только по портрету—
Куда страшней оригинал.

И ВАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БИЛИ?

Известная киноактриса О. — женщина редкой красоты и редкого очарования — вскоре после войны была арестована. В лагере ей досталось особенно тяжело. А до ареста — на воле — она была знаменита. За ней ухаживали, благосклонности ее

добивались многие, в том числе и весьма высокопоставленные люди. В числе тогдашних ее «светских» знакомых был и Абакумов — народный комиссар госбезопасности. И вот, доведенная до отчаяния, она решила написать ему письмо, напомнить о давнем знакомстве и попросить разобраться в ее деле.

Письмо было написано. Это была не вполне официальная просьба. Это было очень личное письмо. И предельно откровенное. Она подробно рассказывала в нем обо всех издевательствах, которым подвергалась за все время своего тюремного и лагерного бытия.

Письмо было отправлено, разумеется, не по официальным каналам, и каким-то чудом дошло до адресата. И вот, в один прекрасный день ее извлекли с самого лагерного дна, отмыли, подкормили, приодели и повезли в Москву. И привезли прямо на Лубянку. И не куда-нибудь, а в кабинет наркома.

Нарком вышел ей навстречу, поцеловал ей руку — так, словно дело происходило на каком-нибудь кремлевском банкете.

В глубине комнаты был уже накрыт стол на два куверта: коньяк, шампанское, фрукты, пирожные...

Нарком сделал актрисе приглашающий жест, сел напротив нее, разлил вино в бокалы. И полилась непринужденная светская беседа — о том, о сем. Вспоминали прошлое. Актриса ожила и уже совсем поверила, что все её мытарства позади. И вот наконец нарком, оставив пустую светскую болтовню, заговорил о деле.

— Я прочел ваше письмо, — сказал он. — Неужели всё, о чем вы там пишете, — правда?

— Правда, — подтвердила актриса.

— И вас действительно били? — спросил нарком.

— Били, — снова подтвердила она.

— А как тебя били? — спросил нарком. — Так?

И он дал ей кулаком в зубы.

— Или так?

Последовал еще один зубодробительный удар.

— Или, может быть, так?

Натешившись вволю, нарком вызвал охрану. Избитую, окровавленную актрису унесли. Бросили в камеру, а спустя несколько дней отправили назад, в зону.

НАДО КОГО-НИБУДЬ ПОМЕЛЬЧЕ

В тридцать восьмом году мне было одиннадцать лет. Но я отлично помню, как жадно читал газеты, в которых печатались материалы процесса над Бухариным и Рыковым. Какие у меня тогда были по этому поводу мысли, вспоминать не хочу: боюсь изобразить себя более умным, чем был. Ясно помню только: в то, что бывший предсовнаркома был шпионом, — не верил. Но простая мысль, что он и вовсе ни в чем не виноват, мне в голову тоже не приходила. Думал, что подсудимые и в самом деле враги — во всяком случае, враги Сталина. А в шпионаже их обвиняют, потому что ТАК НАДО.

Очень хорошо помню чувство, испытанное мною — примерно в это же время — однажды в кино. Шел фильм «Ленин в восемнадцатом году». Раненый Ленин говорил врачу: «Доктор, вы коммунист?.. Вы обязаны сказать мне правду: если рана смертельная, надо немедленно вызвать Сталина!» Отчетливо помню, что мне было как-то неловко слышать эту заведомую ложь. Я ни в малой степени не сомневался в праве Сталина на роль вождя. Не сомневался даже и в правильности известного тогдашнего лозунга: «Сталин — это Ленин сегодня». Но я почему-то точно знал, что смертельно раненый Ленин этих слов сказать не мог. Знал, что артист, играющий Ленина, произнес их не потому, что ТАК БЫЛО, а потому, что ТАК НАДО. И мне было за него вроде как стыдно. Не знаю, чего тут было больше: сознания исторической неправды или интуитивного ощущения неправды (фальши) художественной. Как бы то ни было, я не зря, наверное, так отчетливо помню это свое чувство даже и сейчас, почти шесть десятков лет спустя после того киносеанса.

Откуда же такая необыкновенная пронизательность в столь раннем возрасте?

Ларчик открывается просто. О том, что Сталин вовсе не был «законным наследником» Ленина я прекрасно знал из разговоров взрослых. Помню, например, как наш сосед по коммуналке — старый большевик Иван Иванович Рощин рассказывал, что вблизи («вот как тебя») видел всех вождей — и Ленина, и Троцкого, и Каменева, и Зиновьева.

— А этого-то, нынешнего хозяина, сколько раз видел! — закончил он свой рассказ. И надо было слышать, сколько

пренебрежения было в этой реплике, чтобы почувствовать, какой мелюзгой в сравнении с теми, «настоящими вождями» был в его глазах этот «нынешний хозяин».

Вспомнил я все это, прочитав воспоминания актрисы Е. Тяпкиной о Николае Эрдмане. В 1925-м году Мейерхольд поставил первую эрдмановскую пьесу — «Мандат». (Тяпкина играла в ней Настю.) И вот однажды на репетиции произошел такой случай. Показывая матери и сестре свой фальшивый, им же самим состряпанный «мандат», ошалевший от собственной смелости Гулячкин (его играл Эраст Гарин) в экстазе выкрикивал:

— Копия сего послана товарищу Чичерину!

Реплика эта была эффектная — под занавес. (Ею заканчивалось второе действие комедии.) А в устах Гарина она прозвучала так, что Мейерхольд смутился. Он сказал:

— Товарищи, все-таки Чичерин такое лицо... Неудобно!.. Надо кого-нибудь помельче.

И предложил заменить Чичерина Сталиным.

В ЭТОЙ БАНДЕ...

Станислав (для всех нас — Стасик) Рассадин был самым молодым в нашей компании. Сейчас эта разница уже почти не заметна, а тогда она казалась огромной. С легкой руки Бори Балтера — самого старшего из нас — мы прозвали Стасика «Малолеткой». Он принял это прозвище с радостным хохотом: ирония, заключающаяся в нем, не подчеркивала, а скорее смягчала разницу в возрасте между ним и нами.

Разница эта, впрочем, его ничуть не тяготила. Он легко и быстро сходился «на ты» с людьми, годившимися ему в отцы. Познакомившись с Марком Галлаем, сразу стал — как и мы все — называть его не Марком Лазаревичем, а запросто — Марком. Слегка шокированный Марк попытался деликатно намекнуть ему на несообразность такого обращения, несколько раз подчеркнуто назвав его Станиславом Борисовичем. Но Стасик, не поняв намека, отреагировал легко и непринужденно:

— Ну что вы, Марк! Зовите меня просто «Стасик».

Но это все было позже. А на первых порах Стасик глядел на всех нас снизу вверх. Не потому, что мы были умнее или

образованнее, чем он, а лишь по той единственной причине, что только что минувшую легендарную эпоху все мы застали взрослыми людьми, а он тогда был еще ребенком. Рассказы наши о том, как оно там — тогда! — бывало, он слушал, раскрыв рот. Особенно, когда говорить начинал Эмка.

«Эмка» — это Наум Коржавин. Так называла его тогда вся литературная — да и не только литературная — Москва. Немудрено, что так же — сразу, как только я их познакомил, — стал его называть и Стасик. В отличие от Марка Галлая, Эмку это Стасиково амикошонство несколько не шокировало: он и сам не признавал никакой другой субординации, кроме субординации таланта. Ну а уж эту субординацию Стасик чувствовал прекрасно. Он обладал счастливым даром: умел влюбляться в талант. И в Эмку влюбился сразу. И на всю жизнь.

Но Эмка, помимо несомненной своей поэтической одаренности и яркой человеческой незаурядности, обладал еще одним качеством, отличавшим его от нас. Он гораздо раньше, чем все мы, понял природу сталинщины. Первые свои антисталинские стихи он сочинил еще в 43-м, когда ему только-только стукнуло 15, а в 53-м, когда «ус откинул хвост», в отличие от многих из нас, не терзался никакими сомнениями и загадками, а спокойно констатировал, что «к позору всех людей вождь умер собственной смертью».

Мудрено ли, что во всем, что касалось оценки самых разных обстоятельств только что завершившейся «сталинской эпохи», Эмка был для Стасика самым высшим, непререкаемым авторитетом. И его речам он внимал, разинув рот уже не метафорически, а — буквально.

И вот однажды мы втроем — Эмка, Стасик и я — решили пойти в ресторан.

Ресторан назывался — «Нарва». Это был заштатный, плохонький ресторанчик на Самотеке, рядом с «Литгазетой», где мы со Стасиком тогда работали. Когда отвратная еда литгазетовского буфета становилась нам совсем уж невмоготу, мы, бывало, захаживали пообедать в «Нарву». Так что посещение этого злачного места событием для нас не было. Хотя — как сказать! Ведь в этот раз мы решили пойти туда не для того, чтобы наскоро пообедать, а чтобы — **посидеть**. А такое в тогдашней нашей жизни случалось нечасто. Может

быть, именно поэтому у нас (во всяком случае — у меня) на-счет вечернего времяпрепровождения в ресторане (пусть даже таком затрапезном, как наша «Нарва») существовало множество предрассудков. Главным из них было убеждение, что под каждым ресторанным столиком находится звукозаписывающее устройство. (После смерти Сталина прошло уже семь лет, но души наши, заледеневшие в сталинской «полярной преисподней», только еще начинали оттаивать.)

Но Эмка был человек беспечный: ни тюрьма, ни ссылка ничему его не научили. Стасик был — несмышленыш-малолетка. Поэтому роль ответственного за политическую сторону предстоящего мероприятия взял на себя я.

— Только вот что, ребята, — сказал я. — Уж пожалуйста: чтобы никаких разговоров на политические темы. Вы меня поняли?

Друзья заверили меня, что да, конечно, поняли, и клятвенно пообещали, что никаких политических разговоров в ресторане вести не будут. Но это была, как выражаются герои Дюма, клятва игрока. Не успели мы выпить по первой рюмке, как разговор — я даже и не заметил, как это произошло, — соскользнул на убийство Кирова.

На эту скользкую тему говорить тогда уже не стеснялись: дело ведь происходило уже после знаменитого закрытого доклада Хрущева, где на причастность Сталина к роковому убийству было намекнуто довольно-таки прозрачно. Не стеснялись даже повторять пущенную кем-то и сразу ставшую популярной частушку:

Эх, огурчики, помидорчики!
Сталин Кирова убил в коридорчике.

Но — не в ресторане же!

Впрочем, сама тема эта — при всех моих страхах — даже и в ресторане не показалась мне особо опасной. Сталина нам как бы уже отдали, так что с ним можно было не церемониться. Но со Сталина разговор быстро перекинулся на второе действующее лицо давнишней драмы.

— А вот Киров? — спросил любознательный Стасик. — Говорят, он был хороший человек. Это правда?

Вопрос, понятное дело, был обращен к Эмке. А выражение

Эмкиного лица не оставляло ни малейших сомнений насчет того, каким будет его ответ.

— Да, это правда, — быстро перехватил я инициативу. — Он был очень хороший человек.

Но Эмка не склонен был считать тему эту исчерпанной.

— Как тебе сказать... — начал он.

— Эма! — глядя на него в упор, я металлическим голосом повторил: — Киров. Был. Очень. Хороший. Человек.

Такой реакции с моей стороны Эмка явно не ожидал. На лице его отразилась сложная гамма чувств: сперва недоумение, потом яростное желание ринуться в спор. Но тут ему, кажется, показалось, что он уловил тайный смысл моего загадочного высказывания.

— Да, конечно, — вдруг согласился он. — В этой банде...

ВЕЧНО ЖИВОЙ

Поначалу это была просто поэтическая метафора, доставшаяся нам от Маяковского («Ленин и теперь живет всех живых...», «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!»).

Но по мере того как культ Ленина окостеневал, обретая статус государственного и даже религиозного, формула эта постепенно обрастала чертами чуть ли не мистического (но в то же время и комического) свойства.

При обмене партийных документов партбилет № 1 неизменно выписывался на имя В.И. Ульянова (Ленина) — как если бы Ильич был жив и по-прежнему руководил партией и страной.

На каком-то приеме в Кремле Сталин однажды провозгласил тост:

— За здоровье Ленина.

Весельчаки утверждали, что такое вождь мог произнести только с большого бодуна. Более нахальные предполагали, что в основе этой несуразицы лежало недостаточно свободное владение русской разговорной речью.

Не исключено, однако, что этим не совсем обычным тостом самый верный ученик Ленина хотел лишний раз подчеркнуть, что его Великий Учитель — жив. И, надо признать,

нашел довольно яркую форму для того, чтобы как можно доходчивее донести до аудитории эту свою мысль.

В резонности такого предположения меня утвердил рассказ моего соседа Александра Григорьевича Зархи, присутствовавшего на том кремлевском приеме.

— Все уже немного подвыпили, расковались, расслабились, — рассказывал он. — Михоэлс, — он любил выпить, — засунул два пальца в рот, чтобы оглушительно свистнуть: он всегда, подвыпив, свистел в два пальца... И тут... — На лице рассказчика была в этот момент какая-то странная смесь ужаса и восторга. — И тут ОН встал...

Сталин поднялся с бокалом в руке, и все замерли в тех позах, в каких застигло их внезапное желание вождя произнести тост.

Тут Александр Григорьевич употребил профессиональное выражение: «Стоп кадр». И при этом с необычным артистизмом (режиссер все-таки) показал, в какой именно позе застыл каждый участник этой пантомимы: кто с поднятой ногой, кто с вилкой, поднесенной ко рту, а Михоэлс с засунутыми в рот для свиста двумя пальцами и застывшими, остекленелыми глазами.

Предложив выпить за здоровье Ленина, Сталин этой репликой не ограничился. В мертвой тишине он произнес довольно длинный тост, смысл которого состоял как раз в том, что Ленин и теперь живет всех живых, а «мы все» (это он повторил несколько раз, как бы постоянным рефреном): «Только тень от Ленина... Тень от Ленина...»

Будучи тоже только «тенью от Ленина», сам Сталин тоже получил (в отличие от Учителя — при жизни) статус вечно живого.

Был, например, такой случай.

Молодая ленинградская поэтесса сочинила (и опубликовала) стихотворение, в котором выражала уверенность, что товарищ Сталин безусловно доживет до того момента, когда на всей нашей планете образуется Всемирный Союз Советских Социалистических (или даже уже Коммунистических) Республик.

Беднягу вызвали в райком комсомола и спросили, как она себе это представляет? Что значит — «доживет»? А потом? После того как коммунизм победит во всем мире?

Не предполагает ли она, что потом (не сразу, конечно, но рано или поздно) товарищ Сталин все-таки умрет?

Поэтесса осторожно, взвешивая каждое слово, ответила, что идеи, выразителем которых является товарищ Сталин, конечно, бессмертны, и дело его жизни, конечно, тоже бессмертно. Но лично товарищ Сталин, как человек... мы ведь с вами материалисты, не так ли?.. Так вот, лично товарищ Сталин рано или поздно, увы, вынужден будет прекратить свое земное существование.

Был грандиозный скандал, в ходе которого поэтесса покаялась, признала свою грубую политическую ошибку и, если не ошибаюсь, отделалась всего лишь строгим выговором с занесением в личное дело.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ БЕССМЕРТИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Мой дружок Камил Икрамов (сын секретаря ЦК Узбекистана Акмаля Икрамова, расстрелянного вместе с Бухариным), юность которого прошла в сталинских лагерях, среди множества совершенно замечательных лагерных историй рассказал мне такую.

Всех, с кем ему привелось там отбывать свой безразмерный срок, судили за шпионаж. Вряд ли надо объяснять, что на самом деле шпионами они, конечно, не были.

Но случилось так, что среди этих мнимых шпионов оказался один настоящий. То ли румынский, то ли венгерский, то ли еще какой...

И вот этот настоящий шпион время от времени говорил:

— Вам-то хорошо. В 53-м году Сталин умрет, и всех вас выпустят на свободу. А мне — и дальше сидеть...

Мнимые шпионы над этой его постоянной присказкой только посмеивались.

— Да откуда ты взял, что Сталин умрет именно в 53-м году? — иногда все-таки спрашивал у него кто-нибудь из них. И тогда, пожимая плечами, он отвечал:

— Помилуйте, да ведь это же известно!

И объяснял, что в каком-то там — сейчас уже не помню, в каком именно, — году у Сталина был первый удар. В 49-м,

когда ему стукнуло 70, и его чествовали, а он не произнес в ответ на приветствия ни слова, — второй. (Потому и не произнес ни слова, что после перенесенного инсульта к нему еще не вернулся дар речи.) А в 53-м, во всяком случае не позднее 53-го, последует третий удар, которого он, конечно, не переживет. Там, у них, на Западе, это всем известно. Ну, может быть, не всем, но для него, профессионального разведчика, это никакой не секрет и никакая не тайна.

Не знаю, может быть, Камил все это и выдумал. Или это одна из тех лагерных баек, которыми тешили себя несчастные замордованные зеки.

А может быть, — чем черт не шутит! — там, у них, на Западе, в ихних шпионских кругах, и в самом деле давно уже рассчитали, что Сталин не переживет 53-го года.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕЧЬ СТАЛИНА

Самым высоким мгновением в жизни Сталина, вершиной его политической и военной славы был не Парад Победы, когда к его ногам кидали знамена разгромленных армий, корпусов и дивизий поверженного Третьего Рейха, а совсем другой, куда более скромный парад: 7-го ноября 1941-го.

В тот день он, как всегда, стоял на Мавзолее, приложив руку к козырьку фуражки. По Красной площади, по ее знаменитой брусчатке шли танки. Отсюда — прямо на фронт, который был тогда от Москвы совсем близко — рукой подать.

А перед тем как войска двинулись к линии фронта Сталин произнес свою историческую речь.

Тогда все его речи именовались историческими. Но эта речь действительно была исторической: в самом прямом и точном смысле этого слова.

Исторической, собственно, была даже не сама речь: историческим был этот миг, это роковое мгновенье, навеки сохранившееся для потомков в кадрах старой кинохроники.

Но вот кинохроника-то как раз и подвела.

Заметили это далеко не все. Но самые дотошные все-таки заметили. И выходя из залов кинотеатров, осторожно перешептывались. И просвещали не углядевших в той хронике одну ужасную несообразность.

Осень в том году была лютая. А в день парада — седьмого

ноября — стоял самый что ни на есть январский мороз. И у всех, кто был в тот день на Красной площади и произнес там хоть слово, — хоть одну какую-нибудь короткую команду, — изо рта шел пар.

А у Сталина, когда он произносил свою историческую речь, пар изо рта почему-то не шел.

Вывод тут мог быть только один: Сталина в тот день на Мавзолее не было и историческую свою речь он произносил не на Красной площади, а совсем в другом месте. В каком-то закрытом помещении.

Ничего поражающего воображение в таком предположении не было: мало ли было в нашей жизни подтасовок, фальсификаций, обманов? Одной фальшивкой больше, одной меньше — не всё ли равно!

Но жизнь, как известно, фантастичнее самых смелых фантазий, потому что человеческая фантазия боится выйти за границы правдоподобия, а жизнь плевать хотела на эти границы.

В том как раз и состоит фантастичность этой истории, что на самом деле Сталин в тот день на Красной площади был. И речь свою произносил действительно с Мавзолея.

А пар у него не шел изо рта совсем по другой причине.

То ли киноплёнка была бракованная, то ли камера была неисправна, но когда плёнку проявили, оказалось, что она — пуста. И надо же, чтобы такая накладка случилась именно у того кинооператора, который снимал Сталина.

Воображаю, как страшно было докладывать об этом случае САМОМУ. В том, что чьи-то головы тут полетят, сомнений быть не могло: головы летели и по более пустяковым поводам. Делать, однако, было нечего: доложили. И робко намекнули, что — ничего другого тут не придумаешь, — придется снять историческую речь еще раз, в специально выстроенном для этого случая павильоне.

И вот тут-то и произошло самое удивительное.

Не было никакой бури, никакой грозы. Не было даже произнесено сакраментальное слово «вредительство». Сталин спокойно выслушал сообщение дрожащих от ужаса холуёв и кротко согласился произнести свою речь перед камерой вторично. И — мало того! Никого не наказал.

Я ЖЕ НЕ НАРОЧНО!

В какой-то газете в передовой статье проскочила ужасная опечатка. В постоянно мелькавшем тогда словосочетании — «Мудрый Сталин» — выпала одна буква. Вышло: «Мудый Сталин».

Редактора, естественно, посадили. И дали ему десять лет.

То ли перед следователем, то ли перед судившей его тройкой он оправдывался:

— Поймите! Я же не нарочно!

— Конечно, не нарочно, — ответили ему. — Мы и не сомневаемся, что не нарочно. Если бы мы думали, что это вы нарочно, вас бы приговорили к расстрелу.

ОН МНЕ НЕ ПОНРАВИЛСЯ

Горький сказал Бабелю:

— Завтра у меня будет Сталин. Приходите. И постарайтесь ему понравиться. Вы хороший рассказчик... Расскажите что-нибудь... Я очень хочу, чтобы вы ему понравились. Это очень важно.

Бабель пришел.

Пили чай. Горький что-то говорил, Сталин молчал. Бабель тоже молчал. Тогда Горький осторожно кашлянул. Бабель намек понял и пустил первый пробный шар. Он сказал, что недавно был в Париже и виделся там с Шаляпиным. Увлекаясь все больше и больше, он заговорил о том, как Шаляпин тоскует вдаль от родины, как тяжело ему на чужбине, как тоскует он по России, как мечтает вернуться. Ему казалось, что он в ударе. Но Сталин не реагировал. Слышно было только, как звенит ложечка, которой он помешивал чай в своем стакане.

Наконец он заговорил.

— Вопрос о возвращении на родину народного артиста Шаляпина, — медленно сказал он, — будем решать не мы с вами, товарищ Бабель. Этот вопрос будет решать советский народ.

Поняв, что с первым рассказом он провалился, Бабель, выдержав небольшую паузу, решил зайти с другого боку. Стал рассказывать о Сибири, где был недавно. О том, как

поразила его суровая красота края. О величественных сибирских реках...

Ему казалось, что рассказывает он хорошо. Но Сталин и тут не проявил интереса. Все так же звякала ложечка, которой он помешивал свой чай. И — молчание.

Замолчал и Бабель.

— Реки Сибири, товарищ Бабель, — так же медленно, словно пробуя на вес свои чугунные слова, заговорил Сталин, — как известно, текут с юга на север. И потому никакого народнохозяйственного значения не имеют...

Эту историю — тогда же, по горячим следам события — рассказал одному моему знакомому сам Бабель. А закончил он свой рассказ так:

— Что вам сказать, мой дорогой. Я ему не понравился. Но гораздо хуже другое.

— ???

— Он мне не понравился.

ОДИН УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК...

Мне лет восемь. Мы с отцом выходим из вагона дачного поезда (паровичка, электричек тогда еще не было) на перрон московского вокзала. Рядом идет какой-то дядька, на которого я обратил внимание еще раньше, в вагоне. У него высокий лоб, большие роговые очки, за стеклами которых блещут умные, насмешливые глаза. Обратил я на него внимание, потому что он был очень похож на Ботвинника. Я сперва даже подумал: уж не сам ли это Ботвинник? Он тянул за руку мальчишку примерно моего возраста. Нет, наверно, все-таки мальчишка этот был чуть младше, чем я. Во всяком случае, вел он себя как дошкольник: поминутно озирался, считал ворон и плелся за отцом еле-еле, так что тому приходилось чуть ли не насильно тащить его за собой.

— А ну, поживее! — подбодрил сына «Ботвинник». — Не отставай! Знаешь, что сказал один умный человек? Отсталых бьют!

Реплика эта меня поразила.

Я, как и все мои сверстники, в свои восемь лет был, как это тогда называлось, политически развит и прекрасно знал, что сказал это — не кто иной, как Сталин. Изумило же меня

то, что этот лобастый дядька в очках назвал Сталина умным человеком.

Всем классом мы дружно смеялись над глупенькой нашей одноклассницей, которая на вопрос учителя, знает ли она, кто такой Сталин, простодушно ответила: «У буржуев — царь. А у нас — Сталин». В отличие от этой глупой девчонки, все мы прекрасно знали, кто такой Сталин. Вождь мирового пролетариата, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)... При желании я мог бы припомнить еще много таких определений, и ни одно из них не показалось бы мне незаслуженным, неправомерным. Но определение «умный человек» в приложении к Сталину я воспринял как совершенно неуместное, неправильное, никак к нему не относящееся.

Умным человеком можно было назвать вот этого, похожего на Ботвинника, высоколобого дядьку в очках. Конечно, и самого Ботвинника. (Не будь он умным, разве сумел бы он стать чемпионом СССР по шахматам?) Умным человеком, наверно, был и мой папа, и некоторые (не все, конечно) его друзья, приходившие иногда к нам в гости. Но Сталин? Нет, к нему это определение решительно не подходило.

Вероятно, определение «умный человек» в тогдашнем моем понимании этого слова могло быть отнесено к ученому, профессору, врачу, шахматисту. То есть — к интеллигенту. Сталин же в его сапогах и полувоенном кителе, о котором мой отец пренебрежительно говорил, что в нем пристало ходить в уборную, а не встречаться с иностранными дипломатами, к сословию интеллигентов явно не принадлежал.

Не последнюю роль для меня тут играло и еще одно обстоятельство. А именно — лоб. Низкий (особенно в сравнении с просторными лбами Маркса и Энгельса и «сократовским» лбом Ленина) сталинский лоб.

Соображение это было, конечно, совсем уже детское. Однако, как я потом узнал, оно пришло в голову не только мне, но и вполне взрослым и даже весьма ответственным людям.

Один старый газетчик, много лет проработавший в «Известиях» (начал — еще при Бухарине) рассказал мне, что в начале 30-х годов им (надо думать, не только известинцам, но и ответственным сотрудникам всех других газет) «сверху» было спущено специальное указание: публикуя ретушированные

сталинские портреты, увеличивать (поднимать) лоб вождя не менее, чем на два сантиметра.

НАМ ИЗВЕСТЕН ЭТОТ ФАКТ...

Эту историю Эренбургу рассказал Хрущев. (Рассказана она была к слову: речь шла о так называемой антипартийной группе. В частности, о том, какой коварный человек был Каганович.)

Каганович, который был тогда секретарем МК, уходя на повышение (в секретари ЦК) рекомендовал на прежнюю свою должность Хрущева, который до этого был секретарем Краснопресненского райкома. Вопрос был практически решен, оставалось только утвердить его на Политбюро.

Накануне заседания Политбюро Каганович провел с Хрущевым еще одну, последнюю беседу, и вот тут Никита ему признался, что в 1922-м году, дуриком, проголосовал за какую-то троцкистскую резолюцию.

Каганович сказал:

— Это ерунда. Дело давнее. Ты был тогда еще молодой партиец, неопытный, не разобрался. Хорошо, что ты мне об этом сказал, но больше никому не говори. И на Политбюро не вздумай про это брякнуть.

Перед самым заседанием Политбюро Хрущева принял Сталин. Хрущев ответил на все вопросы, которые тот ему задал, а под конец беседы (тоже — не пальцем деланный) все-таки рассказал про троцкистскую резолюцию, за которую когда-то сдуру проголосовал.

Сталин молча кивнул.

И вот — Политбюро. Каганович представляет своего подопечного. Аттестует его самым лучшим образом. Высоко оценивает его деловые и политические качества. А под конец вдруг говорит:

— Я должен сообщить членам Политбюро, что в 1922-м году товарищ Хрущев проголосовал за троцкистскую резолюцию. Был он тогда молодым коммунистом, у него еще не было достаточного политического опыта, и я бы лично этому факту особого значения не придавал. Однако я все-таки не могу не отметить, что товарищ Хрущев от нас этот факт утаил. И даже сейчас, здесь, перед членами Политбюро, он

не счел нужным сообщить об этом прискорбном факте своей политической биографии...

Сталин внимательно посмотрел на своего ближайшего друга и соратника и сказал:

— Нам известен этот факт.

ВЫ ДОВОЛЬНЫ?

Марк Осипович Рейзен был любимым певцом Сталина. Давным-давно Сталин услышал его в Ленинграде и перетащил в Москву, сделал солистом Большого театра.

Рейзен постоянно приглашался в Кремль, к Сталину, на домашние концерты. Происходило это так. Накануне концерта ему звонил Поскребышев и говорил:

— Марк Осипович, сегодня за вами заедут как обычно.

Но в сорок девятом году, когда развернулась кампания по борьбе с космополитами, директор Большого театра слегка перестарался: он уволил Рейзена. И когда раздался традиционный звонок Поскребышева, в ответ на сообщение, что за ним сегодня заедут как обычно, Марк Осипович сказал:

— Я сегодня не в голосе.

— Что такое? Что случилось? — изумился Поскребышев.

— Я больше не солист Большого театра, — сказал Рейзен.

Поскребышев бросил трубку. Через несколько минут он позвонил снова и сказал:

— Марк Осипович, сегодня за вами заедут чуть раньше, чем обычно.

Когда Рейзена ввели к Сталину, ему сперва показалось, что тот в комнате один. Но Сталин трубкой указал ему на человека, стоявшего у стены и белого как стена. Это был директор Большого театра. Обернувшись к нему и указывая трубкой на Рейзена, Сталин спросил:

— Кто это такой?

Улыбнувшись растерянной, жалкой улыбкой, тот ответил:

— Это Марк Осипович Рейзен.

Сталин покачал головой:

— Нэправильно.

Неторопливо прошелся по ковру в своих мягких сапожках, остановился перед директором и сказал:

— Это народный артист СССР, солист Государственного

академического Большого театра Союза ССР Марк Осипович Рейзен. Повтори.

Тот послушно повторил:

– Народный артист СССР, солист Государственного академического Большого театра Союза СССР Марк Осипович Рейзен.

Сталин сказал:

– Теперь правильно.

Снова прошелся по ковру, медленно раскуривая трубку. И снова остановился перед директором:

– А ты кто такой?

– Я... я директор Большого театра, – растерянно ответил тот.

Сталин покачал головой:

– Нэправильно. Ты – говно. Повтори.

Тот повторил:

– Я – говно.

– Теперь правильно, – констатировал Сталин. – А это кто такой? – взмах трубки в сторону Рейзена.

– Народный артист СССР, солист Государственного академического Большого театра Союза ССР Марк Осипович Рейзен, – отбарабанил директор.

– Правильно, – согласился Сталин. – А ты кто такой?

– Я – говно! – надеясь, что, может быть, тем дело и обойдется и потому повеселев, чуть ли не радостно сообщил тот.

– Правильно, – снова согласился Сталин. – А это кто такой?

И после соответствующего ответа – снова:

– А ты кто такой?.. Правильно... А он кто такой?.. Правильно...

И так – несколько раз.

Наконец, решив, что урок усвоен, он брезгливо указал директору трубкой на дверь:

– Иди.

Охренев от счастья, что так дешево отделался, тот, пятясь, удалился.

Сталин обернулся к Рейзену:

– Вы довольны?



«Первый новый царь»

Никита Хрущев



«Как провалилась
реформа»

*Мариэтта
Шагинян*

«Гиблое дело»

*посмертная фотография
Маяковского*



«Пластическая
операция»

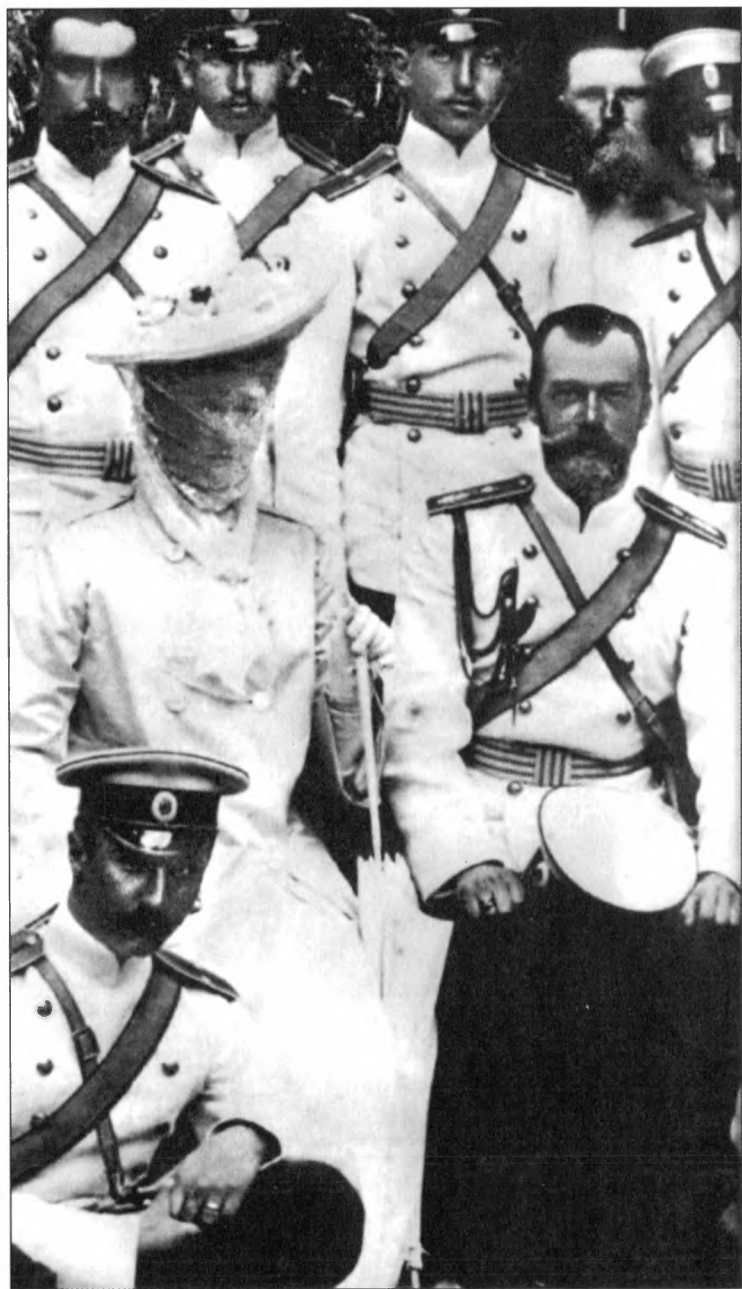
*Эдуард
Багрицкий*



«На каком языке
он поет?»

Александр Галич







И.В.СТАЛИН, ЕГО МАТЬ ЕКАТЕРИНА, СЫН ВАСИЛИЙ

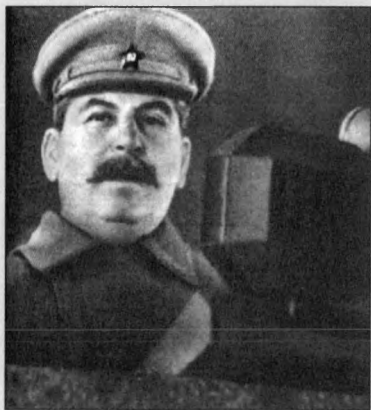
«Какие
прекрасные
лица!»





«С русского на русский»
Михаил Гаспаров

«Бронзовый
профиль
истории»
*Осип
Мандельштам*



«Историческая
речь Сталина»
*И.В. Сталин
на Мавзолее
7 ноября 1941 г.*



«Я хочу
платить»
*Борис
Балтер*



«А ты —
кацап!»

«Дело врачей
и крабовидная
туманность»

*Иосиф
Шкловский*



«Бойцы
были
в разных
весовых
категориях»





«Значит,
вы не писатели!»

*Илья
Эренбург*



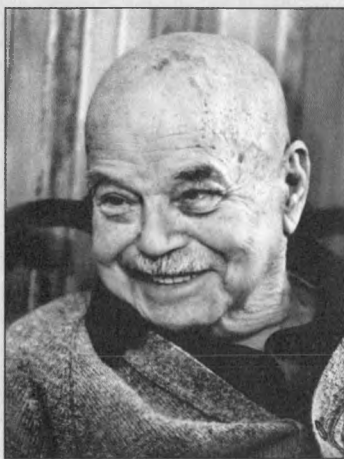
«Так не говорят
о великих
писателях»

*Лидия
Чуковская*



«После этого его уже ничем нельзя было удивить»

«Я от бабушки
ушел!»
*Виктор
Шкловский*





Думающая гильотина
Владимир Ленин

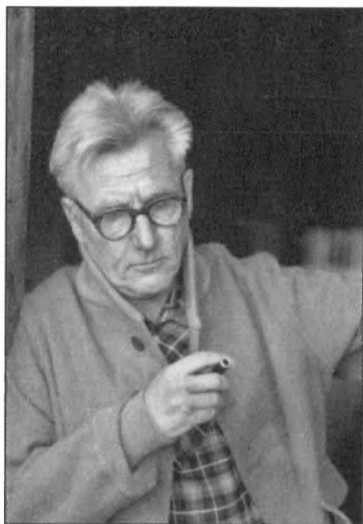


«Ах, что за славная земля
Вокруг залива Коктебля...»

Владлен Бахнов (справа) и Яков Костюковский



«Это мой лучший пропагандист...»

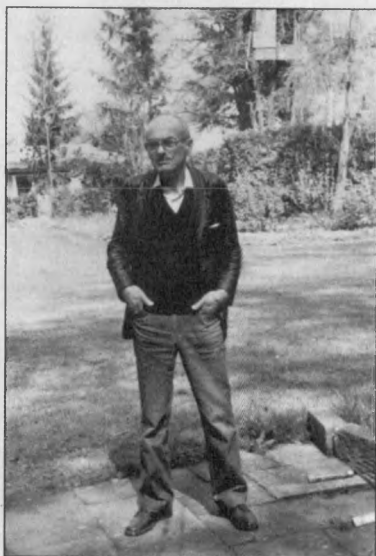


«Сколько лет,
сколько зим!»

*Сергей
Ермолинский*

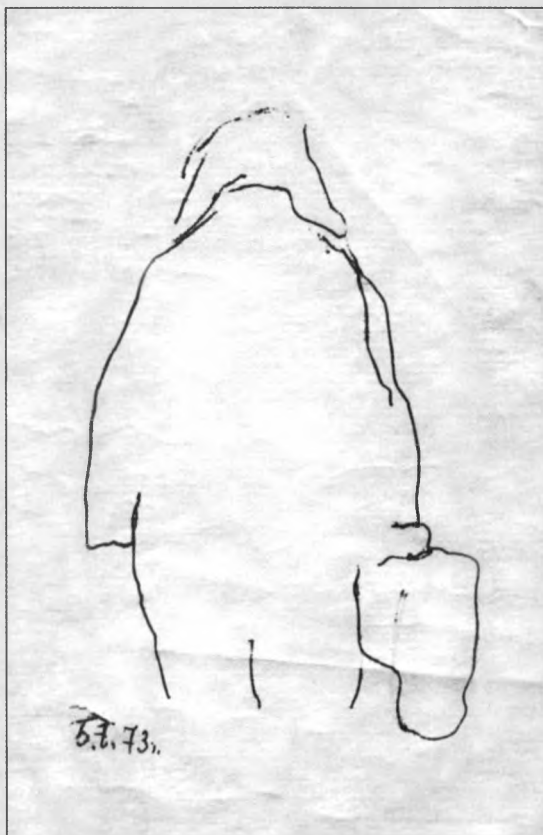
«Песни
надо писать!»

*Булат
Окуджава*





«Я ж коммунист!»
Владимир Войнович



«Откуда они вели свой репортаж»

Наум Коржавин

ПОЛОЖИ НА МЕСТО!

Члены Политбюро обсуждали план реконструкции Красной площади. Авторы плана — для наглядности — представили им искусно выполненный макет, каждая деталь которого свободно двигалась по столу и даже могла быть вовсе убрана. Кто-то подвинул лобное место. Кто-то — переставил памятник Минину и Пожарскому.

И вдруг Ворошилов взял двумя руками макет собора Василия Блаженного, снял его со стола и сказал:

— А что — если так?

Сталин сердито буркнул:

— Палажи на место!

И собор остался стоять на своем месте.

КЛИМ ВОРОШИЛОВ И БРАТИШКА БУДЕННЫЙ

А между тем в то время в нашей стране был самый настоящий культ Ворошилова. Он, конечно, не шел ни в какое сравнение с культом верховного вождя, но все-таки это был самый настоящий культ. Поэты слагали стихи («Климу Ворошилову письмо я написал...»), народ пел песни («С нами Ворошилов — первый красный офицер...»). В день рождения «первого маршала» хоры мальчигов и девочек торжественно возглашали:

Первому и старшему
Боевому маршалу
Мно-огая ле-ета!..

О городах, названных именем Ворошилова, не стоит даже и говорить, поскольку «свои» города были и у Молотова, и Куйбышева, и даже у гораздо более мелких вождей.

Было почетное звание и значок — «Ворошиловский стрелок».

Сталин был Богом. И как подобает Богу предпочитал держаться «за сценой». (Говорят, что еще на заре своей политической карьеры, занимая пост наркома по делам национальностей, он старался не показываться на глаза сотрудникам, сказав однажды по этому поводу: «Чем меньше будут видеть, тем больше будут бояться».)

А Ворошилов был постоянно на сцене. Что ни год появлялся на Красной площади, верхом на лошади, принимая парад, и это было своеобразным знаком прочности, стабильности всего нашего советского бытия. Другие «вожди» менялись, но Ворошилов оставался неизменным, незаменимым, незаменимым.

Была даже такая поговорка: «Все нормально, все в порядке – Ворошилов на лошадке».

Култ Буденного был не таким громким, как култ Ворошилова, но и ему тоже самые известные поэты страны посвящали свои стихи:

С неба полуденного
жара не подступи,
Конная Буденного
раскинулась в степи...

Никто пути пройденного
назад не отберет,
Конная Буденного
армия – вперед!

Была и знаменитая на всю страну песня:

Братишка наш Буденный –
С нами весь народ.
Приказ голов не вешать
И смотреть вперед.

С нами Ворошилов –
первый красный офицер.
Готовы мы кровь пролить
За Эс Эс Эр.

В ранний, романтический период советской власти это панибратство с вождями казалось естественным: никому и в голову не приходило, что есть некоторая несообразность в том, что все мы вот так вот запросто называем Ворошилова Климом, а Буденного – братишкой.

Со временем, по мере того как социальная структура первого в мире рабоче-крестьянского государства окостенела, командармы и комдивы становились генералами, а наркомы министрами, исчезли, ушли из употребления и все эти фамильярности. И примерно к середине 30-х «Клим»

уже окончательно превратился в «Климентия Ефремовича», а «братишка» — в «Семена Михайловича».

Но в начале 50-х эти старые клишированные формулы вдруг (ненадолго, в сущности, на один короткий миг) ожили в народной памяти и — возродились. Правда, уже не в прежнем своем, а в новом, откровенно ироническом звучании.

Случилось это в 1953-м, сразу после смерти Сталина.

Перепуганные новые властители, желая продемонстрировать народу, что жестокая сталинская диктатура кончилась и наступили новые, либеральные времена, объявили неслыханную по своим масштабам амнистию. На свободу вышло не меньше миллиона зеков. До пересмотра дел осужденных по политическим статьям было еще далеко: по амнистии отпускали только тех, кто сидел за разные мелкие хозяйственные преступления. Ну и, конечно, — воров, которые, выйдя на свободу, с удвоенной энергией вернулись к своим профессиональным занятиям, что, естественно, вызвало недовольство и даже ропот законопослушных граждан.

Инициатором этой акции был Лаврентий Берия, и инициатива эта позже (в июле того же года), как и многие другие его инициативы, тоже была поставлена ему в вину. Но указ об амнистии подписал К.Е. Ворошилов, бывший тогда Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Поэтому все «лавры» на тот момент достались ему.

Вот так и родилась эта ёрническая, глумливая песня, поющая как бы от лица амнистированных воров в законе. А может быть, — кто его знает? — и в самом деле сочиненная кем-нибудь из них:

Рано утром проснешься
И раскроешь газетку —
На передней странице
Золотые слова:

Это Клим Ворошилов
Даровал нам свободу,
И опять на свободе
Будем мы воровать.

Рано утром проснешься —
На поверку построят.

Вызывают по ФИО*
И выходишь вперед.
Это Клим Ворошилов
И братишка Буденный
Нам даруют свободу,
И их любит народ.

ОН НЕПЛОХО ПОЕТ...

Кажется, это было на закрытии декады таджикского искусства. В Кремле был большой банкет. А после банкета — не для всех, только для избранных, — показывали кино.

Часть столов с початыми и непочатыми бутылками и недоеденными блюдами была составлена к стене. Вокруг них хлопотала прислуга. В одном конце зала в ожидании, когда их пригласят в кинозал, стояли гости. В другом — члены Политбюро. А между ними — пустое пространство.

Вдруг от толпы гостей отделился один человек. Он пересек пустое пространство, отделявшее его от группы «вождей» и напрямик направился к Сталину. Это был Корнейчук.

Подойдя вплотную к вождю, Корнейчук что-то ему сказал. Тот — коротко ответил.

Как впоследствии выяснилось, диалог был такой.

— Товарищ Сталин, — сказал Корнейчук. — В сегодняшнем номере газеты «Правда» я прочел, что вы с вашими соратниками вчера были в Малом театре. В тот день шла моя пьеса «В степях Украины». Мне бы хотелось узнать ваше мнение о ней.

Сталин поморщился (он не любил фамильярности) и сказал:

— Вы плохо пишете, Корнейчук. Вы пишете одноднэвки.

Услыхав этот ответ, Корнейчук понял, что для него все кончено. Он отошел к столу, на котором стояли остатки выпивки и закуски, налил себе стакан водки. Выпил. Налил второй...

Далее он действовал по принципу — «все равно в этом доме не бывать». Хлопнул второй стакан и громко, на весь зал стал спивать малороссийские песни: «Дывлюсь я на нэбо...»

* *ФИО* — фамилия, имя, отчество.

Или — «Променяв вин жинку на тютюн на люльку...» Что-то в этом роде.

Председатель Комитета по делам искусств Храпченко, желая снискать одобрения вождя, с возмущением воскликнул:

— Безобразие! Как он себя ведет!

— Почему? — сказал Сталин. — Он совсем неплохо поет. А иногда и неплохо пишет. А ты... — он повернулся к Храпченко, — и нэ поешь, и нэ пишешь...

ПОТАНЦЕВАЛИ БЫ!

На каком-то большом кремлевском приеме Сталин, проходя мимо двух сановников, стоящих в центре зала и мирно о чем-то беседующих, кинул им какую-то реплику. И тут все с ужасом увидели, как один из этих двух немолодых и даже довольно грузных мужчин (это был председатель Комитета по делам искусств Храпченко) обнял другого (а это был министр высшего образования Кафтанов) за талию, и они медленно закружились в вальсе.

Как потом выяснилось, проходя мимо них, Сталин сказал: — Все о дэлах, о дэлах... Потанцевали бы!

ПРАВИЛЬНО РЕШИЛИ

В конце 40-х, начале 50-х в Советском Союзе делалось очень мало фильмов: пять-шесть в год. И каждый новый фильм непременно показывали Сталину. Ни одна картина не могла выйти к зрителю без его личного разрешения.

Но для одного фильма было сделано исключение.

Это был биографический фильм о Жуковском — не о Василии Андреевиче — поэте, а о Николае Егоровиче — отце русской авиации.

Фильм делался в спешном порядке: надо было поспеть к юбилею Николая Егоровича. Но с выпуском его на экран произошла заминка: Сталина в то время в Москве не было, он отдыхал на своей даче возле Сочи — на озере Рица.

Члены Политбюро, посмотрев фильм, никаких идейных промахов в нем вроде не нашли, но выпустить его на экран без личного указания товарища Сталина все-таки не решались.

Делать, однако, было нечего, поскольку дорого яичко к Христову дню: юбилей ведь не отложишь. И в конце концов Молотов отважился дать добро. Фильм вышел на экраны.

А когда вернулся Сталин, фильм показали членам Политбюро снова, уже в присутствии вождя.

Когда просмотр кончился и в зале зажегся свет, Сталин спросил:

— Фильм, кажется, уже вышел на экран?

— Да, товарищ Сталин. Ведь мы торопились, к юбилею. А вы... А вас... — начал объяснять министр кинематографии.

— Кто принял решение? — прервал его Сталин.

Большаков посмотрел на Молотова и понял, что если он сейчас его назовет, второй человек в государстве навсегда станет его злейшим врагом.

— Мы тут подумали... посоветовались... — начал он.

— С кем посоветовались? — спросил Сталин.

Побледнев, Большаков сказал:

— Сами... Между собой...

Сталин кивнул. Медленно прошелся по залу.

— Значит, так, — после долгого гнетущего молчания подвел он итог. — Сами подумали, сами посоветовались... И сами решили?

Все испуганно молчали.

Медленно пройдясь еще раз по залу, Сталин задумчиво повторил:

— Сами подумали, сами посоветовались и сами решили...

В голосе вождя слышалась горечь: «Без меня, стало быть, решили. Можете, значит, уже обходиться и без меня. Ну-ну...»

Покачал головой, вздохнул. Пошел к выходу. Остановился. Поглядел на соратников. И вновь горько повторил:

— Сами подумали... Сами посоветовались... И сами решили...

Подойдя к двери, он постоял еще некоторое время ссутулившись: одинокий, никому не нужный, всеми забытый старик.

Все сидели ни живы, ни мертвы.

— Ну что ж, правильно решили, товарищи, — неожиданно заключил он. И вышел.

...МЕНЯ БОИШЬСЯ!

На всех съездах и конференциях борцов за мир, среди артистов, писателей, ученых и прочих представителей борющейся с поджигателями войны советской духовной элиты непременно мелькали два-три митрополита в рясах и высоких клобуках. Высшие иерархи русской православной церкви еще во время войны были извлечены на свет и причислены Сталиным к сонму «советской общественности». В «борьбе за мир» они сновагодились. Вид какого-нибудь такого митрополита, сидящего в президиуме очередного съезда, придавал мероприятию не только необходимую в таких случаях декоративность, но и служил как бы подтверждением широты и беспартийности развернувшегося всенародного движения.

И вот на одном таком съезде сидящий в президиуме митрополит передал председательствующему — Николаю Тихонову — записку, в которой уведомлял, что он, такой-то, учился некогда с товарищем Сталиным в духовной семинарии. И выражал робкую надежду, что, быть может, вождю будет интересно с ним встретиться.

Тихонов сильно в этом сомневался, но на всякий случай доложил. И Сталин отреагировал благосклонно. Встреча была назначена. И тут для митрополита настала пора мучительных колебаний: в каком виде предстать пред светлые очи вождя? В обыкновенном цивильном платье? Но это значило бы — унизить свой сан. В рясе и клобуке? В Кремль, к главному идеологу атеистического государства, корифею и признанному основоположнику безбожного коммунистического учения? Тоже вроде как не совсем удобно. Это может быть истолковано как некий вызов — демонстрация нелояльности.

Промаявшись в этих сомнениях долгую бессонную ночь, митрополит решил все-таки идти на встречу с бывшим соучеником в штатском.

И вот, трепеща, он входит в кремлевский кабинет вождя. Тот поднимается ему навстречу.

Оглядев гостя, Сталин понимающе усмехнулся и, ткнув указательным пальцем в потолок, удовлетворенно произнес:

— Его не боишься? Меня боишься!

ТРЕПЕЩЕШЬ?

Во время войны на экранах наших кинотеатров с огромным успехом шел американский фильм «Три мушкетера».

Фильм был пародийный. Все подвиги, о которых рассказывалось в знаменитом романе Дюма, в фильме совершали не любимые нами д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис, а какие-то, невеста откуда взявшиеся повара. Это слегка разочаровывало. Но фильм был так обаятелен, что мы довольно легко с этим примирились. И совсем не последнюю роль тут сыграла совершенно прелестная музыка. Особенно проходящая лейтмотивом через весь фильм главная его песенка. Мы сразу подхватили её и, словно в каком-то опьянении, напевали:

Вар-вар-вар-вар-вара!

Тара-рам-там-там, Париж...

Понятным в этой языковой каше нам было только одно слово: Париж. Но никого это не смущало. Я думаю, что не преувеличу, если скажу, что эту легкую, задорную, заразительную песенку тогда распевала вся страна.

Но мало кто знал, что музыку к американским «Трем мушкетерам», в том числе и чарующую эту мелодию сочинил Аркадий Покрасс — родной брат популярных советских композиторов «Братьев Покрасс» — Дмитрия и Даниила.

Такая вот была семейка: два брата — наши, советские, а один — американец.

Старшего из советских Покрассов, Дмитрия, очень любил Буденный — ведь это именно он сочинил знаменитую «Конную Буденного»:

С неба полудённого
жара не подступи.
Конная Будённого
раскинулась в степи.

Не сынки у маменек
в помещицьем дому, —
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму...

Собственно, считалось, что песню эту братья написали вдвоем. Но главной фигурой в этом братском содружестве

был Дмитрий, и именно с ним Буденный любил иногда коротать свои вечера.

И вот однажды — в один из таких вечеров — раздался телефонный звонок.

Звонил Сталин.

Спросил: что делаешь? Буденный ответил: да вот сидим тут, выпиваем, беседуем...

Покрасс, естественно, вопросов Сталина не слышал. Он слышал только ответы Буденного: «Покрасс... Да... Хорошо... Сейчас приедем...»

Положив трубку, Буденный объяснил:

— Зовет... Отдохнем, говорит... Американский фильм посмотрим. «Три мушкетера». Спросил: кто там у тебя? Я сказал, что ты. Он говорит: очень хорошо, бери его с собой... Вставай, поехали!

Отказаться от такого приглашения, понятное дело, было невозможно.

Всю дорогу Покрасс терзался вопросом: будет или не будет в титрах фильма фамилия его брата? И если будет, заметит ее Сталин или не заметит?

Фамилия в титрах была. Но никто из собравшихся ничего по этому поводу не сказал. Неужели не заметил? — терзался Покрасс.

Никакого удовольствия от фильма он, конечно, не получил. Все, что происходило на экране, было для него — как в тумане. Его лихорадило. То его прошибал холодный пот: «Знает! Наверняка знает». То верх брала надежда: чем чёрт не шутит, а может, и пронесет!

И вот фильм кончился. Зажегся свет.

Поняв, что вождю фильм понравился, его стали хвалить. Посыпались осторожные одобрительные реплики. Кто-то сказал:

— А какая музыка хорошая!

Покрасс сидел ни жив ни мертв: ему показалось, что при этих словах вождь как-то особенно внимательно, со значением поглядел на него.

Показалось?

Да нет, не показалось.

Проходя мимо композитора, Сталин положил руку ему на плечо, улыбнулся и сказал:

— Трэпэщешь?

ВОЖДЬ ЗАБАВЛЯЕТСЯ

Однажды во время очередного фадеевского запоя генеральный секретарь Союза писателей зачем-то вдруг срочно понадобился Сталину. Вождю доложили, что Фадеева нигде не могут найти.

Когда встреча наконец состоялась, Сталин спросил:

— А где это вы пропадали, товарищ Фадеев?

Фадеев ответил со всей большевистской откровенностью:

— Был в запое, товарищ Сталин.

— И сколько дней длится у вас обычно такой запой? — любопытствовал вождь.

— Дней десять-двенадцать, — честно ответил Фадеев.

— А вы не могли бы, — сказал Сталин, — как коммунист проводить это мероприятие в более сжатые сроки? Стараясь уложиться, скажем, дня в три-четыре?

НАРОД ВАС НЕ ПОЙМЁТ

Высказывая Фадееву свои критические замечания по поводу его романа «Молодая гвардия», Сталин сказал:

— У вас, товарищ Фадеев, слишком длинные фразы. Народ вас не поймет. Вы учитесь писать, как мы пишем указы. Мы десять раз думаем над тем, как составить короткую фразу. А у вас по десять придаточных предложений в одной фразе.

Обескураженный Фадеев пытался возражать и сослался при этом на Толстого, у которого тоже были фразы с придаточными предложениями.

— Мы, — ответил на это Сталин, — для вас пантеон еще не построили, товарищ Фадеев. Подождите, пока народ построит вам пантеон, тогда и собирайте туда все ваши придаточные предложения.

ПУСТЬ ПОЁТ ТО, ЧТО САМ ЖЕЛАЕТ!

На концерте в Кремле пел Иван Семенович Козловский. Некоторые члены Политбюро стали просить его исполнить на бис какую-то народную песню.

Сталин сказал:

— Не надо давить на товарища Козловского. Пусть товарищ Козловский исполнит то, что сам желает. А желает он исполнить арию Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Все засмеялись. И Козловский тоже смеялся вместе со всеми. И спел арию Ленского.

КТО БЫЛ СОЗДАТЕЛЕМ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ

Эту историю рассказывал зять Буденного.

Вызвал однажды Сталин Семена Михайловича и говорит:

— Как ты ко мне относишься?

— Как отношусь? Очень хорошо отношусь. С любовью отношусь.

— Нет, Семен. Ты плохо ко мне относишься. Даже фотографию свою мне не подарил. Всем даришь, а мне не подарил.

Достал фотографию.

Вот, надпиши.

Буденный задумался: что писать?

— Я сам тебе продиктую. Пиши.

И продиктовал:

— «Дорогому Иосифу Виссарионовичу Сталину, создателю Первой Конной армии».

Буденный написал, расписался, вручил.

Сталин:

— А теперь я тебе свою фотографию подарю.

Достал фотографию и надписал:

«Дорогому Семену Михайловичу Буденному, подлинному создателю Первой Конной армии».

ЛЮБИМАЯ ЗАБАВА ВОЖДЯ

Рассказов на эту тему было множество. Но это все были — легенды, байки так сказать, интеллигентский фольклор. А вот — история подлинная. Подлинная потому, что рассказавшая ее Лидия Либединская слышала ее от непосредственного участника (я бы даже сказал — жертвы) любимого развлечения вождя.

А история была такая.

После постановления ЦК о ликвидации РАППа, в апреле 1932 года, в этой ликвидированной организации произошел внутренний раскол. Одни выступили в поддержку постановления – среди них были Фадеев и Либединский, другие были не согласны с постановлением, и, может быть, главным из них был Леопольд Авербах. До этих пор Фадеева, Либединского и Авербаха связывала тесная дружба. Однако споры и разногласия зашли так далеко, что, желая оставаться до конца принципиальными, Фадеев и Либединский решили порвать с Авербахом личные отношения... И порвали. Весть о разрыве дошла до Горького, последнее время благоволившего к Авербаху, и вызвала его недовольство, а через Горького и до Ягоды...

В один из выходных дней Фадеев получил приглашение на дачу к Ягоде, находившуюся неподалеку от станции Внуково по Киевской железной дороге. Фадеев сначала долго отказывался, но за ним была прислана машина, и пришлось ехать. Ему дали понять, что, возможно, на даче будет товарищ Сталин. И действительно, приехав на дачу, Фадеев увидел Сталина. С Фадеевым он даже не поздоровался. Сталин смотрел молча, чуть усмехаясь в усы. И когда собравшихся уже пригласили к столу, Сталин подошел к Фадееву и вдруг сказал:

– Ну зачем же ссориться старым друзьям, Фадеев? Надо мириться...

Авербах стоял напротив (дело происходило на садовой дорожке), возле него – Ягода.

– А ну, протяните друг другу руки, – сказал Сталин и стал подталкивать Фадеева к Авербаху. Ягода поддержал его:

– Помиритесь, друзья! – и легонько подтолкнул Авербаха.

Фадеев стоял молча. Опустив руки, но Авербах шагнул к нему, протянув руку.

– Пожмите руки! – уже твердо проговорил Сталин, и рукопожатие состоялось. – А теперь поцелуйтесь, ну-ну, поцелуйтесь, – настаивал Сталин.

Они поцеловались. И тогда Сталин, махнув рукой, брезгливо проговорил:

– Слабый ты человек, Фадеев...

Повторяю: история эта подлинная. И не только потому, что Лидия Либединская, записавшая ее и включившая в свою книгу («Зеленая лампа» и многое другое. М., 2000, с. 326–327), слышала ее от самого Фадеева, а потому, что слышала она ее от него не однажды. И потому запомнила в точности. От слова до слова.

КАКАЯ ДЛИНА ШАГА У ТОВАРИЩА СТАЛИНА?

Проектировали строительство какого-то гигантского химкомбината. Когда проект был готов, его показали Сталину: он должен был его утвердить.

Проект был утвержден. Оставалось только окончательно определить место, где комбинат должны были строить.

Предложений было несколько, но все они сводились к тому, что разворачивать строительство надо на Волге.

Сталин сидел на стуле, а у ног его расстелили географическую карту.

Выслушав доклад, Сталин выбросил вперед левую ногу и сказал:

— Туда.

Обсуждение на этом закончилось: больше вождь не произнес ни единого слова.

Общий смысл его указания был ясен: строительство комбината следовало перенести дальше — на восток. Но куда именно? На какое расстояние от первоначально намечавшегося места?

Задать этот вопрос Сталину никто не осмелился: он не любил лишних вопросов. И тогда, посоветовавшись, руководители проекта приняли такое решение: осторожно, каким-нибудь окольным путем выяснить (у Поскребышева, Власика или еще кого-нибудь из приближенных вождя), какая длина шага у товарища Сталина.

Получив искомый ответ, они определили (приблизительно, конечно) новое местоположение проектируемого объекта. И только после этого осмелились представить свои уточненные предложения Хозяину.

КАК ИСТОРИЯ ПОБЕДИЛА ГЕОГРАФИЮ

Один знающий человек уверял меня, что раньше, до революции, и даже не до революции, а что-нибудь до начала, а может, и середины 30-х годов, Полярный круг обозначался на картах на четыре километра севернее.

Изменить же географию понадобилось потому, что товарищ Сталин, как известно, отбывал ссылку в Туруханском

крае. А этот самый Туруханский край до Полярного круга слегка не дотягивал — как раз вот на эти самые несчастные четыре километра. И когда на весь белый свет было объявлено, что наш великий вождь отбывал ссылку за Полярным кругом, этот самый Полярный круг и пришлось передвинуть.

Для такого дела четыре километра — пустышки. География от этого не пострадала, а если и пострадала, так самую малость. А История, как вы понимаете, — сильно выиграла.

«МЫ С ТОБОЙ ГИМАЛАИ»

Были времена, когда Сталин с Бухариным были на равных. Сталин даже предлагал ему что-то вроде дуумвирата («Ведь они все — ничтожества, а мы с тобой — Гималаи!»). Но были в их прошлом и другие эпизоды.

Однажды, например, на какой-то встрече с периферийными партийными и комсомольскими вожаками (кажется, это было на даче Горького) молодые партийцы попросили «товарища Сталина», чтобы он рассказал им о Ленине. И тут Николай Иванович (может быть, в легком подпитии) больно защебил двумя пальцами сталинский нос, потянул и сказал: «Ну, давай-давай, соври им что-нибудь про Ленина!» Памятливый Коба эту его выходку, конечно, не забыл.

ДЫХАНИЕ ЧЕЙН-СТОКСА

Был у меня такой знакомый — Юра Гастев.

Когда меня с ним познакомили, я сразу подумал, что это, наверно, «сын Гастева». Так оно и оказалось.

Отец Юры был — «тот самый Гастев», Алексей Капитонович, известный в 20-е годы поэт, основатель «Центрального Института Труда», ученый, уже тогда предвосхитивший некоторые идеи, на основе которых позже возникла новая наука — кибернетика. В 1938 году он был арестован и сгинул в сталинских лагерях.

Но когда я спросил у приятеля, познакомившего нас, правда ли, что Юра — сын «того самого Гастева», тот обиженно возразил, что правильнее было бы говорить, что Алексей Капитонович — это отец «того самого Гастева», то есть Юры.

Юра и в самом деле был человек, быть может, не менее замечательный, чем его знаменитый отец.

Я знал его мало — видел, наверно, всего два или три раза в жизни. Но в один из этих разов он показал мне только что вышедшую свою книжечку, вокруг которой — сразу по ее выходе в свет — разгорелся крупный скандал.

Книжка была специальная. Вообще-то это была его диссертация. В жизни своей Юра занимался разными вещами: математикой, философией, участвовал в выпуске правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий», из-за чего в конце концов вынужден был эмигрировать (закончил он свои дни в Америке, в городе Бостоне), и даже писал совсем недурные стихи. Но диссертацию свою он защитил на сугубо специальную тему (то ли по математике, то ли по математической логике), и понять ее я, разумеется, был не в состоянии.

Показывая ее мне, Юра, конечно, и не предполагал, что она может меня заинтересовать сама по себе.

А о скандале я уже слышал: среди тех, кого автор благодарил за помощь, оказанную ему в его работе, был назван его коллега Есенин-Вольпин, упоминать которого в то время можно было только поливая его бранью и отмежевываясь от его крамольных идей.

Когда Юра показал мне оборот титульного листа с перечнем фамилий, в числе которых была и фамилия опального коллеги, я сказал, что да, мол, уже слышал про это. Но он, не отнимая книгу от моих глаз, ткнул пальцем в другую, следующую строчку, слегка отстоящую от общего списка:

Особую благодарность автор выражает профессорам У.Х. Чейну и Л.А. Стоксу, без помощи которых эта книга никогда бы не увидела свет.

Я, конечно, сразу сообразил, кто такие У.Х. Чейн и Л.А. Стокс (за точность инициалов не ручаюсь) и чем был обязан им автор. Но оказалось, что за этими строчками не только намек на всем нам хорошо известные обстоятельства, но — целая история, которую он тотчас же нам рассказал.

5-е марта 1953 года Юра встретил, кажется, уже на воле: свой срок в сталинском лагере он к тому времени уже отсидел.

Не могу сказать точно, не знаю, попал он туда как ЧСИР — член семьи изменника родины — или пришили ему какую-то свою, отдельную статью. Но это, наверно, особой роли не

играло, как и срок, который ему намотали, поскольку все зеки, сидящие по политическим статьям, знали, что и после окончания срока их все равно на волю не выпустят, а если и выпустят, то скоро опять возьмут, повторно. Так что даже оказавшись — по счастливой случайности — на воле, Юра не переставал чувствовать себя лагерником.

Итак, 5-е марта 1953 года: как гром среди ясного неба грянуло известие о болезни вождя. А затем — бюллетени, где мелькали малопонятные, а то и вовсе непонятные простому человеку слова и выражения: «поражение стволовой части мозга», «кислородная недостаточность», «больной находится в стопорозном состоянии»... И среди них — самое непонятное из непонятных: «Дыхание Чейн-Стокса».

С тревогой и надеждой вслушивались тогда в эти передававшиеся по радио бюллетени миллионы людей.

С тревогой и надеждой вслушивались в них и зеки.

Но у них и тревога была другая (неужели выживет?), и надежда тоже — своя (а может, все-таки подохнет?).

Юрины друзья-солагерники не в силах были томиться этой неизвестностью. Но отыскался среди них какой-то зек с медицинским образованием — может быть, даже, профессор, — и подступились они к нему с расспросами. И кто-то из них спросил:

— А дыхание чейн-стокса, — это что значит?

— А дыхание чейн-стокса, — усмехнувшись, ответил «профессор», — это, братцы мои, значит — полный пи---ц.

ПЛАКАТЬ, НО НЕ СЛИШКОМ

Эту историю я слышал от Володи Лакшина. А он ее — от Твардовского.

Когда Сталин умер, всех, как тогда говорили, ведущих писателей собрали в Колонном зале, за сценой. Первым секретарем правления Союза писателей был тогда Алексей Сурков. Он то появлялся в этой комнате, то исчезал — уезжал в ЦК за руководящими указаниями. И вот, вернувшись в очередной раз, объявил:

— Внимание, товарищи! Я только что оттуда! — он показал пальцем в потолок.

Все, разумеется, сразу поняли, откуда — оттуда. И поняли, что на сей раз он наконец имеет сообщить нечто важное. Так оно и было.

В мгновенно наступившей тишине Сурков объявил:
— Сказали: плакать, но не слишком.

ДРУЖЕСКИЙ УЖИН

Эту историю рассказал известный наш физик Евгений Львович Фейнберг. А он услышал ее от своего коллеги — Юрия Борисовича Румера.

Рум, как звали его друзья (такие сокращенные имена-прозвища были приняты в окружении Ландау: Румер — Рум, Померанчук — Чук, а самого Ландау друзья, а потом и ученики всю жизнь звали — Дау), — так вот, этот самый Рум 28 апреля 1938 года — в один день с Ландау — был арестован. Но, в отличие от Ландау, который провел на Лубянке чуть больше года, а потом был отпущен под личную ответственность П. Капицы, он полностью отбыл всю свою «десятку». Правда, не в лагере, а в авиационной «шарашке» — тюремном конструкторском бюро, которое возглавлял знаменитый Туполев. Был там и Сергей Павлович Королев, которого Туполев вытащил с Колымы, где тот загибался на «общих работах».

Вот в этой самой шарашке всё и произошло.

В один прекрасный день верховный куратор тюремного КБ Лаврентий Берия устроил для них для всех «дружеский ужин». Вел себя как добродушный и хлебосольный хозяин, сам обносил «гостей» блюдом с пирожками.

А в числе «гостей», помимо наших, отечественных звезд, был известный итальянский авиаконструктор Бартини. Аристократ — то ли барон, то ли граф, то ли маркиз, — он приехал в Советский Союз, чтобы помочь молодой Республике Советов наращивать ее авиационную мощь. Ну и тут его, конечно, подхватили наши славные органы и отправили в шарашку. (Зачем тратить на «красного барона» драгоценную свободно конвертируемую валюту, если можно заставить его работать за миску баланды.)

Разомлев в атмосфере этого «дружеского ужина», Бартини

вдруг встал и, обратившись к гостеприимному хозяину пира, сказал:

– Лаврентий Павлович! Вот мы сейчас все тут вместе так хорошо, дружески сидим, беседуем... Я хочу вам сказать – клянусь, совершенно искренно, не кривя душой... Я ведь ни в чем не виноват!

Лаврентий Павлович, добродушно похлопав его по плечу, ответил:

– Конечно, дорогой! Конечно, не виноват. Был бы виноват, мы бы тебя расстреляли.

И в приступе отчаянного великодушия добавил:

– Работай, дорогой! Как только самолет в воздух, ты – на свободу!

АНТОКОЛЬСКИЙ, ВСТАТЬ!

В Баку на какое-то местное литературное мероприятие приехала делегация писателей из Москвы. Был банкет. И во время этого банкета Мир-Джафар Багиров (тогдашний азербайджанский сатрап, человек страшный, говорили даже, что он страшнее, чем его выкормыш Лаврентий Берия) вдруг – ни с того ни с сего – обратил свой неблагосклонный взор на Самеда Вургуна.

Он погрозил ему пальцем и прорычал:

– Смотри, Самед!..

И долго еще нес в адрес растерявшегося Самеда что-то угрожающее.

За этим его рычанием слышалась такая лютая злоба и такая неприкрытая угроза, что все присутствующие, особенно москвичи, почувствовали себя неловко. А Павел Григорьевич Антокольский даже не выдержал и вмешался.

– Товарищ Багиров, – сказал он. – Почему вы так разговариваете с Самедом? Мы все высоко ценим этого замечательного поэта, и мы...

Багиров обратил на Антокольского свой мутный взор и, склонившись к кому-то из своих топтунов-шаркунов, спросил, кто это такой. Ему объяснили. Тогда, повернувшись к Павлу Григорьевичу, он негромко скомандовал:

– Антокольский. Встать.

Антокольский встал.

Багиров сказал:

— Сесть.

Антокольский сел.

Вопрос был исчерпан. Банкет продолжался.

ИЗ ДНЕВНИКА К.И. ЧУКОВСКОГО

22 апреля 1936

Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти. Сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы», — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!»

Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью.

ПОЛОВИНА — НЕГОЖЕ

Из письма Б.Л. Пастернака И.В. Сталину:

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас... Но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство

горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.

И еще тяжелое чувство. Я сперва написал Вам по-своему, с отступлениями и многословно, повинуюсь чему-то тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привлекает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое...

Горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском... Теперь, после того как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.

Именем этой таинственности
горячо Вас любящий и преданный Вам

Б. Пастернак.

Из писем Б.Л. Пастернака А.С. Щербакову

...Пример отца и его близость со старой Москвой и большими суровыми людьми вроде Льва Толстого с детства повелительно и непобедимо сложили мой характер. По своим нравственным правилам я не мог извлекать выгод из своих былых успехов (как на съезде писателей, за границей и пр.), которыми на моем месте воспользовался бы всякий. Но прошло время, сменились люди. Теперь может показаться, что моя добровольная незаметность вынуждена и на ней лежит печать чьего-то осуждения... Мне кажется, я сделал не настолько меньше нынешних лауреатов и орденосцев, чтобы меня ставили в положение низшее по отношению к ним.

Мне казалось мелким и немыслимым обращаться к Иосифу Виссарионовичу с этими страшными пустяками.

Любящий Вас

Б. Пастернак.

...В лучшие годы удач я изнемогал от сознания спорности и неполноты сделанного. Это естественно. То что было крупно и своевременно у Блока, должно было постепенно вырождаться и обесмыслиться в Маяковском, Есенине и во мне. Это тягостный процесс. Он убил двух моих товарищей

и немыслимо затруднил мою жизнь, лишив ее удовлетворенности. Этого не знают наши подражатели. Каково бы ни было их положение, все это литературная мелочь, не затронутая испепеляющим огнем душевных перемен, умирания и воскресений.

Все это старое я сбросил, я свободен. Меня переродила война и Шекспир. Вероятно формой я владею теперь уже во сне, и не сознаю ее и не замечаю. Я поглощен содержанием виденного и испытанного, историческим содержанием часа, содержанием замыслов.

Я ничего не прошу. Но пусть не затрудняют мне работы в такой решающий момент, ведь я буду жить не до бесконечности, надо торопиться... Надо напомнить, что я не дармоед даже и до премии и без нее. Поликарпов и Тихонов этого не знают, а как я дохну и двинусь без них (лето, деньги, переезды, огороды)...

Простите, что занял у Вас так много времени и говорю с Вами без обиняков. Вы единственный, обращение к кому не унижает меня.

Неизменно верный Вам и любящий Вас

Б. Пастернак.

Резолюция А.С. Щербакова

Тов. Александров. Выясните, что Пастернак хочет конкретно.

А. Щербаков

Из дневника К.И. Чуковского

Ахматова рассказывала, что когда к ней приходил Пастернак, он говорил так невнятно, что домработница, послушавшая разговор, сказала сочувственно:

— У нас в деревне тоже был один такой. Говорит, говорит, а половина — негоже.

БЫЛА У НИХ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, И ТАКАЯ КАФЕДРА

В киевской (республиканской) газете я однажды прочел объявление. Ректорат какого-то (уж не помню сейчас, какого именно) вуза объявлял конкурс на замещение должности младшего научного сотрудника на кафедре советского патриотизма.

КАКОЙ СЧЁТ?

Я работал тогда в «Литературной газете». Номер часто запаздывал, и иногда я засиживался в редакции допоздна. Но в тот день я почему-то засиделся особенно долго: когда я собрался домой, была уже глубокая ночь. В вестибюле я столкнулся с Вале́й Островским: он работал в международном отделе. Метро уже не работало, троллейбусы и автобусы не ходили, мы стали ловить такси.

— А почему ты такой спокойный? — спросил вдруг Валя.

— А почему я должен быть не спокоен? — удивился я.

И тут Валя рассказал мне о том, что происходит в мире в эти минуты. Идут, сближаясь друг с другом, наши и американские корабли. Вот-вот будет нажата кнопка — и Земля взорвется в пламени ядерной катастрофы. Пресса и радиоэфир вопят сейчас об этом на всех языках. По планете прокатилась волна самоубийств: тысячи людей, не в силах вынести это неслыханное психологическое напряжение, предпочли добровольно отправиться в мир иной.

Короче говоря, это был Карибский кризис.

— Какое счастье, — сказал я Вале, — что мы живем в информационной могиле и знать не знаем обо всех этих ужасах.

И, признаюсь, даже с некоторой долей благодарности подумал об отцах нации, оградивших нас от этих волнений, взявших их целиком на себя.

А спустя много лет один человек, приближенный тогда к тем высоким сферам, рассказал мне.

Он сидел в «предбаннике» — комнате, непосредственно примыкающей к той, где шло заседание Политбюро. Прямо около двери, за которой в эту минуту решалась судьба человечества.

Вдруг дверь отворилась, и из нее выглянул Брежнев. Это был не тот Брежнев, которого мы узнали потом («Сиськи-масиськи» и всё такое прочее). Это был еще далеко не старый человек, бодрый, полный энергии и боевого задора. Но в эту минуту лицо его выражало не бодрость, и не задор, а глубочайшее волнение. Оглядев «предбанник», он остановил свой взор на моем знакомом и быстро спросил:

— Какой счёт?

А АЛМАЗЫ УЖЕ КОНЧИЛИСЬ?

В последние годы своего царствования Брежнев казался нам выжившим из ума стариком, который, как любил говорить один мой приятель, уже сосет рукав. Этому представлению весьма способствовала постоянная каша во рту генсека, откуда и пошли все эти анекдоты про него: помянул-де в какой-то своей речи «сосиски сраные», вызвав большой переполох у руководителей предприятий, производящих сосиски, а оказалось, что Леонид Ильич имел в виду вовсе не дурное качество отечественных сосисок, а «социалистические страны».

На самом деле, однако, даже и в эту закатную пору своего физического и политического бытия Леонид Ильич был в полном разуме, а нередко даже выказывал и подлинное остроумие. Вот, например, что рассказал мне один мой приятель, как говорится, приближенный к сферам.

Дело было в Якутии. В столице республики, которую генсек осчастливил своим прибытием, местное начальство устроило для него и для его свиты сверх официального еще и неофициальный прием. Такой, что ли, товарищеский ужин. И там был приготовлен для высокого гостя один весьма пикантный сюрприз. На стол подали огромную зажаренную — или запеченную в духовке — индюшку. Хозяин пира, ловко разрезав птицу, извлёк из недр её увесистое яйцо из чистого золота и с улыбкой поднес его «дорогому Леониду Ильичу». (Любовь генсека к дорогим подаркам ни для кого не была тайной.)

Благосклонно приняв этот скромный дар, Леонид Ильич улыбнулся и сказал:

— А что, алмазы у вас уже кончились?

УМНЫЙ ПОЙМЁТ

Эту историю рассказала Анна Давыдовна Миркина, редактор всех прижизненных изданий мемуаров Г. К. Жукова:

Брежнев очень хотел попасть в мемуары Жукова. Но Жуков писал только о тех людях, с которыми встречался лично. Брежнева же он за время войны не видел ни разу.

Кто-то из помощников подсказал генсеку выход. Жукову

предложили вставить в его воспоминания эпизод примерно такого содержания: при обсуждении возможности расширения новороссийского плацдарма маршал захотел посоветоваться с начальником политотдела 18-й армии Леонидом Ильичом Брежневым, но не застал его, поскольку тот «как раз находился на Малой земле, где шли тяжелейшие бои».

Реакции Жукова на эту вставку я боялась так, что сама не решилась повезти ему визировать этот текст. Вместо меня поехал адъютант Прядухин.

Конечно, на даче Жукова была буря. Я приехала уже после ее окончания: всем уже было ясно, что без этой вставки книга не выйдет. Георгий Константинович был мрачный как тень. Он долго молчал, а потом сказал:

– Ну ладно, умный поймет.

И подписал текст.

Прочитав (в «Аргументах и фактах») этот рассказ, я – «по странной филиации идей», как сказано у Л.Н. Толстого, – вспомнил другую историю, героем которой был человек тоже известный, хотя и не такой известный, как маршал Жуков, – Василий Семенович Гроссман.

После того как разразилась главная драма его жизни, когда роман его «Жизнь и судьба» был арестован («Меня задушили в подворотне», – сказал он об этом), его перестали печатать. Ему не на что было жить. Он поехал в Армению переводить пухлый роман какого-то местного автора. В результате этой поездки – помимо заказного перевода – родились его «Путевые заметки пожилого человека». Маленькая повесть эта, вернее, очерк, а еще точнее – удивительная поэма в прозе, годы спустя увидевшая свет под другим названием («Добро вам!») была предложена им – без больших надежд – «Новому миру». И вдруг – о, чудо! Рукопись – не без колебаний – была принята. Твардовский отважился поставить ее в номер. И наконец еще одно – самое большое чудо! – она прошла Главлит. Это означало, что запрет с его имени снят..

Но счастье, как известно, никогда не бывает полным. Прочитав рукопись крамольного писателя, цензор все-таки сделал одно замечание. В сущности, пустяковое. Он потребовал изъять из произведения, насчитывающего около ста журнальных страниц, один лишь маленький абзац.

Вот этот:

Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили

о муках еврейского народа в период гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, низко кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне, кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовых и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали человеконенавистнические слова презрения и ненависти: «Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил». До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мною в сельском клубе.

Конечно, уступить требованию цензора и снять этот абзац было бы для автора неким моральным компромиссом. Но, с другой стороны, никакой такой уж особенной художественной ценности эти строки собою не представляли. Во всяком случае, изъятие их не нанесло бы произведению такого уж страшного художественного урона. Это не стало бы той зияющей раной, из-за которой вся вещь оказалась бы безнадежно искалеченной.

Но Гроссман даже и слышать не хотел о том, чтобы печатать «Добро вам!» без этого абзаца.

Его уговаривали, убеждали, приводили самые разные зоны, умоляли. Но он был непреклонен. Так и не вышла эта его вещь тогда в «Новом мире». И так и не суждено было ему увидеть ее напечатанной.

Сопоставив эти две истории, я подумал: случайно ли это? Или есть некая закономерность в том, что слабый интеллигент-очкарик в ситуации, сходной с той, в которой оказался маршал, выказал больше твердости, воли и мужества, чем прославленный полководец, легендарный герой войны, не боявшийся спорить с самим Сталиным?

У меня есть ответ на этот вопрос. Но я не стану делиться своими соображениями на этот счет, какими глубокомысленными и пронизательными они бы мне ни казались.

Умный поймет.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПРОКАЗОЙ

По просьбе Ким Ир Сена из Москвы в Корею был направлен профессор-медик, один из лучших в мире специалистов по проказе. Ему было дано задание: изучить на месте положение дел и представить руководству Корейской

Республики свои соображения о том, что надо делать, чтобы окончательно победить эту ужасную болезнь.

Профессор объездил чуть ли не всю республику, досконально изучил ситуацию, написал и представил докладную записку. В заключение командировки его принял сам Ким Ир Сен. В беседе с вождем корейского народа профессор коротко повторил все свои рекомендации: как строить лепрозории, какой за больными должен быть уход, как тщательно и скрупулезно надлежит избегать контакта с теми, кто уже имел несчастье заразиться.

Внимательно выслушав его, Ким Ир Сен поинтересовался: а какова статистика? Сколько всего в республике больных проказой?

Профессор назвал цифру. (Положим, двести тысяч человек.)

— Только-то? — сказал Ким Ир Сен. — Так, может, нам проще их расстрелять?

МОЛОДЕЦ!

Была какая-то годовщина — то ли смерти, то ли рождения — Ленина. Кажется даже, какая-то круглая дата. После торжественного заседания в Большом театре — с членами Политбюро в президиуме — предполагался концерт. И было высказано пожелание — собственно, даже не пожелание, а приказ, — чтобы по ходу этого концерта был показан небольшой отрывок из фильма «Ленин в Октябре».

Вызвали постановщика фильма — Михаила Ромма — и объявили ему волю Хозяина.

Но Ромм вдруг заартачился. Он сказал, что выделить какой-нибудь фрагмент из этого фильма невозможно. Его можно показать только целиком. Такова его художественная природа. А если высокому начальству так уж приспичило дать именно отрывок, тогда надо брать не «Ленин в Октябре», а «Ленин в восемнадцатом году».

Поскольку указание исходило от самого Сталина, к которому обращаться с такими пустяками никто не смел, решение вопроса взял на себя начальник личной охраны вождя генерал Власик. (Именно он вызывал Ромма и беседовал с ним.) Власик решил: ладно, пусть будет не «Ленин в Октябре»,

а «Ленин в восемнадцатом году». Не все ли, в конце концов, равно.

Но оказалось, что не все равно.

Сталину, как видно, все-таки доложили, что его указание хотя и выполняется, но не в точности. И накануне концерта он вызвал к себе тогдашнего председателя Комитета по делам искусств Михаила Борисовича Храпченко и задал ему такой вопрос:

— Товарищ Храпченко, как вы полагаете, какое событие было главным в жизни Владимира Ильича Ленина?

— Великая Октябрьская социалистическая революция, — как школьник на экзамене четко отрапортовал Храпченко.

— Вот именно, — сказал Сталин. — Так какой же фильм надо показывать в день его памяти?

— «Ленин в Октябре», — упавшим голосом сообщил Храпченко.

— Совершенно верно, «Ленин в Октябре», — кивнул Сталин. — Почему же вы решили показать в этот день отрывок из фильма «Ленин в восемнадцатом году»?

— Понимаете, товарищ Сталин, это все режиссер, — оправдываясь, залепетал председатель Комитета по делам искусств. И покатил бочку на Ромма. Тот, мол, ни за что не хочет выполнить распоряжение вождя. Говорит, что по каким-то там художественным соображениям это совершенно невозможно. Что фильм «Ленин в Октябре» можно показывать только целиком.

Сталин прошелся по ковру своего кабинета, подумал и сказал:

— Ну что ж, если постановщик фильма считает, что это невозможно, значит, это невозможно.

Все замерли, гадая, какую форму примет августейший гнев, который сейчас обрушится на Ромма. Но, сделав небольшую паузу, Сталин так заключил свою мысль:

— Если постановщик фильма считает, что этот фильм можно показывать только целиком... — он помолчал, словно бы раздумывая. И закончил: — Значит, надо показать его целиком.

Вопрос, таким образом, был решен.

Но перед самым концертом вдруг выяснилось, что главное действующее лицо всей этой истории — Михаил Ильич

Ромм – остался без приглажительного билета. Поскольку Ромм в этот момент был, что называется, в фаворе, о том, чтобы он не присутствовал на торжественном заседании и концерте, разумеется, не могло быть и речи. И генерал Власик, спасая положение, выдал ему билет из своей канцелярии. Не гостевой, как у всех приглашенных, а как бы служебный. Не знаю уж, чем отличался он от гостевого, но чем-то, видать, отличался. И именно это отличие тут как раз и сыграло свою роль.

Когда Михаил Ильич подымался по лестнице, направляясь к указанной в его билете ложе, путь ему преградил кагебешный полковник. Заглянув в его билет, он окинул взглядом строгий черный костюм режиссера, ряд лауреатских медалей на лацкане его пиджака и одобрительно молвил:

– Молодец!

Затем, наклонившись к его уху, шепнул, указывая в глубину ложи:

– Твой объект – вон тот лысый старичок.

И только тут Ромм понял, что означал одобрительный взгляд полковника, брошенный на его лауреатские медали, и какой смысл таило в себе поощрительное слово «молодец». Имелось в виду, оказывается, совсем не то, что он молодец, потому что сделал хороший фильм. Этим словом полковник отметил его как своего сотрудника, который исхитрился придать своей внешности такой вид, что самый придирчивый взгляд не мог бы отличить его от настоящего гостя. Даже фальшивые лауреатские медали где-то раздобыл и навесил.

ОН ЧТО-ТО ЗНАЕТ...

Писатель Николай Вирта написал пьесу «Заговор обреченных» и, как тогда полагалось, представил ее в Комитет по делам искусств.

Спустя некоторое время он пришел к заместителю председателя Комитета – за ответом.

– Прочел вашу пьесу, – сказал тот. – В целом впечатление благоприятное. Финал, конечно, никуда не годится. Тут надо будет вам еще что-то поискать, додумать... Второй акт тоже придется переписать. Да, еще в третьем акте, в последней

сцене... Ну это, впрочем, уже мелочи... Это мы уже решим, так сказать, в рабочем порядке...

Вирта терпеливо слушал его, слушал. А потом вдруг возьми да и скажи:

— Жопа.

— Что? — не понял зампред.

— Я говорю, жопа, — повторил Вирта.

Зампред, как ошпаренный, выскочил из своего кабинета и кинулся к непосредственному своему начальнику — председателю Комитета, Михаилу Борисовичу Храпченко.

— Нет! Это невозможно! — задыхаясь от гнева и возмущения заговорил он. — Что хотите со мной делайте, но с этими хулиганствующими писателями я больше объясняться не буду!

— А что случилось? — поинтересовался Храпченко.

— Да вот, пришел сейчас ко мне Вирта. Я стал высказывать ему свое мнение о его пьесе, а он... Вы даже представить себе не можете, что он мне сказал!

— А что он вам сказал?

— Он сказал... Нет, я даже повторить этого не могу!..

— Нет-нет, вы уж, пожалуйста, повторите.

Запинаясь, краснея и бледнея, зампред повторил злополучное слово, которым Вирта отреагировал на его редакторские замечания. При этом он, естественно, ожидал, что председатель Комитета разделит его гнев и возмущение. Но председатель на его сообщение отреагировал странно. Вместо того чтобы возмутиться, он как-то потемнел лицом и, после паузы, задумчиво сказал:

— Он что-то знает...

Интуиция (а точнее — долгий опыт государственной работы) не подвела Михаила Борисовича. Он угадал: разговаривая с его заместителем, Вирта действительно знал, что его пьесу уже прочел и одобрил Сталин.

ОН УЖЕ ТОГДА БЫЛ ГОТОВ

А вот еще один разговор писателя с вождем. Даже не с вождем, а — с вождями.

Эту историю рассказал мне Илья Григорьевич Эренбург.

В 1934-м году он оказался на даче Горького, на одной из тех встреч писателей с вождями (членами Политбюро), которые

время от времени там происходили. Другие приглашенные писатели с вождями были уже знакомы, а он, Эренбург, был там человек новый (недавно только приехал из Парижа), и каждый из вождей, знакомясь с ним, считал своим долгом сказать ему что-то приятное. И вышло так, что все (и Калинин, и Ворошилов, и все остальные, кто там был), не сговариваясь, повторяли, чуть ли не дословно, одну и ту же фразу:

— Только что прочел ваш новый роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца». Так смеялся, так смеялся... Одно только вот меня тревожит: не будет ли эта ваша книга какой-то частью читателей воспринята как антисемитская?

Роман этот был не такой уж новый: в Париже он вышел в 1928 году. Но в Советском Союзе напечатан не был. Поэтому вожди, до которых он дошел с большим опозданием, восприняли его как новинку. Роман был озорной, далеко выходящий за рамки советской благопристойности. Да и не только советской. Нарушение приличий начиналось уже с заглавия, с фамилии главного героя.

Сам герой романа, которого сразу после выхода романа в свет критики единодушно назвали еврейским Швейком, о своей фамилии говорит так:

— Это опытно-показательная фамилия. Другие теперь приделывают себе слово «красный», как будто оно у них всегда было. Вы не здешний, так я могу сказать, что столовая «Красный уют» была раньше всего-навсего «Уютом», а эта улица Красного Знамени называлась даже совсем неприлично — Владимирской улицей. Если вы думаете, что «Красные бани» всегда были красными, то вы, простите меня, ошибаетесь. Они покраснели ровно год тому назад. Они были самыми ужасными «Семейными банями». А я от рождения — Ройтшванец, об этом можно справиться у казенного раввина. В самой фамилии мне сделан тонкий намек. Но я вижу, что вы ничего не понимаете, так я объясню вам: «Ройт» — это значит «красный».

Товарищ Горбунов усмехнулся и со скуки спросил:

— Так... А что же значит «шванец»?

Лазик пренебрежительно пожал плечами.

— Достаточно, если половина что-нибудь значит.

«Шванец» — это ничего не значит. Это пустой звук.

На самом деле слово «шванец» на идиш означает примерно то же, что русское слово «хер».

Роман, как это можно заметить даже по приведенной короткой цитате, был написан с легким еврейским акцентом. Был он не только смешным, но и грустным. Лирическим и сатирическим одновременно. А жало художественной сатиры было направлено в самые разные стороны. И в советскую власть. И в еврейский местечковый быт, на фоне которого разворачивалась бурная жизнь Лазика Ройтшванца. Поэтому советские вожди, привыкшие все явления жизни, литературы и искусства определять, исходя из своей системы ценностей, могли с одинаковым успехом принять (или высказать опасения, что другие примут) этот роман и за антисемитский.

Из всех вождей, высказавшихся в тот день о его романе, только один проявил некоторую оригинальность. Это был Лазарь Моисеевич Каганович. Когда черед знакомиться с Эренбургом дошел до него, пожимая Илье Григорьевичу руку, он сказал:

— Как же, знаю... знаю... Как раз только что прочел ваш новый роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца». Так смеялся, так смеялся... Одно только вот меня тревожит... — он озабоченно нахмурился. — Не будет ли эта ваша книга воспринята как проявление еврейского буржуазного национализма?..

Выдержав небольшую паузу, Эренбург пожевал губами и сказал:

— Он уже тогда был готов.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Михаил Кольцов на каком-то кремлевском банкете сидел рядом с Семеном Михайловичем Буденным. Общения никакого не было. Да и о чем могли бы говорить друг с другом два таких несхожих человека? Но в какой-то момент Буденный наклонился к уху Кольцова и сказал:

— Знаете, кто это?

Он указал на сидящего за соседним столом немолодого человека с огромными усами, которые казались еще огромнее оттого, что лежали на таких же огромных и пышных подусниках.

— Это Ока Иванович Городовиков, — объяснил Буденный.

– Выйдешь, бывало, после боя, поглядишь вокруг – порубанные беляки лежат. И сразу видно: вот этого Ока Иванович порубал. Его рука. Вы гляньте на него: росточек небольшой. И силы вроде в нем никакой особенной нету. А рубанет – надвое развалит. От плеча до бедра...

Он помолчал, покачал головой и уважительно, с некоторой даже завистью вздохнул:

– Интересный человек!

РЫБАЛКА УДАЛАСЬ НА СЛАВУ

В одном – то ли городе, то ли селенье – близ Байкала ждали приезда маршала, уроженца здешних мест. К встрече знатного гостя готовились, не жалея никаких затрат. И вдруг узналось, что маршал – страстный рыболов, и перед поездкой говорил, что жаждет, как это бывало встарь, – поехать на рыбалку, половить тайменей.

Местное начальство сделало все, чтобы эта маршальская мечта сбылась. Подготовились к рыбалке на всю катушку. А кроме всего придумали еще такую штуку.

На том месте, где маршалу приготовлено было рыбалить, на глубине посадили водолаза с садком, полным отборных тайменей. И всякий раз, когда маршал закидывал в воду свой спиннинг, водолаз вынимал из садка очередного тайменя и насаживал его на маршальский крючок. У маршала, естественно, сразу начинало клевать.

В общем, рыбалка удалась на славу. Довольный маршал говорил, что никогда еще, ни на одной рыбалке ему так не везло.

ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ВЫ СЕЙЧАС ВИДЕЛИ?

Перечисляя книги, написанные писателем Леонидом Волыньским, «Литературная энциклопедия» особо выделяет одну из них:

В 1956 вышла книга Волыньского «Семь дней» – живой рассказ о спасении картин Дрезденской художественной галереи советскими войсками.

(Волыньский – один из участников этого события).

На самом деле он был не «один из», а едва ли не главный участник этого события. Не уверен, что именно он первым обнаружил найденные картины, но именно у него хватило ума и знаний, чтобы понять, какой трофей достался ему и его солдатам. И это неудивительно: ведь до того как стать писателем, он был профессиональным художником-графиком, окончил — в 1934-м году — Киевский художественный институт.

Но обо всем этом написано в его книге «Семь дней». А вот — коротенький его рассказ, относящийся к описанным в этой книге событиям, который в книгу не вошел.

Слух о находке быстро дошел до командующего фронтом. А командующим был Иван Ефимович Петров — человек необыкновенный, можно даже сказать легендарный.

Легендарным он был уже хотя бы потому, что только он один из всех командующих фронтами не был маршалом. И было это не простой случайностью. Когда фронт наступал, Петрова Сталин отстранял и назначал другого командующего. Потому что при наступлении людские потери всегда очень велики, и Петров всякий раз доказывал, что наступление плохо подготовлено: он жалел людей.

Когда же фронт переходил к обороне (при обороне потери не так велики, как при наступлении), — командующим снова назначался Петров.

И вот этот самый легендарный Петров появился однажды перед обалдевшим Лёлей Волынским в сопровождении целой свиты обмундированных генералов. Генералы были плотные, крупные, осанистые, хорошо выбритые и наодеколоненные, и маленький рыжий Петров в своем пенсне на простом крестьянском лице и потертом генеральском кителе, казалось, должен был проигрывать на их ослепительном фоне. Но он шел на полшага впереди всей этой своей пышной свиты, и сразу было видно, что именно он тут главный.

— Ну, прапорщик, — сказал он Лёле (хотя никаких прапорщиков в нашей Красной Армии тогда еще не было: Волынский был лейтенантом), — показывай, что ты там нашел.

Лёля стал показывать.

Петров подолгу стоял перед каждой картиной. Смотрел. Неохотно оторвавшись, медленно переходил к следующей.

Молчал. Иногда, приглядевшись к какой-нибудь картине, сквозь зубы ронял: Пуссен, Мурильо, Пинтуриккьо, Вермер. И только уже уходя, обернулся к свите:

— Ну что, товарищи генералы? Поняли, что вы сейчас видели?

— Так точно, товарищ командующий! Поняли! — хором гаркнули генералы.

Отвернувшись от них, натягивая перчатку, Петров сказал:

— Ни х... вы не поняли.

Я ЖЕ ЛЕТАЮ

А вот еще один рассказ того же Лёли Волынского.

Его очень волновала судьба главного шедевра «Дрезденки» — Рафаэлевской «Мадонны». И он все время приставал к начальству, что надо бы отправить ее в Москву. И наконец добился своего: маршал Конев согласился дать для этой цели свой личный самолет.

Но сомнения и тут не оставили Волынского: самолет может попасть в аварию, его могут сбить...

Когда об этих тревогах «прапорщика» доложили Коневу, тот усмехнулся.

— Какая ерунда. Я же летаю.

ЛИШНИЕ ЗНАНИЯ ТОЖЕ НЕ К ДОБРУ

Почти все мои однокашники по Литинституту прошли войну. Там, понятное дело, им было не до книг. Да и то, что пришлось им прочесть до войны, в школьные годы, тоже порядком выветрилось из их голов. А чтобы сдать экзамены — и по античной литературе, и по новой западной, да и по классической русской тоже, — прочесть надо было тьму книг. Многих из них мы даже и не слыхивали. А до классической формулировки родившегося в более поздние времена анекдота про чукчу («Чукча не читатель, чукча — писатель») никто из нас тогда еще не додумался.

Сдавали мы экзамены поэтому, пользуясь краткими устными пересказами содержания великих книг.

Перед экзаменом, бывало, кто-нибудь подходил к более начитанному товарищу и говорил:

– «Мадам Бовари»... Только быстро... в двух словах...

И более начитанный вкратце излагал сюжет классической книги.

Самым начитанным у нас считался Володя Кривенченко по прозвищу «Секс». Никто даже уже и не помнил его настоящего имени, так все его и звали: «Секс Кривенченко».

Про него даже придумали, что он – «Секс Первый» – король страны, именуемой «Сексляндией». Самый великий писатель этой страны был – «Шекспир». Главное растение, произрастающее в ней, – «сексаул». Национальный музыкальный инструмент – «сексафон». И так далее...

Прозвища же этого Кривенченко удостоился совсем не потому, что был он какой-нибудь там сексуальный гигант, или – Боже, упаси! – сексуальный маньяк. Просто, когда кто-нибудь перед экзаменом подбегал к нему со словами:

– «Ромео и Джульетту»... только быстро...

Он лениво спрашивал:

– Тебе с сексом? Или без секса?

Многие, конечно, предпочли бы услышать пересказ знаменитой шекспировской драмы «с сексом». Но, находясь в остром цейтноте, соглашались и на усеченный вариант.

Профессора наши к вопиющему нашему невежеству относились снисходительно. Смотрели на него сквозь пальцы.

Самым большим либералом считался Валентин Фердинандович Асмус, читавший нам историю философии и логику.

Поэт Виктор Гончаров, умудрившийся проучиться в Литинституте то ли восемь, то ли девять лет (никак не мог сдать госэкзамены), о Валентине Фердинандовиче высказался однажды так:

– Асмус – это философ!.. Гуманист!.. Меньше тройки никогда не поставит!

Но кое-кого из профессоров невежество «писателей», не стремящихся становиться «читателями», все-таки угнетало.

Сдавал я однажды экзамен по русской литературе XIX века. Экзаменовал меня Ульрих Рихардович Фогт. Благосклонно выслушав мой рассказ о творчестве Гоголя, он спросил:

– А книгу Андрея Белого о Гоголе вам читать не приходилось?

Я ответил, что нет, к сожалению, не приходилось.

— Может быть, какие-нибудь другие книги Андрея Белого вы читали?

Нет, и других книг этого писателя я тогда, конечно, не читал.

Это, наверно, легко сошло бы мне с рук, если бы я ограничился этим кратким ответом. Но чёрт меня дернул, признавшись, что нет, не читал, сверх того еще и брякнуть:

— Он ведь не входит в программу.

И тут Фогт не выдержал. Лицо его болезненно сморщилось, и он сказал:

— В программу!.. Не входит в программу!.. Боже мой!.. И это говорит человек, желающий стать писателем!

Ни на одного из свидетелей этого моего позора презрительная реплика профессора, как будто, особого впечатления не произвела. Но на меня она подействовала прямо-таки ошеломляюще. Мне вдруг стало очень стыдно. И я твердо решил в тот момент, что никогда больше не буду, получая причитающиеся мне знания, строго дозировать их тем, что входит, а что не входит в программу. Отныне я всегда стремился урвать что-нибудь и «сверх программы». И, кажется, ни разу об этом не пожалел.

Кроме, разве, одного случая.

Дело шло к госэкзаменам, которых все мы очень боялись. Прорех в моем образовании было множество. Но больше всего я боялся экзамена по марксизму-ленинизму. С истма-том и диаматом я еще как-то рассчитывал справиться. Но вопроса по истории партии я страшился пуще огня. Запомнить все партийные съезды, да что там на каком съезде решалось представлялось мне просто невыносимым. (Очевидно, из-за полного отсутствия интереса ко всем этим делам. Интерес этот у меня потом прорезался. Но гораздо позже, когда мною вдруг овладело желание узнать, как всё это происходило на самом деле.)

Итак, трепеща перед экзаменом по марксизму и желая подготовиться к этому суровому испытанию как можно лучше, я раздобыл где-то лекции для Высшей партийной школы и вызубрил их, как попка, от корки до корки.

На экзамене мне достался вопрос о коллективизации. Я отвечал гладко, и члены государственной комиссии, слушая

меня, улыбались и благосклонно кивали. И вдруг из меня выскочило:

— В целях активизации участия крестьянской бедноты в процессе ликвидации кулачества как класса было спущено постановление, согласно которому трудящийся крестьянин, разоблачивший затаившегося кулака, получал двадцать пять процентов конфискуемого у него имущества...

В рядах членов государственной комиссии прошло какое-то шевеление. Председатель жестом остановил мою речь и спросил:

— Откуда вам это известно?

— Что? — не понял я.

— А вот про эти двадцать пять процентов?

— Я прочел об этом, — гордясь собою, сообщил я, — в лекциях Емельяна Ярославского для Высшей партийной школы.

Члены комиссии опять как-то странно между собою зашептались.

— А зачем вам понадобилось читать эти лекции? — спросил председатель.

— Как зачем? — удивился я. — Мне хотелось получше подготовиться.

Члены комиссии опять пошептались, но никто мне ничего больше не сказал, и мою душу отпустили на покаяние.

Оценку из-за этого инцидента мне, однако, снизили. И даже объяснили почему: чтобы не совал свой нос куда не надо. (Объяснили, разумеется, не официально, а, так сказать, приватно.)

Не сунул бы я свой нос в лекции Емельяна Ярославского, а зубрил историю партии как все, по «Краткому курсу», получил бы пятерку. И тогда был бы у меня диплом с отличием. А так — вышла мне четверка и самый обыкновенный, не «отличный» диплом.

Но мне было на это наплевать. А позже я даже понял, что случай этот в конечном счете обернулся для меня выигрышем. Ведь именно он впервые открыл мне, что в знаменитом сталинском «Кратком курсе» история партии большевиков была грубо фальсифицирована. И вызвал желание узнать, как оно там было на самом деле. Я, наверно, тогда уже догадывался, что и в лекциях Емельяна Ярославского для Высшей партийной школы эта история, конечно, тоже была

фальсифицирована. Но не так грубо: какая-то крупица реальности в них все-таки просочилась, иначе моя промашка не вызвала бы такое замешательство в рядах членов государственной экзаменационной комиссии.

Позже, сообразив, что лекции Емельяна тоже не открывают, а скрывают правду, я раздобыл где-то другой, более ранний, давно уже изъятый из обращения учебник. Но довольно быстро понял, что и он тоже скрывает — увы, не правду, а другую, предшествующую ему ложь. Точь-в-точь как «Министерство Правды» в знаменитом романе Джорджа Оруэлла.

Сдирая — слой за слоем — капустные листья этой многослойной лжи, я в конце концов добрался до кочерыжки. То есть докопался-таки до правды. А всё — благодаря той растерянности, которая проступила на лицах членов государственной экзаменационной комиссии, когда я обнаружил перед ними крупицу лишних, ненужных и даже запретных знаний, случайно полученных мною «сверх программы».

ПОВИДЛО ЦАРЕУБИЙЦАМ

В 20-е годы в Москве был специальный магазин для бывших политкаторжан. Все бывшие политкаторжане, независимо от тогдашней их партийной принадлежности, боролись в свое время с царским самодержавием и потому новая власть одарила их некоторыми привилегиями. Но и среди привилегированных тоже существовала своя иерархия. Все они, конечно, были равны, но некоторые из них были (как у Оруэлла) — «более равными». Так, например, однажды на прилавке появилось такое объявление:

«ЦАРЕУБИЙЦАМ ПОВИДЛО ОТПУСКАЕТСЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ».

ПЛАЧЬ, ДЕВОЧКА, ПЛАЧЬ...

Во время одного из веселых наших застолий Дезик Самойлов — не помню уж, по какому поводу, — весьма непочтительно выразился по адресу кого-то из выдающихся деятелей французской компартии — то ли Марсея Кашена, то ли Жака Дюкло. А может быть, даже и обо всей этой компании.

Было это очень давно, не все из присутствующих готовы были тогда с ним согласиться. К нашим «вождям» мы уже давно относились без всякого почтения, но по отношению к французским еще сохранялся некоторый пиетет. Особенно возмущена была Дезиком одна молодая женщина: отец ее был старым коминтерновцем, и у них дома обо всех этих «пламенных революционерах» всегда говорили с почтительным придыханием. С горячностью кинулась она защищать этих кумиров своей юности. Дезик весело над ней подтрунивал, и весь ее революционный пафос, натываясь на это его ироническое веселье, разбивался вдребезги. В бессильной ярости она заплакала.

Дезик нежно погладил ее по голове и сказал:

— Плачь, девочка, плачь. Кто еще заплачет об этих мерзавцах!

Я ТАК И ЗНАЛ!

1-го декабря 1934-го года очередной номер газеты «Вечерний Ленинград» был сверстан и ушел в типографию вовремя, без опозданий. Утренние газеты, как известно, печатаются ночью, а вечерние — днем, поэтому «вовремя» в этом случае значило — утром.

В газетной жизни, надо сказать, это случается довольно редко: всегда возникает какая-нибудь неожиданность, из-за которой номер задерживается. Но в тот день все шло просто на удивление гладко. И вот, когда номер уже начал печататься, распахнулась дверь и чей-то взволнованный голос выкрикнул:

— Кирова убили!

На что последовала сокрушенная реплика старика-еврея, выпускающего:

— Я так и знал!

Этот старый газетный волк, конечно, вовсе не имел при этом в виду, что знал о готовящемся покушении. Он просто хотел сказать, что быть того не могло, чтобы не случилась какая-нибудь неожиданность, из-за которой номер не сможет выйти вовремя. Такова уж специфика газетной работы.

Но все это ему пришлось объяснять уже в другом месте. И никакие объяснения, конечно, не помогли.

КТО ЭТОТ ПАРЕНЬ?

Читая переписку Бунина с Алдановым, наткнулся на такое бунинское письмо:

Позовет ли меня опять в Москву Телешов — не знаю, но хоть бы сто раз меня туда позвали и была бы в Москве во всех отношениях полнейшая свобода, а я бы мог двигаться, все равно никогда не поехал бы я в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных трупа.

Под письмом — дата: 20-е апреля 1953-го года.

До двадцать второго партийного съезда, на котором решили выкинуть из мавзолея труп Сталина, было еще довольно далеко. Но знаменитый наш цэдеэловский парикмахер Моисей Михайлович Маргулис уже произнес свою провидческую хохму:

— Пока еще они лежат там вдвоём. Но прописка — на одного.

И вот как раз в это время приехала к одним моим знакомым в гости молодая американка. То ли родственница, то ли дочка каких-то их американских друзей. Показывая ей разные достопримечательности Москвы, они сводили ее и в Мавзолей. И она так прореагировала на увиденное.

— Это дядя Джо, я знаю, — шепнула она, показывая глазами на Сталина. — А кто вон тот, другой парень?

АДМИРАЛ ИСАКОВ И БУДЕННЫЙ

У Георгия Николаевича Мунблита возникли какие-то отношения с адмиралом Исаковым. Адмирал в ту пору начал писать свои мемуарные очерки и рассказы, а Георгий Николаевич оказался то ли их внутренним рецензентом, то ли редактором.

Впервые придя к адмиралу домой, он увидел у него в кабинете огромный, писанный маслом, портрет Буденного.

Будучи человеком весьма нелицеприятным и вполне независимым, Мунблит спросил:

— Почему у вас здесь висит этот портрет?

— Мне подарил его Семен Михайлович, — объяснил адмирал.

Приглядевшись, Мунблит увидел под портретом теплую дарственную надпись, адресованную маршалом хозяину дома. Казалось бы, вопрос был исчерпан и щекотливую эту тему можно было бы и не развивать. Но не таков был Георгий Николаевич Мунблит.

— Дело в том, — пояснил он, — что у нашего брата-литератора — свой счет к этому человеку. Мы не можем простить ему Бабеля.

И он рассказал адмиралу о знаменитой статье Буденного «Бабизм Бабеля из "Красной нови"», в которой создатель и командующий Первой Конной изничтожал бабелевскую «Конармию», обвинял писателя в злостной и грубой клевете на буденновцев. Несколько дней спустя он даже отыскал в своем архиве эту давнюю статью (она была напечатана в № 3 журнала «Октябрь» за 1924-й год) и притащил ее адмиралу. Заставил прочесть, буквально ткнув адмирала носом в самые пахучие ее места. Например, такие:

Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классово-вой борьбы, она была ему чужда, но зато он видит со страстью садиста трясущиеся груди выдуманной им казачки, голые ляжки и т.д. Он смотрит на мир «как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы»...

Для нас всё это не ново, эта старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие представители: Куприн, Арцыбашев (Санин) и другие — естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам старый бред, который переломился через призму его садизма и дегенерации...

Отнюдь не безызвестны фамилии тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает слюной классовой ненависти.

Проведя всю эту пропагандистскую работу, Георгий Николаевич в заключение намекнул адмиралу, что давняя эта буденновская статья сыграла в судьбе Бабеля весьма зловещую роль.

Адмирал на все эти сообщения никак не прореагировал. Но две или три недели спустя, когда Мунблит снова оказался в адмиральском кабинете, он с чувством глубокого удовлетворения отметил, что портрета Буденного там уже не было.

— А-а, — не удержался он. — Я вижу, что мой рассказ все-таки произвел на вас впечатление?

— Нет, — покачал головой адмирал. — Я снял портрет не поэтому.

— А почему же?

— Семен Михайлович утверждал, что до революции у него было четыре Георгия. То есть, что был он, как тогда говорили, полный Георгиевский кавалер.

— Да, — кивнул Мунблит. — Я тоже что-то такое слышал.

— Но оказалось, — невозмутимо продолжал адмирал, — что это — липа. И вот поэтому-то, — закончил он, — я и не счел более для себя возможным держать в своем кабинете портрет этого человека.

ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ

Эту историю мне рассказал мой приятель Акпер Бабаев — литературовед, доктор наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Академии Наук СССР.

Узкой его специальностью была то ли турецкая, то ли азербайджанская литература. Точно не помню. Помню только, что между азербайджанцами и турками Акпер не желал видеть никакой разницы: решительно утверждал, что это — одно и то же.

То ли потому, что он искренне причислял себя к турецкой нации, то ли потому, что это входило в круг его профессиональных занятий и интересов, Акпер счел своим долгом познакомиться с Назымом Хикметом. Ну а познакомившись, они довольно быстро сблизились и даже подружились. Так что историю эту Акпер узнал от самого Назыма, так сказать, из первых рук.

Назым Хикмет, как известно, был коммунистом. В его родной Турции это не поощрялось, и за свою коммунистическую революционную деятельность он был посажен в тюрьму. Турецкая тюрьма — это, конечно, не Лефортово и не Бутырка. Разрешались, например, регулярные свидания с женой. Злые языки (у нас) даже сплетничали по этому поводу, что пока Назым сидел в тюрьме, семейство его на воле все росло: чуть ли не каждый год появлялся на свет очередной его отпрыск — сын или дочь.

Все это, конечно, было чистейшим враньем. И тюрьма — какая ни на есть — это все-таки тюрьма. Тем более не американская какая-нибудь, а — турецкая. Назыма там не пытали, не били. Но — унижали. Однажды, например, он несколько часов простоял по колено в дерьме...

Общественность — не только турецкая, но и мировая — негодовала по поводу того, что выдающийся поэт томится в застенке, и в конце концов под давлением этой самой общественности власти вынуждены были выпустить Назыма на свободу. Но свобода эта была ненадежной. Могли посадить снова, могли и убить. И поэтому товарищи по партии решили устроить Назыму побег.

План побега был разработан во всех деталях. И поначалу все шло в строгом соответствии с этим планом. В назначенный день Назым появился в условленном месте — на берегу моря. Там его ждала заранее снаряженная шлюпка, в которой он нашел все необходимое для побега: одежду, еду, запас питьевой воды, компас... Среди других предметов первой необходимости была там у него ракетница и мегафон: согласно плану Назым должен был уйти на этой шлюпке в открытое море, плыть некоторое время по заданному курсу, а там уж его подберет какой-нибудь советский корабль.

Не помню, то ли на второй, то ли на третий день своих скитаний по морю — во всяком случае, вымотался он изрядно — Назым наконец увидел вдали пароход, идущий под милым ему сердцу красным флагом. Красный флаг, а потом уже и название парохода (он назывался «Плеханов») окончательно убедили Назыма, что пароход этот — советский. Обрадовавшись, он стал подавать сигналы. Хоть и не сразу, его заметили. Подчиняясь его сигналам, пароход замедлил ход. Приблизившись, Назым достал мегафон и прокричал, обращаясь к людям, столпившимся на палубе:

— Я турецкий коммунист Назым Хикмет. Бежал от преследований турецких властей. Прошу взять меня на борт!

С палубы в ответ раздались ликующие крики:

— Слава верному ленинцу, героическому сыну турецкого народа Назыму Хикмету!.. Ура-а!

Назым понял, что его узнали. Ну, узнать, может быть, и не узнали, но, судя по этим ликующим крикам, имя его пассажирам и команде парохода во всяком случае известно.

А надо сказать, что имя его в ту пору в Советском Союзе действительно было на слуху. Его портреты печатались в «Огоньке». Статьи и очерки о нем то и дело появлялись чуть ли не во всех тогдашних советских периодических изданиях.

Убедившись, что на пароходе поняли, кто он такой, Назым облегченно вздохнул, решив, что дальнейшее — уже дело техники. Но дальше события стали развиваться как-то странно. Точнее — они никак не развивались.

На палубе, правда, народу все прибавлялось. И радостные крики все усиливались. Но никто почему-то не спешил брать его на борт.

У Назыма мелькнула мысль, что его, быть может, не так поняли. Может быть, они там решили, что он просто совершает какую-нибудь этакую морскую прогулку?

Он снова прокричал в свой мегафон, стараясь на этот раз объяснить ситуацию как можно понятнее, чтобы она не вызвала уже никаких недоумений и кривотолков:

— Я турецкий коммунист Назым Хикмет. Совершил побег с целью получить политическое убежище в Советском Союзе. Прошу взять меня на борт!

— Да здравствует Назым Хикмет!.. Слава верному ленинцу, выдающемуся борцу за свободу!.. Пламенному революционеру!.. Замечательному революционному поэту!.. Великому сыну турецкого народа!.. Ура-а! — кричали ему с борта.

Прошел час, другой.

Время от времени Назым подносил к губам свой мегафон и уже вконец охрипшим голосом снова и снова повторял все те же объяснения и ту же просьбу. И всякий раз в ответ раздавались все те же ликующие здравицы в его честь. Но дело — не двигалось.

Так прошло несколько часов. Назым уже вконец отчаялся. Все это было похоже на какое-то изощренное издевательство. Он даже уже начал опасаться, что, прокричав напоследок еще несколько вот таких же здравниц и революционных лозунгов, обитатели парохода сделают ему ручкой и — отчалият. И он останется один в своей шлюпке, в открытом море...

И вот тут, когда у него уже не оставалось почти никаких надежд на благополучный исход всего этого безнадежного предприятия, ситуация вдруг разрешилась. Его наконец

подняли на борт, провели в кают-компанию, где уже был собран народ для торжественной встречи — митинга. А на стене, увитый цветами, висел его портрет — как видно, наспех разысканный и вырезанный из «Огонька».

Ну а дальше все пошло как по маслу. Были приветственные речи, рукопожатия, объятия, поцелуи. Потом — как водится — застолье...

Назым терялся в догадках. Он никак не мог взять в толк: что все это значило? Почему его промурыжили в шлюпке чуть ли не полдня? Задавал этот вопрос одному, другому, третьему... Но внятного ответа добиться не мог. Кто блудливо отворачивался и переводил разговор на другую тему, кто нес какую-то невразумительную чепуху... Наконец кто-то сжалился над ним и объяснил — шепотом, на ухо, как бы доверяя важную государственную тайну:

— Согласовывали!

Согласовать, наверно, могли бы и быстрее. Но пароход, как это потом выяснилось, был не советский, а — румынский. И сперва радировали в Констанцу (порт приписки), Констанца связывалась с Бухарестом, а уж Бухарест — с Москвой. Чуть ли не с самим Кремлём.

КТО ДОЛЖЕН СИДЕТЬ, А КТО — СТОЯТЬ?

Однажды в Ташкенте во внутренний дворик местного театра выкатились два человека, сцепившиеся друг с другом в яростном стремлении, как говорит один из персонажей фон-визинского «Недоросля», добраться до рожи.

Редкие прохожие, ставшие случайными свидетелями этого зрелища, приглядевшись, узнали в дерущихся Ленина и Сталина.

Не настоящего Ленина, конечно, и не настоящего Сталина, а артистов, исполняющих их роли. В соответствующих костюмах и гриме.

Одного из них звали Абрар Худоятов, другого — Шукур Бурханов. Один был — народный артист СССР, другой — народный артист Узбекской ССР.

Как потом выяснилось, причиной драки послужило следующее.

Репетировалась пьеса, в которой один из названных артистов исполнял роль Ленина, а другой — Сталина. И возник между ними спор: кто в репетируемой сцене должен сидеть, а кто — стоять.

— Я, — говорил один, — играю Ленина. А ты — Сталина. Поэтому я должен сидеть, а ты — стоять.

— А я, — возражал на это другой, — народный артист Союза! А ты — всего лишь народный артист Республики. Поэтому я должен сидеть, а ты — стоять!

Вот этот принципиальный спор и завершился описанной выше дракой.

ДОКТОР СТОКМАН НАЖИВАЕТ НОВЫХ ВРАГОВ

Эту историю рассказал известный наш театральный режиссер Борис Львов-Анохин.

Когда-то (в 60-е) поставил он драму Ибсена «Доктор Штокман» («Враг народа»). Это второе (строго говоря — первое, главное) название знаменитой пьесы уже само по себе не могло насторожить высокое начальство. Но оно — не афишировалось. Спектакль показывался под вторым, вполне невинным. И чиновниками из главка был принят.

Но на премьеру пришел референт Брежнева.

Герой пьесы, как известно, своей принципиальностью постепенно восстанавливает против себя все городское начальство, а потом и все население родного города.

Брежневский референт, который о содержании ибсеновской пьесы в тот вечер, быть может, узнал впервые, морщился, но — молчал.

Но вот дело дошло до главного, можно сказать, ключевого монолога героя:

...Все наши духовные жизненные источники отравлены. Вся наша гражданская общественная жизнь зиждется на зараженной ложью почве... Что за беда разорить лживое общество! Его надо стереть с лица земли! Живущих во лжи надо истреблять как вредных животных!

И тут уж референт не выдержал.

— Как можно говорить со сцены такое! — потрясенный

услышанным, сказал он. — Особенно сейчас, когда мы ведем кампанию против Солженицына!

Монолог доктора Штокмана и в самом деле — чуть ли не слово в слово — совпадал с пущенной тогда Солженицыным в самиздат знаменитой его прокламацией «Жить не по лжи!»

Надо ли говорить, что через несколько дней после этого визита спектакль был запрещен.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

В 1955-м году в моей жизни случились два важных события: у меня родился сын и я устроился на работу.

Сразу лезут в голову знаменитые строки Пастернака:

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.

Но к моему случаю они не подходят.

Если даже мне и было свойственно то, что Пастернак, говоря о себе, назвал ребячествами, то я эти свои ребячества готов был бросить давно — еще четыре года тому назад, как только кончил институт. Но о том, чтобы устроиться на какую-нибудь штатную работу, я не мог тогда даже и мечтать. А тут даже и искать не пришлось: меня пригласили.

Мой отец утверждал, что главной причиной этого неслыханного везенья было рождение сына. Появился на свет новый человек, которого надо было кормить, растить и все такое прочее. И высшие силы — там, наверху, — следящие за тем, чтобы все было правильно в этом мире, распорядились найти для меня какие-то средства пропитания.

На самом деле, конечно, причина была другая: умер Сталин, началось медленное таяние ледника, под тяжестью которого мы жили... Мое объяснение выглядит, конечно, суше и прозаичнее. Но оно, как мне кажется, ближе к истине. Впрочем, дело не в объяснениях, а в сути. Суть же заключалась в том, что я, вчера еще отвечавший на письма детей в «Пионерской правде» по десять копеек за ответ и считавший этот мизерный и непрочный заработок величайшим благом, стал заведующим отделом художественной литературы журнала «Пионер».

У меня был отдельный кабинет — и телефон, по которому

мне звонили самые разные люди, в том числе и те, до которых раньше мне было не дотянуться. Всем им я был нужен. Все они обращались ко мне с просьбами. Кто-то хлопотал за талантливого молодого человека, пишущего стихи, и молил напечатать хоть одно, хоть самое маленькое его стихотворение. Кто-то — за старушку, которая отыскала и перевела на русский язык неизвестный, никогда прежде не печатавшийся в России рассказ Марка Твена. (Или Джека Лондона, или Конан-Дойла.)

И вот однажды позвонил по этому телефону Лев Эммануилович Разгон и сказал:

— Не сердитесь, пожалуйста! Я послал к вам одну женщину. Она пишет рассказы... Рассказы, между нами говоря, довольно слабые. Но я вас прошу: будьте с нею поласковее. Если не сможете ничего отобрать, так хоть откажите ей как-нибудь помягче: она, бедняга, только-только вернулась. Отсидела двадцать лет...

Двадцать лет! Это произвело на меня впечатление.

Оттуда возвращались тогда многие. Но максимальный — и чаще всего мелькавший в разговорах на эту тему — срок отсидки определялся цифрой семнадцать. Сам Лев Эммануилович, кстати, кажется, тоже отсидел ровно семнадцать лет. А тут — двадцать!

Естественно, я ожидал, что по этой рекомендации Разгона ко мне явится изможденная, быть может, даже дряхлая старуха.

Явилась, однако, весьма привлекательная молодая женщина. Молодая даже по тогдашним моим понятиям.

— Сколько же вам было, когда вас... Когда вы... И как вы ухитрились загреметь на целых двадцать лет? — не удержался я от вопроса.

И она рассказала такую историю.

Дело было в 1934-м году (а не в тридцать седьмом, как у всех: отсюда и двадцать лет вместо семнадцати). Ей было девятнадцать лет, она была, как говорили тогда, на пионерской работе. Попросту говоря, была пионервожатой. Пописывала разные очерки и статейки, печаталась иногда в «Пионерской правде». То есть — была уже как бы на виду. И вот в награду за все эти ее комсомольско-пионерские заслуги послали ее на лето пионервожатой в знаменитый пионерский лагерь «Артек».

Работа её ей нравилась, детей она любила, легко и хорошо с ними ладила, поскольку и сама была ненамного старше своих питомцев.

Но однажды произошел такой случай.

Созвал всех вожатых к себе в кабинет начальник лагеря и сделал им такое сообщение.

— Завтра, — сказал он, — к нам прибывает партия детей, повторивших подвиг Павлика Морозова. И мы должны устроить им торжественную встречу.

Все приняли это как должное. А если кто и удивился, то виду не подал, понимая, что возражать тут не приходится. Не смолчала только она — моя рассказчица.

— Понимаю! — прервал я ее рассказ. — Вы не удержались, наговорили им сорок бочек арестантов, сказали, как это чудовищно, когда сын доносит на родного отца, а общество не только поощряет доносительство, но даже объявляет это подвигом...

— Нет, — покачала она головой. — Ничего подобного я им тогда не сказала. Да, по правде говоря, я тогда так и не думала. Я сказала всего лишь, что дети эти, конечно, герои: они действительно совершили подвиг, поступили как подобает настоящим пионерам, верным ленинцам. Но все-таки, сказала я, донести на родного отца или на родную мать — не просто. Для нормального ребенка это огромная душевная травма. Поэтому, сказала я, мне кажется, что не следует устраивать этим детям торжественную встречу. Да и вообще не стоит им напоминать об этом их подвиге. Надо просто принять их в наш коллектив и сказать всем нашим ребятам, чтобы они были к ним повнимательнее, чтобы ни в коем случае не заводили никаких разговоров на эту деликатную тему, ни о чем таком их не расспрашивали...

Ей, конечно, дали суровый отпор. Начальник лагеря сказал, что выступление ее по существу является антипартийным, что его даже следовало бы рассматривать как вылазку классового врага. Но зная ее как хорошего работника, настоящую комсомолку, преданную делу партии Ленина-Сталина, он считает возможным на первый раз ограничиться замечанием.

Тем бы, наверно, дело и кончилось. Но упрямая девчонка на этом не успокоилась.

Под впечатлением услышанного, она сочинила рассказ о

мальчике, который донес на своего отца, а когда отца арестовали, промучившись несколько дней угрызениями совести, не выдержал, кинулся в озеро — и утонул.

Мало того. Сочинив этот рассказ, она прочла его своим питомцам на пионерском костре.

Ну и тут, конечно, уже ничто не могло ее спасти.

ЗАПУТАВШИСЬ В СВЯЗЯХ...

Это словосочетание я помню с детства. Так было сказано в газетном сообщении о самоубийстве Яна Гамарника: по официальной версии он покончил с собой, «запутавшись в связях с врагами народа».

Формулировку эту многие воспринимали юмористически, придавая ей другое, слегка фривольное значение.

Двусмысленность этой общепринятой формулы замечательно обыграла — как рассказывают — Ольга Берггольц. (Может быть, эта история выдумана — не знаю: за что купил — за то и продаю.)

Выступая на партийном собрании, на котором клеймили только что разоблаченного (то есть арестованного) бывшего руководителя РАППа Леопольда Авербаха, Ольга Федорова будто бы сказала:

— Даю слово коммуниста, что ни в какой связи с врагом народа Авербахом, кроме половой, я не состояла.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ ПУШКИНА

В 1937-м году вся наша страна с большой помпой отмечала столетие со дня гибели Пушкина.

Естественно, не осталась в стороне от этого события и школа. Были торжественные вечера, концерты. Ну и на уроках литературы, конечно, тоже постоянно толковали о Пушкине. И вот однажды наша учительница принесла в класс какой-то большой рулон, торжественно развернула его и достала два больших — каждый величиной с нашу школьную стенгазету — листа. Попросила дежурных по классу помочь ей прикрепить эти листы кнопками к стене. Вид у нее при этом был такой, точно она приготовила нам какой-то приятный сюрприз. Мы с интересом ждали.

И вот наконец долгая процедура прикрепления этих учебных пособий к стене закончилась, и перед нашим взором открылась такая картина.

Слева висел плакат, на котором — вверху — красовалась надпись: «*ДРУЗЬЯ ПУШКИНА*». Под надписью размещались портреты людей, многие из которых были нам хорошо знакомы: Пушкин, Кюхельбекер, Пестель, Рылеев, Чаадаев...

Справа был укреплен другой плакат, на котором такими же крупными буквами была выведена другая надпись: «*ВРАГИ ПУШКИНА*». Под ней красовались портреты людей, многие из которых тоже были хорошо нам известны: Николай Первый, граф Бенкендорф, Дантес... Замыкала эту галерею врагов Пушкина прелестная женская головка. То была красавица Натали, Наталья Николаевна, жена поэта.

МОГИЛА ДЕКАБРИСТА

Корреспондент «Комсомольской правды» приехал в Таллин с заданием написать очерк о каких-нибудь особенно интересных формах комсомольской (а может, пионерской?) работы.

В ЦК комсомола ему сказали, что комсомольцы республики взяли шефство над могилой декабриста. И это наверняка может стать хорошим материалом для его будущего очерка.

— А в чем выражается шефство? — спросил журналист.

— Постоянно ухаживаем за могилой. Следим, чтобы поддерживался порядок. Сажаем цветы. По праздникам пионеры и комсомольцы несут там почетный караул.

Выяснив, кто был инициатором этого мероприятия, кто разыскал могилу, записав все нужные ему для очерка сведения и имена, журналист напоследок спросил:

— А как фамилия этого декабриста?

Ему ответили:

— Бенкендорф.

Вернувшись в Москву, журналист расспросил знакомых историков: кто его знает, может, помимо известного ему Бенкендорфа, был еще и какой-то другой? Но знакомые историки заверили его, что никакого другого Бенкендорфа, тем более Бенкендорфа-декабриста — они не знают. А под

Таллином похоронен — тот самый Бенкендорф, Александр Христофорович, шеф жандармов.

«ЖИДИВЬСКА ВЕРА ПОЛЕГЧИЛА...»

В вестибюле малеевского Дома творчества, в котором я тогда жил, мне бросилось в глаза объявление, приглашающее всех желающих принять участие в экскурсионной поездке на Бородинское поле.

— Поедем? — предложил я моему другу Жене Винокурову.

Женя был тяжел на подъем, но от возможности своими глазами увидеть поле, на котором полтора века назад разыгралась легендарная Бородинская битва, отказаться не смог.

И вот мы с ним стоим в толпе экскурсантов на этом поле русской славы, воспетом Лермонтовым и описанном Львом Толстым, и экскурсовод, молодой человек с непроницаемым, как будто бы даже равнодушным лицом, во всяком случае, без тени каких-либо эмоций произносит такую речь:

— Мы с вами находимся перед могилой Багратиона. Собственно говоря, никакой могилы Багратиона здесь давно уже нет, потому что в 1923-м году по решению исполкома районного Совета депутатов трудящихся тело Багратиона, как верного царского слуги, было отсюда выкопано и зарыто где-то в другом месте. Где именно — неизвестно. При этом шпага Багратиона, украшенная драгоценными камнями, была украдена...

— Ты слышишь? — фальцетом крикнул мне оттесненный на другой край толпы экскурсантов потрясенный Женя.

— Слышу, сынку! — крикнул я ему в ответ.

Эту историю я припомнил несколько лет спустя, оказавшись в Алушке, в бывшем дворце графа Воронцова. Дворец был превращен в музей, и мы с женой, оказавшись поблизости, решили этот музей посетить.

Первое, что бросилось мне в глаза при входе в здание музея, был висящий на стене, писанный маслом портрет Воронцова.

Все-таки это благородно, — подумал я, мысленно сопоставив посмертную судьбу графа с посмертной судьбой князя Багратиона. — Все-таки «жидивьска вера полегчила», как любил говорить мой отец всякий раз, когда ему казалось, что

большевистский режим смягчает. Каков бы ни был граф Воронцов, но — как-никак — это все-таки его дом, выстроенный и обжитый им. И это справедливо, что при входе нас встречает портрет бывшего его хозяина.

Однако, подойдя поближе, я увидел, что под портретом бывшего хозяина дворца красуется надпись:

Полумилорд, полуневежда,
К тому ж еще — полуподлец.
Но тут однако ж'есть надежда.
Что будет полным наконец.

Нет, — подумал я, вздохнув. — Все-таки «жидивьска вера» еще не «полегчила». А если и «полегчила» — так самую малость.

СПРАВА НАЛЕВО

В Еврейском центре (есть теперь такой в Москве) шла презентация альманаха «Цовет» (по-русски — «Перекресток»). В альманахе этом были собраны сочинения писателей, живущих в России и — уехавших (давно или совсем недавно) в Израиль.

Произведения российских литераторов занимали первую половину альманаха, израильских — вторую. И эту вторую надо был читать наоборот, с конца альманаха — к началу.

В связи с этим кто-то из организаторов всего этого мероприятия рассказал такую историю.

В один из самых критических моментов существования государства Израиль (кажется, это было во время войны Судного Дня) в Иерусалим приехал Генри Киссинджер, тогдашний Государственный секретарь США. Израильцы, естественно, возлагали на него большие надежды — не только как на Государственного секретаря, но и как на еврея: будучи их соплеменником, он должен был, по их мнению, прилагать особые старания к тому, чтобы Соединенные Штаты оказывали Израилю в этом конфликте режим наибольшего благоприятствования. Киссинджер этим давлением, само собой, был недоволен. И выступая в Кнессете (израильском парламенте) весьма недвусмысленно это недовольство выразил.

— Во-первых, — сказал он, — я американец. Во-вторых —

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. И только в последнюю, третью очередь я — еврей.

— Это верно, — откликнулась Голда Меир. — Но ты забыл, что мы читаем справа налево.

УКРЕПИ И НАСТАВЬ

Эту историю я знаю, так сказать, из первоисточника: ее рассказал однажды при мне тот, кто был главным ее действующим лицом. Во всяком случае — одним из главных: Андрей Дмитриевич Сахаров.

Дело было на банкете, устроенном после первого испытания советской водородной бомбы. Испытания прошли хорошо, и Андрей Дмитриевич (руководитель проекта) был на этом банкете чуть ли не главным человеком. Во всяком случае, он многое мог тогда себе позволить. И позволил.

Поднявшись с бокалом вина, он сказал:

— Я хочу выпить за то, чтобы это страшное оружие массового уничтожения, на испытаниях которого мы все сейчас присутствовали, никогда не было пущено в ход.

Ответил на этот неожиданный и, по мнению большинства присутствующих, не совсем уместный тост — маршал Неделин. Именно он, конечно, был первым человеком на этом банкете: Сахаров, при всех своих несомненных заслугах, все-таки был тут вторым.

Не вступая в прямую полемику с прекраснодушным молодым ученым (Андрею Дмитриевичу было тогда всего-навсего тридцать два года), маршал рассказал собравшимся такую байку.

Лежит в кровати попадья и ждет, когда батюшка наконец тоже ляжет и приступит к исполнению своих супружеских обязанностей. Но тот — занят молитвой. Он бьет перед иконами поклон за поклоном и повторяет:

— Господи! Укрепи и наставь... Укрепи и наставь!

А молодой попадье — не терпится. И вот, не выдержав, она прерывает его благочестивую молитву:

— Ладно уж! Ты молись, чтобы укрепил. А наставлю — я сама!

Андрей Дмитриевич понял этот тонкий намек. И — кто знает? — может быть, именно тогда-то и закралось впервые в

его душу сомнение насчет того, стоило ли ему укреплять своим изобретением тех, кто ни при какой погоде не собирался принимать в расчет его мнение о том, как, когда и куда его направить.

НЕ ЛОВИТСЯ, НО – ХАРАКТЕРИЗУЕТ

Камила Икрамова посадили очень рано. Ему, кажется, даже и шестнадцати еще не стукнуло. Причина ареста была проста: он был сыном Акмаля Икрамова – секретаря ЦК Узбекистана, расстрелянного вместе с Бухариным и Рыковым. По тюрьмам и лагерям Камил мыкался много лет и мыкался бы всю жизнь, если бы не смерть Сталина и последовавшая за ней хрущевская оттепель. Много страшного довелось ему повидать и пережить за те годы. Но почти все его лагерные и тюремные рассказы (а рассказчик, надо сказать, он был блистательный) прямо-таки искрились юмором и вообще тяготеги скорее к жанру комическому.

Вот, например, такая история.

Довольно быстро сообразив, что никакие отрицания своей мнимой вины ему все равно не помогут, Камил почти сразу принял условия игры, предложенные ему следователем. А условия были такие. Следователь вызывал его для очередного допроса, отправлял конвоиров, после чего они с подследственным играли в шахматы. А к концу сеанса Камил без колебаний подписывал всю ту ерунду, которую его следователь излагал в заранее заготовленном протоколе.

Время от времени, прислушавшись к каким-то звукам, доносившимся из коридора, следователь, быстро смахнув шахматную доску и фигуры в ящик стола, начинал орать:

– Колись, гад! Колись, вражина!..

И – четырехэтажный мат.

Дверь отворялась и на пороге возникал какой-то чин – судя по всему – начальник.

Ширинка при этом у него всегда была расстегнута: очевидно, неподалеку от комнаты, где проходил допрос, был туалет, и направляясь туда – или возвращаясь оттуда – начальник Камилова следователя и осуществлял попутно свои начальственные, инспекторские функции.

– Что, не колется? – спрашивал он. И поощрительно кидал на прощанье:

– Давай, давай, так его, падлу!.. Ничего, расколется! Куда он, сука, денется!

После чего удалялся, а следователь и подследственный возвращались к шахматам.

Но шахматы следователю вскоре надоедали. И тогда он требовал, чтобы Камил рассказал ему какой-нибудь анекдот. Камил рассказывал.

Посмеявшись, следователь говорил:

– Хороший анекдот. Смешной. И не ловится... Но все-таки он тебя характеризует... А вот, послушай, я тебе расскажу...

Собственный его репертуар был крайне узок: он, как правило, сводился ко всякого рода непристойностям.

– Ну что? Ведь верно, смешной? – спрашивал он, рассказав очередной затасканный анекдот из цикла – муж, жена, любовник.

– Смешной, – соглашался Камил.

– И заметь, – удовлетворенно говорил следователь. – Не ловится, и никак меня не характеризует.

Это, – сообразил Камил, – была их профессиональная терминология. Может быть, даже был у них какой-нибудь спецкурс, какой-нибудь такой семинар или практические занятия, на которых их специально натаскивали, как различать и сортировать анекдоты по признаку: «ловится – не ловится», «характеризует – не характеризует», «не ловится, но – характеризует».

ПАРТИЯ КАЙДАБАЛСАН...

Это тоже рассказ Камила Икрамова.

В 1954 году в Ташкенте он присутствовал на каком-то очень торжественном концерте.

Концерт открывался, как еще полаглось в те времена, песней о Сталине. Ее исполнял национальный хор, в национальных костюмах, на национальном (узбекском) языке.

Хор пел:

Ста-лин кай-да-балсан,
Ста-лин кай-да-балсан...

Что означало загадочное слово «кайдабалсан», Камил не объяснил, но никаких объяснений тут и не требовалось.

На следующий год Камил вновь оказался в Ташкенте. И опять попал на такой же торжественный концерт.

Открывал его тот же хор, исполнявший ту же самую песню. Но теперь она звучала так:

Пар-тия кай-да-балсан,
Пар-тия кай-да-балсан.

ЭТО БЫЛО БЫ НЕ КОРПОРАТИВНО

В 30-е годы, когда на всех углах кричали о бдительности и напропалую шерстили кадры, какая-то комиссия добралась и до Московской коллегии адвокатов. И в личном деле одного из членов коллегии, старого адвоката по фамилии Переверзев, наткнулись они на такую записку:

Я знаю гр-на П.Н. Переверзева как юриста высокой квалификации, честного и добросовестного работника. Прошу оказать ему содействие в устройстве на работу по специальности.

Под запиской стояла подпись: «Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)».

Между тем анкета у гражданина Переверзева была нехорошая. И социальное происхождение не такое, как надо. И в какой-то не той партии до революции состоял — то ли в меньшевистской, то ли в эсеровской.

Времена были такие, что все эти анкетные данные вполне могли перевесить записку Владимира Ильича, поскольку тот, хоть и был «живее всех живых», заступиться за своего протеже уже не мог. А вот тот, кто был «Ленин сегодня», очень даже мог выразить свое недовольство, если бы ему донесли, что его указания о бдительности выполняются недостаточно строго.

Случай был непростой. И председатель комиссии решил побеседовать с гражданином Переверзевым лично.

Разговор, как водится, начался с вопросов анкетных. Когда родился, где учился, чем занимался до революции...

Выяснилось, что до революции тот был присяжным поверенным.

— А после революции? — спросил председатель комиссии.

— Какую революцию вы имеете в виду? — спросил Переверзев.

Председатель сухо пояснил, что имел в виду революцию не пятого, а семнадцатого года.

— В одна тысяча девятьсот семнадцатом году, молодой человек, — сказал Переверзев, — в России было две революции. О какой именно из них вы изволите спрашивать?

— Ну, хорошо. Допустим, о февральской.

— После февральской революции я имел честь быть министром юстиции в правительстве Александра Федоровича Керенского, — сообщил «юрист высокой квалификации».

У председателя комиссии от этого сообщения, как говорится, отвисла челюсть.

— Более того, — невозмутимо продолжал Переверзев. — После июльского выступления большевиков я лично, вот этой самой рукой, подписал ордер на арест Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

— Но как же вы... Как же вас... Почему же тогда Владимир Ильич... — только и мог пролепетать потрясенный председатель комиссии.

— А потому, — объяснил Переверзев, — что подписав этот ордер, прежде чем передать его министру внутренних дел, я через своих людей уведомил о том Владимира Ильича... Все явки его были нам известны... Получив мое уведомление, Владимир Ильич, как вы, вероятно, догадываетесь, успел скрыться.

— Но почему вы так поступили?! — обрел наконец дар речи председатель. — Вероятно, вы втайне сочувствовали большевикам?

— О, нет! — покачал головой бывший министр. — Ни в малейшей степени... Не сочувствовал и не сочувствую. А поступил я так потому, что не мог поступить иначе. Ведь мы с Владимиром Ильичом были в некотором роде коллегами. Оба кончали Петербургский университет, жили даже как-то неподалеку друг от друга в эмиграции, в Швейцарии... Как я мог его не предупредить? Это было бы не корпоративно.

Я ПУТЕШЕСТВОВАЛА ИНКОГНИТО

Эта история непохожа на предыдущую, хотя в ней тоже фигурирует записка В.И. Ленина.

Она была обнаружена в личном деле тихой старушечки, мелкой какой-то сотрудницы Ленинской библиотеки.

Как и в предыдущем случае, Владимир Ильич характеризовал подательницу письма как хорошего специалиста, добросовестного работника, свободно владеющего несколькими иностранными языками. И тоже просил, по возможности, как-нибудь ее трудоустроить. Что, по-видимому, и было сделано.

Старушка между тем, как выяснилось, была не простая.

В анкете — на вопрос о том, есть ли у нее родственники за границей, — она ответила, что да, есть. И перечислила чуть ли не всех членов Британской королевской семьи.

Директор библиотеки, когда ему доложили об этих чрезвычайных обстоятельствах, просто потерял голову. Числить в коллективе вверенного ему учреждения сотрудницу с такими родственными связями, было, разумеется, невозможно. Однако и уволить человека, принятого на службу по личной рекомендации Ленина, тоже было не просто.

Положение было безвыходное.

Но, как известно, нет на свете таких крепостей, которые не могли бы взять большевики.

Как раз в это время должна была открыться в Англии международная книжная выставка. И Ленинская библиотека тоже собиралась послать на эту выставку какие-то свои экспонаты. Вот директора и осенило: включить в группу сотрудников, отправлявшихся с этими раритетами в Лондон, ту самую старушку.

Хитроумный замысел его состоял в том, чтобы дать ей в дорогу самое мизерное количество валюты. Чтобы она — ну никак не могла протянуть в Лондоне те десять-двенадцать дней, которые были отпущены ей командировкой. При таком раскладе у нее было только два выхода: либо помереть с голоду, либо — остаться в Англии. Директор, естественно, рассчитывал именно на второй вариант.

Прекрасный план этот, однако, не удался: старушка вернулась. Осунувшаяся, изможденная, превратившаяся чуть

ли не в собственную тень, она, как ни в чем не бывало, в назначенный срок вышла на работу и приступила к исполнению своих служебных обязанностей.

— Ну, и как вам там жилось, в Лондоне? — не скрывая своего раздражения, спросил у нее директор.

Довольно сухо она отвечала, что жилось ей там трудно, потому что с теми деньгами, которые были ей выданы, жить в Британской столице она могла только впроголодь.

— Но ведь вы могли обратиться к своим родственникам? — ехидно сказал директор.

— В этот раз, — надменно ответила она, — я путешествовала инкогнито.

P. S.

Я уже не помню, кто рассказал мне эту историю. Не шибко верил в ее достоверность. Не удивился бы даже, если бы вдруг выяснилось, что всё это — чистой воды выдумка. Но после того как новелла эта — в числе нескольких других — была напечатана (в «Литературной газете»), мне позвонил Никита Владимирович Богословский и сообщил, что родственница английской королевы, за которую хлопотал Ленин, — фигура не выдуманная, а вполне реальная. Звали её — Дора Евгеньевна Лейхтенберг. Она сочиняла и издавала какие-то детские книжки. Была дочерью герцога Лихтенбергского. (Его звали — Евгений Максимилианович.)

ТЫ МНЕ ЖИДАМИ ГЛАЗА НЕ ЗАМАЗЫВАЙ!

Один зек рассказывал в лагере моему приятелю, как следователь «раскалывал» его, требуя все новых и новых фактов, подтверждающих его участие в преступлениях немецко-фашистских захватчиков против советского народа.

Тот долго не раскалывался, но, видя, что деваться некуда и что-нибудь все равно придется на себя навесить, выдавил из себя признание, что принимал участие в акциях против евреев.

— Ладно, ладно, — сказал ему на это следователь. — Ты мне жидами глаза не замазывай! Ты о преступлениях расскажи!

ТЫ ДОЛЖНА МЕНЯ ПРОКЛИНАТЬ...

Любовь Михайловна Эренбург и Надежда Яковлевна Мандельштам дружили чуть ли не с детства. Во всяком случае, с ранней юности.

— Я знала, — рассказывала Любовь Михайловна, — что Ося влюблен в Надю, что у них всё уже давно сговорено. Но Надя томилась в Киеве, а он болтался то в Москве, то в Питере, и делать решительный шаг не спешил.

И вот, страдая за подругу, Любовь Михайловна однажды не выдержала и сказала ему:

— Ося, по-моему, вам надо поехать в Киев за Надей и привезти ее сюда.

Осип Эмильевич послушался. Поехал и привёз.

— А совсем недавно, — закончила свой рассказ Любовь Михайловна, — вспомнив про это, я сказала Наде: «Ты должна проклинать меня. Ведь это я обрекла тебя на эту ужасную, кошмарную жизнь!»

— И что она вам на это сказала? — спросил я.

— Она сказала: «За всю жизнь у меня не было ни одного дня, когда я пожалела бы об этом».

КАРТОННАЯ ПОЭМА

В начале 60-х в Малеевке — писательском Доме творчества — я познакомился и довольно близко сошелся с Иосифом Ильичом Юзовским.

Тогда ходила по рукам еще не опубликованная повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и мы оба — одновременно — ее прочли. На мой вопрос, какое впечатление произвела на него эта вещь, Юзовский сказал, что очень сильное. И вдруг добавил:

— Но ведь это нельзя!

— Что нельзя? — удивился я.

— Она против социализма, — объяснил он. — А это нельзя.

Сперва я даже не понял: как — нельзя? Почему нельзя? Нельзя, потому что — не пропустят, не напечатают? Потому что писать в таком духе — дело заведомо безнадежное? (Как сказал мне однажды в разговоре на эту тему Виктор

Борисович Шкловский: «Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости!»)

Оказалось, однако, что Юзовский имел в виду совсем другое. Он искренне полагал, что писать вещи, направленные против социализма, нельзя по более важным, отнюдь не внешним причинам. Что тут должен действовать гораздо более мощный, сугубо внутренний запрет.

Поясняя эту свою мысль, он рассказал мне такую историю.

В 1927-м году, когда Маяковский опубликовал свою поэму «Хорошо!», он, Юзовский, жил в Ростове. Был он тогда молодой (очень молодой) критик, но местная газета его статьи охотно печатала. Никакого культа Маяковского тогда еще не было и в помине, и без особых сложностей он опубликовал в той же ростовской газете о новой поэме Маяковского очень резкую статью. Статья была просто разгромная, даже издевательская. Достаточно сказать, что называлась она — «Картонная поэма». Во время космополитической кампании, в которой Юзовский шел первым номером, главным злодеем, эту статью ему, разумеется, припомнили. Она стала едва ли не главным пунктом вменявшихся ему в вину преступлений: пигмей поднял руку на гиганта!

Гигант, однако, не счел для себя унижительным, приехав в Ростов, встретиться с осмелившимся поднять на него руку «пигмеем». Более того, он сам разыскал его, зазвал в какой-то шалман, что-то там такое заказал и сурово потребовал объяснений.

Юзовский хоть и был тогда очень молод и, естественно, глядел на Маяковского снизу вверх (не только метафорически, но и буквально: он и в самом деле был очень маленького роста), отречься от своей статьи не стал.

Сбивчиво, но очень взволнованно, убежденно он заговорил о том, какая страшная жизнь вокруг и как она непохожа на ту, какую изобразил Маяковский в своей поэме. Вчера, — говорил он, — стреляли в секретаря крайкома. В округе, по лесам бродят вооруженные банды. На улицах города валяются трупы. Люди пухнут от голодухи. А у вас? «Сыры не засижены... Цены снижены...» Какие сыры? Где вы их видели, эти сыры? «Землю попашет, попишет стихи...» Где это, интересно знать, вы увидели этих ваших опереточных крестьян?!

Маяковский слушал, не перебивая. Долго и мрачно молчал. А потом сказал:

— Значит так. Через десять лет в этой стране будет социализм. И тогда это будет хорошая поэма... Ну а если нет... Если нет, чего стоит тогда весь этот наш спор, и эта поэма, и я, и вы, и вся наша жизнь...

БЫЧЬИ СЕМЕННИКИ

Боря Слуцкий очень любил художников. Особенно «левых». С одним таким «левым» художником — С.Я. Адливанкиным — он однажды меня познакомил.

Картины С.Я. не так чтобы очень мне понравились. И то обстоятельство, что был он — «левый», в то время уже не имело в моих глазах такой уж большой цены. Но, как выяснилось, в молодости С.Я. довольно близко знал Маяковского. И это сразу повысило мой интерес к нему на добрый десяток градусов.

С жадностью я стал мучить его разного рода вопросами, главным из которых, разумеется, был уже порядком ему надоевший: отчего Маяковский застрелился?

С этим вопросом я в юности лез чуть ли не к каждому сверстнику поэта. И ответы получал самые разнообразные. Был среди них, например, и такой:

— Догадались бы при жизни пожаловать вашему «лучшему, талантливейшему» какой-нибудь орден, так ему бы, небось, и в голову не пришло стреляться.

Кто намекал на политические причины, кто на любовные, кто на болезнь (диапазон тут был большой — от шизофрении до сифилиса).

Но ответ Адливанкина был непохож на все слышанные мною прежде объяснения.

— Много еще будут об этом гадать, спорить, — задумчиво сказал он. — Полная правда выяснится, наверно, не скоро. Но одно мне ясно. Только тот, кто жил в то время, может понять, каким шоком для всех было то, что случилось с нашей жизнью в самый канун его самоубийства... Представьте, магазины ломаются от товаров. Икра, балык, свежайшая, нежнейшая розовая ветчина, фрукты, Абрау-Дюрсо и прочее... И вдруг: входите вы в магазин, а кругом — пустые прилавки.

На всех полках только один-единственный продукт: «Бычьи семенники». Маяковский, знаете ли, к таким вещам был о-очень чувствителен...

ГИБЛОЕ ДЕЛО

А этот рассказ — другого художника — я слышал от Наташи Роскиной.

Она познакомилась с ним после войны, в Саратове, где он оказался после так называемой репатриации. А до того — был эмигрантом. На родину хотел вернуться давно, но возможность такая представилась только в сорок пятом. И он немедленно этой возможностью воспользовался.

Во время революции молодой художник Николай Гушин оказался на Урале. Был он в ту пору горячим сторонником большевиков, распространял какие-то большевистские листовки. Но сила тогда была на стороне Колчака, и, спасаясь от колчаковской контрразведки, он — после разных передраг — оказался на Дальнем Востоке. А оттуда, морем, попал в Европу. И в конце концов обосновался в Париже.

Тут бы ему и укорениться: ведь для художника Париж — это земля обетованная.

Но Гушин мечтал о возвращении домой, на родину. И стал хлопотать о въездной визе.

Однако большевики — те самые, из-за приверженности к которым он, в сущности, тут и оказался, — в визе ему решительно отказали.

Он обивал пороги советского посольства и консульства, добивался, хлопотал, возмущался, просил, умолял, доказывал — ничего не помогало.

Так прошло несколько лет.

И вот однажды он встретил в кафе Маяковского — старого своего приятеля, еще по дореволюционной художественной Москве.

Гушин кинулся к нему как к родному. Рассказал о своих мытарствах и, зная, что Маяковский в Советской России человек влиятельный, попросил помочь. Но Маяковский на эту просьбу отреагировал неожиданно. Он сказал:

— А зачем, собственно, тебе туда ехать?

— То есть как — зачем? — изумился Гушин.

Ему казалось, что кому другому, но уж Маяковскому

объяснять это ему во всяком случае не придется. И этот странный вопрос поэта был для него — как ушат холодной воды.

— Как это — зачем? — растерянно пролепетал он. — Работать! Для народа!

Маяковский мягко положил руку ему на плечо и сказал:

— Брось, Коля! Гиблое дело.

Я ОТ БАБУШКИ УШЕЛ

Шел я однажды по нашей улице и встретил Виктора Борисовича Шкловского. Постояли, поговорили. На мой вопрос: как жизнь? Что нового? — Шкловский сказал:

— Понимаете, история такая! Был в Италии. Еду во Францию. В Германии переводится моя книга. В общем, я от бабушки ушел! — заключил он, улыбнувшись своей «улыбкой Будды».

Поговорив еще немного о том, как славно складываются наконец после многолетних мытарств его дела, мы расстались.

Я пошел дальше и, пройдя еще несколько шагов, встретил Слуцкого.

— Что пишете? Против кого? Как романы и адюльтеры? — обрушил он на меня весь джентльменский набор обычных своих вопросов.

Не имея в запасе никаких интересных сведений о чьих-либо романах и адюльтерах, я рассказал, что только что встретил Шкловского, который известил меня, что был в Италии, едет во Францию и вообще «от бабушки ушел».

Выслушав мое сообщение, Слуцкий сказал:

— Боюсь, он недостаточно хорошо представляет себе характер этой бабушки.

РАНО УТРОМ ЕГО РАЗБУДИЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Ранным утром 13-го января 1953-го года...

Но сперва надо напомнить, что принесла с собой эта дата. А принесла она вместе с утренними газетами сообщение о разоблачении чудовищного заговора врачей-убийц. Виднейшие

представители отечественной медицины обвинялись в том, что злодейски умертвили ближайших соратников Сталина — Жданова и Щербакова, и если бы не бдительность наших славных органов государственной безопасности, теми же изощренно-коварными способами отправили бы на тот свет и всех прочих его соратников, а затем и его самого. В перечне имен названных в этом сообщении злодеев доминировали еврейские фамилии: Фельдман, Эттингер, Вовси, Коган... Коганов было даже двое. И хотя упоминался в этом перечне и знаменитый русский врач — профессор Виноградов, — сообщение не оставляло ни малейших сомнений насчет того, КТО был душой и главной действующей силой этого все-ленского заговора.

Сценарий дальнейшего развития событий был уже написан. Осужденных «убийц в белых халатах» должны были повесить на Красной площади, после чего по всей стране прокатилась бы волна еврейских погромов. И тогда, спасая уцелевших евреев от справедливого гнева народного, их сослали бы в места отдаленные, где уже загодя строились для них бараки.

13-го января этот сценарий во всех деталях и подробностях, разумеется, еще никому не был известен. Но зловещий смысл сообщения был очевиден. О том, затронет ли дальнейшее развитие событий всех «лиц еврейской национальности» или в водоворот грядущих бедствий будут втянуты лишь некоторые — наиболее заметные, — предстояло только гадать.

И вот в этот роковой день, ранним утром 13-го января 1953-го года, в квартире театрального критика Константина Рудницкого, к слову сказать, за несколько лет до этого (в сорок девятом) причисленного к «космополитам», раздался телефонный звонок.

Сняв трубку и произнеся традиционное «я слушаю», критик узнал голос близкого своего приятеля, известного московского репортера Наума Мара, которого злые языки наградили прозвищем «Трижды еврей Советского Союза». (Прозвали его так потому, что подлинная фамилия его была «Мармерштейн».) Помимо этого прозвища Мар был знаменит бурным темпераментом и неумением держать язык за зубами.

Опасаясь, что «трижды еврей» наговорит сейчас много лишнего (а он почти не сомневался, что его телефон прослушивается), Костя решил держаться с ним сухо, даже холодно и, уж само собой, ни в какие обсуждения газетных новостей ни в коем случае не вступать.

Но мудрое это решение ему не помогло.

— Костя! Ты уже читал газеты? Что ты молчишь? Сообщение про врачей читал? — сразу взял быка за рога «трижды еврей».

Деваться было некуда: ответишь, что не читал, тот начнет пересказывать и, разумеется, комментировать. Уж лучше сказать, что читал.

— Читал, — сдержанно ответил он.

— Я надеюсь, ты понял, что это значит?

— Да, конечно. — Так же сдержанно ответил Костя.

— Что, конечно? Что ты понял? Я вижу, что ничего ты не понял. Так вот, Костя! Слушай меня внимательно!.. Ты должен вести себя так, как будто к тебе всё это никакого отношения не имеет.

— Но ведь это и в самом деле никакого отношения ко мне не имеет, — сказал Костя, стараясь, чтобы его ответ звучал как можно простодушнее.

— Слушай, Костя! — разозлился «трижды еврей». — Не валяй дурака! Ты ведь прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Так вот: заруби, пожалуйста, себе на носу! Ты должен вести себя так, как будто тебя все это совершенно не касается. Как будто к тебе лично, — повторяю, к тебе лично, — это никакого отношения не имеет. Ты меня понял?

При мысли, что этот идиотский диалог кто-то (не просто «кто-то», а известно КТО!) слушает, у Кости по спине потекла струйка холодного пота.

— Но ведь ко мне лично все это действительно... — снова начал он.

Договорить ему не удалось. На него обрушился такой поток ругательств, обвинений в слепоте, идиотизме, непонимании, где он живет и что вокруг него происходит, а также многословных раздраженных объяснений, чем это непонимание ему грозит, что он не нашел в себе сил продолжать этот разговор и в смятении повесил трубку. На душе у него было муторно. Он почти не сомневался, что эта история наверняка будет чревата для него самыми дурными последствиями.

Но, слава Богу, пронесло. То ли подслушка плохо работала, то ли у слушавших руки до всех не доходили. А вскоре умер Сталин, врачей выпустили на свободу, и народ-языкотворец подвел всем этим событиям такой стихотворный итог:

Дорогой товарищ Вовси,
Друг ты наш и брат,
Оказалось, что ты вовсе
И не виноват.

Дорогой товарищ Коган,
Кандидат наук!
Виновата эта погань —
Лидка Тимашук.

Дорогой товарищ Фельдман —
Ухо-горло-нос,
Ты держал себя, как Тельман,
Идя на допрос...

Были, кажется, у этой народной песни и другие куплеты, но я их не помню.

«И ПОДИВИЛСЯ ТАРАС...»

Через месяц после смерти Сталина, а точнее — 4-го апреля 1953-го года, в газетах появилось сообщение, что врачи убийцы — не убийцы. Это была грандиозная сенсация. Впервые за всю историю советского государства власть призналась, что готовившийся мрачный процесс был липой. Мало того, в официальном сообщении прямо говорилось, что по отношению к арестованным врачам применялись «недозволенные методы ведения следствия». Иными словами, открыто было признано, что врачей пытали.

Сообщение об освобождении «убийц в белых халатах» потрясло многих. Но евреев это радостное сообщение, конечно, касалось в первую очередь. Ведь со дня на день ждали погромов. А о грядущей высылке «лиц еврейской национальности» в места отдаленные говорилось уже как о деле решенном. (По гениальному замыслу вождя их должны были выслать, спасая от справедливого народного гнева.) И вот эта черная туча, сгустившаяся над головами советских евреев, вдруг рассеялась.

Все стало вокруг голубым и зеленым. И не только метафорически, но и в прямом, буквальном смысле этот апрельский день тоже был сияющим, солнечным, ясным...

Семен Израилевич Липкин шел по Тверской (тогда она еще называлась улицей Горького), а навстречу ему шли два знакомых еврея, два его соседа по дому. Они оживленно о чем-то говорили, отчаянно при этом жестикулируя.

Семен Израилевич, улыбаясь, подумал, что это как раз тот случай, когда не приходится особенно гадать, о чем так возбужденно беседуют два идущих ему навстречу приятеля. Смешно было даже предполагать, что в ТАКОЙ день два московских еврея могут так взволнованно обсуждать какую-нибудь другую тему, кроме той, которая была тогда у всех на уме и на языке.

Но поравнявшись с двумя своими соседями, Семен Израилевич с изумлением обнаружил, что догадка его была неверна.

Никого и ничего не замечая, они возбужденно обсуждали совсем иную тему. До Липкина донеслось:

– Это Я ее упустил?.. Это ТЫ ее упустил!..

«Ну и ну!» – подумал он. И двинулся дальше.

Спустя минут сорок, возвращаясь по той же Тверской назад, он снова встретил тех же двух приятелей. Они так же оживленно жестикулировали и так же пылко о чем-то спорили.

«Ну, уж теперь-то они наверняка говорят ОБ ЭТОМ», – подумал Липкин. И нарочно замедлил шаг, прислушиваясь к беседе друзей, по-прежнему поглощенных друг другом и не замечавших ничего и никого вокруг.

На этот раз до него донеслось:

– Это ТЫ ее имел?.. Это Я ее имел! (Глагол, конечно, был другой.)

Обескураженный Липкин продолжал свой путь, мысленно повторяя бессмертную гоголевскую фразу: «И подивился Тарас бойкой жидовской натуре!»

ДЕЛО ВРАЧЕЙ И КРАБОВИДНАЯ ТУМАННОСТЬ

Иосиф Шкловский прославился своим сенсационным предположением, что спутники Марса – Фобос и Деймос – искусственные. Эта гипотеза сделала его знаменитым. Но как только американцам удалось сфотографировать Фобос и

Деймос с близкого расстояния, версия об их искусственном происхождении рухнула.

Научный авторитет Шкловского эта история не поколебала, поскольку в узких ученых кругах его ценили совсем не за это.

Ценили, между прочим, весьма высоко.

Однажды Иосиф притащил и показал мне том какой-то американской энциклопедии, в которой его имя и маленький портрет красовались в ряду шести самых выдающихся астрофизиков XX века. Этой чести, как он мне объяснил, он удостоился из-за Крабовидной туманности. Раньше — до его открытия — считалось, что излучение далеких звезд может быть только тепловым. Но излучение Крабовидной туманности в эти параметры не укладывалось. Оно было каким-то аномальным. И никто не мог объяснить почему. (Прошу прощения, если что-то перевираю, — на смысле истории, которую я собираюсь рассказать, это не отразится.)

И вот однажды, а именно 4-го апреля 1953-го года, молодой Иосиф Шкловский вышел из дому, чтобы отправиться в свой родной университет, где он был на птичьих правах: вот-вот его должны были уволить, поскольку был он евреем, а в стране в то время бушевало знаменитое дело врачей — убийц в белых халатах. Соплеменнику убийц в советском учреждении, а тем более таком престижном, как Московский государственный университет, было не место.

Выйдя из дому и дожидаясь трамвая, Иосиф подошел к газетному стенду, на котором был вывешен только что вышедший свежий номер газеты «Правда». Подошел он к этому стенду, заглянул в газетный лист и прочел, что вышла ошибка: врачи убийцы — не убийцы.

Кровь кинулась Иосифу в голову. И, видимо, от этого притока свежей крови к сосудам головного мозга его вдруг осенило.

А что, подумал он, если природа излучения Крабовидной туманности вообще — иная? Может, это вовсе и не тепловое, а, например, радиоизлучение?

Подошел трамвай. Как водится, он был битком набит москвичами, торопящимися на работу. До врачей убийц, а тем более до Крабовидной туманности им не было никакого дела.

Иосиф вскочил на подножку, попытался протиснуться в вагон. Но это ему не удалось. И вот, стоя на раскачивающейся трамвайной площадке, стиснутый со всех сторон едва проснувшимися согражданами, он просчитал — математически — вероятность своей гипотезы. И всё сошлось. Никаких сомнений: это было радиоизлучение.

Одно из шести самых крупных открытий в астрофизике XX века было сделано.

А всё потому, что врачи-убийцы, как оказалось, — были не убийцы.

СКОЛЬКО ВАМ ТОГДА БЫЛО ЛЕТ?

Был такой литературный критик — Владимир Барлас. По профессии он был, если не ошибаюсь, геолог. Но влюбленный в поэзию, бредивший стихами, он стал писать статьи о своих любимых поэтах, и постепенно это его хобби стало профессией. Его даже приняли в Союз писателей.

Время от времени мы с ним встречались и разговаривали. Иногда спорили. Бывало, часами. И вот однажды, когда очередная такая наша поэтическая встреча сильно затянулась, я хватился, что меня давно уже ждут друзья.

— Да, мне тоже уже пора, — сказал Барлас, озабоченно взглянув на часы.

Мы вместе вышли, вместе спустились в метро, вместе доехали от моего «Аэропорта» до «Маяковской», продолжая какой-то наш бесконечный, не сегодня начавшийся спор.

Выйдя из метро, я спросил:

— А вы куда?

Спросил в том смысле, что если нам и дальше по пути, мы, может быть, сможем перекинуться еще парочкой-другой аргументов в нашем затянувшемся споре.

Барлас ответил:

— Я — в Союз. Там сегодня закрытие сети партийного просвещения. Последнее занятие.

Ответ этот меня изумил. Среди моих знакомых не было, кажется, ни одного, кто ходил бы на эти казенные лекции и семинары. Но Владимир Яковлевич Барлас, пожалуй, даже менее, чем кто-либо другой из всех моих друзей и приятелей,

был похож на человека, которого можно было бы заманить «под своды таких богаделен».

— Вы в самом деле ходите на эти занятия? — не удержался я.

Он сухо ответил:

— Хожу.

— Зачем? — спросил я, искренне желая понять эту загадку. Чёрт его знает! Может, там, на этих партийных семинарах, и впрямь бывает что-то интересное? А может, ему интересны члены Союза писателей, посещающие эти занятия? Для меня это привычная и малопривлекательная, а для него все-таки совсем новая, незнакомая ему среда.

Но ответ Барласа на мой бестактный вопрос лежал, как оказалось, совсем в иной плоскости.

— Бенедикт Михайлович, — тихо сказал он. — Сколько вам было лет в 37-м году?

Я сказал:

— Десять.

— А мне — двадцать...

Дело было вечером, спорить было нечего.

Мы молча пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я — по своим делам, уж не помню сейчас куда. А он — в Союз писателей, на последнее в том сезоне занятие сети партийного просвещения.

ЧТО ВАМ СКАЗАТЬ...

В Литературном институте, где я учился, время от времени устраивали «Вечер одного стихотворения». В нем, как правило, принимали участие все институтские поэты. А их у нас была — тьма. И каждый подымался на кафедру — а может, правильнее сказать, на трибуну — и читал какое-нибудь одно свое стихотворение.

Костя Левин на трибуну не поднялся. Он встал с нею рядом.

Все наши ребята-фронтовики ходили тогда еще в стареньких гимнастерках, в потертых своих офицерских кителях. Но Костя был в штатском: в хорошо выглаженных серых брюках, в таком же аккуратном сером пиджаке.

— Нас хоронила артиллерия, — негромко сказал он. И в зале сразу стало очень тихо.

Это было название.

Все стихотворение я, конечно, не запомнил. Но некоторые строки и сейчас, полвека спустя, помню дословно, словно услышал их только вчера:

Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках медслужбы.

Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере — брому.
А те из нас, что были мёртвыми, —
Земле, и никому другому.

Стихи эти ошеломили меня. Они резко выделялись на фоне всех других, читавшихся в тот вечер. Но не столько этими «батальными» картинками, сколько тем, что последовало за ними:

Тут всё ещё ползут, минируют
И принимают контрудары.
А там — уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары...

И там, вдали от зоны губительной,
Циклюют и вошат паркеты.
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету.

И там, по мановенью Файеров,
Взлетают стаи Лепешинских,
И фары плавят плечи фраеров
И шубки женские в пушинках.

Особенно резко впечатались в память строки об одном из тех, кого «хоронила артиллерия», случайно выжившем и явившемся из своего фронтового ада в эту сверкающую салютами, праздничную Москву:

Кому-то он мешал в троллейбусе
Искусственной ногой своею...

Боже! Что тут началось!

Приговор был вынесен сразу: «Противопоставление

фронта тылу». Противопоставление, понятное дело, совершенно недопустимое и даже кощунственное.

Костю за это стихотворение топтали так долго и с таким садистским сладострастием, что в конце концов переломали-таки ему спинной хребет. Со стихами он «завязал». (Так, во всяком случае, отвечал на не слишком деликатные вопросы всех, кто интересовался его новыми творческими достижениями.) Стал литконсультантом. (Была тогда такая профессия.) Долго и мучительно болел. Перенес тяжелую операцию. И — умер.

В 1988-м году стараниями друзей удалось собрать и издать крохотную книжицу его стихотворений. Но она промелькнула как-то незаметно. Хотя стихотворение «Нас хоронила артиллерия» там тоже было, оно даже открывало книгу. Но и оно как-то потускнело, поблекло. Словно печатный станок, облизав его свинцовым своим языком, лишил его былого магнетизма.

На самом деле виноват был, конечно, не печатный станок. Всё объяснялось куда как проще: замордованный автор долго мучил, терзал это свое создание. Что-то там в нем менял, переделывал, дописывал. (Под печатной редакцией стоят две даты: 1946. 1981.) В результате этой «доработки» родилась, например, такая — заключающая стихотворение — строфа, в которой поэт сообщает нам о мыслях своего героя-фронтовика, пришедшего к Кремлевской стене:

И знал солдат, равны для Родины
Те, что заглотаны войною,
И те, что тут лежат, схоронены
В самой стене и под стеною.

Очевидно, чтобы уже ни малейших сомнений не оставалось у читателя насчет того, что фронт и тыл в той великой войне были едины.

Но закончить эту грустную историю надо не этим.

Навсегда врезалось мне в память еще одно четверостишие Кости Левина. В книжку его оно, разумеется, не вошло — не могло войти ни при какой погоде. Приводя его здесь, я робко надеюсь сохранить его таким способом в благодарной памяти потомства. Оно этого заслуживает.

Мы потихонечку стареем,
Мы приближаемся к золе.
Что вам сказать? Я был евреем
В такое время на Земле.

Эти четыре строки неопровержимо свидетельствуют, что медный всадник Государства, в очередной раз растоптавший бедного Евгения, все-таки не убил, так и не смог убить в нем поэта.

НЕ ЛЮБЛЮ Я ЕГО...

Почти все театральные и литературные критики, раздавленные железной пятой Государства как «безродные космополиты», когда гроза миновала, к прежней своей профессии уже не вернулись. Борщаговский, сочинив пухлый исторический роман «Русский флаг», стал прозаиком. Данин, до войны окончивший химфак и физфак МГУ, стал писать книги о физике и физиках. А Борис Владимирович Яковлев посвятил себя, как тогда говорили, ленинской теме. Как с конвейера, сходили с его письменного стола сочинения: «Ленин-публицист», «Ленин и книга», «Образ Ленина в советской прозе 60-х годов», «Ленин и Гёте», «Ленин и советский театр», «Ленин в Париже»... Главный же труд, которому он намеревался посвятить остаток своей жизни, должен был называться — «Автобиография Ленина». Автобиографией, как известно, называют обычно биографию, сочиненную самим героем повествования. Но вот в этом и состояла оригинальность хитроумного яковлевского замысла: задуманную им «автобиографию» он как раз и намеревался слепить из текстов самого Ленина: отрывков из ленинских писем, книг, статей, выступлений...

А до «землетрясения» Борис Яковлев был довольно известным литературным критиком. Известен он был в основном статьями погромного свойства. Одной весьма бойкой своей статьей он уничтожил Велимира Хлебникова. Другой — еще более хлесткой — растоптал Александра Грина. (Из нее мне запомнилась только одна фраза. Но какая! «Всеякие были в России писатели, — писал он там, — талантливые и

неталантливые, реакционные и прогрессивные. Но Грин от них от всех отличался одним совершенно поразительным свойством: он не любил свою Родину».)

Все эти статьи Борису Яковлеву заказывал Константин Михайлович Симонов. С тем, разумеется, чтобы публиковать их в своем журнале. (Он был тогда главным редактором «Нового мира», а Б. Яковлев заведовал в том же журнале отделом критики.)

Когда разразилась гроза — то есть когда оказалось, что Б. Яковлев (Хольцман), только что разоблачивший космополита-Грина, сам — один из тех, кого еще неистовый Виссарион называл «беспачпортными бродягами в человечестве», — Константин Михайлович, естественно, тут же его из журнала уволил. (Это я говорю ему не в укор: не в его власти было поступить иначе.)

С Яковлевым у Симонова личных отношений не было: только служебные. А с другим «безродным космополитом» — Александром Михайловичем Борщаговским — он дружил. Поэтому, когда стряслась с ним эта беда, он, подробно расспросив его о том, как тот собирается жить и чем заниматься, чуть ли не силком всучил ему довольно крупную сумму денег, чтобы тот лёг на дно и спокойно писал свой «Русский флаг». Яковлев же, не смея обратиться к Симонову прямо, но зная о добрых отношениях с ним Борщаговского, попросил Александра Михайловича, чтобы тот выцыганил для него у Симонова какую-то справку. Какое-то там письмо от редакции «Нового мира» в Спецхран Ленинской библиотеки, в котором бы говорилось, что такой-то, мол, не тунеядец, а полезный член общества: работает над «Автобиографией Ленина».

Выслушав Борщаговского, Симонов сказал:

— Справку я ему, конечно, дам. Но, по правде говоря, не люблю я его... Ну что это такое! Надо какую-нибудь гадость о Хлебникове написать? Пожалуйста! О Грине? Извольте, можно и о Грине...

Для тех, кто не вполне уяснил суть дела, еще раз напоминаю: темы и сюжеты всех этих статей — и о Хлебникове, и о Грине — Б. Яковлеву подсказывал не кто иной, как он сам — К. М. Симонов. И не просто подсказывал: все эти погромные статьи он ему официально (как редактор журнала) заказывал.

Но, в отличие от нынешних наших «новых русских», тоже вынужденный прибегать время от времени к заказным убийствам, Константин Михайлович, как истинный аристократ, сохранял за собой право искренне презирать нанимаемых им для этой цели киллеров.

КАК Я УЗНАЛ, ЧТО ТАКОЕ СУД ЛИНЧА

Про суды Линча я только читал в книжках. И никогда не думал, что мне доведется самому побывать на таком суде. Однако — пришлось.

В Литературном институте, где я учился, были так называемые творческие семинары. Вели их известные писатели и поэты. Студенты, мечтающие стать поэтами, ходили в семинар Сельвинского или Луговского. Семинарами прозаиков руководили Паустовский и Федин. А был еще семинар критиков, которым руководил Федор Маркович Левин. Человек он был опытный, знающий, о многом мог нам порассказать, и наверняка нам всем было чему у него поучиться. Но мы роптали. Нам на его семинарах было смертельно скучно. Мы завидовали прозаикам и поэтам: у них там происходили какие-то бурные споры, ломались копья, от незадачливых дебютантов летели пух и перья. У нас же все было тихо, мирно и — скучно. О чем мы, не смущаясь, прямо говорили добрейшему Федору Марковичу. И он — соглашался. Но поделаться ничего не мог, поскольку, как сказал бессмертный Шота Руставели, из кувшина вылить можно только то, что было в нем.

И вот однажды, придя на очередной семинар, Федор Маркович сказал:

— Я всё думаю, как бы нам с вами оживить наши занятия. А тут — на ловца и зверь бежит. Сегодня по дороге в институт встретил — кого бы вы думали? — Иосифа Ильича Юзовского. Слово за слово — разговорились. И он сказал, что только что закончил одну весьма злую и острую статью. А я возьми да и скажи: не согласились бы вы прийти к нам на семинар и прочесть ее моим башибузукам? И он, представьте, согласился...

Мы, конечно, обрадовались: какое-никакое, а развлечение. А я, признаться, даже с нетерпением стал ждать следующего семинара: как-то в букинистическом я купил книгу

старых (еще 30-х годов) театральных фельетонов Юзовского и с наслаждением прочел ее, от души завидуя остроте и легкости его пера.

Но на следующий семинар Юзовский к нам прийти почему-то не смог. А потом...

Потом разразилась катастрофа: в «Правде» появилась статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», положившая начало печально знаменитой кампании. Группа «безродных космополитов», как узнала страна из этой и множества других последовавших за ней статей, собиралась в ресторане «Арагви», вынашивая там свои злодейские планы. В чем конкретно эти планы состояли, толком не сообщалось: то ли они собирались взорвать Кремль, то ли пытались очернить какую-то пьесу Софронова. Ясно было только одно: нет сейчас у советского народа более злых, коварных и опасных врагов, чем эти театральные критики. И самым опасным, самым отвратительным из них всех был не кто иной, как Иосиф Ильич Юзовский.

Список «безродных космополитов» разрастался, что ни день пополняясь все новыми и новыми именами. И вот уже в какой-то газете мелькнуло в этом списке имя нашего Федора Марковича.

И вот он стоит — бледный, растерянный — перед толпой жаждущих его крови преподавателей и студентов. И каждый спешит крикнуть из зала свое «распни его!», лично, собственными руками подтолкнуть несчастную жертву еще на шаг ближе к разверзшейся перед ней пропасти.

— Этот затаившийся до поры до времени враг, этот волк в овечьей шкуре, — упиваясь своим красноречием гремит с трибуны один из самых тихих и незаметных наших «семинаристов», — решил наконец сбросить маску! Наглость его дошла до того, что он посмел пригласить к нам на семинар безродного космополита Юзовского! Чтобы мы, видите ли, поучились у него мастерству критика...

— Позор! — ревет зал.

Федор Маркович порывается что-то сказать. Ему не дают. Из зала несутся злобные выкрики:

— Не надо!.. Чего там!.. Всё ясно!

Но председательствующий, играя в демократию, все-таки предоставляет ему слово.

— Позвольте... Я сейчас вам всё объясню, — начинает он. — Студенты, участники моего семинара жаловались, что наши занятия проходят скучно, неинтересно... Я думал: как бы нам их оживить. И вот недавно, по дороге в институт, я случайно встретил Юзовского...

— Ха-ха!.. Случайно! — злорадно хохочет зал.

— Клянусь вам, совершенно случайно, — прижимает руку к сердцу Федор Маркович.

И даже я, точно знающий, что бедный старик говорит чистую правду, с ужасом чувствую, что это его искреннее объяснение звучит сейчас жалко и совсем не убедительно.

А из зала несется:

— Гы-гы!.. Го-го-го!..

В голове у меня почему-то вертится: «С Божией стихией царям не совладать...» Каким царям? При чем тут царь? Ну да... Стихия... Не Божья, конечно, но — стихия...

Да, это была стихия. Страшная, неуправляемая стихия темных чувств и низменных побуждений, вдруг выплеснувшихся из глубин подсознания, с самого дна уязвленных, изувеченных человеческих душ...

Так я думал тогда. А на следующий день другой эпизод той же эпопеи ясно показал мне, что разбушевавшаяся стихия эта была не такой уж неуправляемой.

УПРАВЛЯЕМАЯ СТИХИЯ

Исключали из комсомола Гришу Поженяна. Он тоже попал в космополиты. В паспорте у него значилось — «еврей». Он уверял, что евреем записался из чистого благородства, хотя и не скрывал, что мама его — еврейка. Но отец — чистопородный армянин.

— А у вас в институте считалось, что Поженян наполовину еврей, наполовину армянин? — спросил меня однажды (много лет спустя) Борис Слуцкий.

— Да, — сказал я. — А у вас в Харькове?

— У нас в Харькове, — без тени улыбки ответил он, — считалось, что он наполовину еврей, наполовину еврей.

Как бы то ни было, фамилия у Гриши была армянская, и это был не псевдоним, а настоящая, подлинная его фамилия,

так что раскрыть скобки, написав про него «Поженян», а в скобках — «Хольцман» или «Рабинович» было невозможно.

Тем не менее его причислили к космополитам.

В какой-то газете (кажется, в «Комсомольской правде»), в большой статье о космополитах, окопавшихся в Литературном институте, промелькнула фраза: «Вождь эстетствующих юнцов и космополитёнок Поженян».

Этого было более чем достаточно.

Но в «послужном списке» Поженяна, с которым наши институтские партийные и комсомольские вожди вытащили его на голгофу, была одна слабость. Перечень его грехов был велик. Но это всё были грехи не идеологические. Так врезал кому-то в уборной ЦДЛ, что тот надолго ушел в нокдаун. Нагрубил директору института — Федору Васильевичу Гладкову. Тот в ярости крикнул: «Вон! Чтобы ноги вашей не было в моем кабинете!» Гриша исполнил это приказание буквально: встал на руки и вышел из директорского кабинета на руках.

Всё это было, конечно, возмутительно. Но объявить его на этом основании космополитом наши заправила все-таки не решались. Для полноты картины позарез необходим был какой-то идеологический грех. И такой грех нашелся. Припомнили и в конце длинного списка прегрешений записали: «За беспринципное поведение в деле Сарнова».

В чем состояло это злополучное дело, я тут рассказывать не буду. Скажу только, что было оно достаточно громкое и вполне идеологическое. Сверху была спущена установка во что бы то ни стало меня исключить, иначе всю нашу организацию будут «укреплять» (то есть разгонят), а «беспринципность» Поженяна состояла в том, что он — один из немногих — добивался, чтобы я отделался строгим выговором.

Когда последний пункт в длинном перечне поженяновых грехов был оглашен, я забился в самый дальний угол. Но спрятаться мне не удалось. Один из присяжных ораторов, вылезших на трибуну, сразу усек нелогичность происходящего: Поженяна исключают за беспринципное поведение в деле Сарнова, а сам Сарнов сидит тут, в этом же зале, в качестве зрителя...

— Мы не молчали! — гремел он. — Это неправда, что мы, как тут кто-то сказал, занимали примиренческую позицию... Мы вели непримиримую идейную борьбу... Взять хоть того же

Сарнова, с которым мы боролись в прошлом году!.. А сейчас этот самый Сарнов, как ни в чем не бывало, ходит по нашим институтским коридорам с высоко поднятой головой!..

— Позо-р! — взревел зал.

Противная тошнота подступила у меня к горлу.

Целый год я висел в воздухе. (Был исключен из комсомола и из института с жуткой формулировкой: «За политическое хулиганство», могли и посадить.) И вот только-только всё более или менее обошлось... Сейчас все начнется снова, по второму кругу. И теперь-то мне уж точно не уцелеть...

— Верно!.. Правильно!.. Мы боролись, а он... Как ни в чем не бывало!.. Где он там?! Давай его сюда!.. Пусть объяснит собранию, как сумел снова пролезть в наши ряды! — неслось из зала.

И тут где-то там, в первых рядах, поднялся человек и медленно пошел к трибуне. Я хорошо знал его. Это был секретарь райкома комсомола — тот самый, который в прошлом году, когда меня исключали, доказывал, что строгий выговор — слишком мягкая для меня кара. Выйдя на трибуну, он сказал:

— Должен проинформировать вас, что Центральный Комитет ВЛКСМ только что восстановил товарища Сарнова в рядах ВЛКСМ.

И — всё! Как отрезало! Мгновенно забыв о моем существовании, собрание снова обратило весь свой гнев на Поженина, продолжая сладострастно перебирать все его многочисленные преступления, самым страшным из которых так и продолжало значиться «беспринципное поведение в деле Сарнова».

ТОВАРИЩ СТАЛИН НАС УЧИТ...

В Литературном институте, где я учился, преподаватели были самые разные. Бок о бок с блестящими университетскими профессорами, учеными мирового класса — такими, как Валентин Фердинандович Асмус, Сергей Михайлович Бонди, Сергей Иванович Радциг, Александр Александрович Реформатский, — трудились на ниве нашего просвещения и люди не шибко грамотные, а порой и совсем неграмотные.

Безусловным лидером среди последних был заведующий кафедрой военного дела полковник Львов-Иванов. Многие

его словесные перлы стали нашей институтской легендой, передававшейся из поколения в поколение. Самым знаменитым из них было такое его заявление, вызвавшее бурное веселье мужской и смущенное хихиканье женской части нашего студенческого коллектива:

— Предупреждаю! Студентки, не удовлетворившие начальника кафедры военного дела, к экзаменам допущены не будут.

В другой раз, выступая на собрании, он так охарактеризовал недопустимую разболтанность и недисциплинированность нашей студенческой вольницы:

— Давно уже дан звонок на занятия. Захожу в мужское общежитие. Сидит Мандель. Без штанов. Пишет стихи. Захожу в женское общежитие — та же картина.

Полковник, впрочем, был человек славный. Чего не скажешь о некоторых других наших преподавателях, словесные перлы которых тоже записывались и со смехом повторялись институтскими остряками.

Особенно славились такими перлами профессора, преподававшие нам «науку наук».

Старый большевик Ветошкин, читавший курс «основ марксизма-ленинизма», на первом же занятии ошеломил нас сообщением, что марксизм не появился на свет в готовом виде, как Венера из головы Юпитера. Имелась в виду, понятное дело, не Венера, а Афина Паллада, то есть — Минерва. Но разбираться в тонкостях античной мифологии нашему лектору было не с руки. У него были совсем другие, куда более важные заботы: надо было постоянно следить за быстро меняющейся картиной истории ВКП(б), которую он нам преподавал.

Помню, сдавая ему зачет и рассказывая о том, как в партии дебатировался знаменитый вопрос о явке Ленина на суд, я брякнул, что за явку голосовали Каменев и Зиновьев.

— Каменев, Каменев, — поправляя меня, буркнул Ветошкин.

— Ну да, Каменев и Зиновьев, — повторил я, не понимая, чем я ему не угодил: эти два деятеля всегда поминались у нас парой, как сиамские близнецы.

— Каменев, Каменев, — снова недовольно буркнул Ветошкин. Но как-то неуверенно буркнул, словно бы про себя.

И какая-то странная страдальческая гримаса исказила в этот миг его лицо.

Лишь много лет спустя я понял, где тут была зарыта собака. В отличие от меня, Ветошкин знал, что Зиновьев, прятавшийся вместе с Лениным в шалаше, никак не мог в то время выступать за явку Ленина на суд. Но прямо сказать мне об этом несчастный профессор боялся: а чёрт его знает, какая нынче на этот счёт установка? Может, недотепа-студент лучше знает, почём нынче ходят эти мертвые души? Пролить свет истины на мое невежество он не посмел, но нечаянный мой поклев на Зиновьева был для него — как фальшивый звук для музыканта.

Еще более колоритной фигурой был профессор Шестаков, читавший нам курс истмата и диамата. На любой его лекции можно было отметить не менее десятка разных комических словесных оборотов, каждый из которых мог соперничать с самыми яркими перлами полковника Львова-Иванова.

— Среди жителей Полинезии, — задумчиво и даже с некоторым изумлением сказал он однажды, — считаются вполне допустимыми такие аморальные поступки, как, например, людоедство.

При этом он очень хотел выглядеть человеком не только цивилизованным, но даже и не чуждым каких-то художественных, литературных интересов. Как-то раз во время лекции, прогуливаясь между рядами, он взял из рук одного студента томик Пастернака, который тот увлеченно читал, взглянул в него и тут же весьма находчиво вставил в свою лекцию стихотворную цитату:

— Вот так, — сказал он, — выражаясь словами поэта, образ входит в образ, и предмет сечёт предмет...

Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма профессор Леонтьев, в отличие от этих своих коллег, был человек грамотный. Речь его удручала своей унылой правильностью, не оживлялась ни единым ляпом, и на лекциях его мы тосковали: записывать за ним было нечего.

Но одно его замечательное высказывание я все-таки запомнил.

Шла знаменитая кампания по борьбе с космополитизмом.

Профессор Леонтьев важно восседал на председательском месте за столом президиума, а вокруг бушевал самый что ни на есть доподлинный суд Линча.

— В президиум поступила записка, — вдруг возгласил профессор, — в которой утверждается, будто под видом борьбы с космополитизмом наша партия ведет борьбу с евреями.

Зал притих. В том, что дело обстоит именно так, никто не сомневался. Отрицать это было трудно. Однако и признать справедливым такое клеветническое утверждение было невозможно. Все с интересом ждали, как профессор вывернется из этой, им же самим созданной тупиковой ситуации. (Если даже такая записка и в самом деле была послана в президиум собрания, отвечать на нее было совсем не обязательно: никто не тянул профессора за язык, не заставлял зачитывать ее вслух.)

Убедившись, что аудитория готова внимать его объяснениям, профессор начал той самой классической фразой, к которой прибегал обычно в таких случаях во время своих лекций:

— Товарищ Сталин нас учит...

И раскрыв специально принесенный из дому сталинский том, он торжественно прочел заранее заготовленную цитату:

— «Советский народ ненавидит немецко-фашистских захватчиков не за то, что они немцы, а за то, что они принесли на нашу землю неисчислимые бедствия и страдания».

И назидательно подняв вверх указательный палец, заключил:

— Вот так же, товарищи, обстоит дело и с евреями.

ГОЛОС ИЗ ХОРА

А вот еще один, наверно, самый жуткий из всех известных мне эпизодов эпохи «судов Линча». Много раз я пытался изобразить его на бумаге. Но у меня ничего не получалось. И вдруг — наткнулся на рассказ о нем в книге Леонида Зорина «Авансцена». Переписываю его оттуда дословно.

Помню, как партия изгоняла из неподкупных своих рядов несчастного Иоганна Альтмана. Председательствовал, как обычно, Софронов. Он возвышался над залом как

памятник, дородный, могучий, несокрушимый, помесь бульдога и слона.

— Мы будем сегодня разбирать персональное дело Иоганна Альтмана, двурушника и лицемера, буржуазного националиста... Цинизм этого человека дошел до того, что он развел семейственность даже на фронте. На фронте! И жена его и сын устроились во фронтовой редакции под теплым крылышком мужа и папы. Впрочем, сейчас вам подробно расскажут.

На трибуне появляется тощий, с лицом гомункулуса, человек:

— Все так и есть, мы вместе служили, я наблюдал эту идиллию. Пригрел и свою жену и сына.

Зал: Позор! Ни стыда, ни совести! Гнать из партии! Таким в ней не место!

Альтман пытается объяснить:

— Я прошу слова. Я дам вам справку.

Общий гул: Нечего давать ему слово! Не о чем тут говорить! Позор!

Альтман едва стоит. Он бел. Капли пота стекают с лысого черепа. Вдруг вспоминаешь его биографию: большевик, участник Гражданской войны. Статьи, которые он писал, были не только ортодоксальными, но и фанатически истовыми. Я вижу растерянные глаза, готовые вылезти из орбит, — он ничего не понимает.

Голос: Была жена в редакции?

Альтман: Была.

— Был сын?

— Был и сын.

Рёв: Всё понятно. Вон с трибуны!

Альтман: Две минуты! Я прошу две минуты...

Наконец зал недовольно стихает. Альтман с усилием глотает воздух, глаза в красных прожилках мечутся, перекатываются в глазницах. Голос срывается, слова не приходят, он точно выталкивает их в бреду:

— Жена должна была ехать в Чистополь... С другими женами писателей... Но ведь она — старый член партии... Она стала проситься на фронт... Настаивала... Ну что с ней делать? Сорок шесть лет, кандидат наук... Всё-таки пожилая женщина. Поэтому я ее взял в редакцию... Она работала там неплохо... даже получила награды... Возможно, ей надо было поехать вместе с другими... женами... в Чистополь. Возможно... Она не захотела... Я взял ее в редакцию. Верно.

Он снова вбирает воздух в пылающее пересохшее горло.

— Теперь — мой сын... Когда война началась, ему было только пятнадцать лет. Конечно, он тут же сбежал на фронт. Его вернули. Он снова сбежал. Опять вернули. Опять он пытался. Он сказал: папа, я всё равно убегу. И я понял — он убежит. Что делать — так уж он был воспитан. Тогда я и взял его в редакцию. Просто другого выхода не было. И вот в возрасте пятнадцати лет четырех месяцев, исполняя задание, мой сын был убит. Мой сослуживец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика... вместе со мной...

Прочитав этот рассказ в книге Зорина, я подумал, что это, может быть, единственный случай, когда история, давно живущая в моей памяти и настойчиво требующая, чтобы я ее записал, изложена так, что мне совсем не хочется переписать ее по-своему. Лучше и точнее, чем это сделал автор «Авансены», мне ее не написать. Но кое-что к тому, что вы только что прочли, я все-таки хочу добавить.

— Этот человек... Он вместе со мной стоял на могиле моего мальчика... вместе со мной... — сказал Альтман. И замолчал.

Зал, битком набитый озверевшими, жаждущими свежей крови линчевателями, тоже молчал. И в этой наступившей вдруг на мгновение растерянной тишине как-то особенно жутко прозвучало одно короткое слово — не выкрикнутое даже, а просто произнесенное вслух. Не слишком даже громко, но отчетливо, словно бы даже по слогам:

— Не-у-бе-дительно...

Слово это скрипучим своим голосом выговорил Лазарь Лагин, автор любимой мною в детстве книги «Старик Хоттабыч». И оно, как говорится, разбило лёд молчания.

Суд Линча продолжался.

ИГРА БЕЗ ЛАДЬИ

В середине пятидесятых Володя Файнберг — молодой поэт, тогдашний мой приятель, — попросил меня, чтобы я показал его стихи Слуцкому. Борис стихи Файнберга прочитал, снисходительно одобрил (он любил покровительствовать молодым поэтам) и дал ряд указаний. Первым — по важности — было такое:

— Скажите ему, чтобы ни в коем случае не подписывался настоящей своей фамилией. Пусть возьмет псевдоним.

— Почему, Боря? — слегка придуриваясь, спросил я. Вопрос был провокационный: еврейская фамилия в то время была уже почти непреодолимым препятствием для литератора, стремящегося проникнуть в печать. — Вот вы же ведь не взяли себе псевдонима?

— Мне поздно было менять мое литературное имя. Задолго до того как меня стали печатать, я был уже широко известен в узких кругах. Ну а кроме того, Слуцкий — фамилия не еврейская. Были князья Слуцкие.

Впоследствии кто-то сочинил про Бориса такую эпиграмму:

- Вы еврейский или русский?
- Я еврейский русский.
- Вы советский или Слуцкий?
- Я советский Слуцкий.

Этот коротенький шуточный стихотворный диалог был бы, наверно, самым метким ответом на упоминание князей Слуцких. Но в описываемые времена я этой эпиграммы еще не знал (а может быть, она еще даже и не была сочинена), поэтому ответил попросту, прозой:

— Да ладно вам, Боря. Князья Слуцкие, может, и были, но сегодня-то фамилия ваша всеми воспринимается как еврейская.

— Ну что ж, — сухо возразил Борис. — Если этот ваш Файнберг полагает, что он настолько сильный игрок, что может играть без ладьи, — пусть остается Файнбергом.

Тут уж спорить было нечего. Сам Борис безусловно играл без ладьи. И к тому времени, когда происходил этот разговор, шахматную партию свою уже уверенно выигрывал.

ТОВАРИЩ ЗОЩЕНКО БЬЕТ НА ЖАЛОСТЬ!

Есть фразы, которые человечество бережно хранит в своей памяти. Такие, например, как легендарная реплика Архимеда, брошенная им за мгновение до смерти замахнувшегося на него мечом римскому легионеру: «Не тронь моих

чертежей!» Или знаменитая фраза Галилея: «А все-таки она вертится!»

Причина долгой жизни этих — и других подобных — фраз, наверное, в том, что каждая из них хранит в себе энергию какого-то высокого движения души. Представляет как бы некую вершину человеческого благородства, бесстрашия, преданности своему делу, верности своим убеждениям.

Но бывает и так, что одна какая-нибудь реплика выражает совсем другую вершину: вершину человеческой подлости. И такие фразы, я думаю, тоже заслуживают, чтобы их занесли в книгу рекордов Гиннесса.

К числу таких рекордов подлости безусловно относится реплика Лагина, о которой я рассказал в предыдущей новелле. А в этой хочу сохранить в благодарной памяти потомства еще одну, не менее замечательную.

В мае 1954-го года Ленинград посетила английская студенческая делегация. Студенты выразили желание, чтобы в программу их знакомства с достопримечательностями города была включена встреча с Зощенко и Ахматовой. И вот двух немолодых писателей (Ахматовой тогда было 66, а Зощенко 59 лет) сажают в машину и спешно везут на встречу с юными иностранцами, перед которыми они должны засвидетельствовать свою лояльность.

Когда Ахматова попыталась уклониться от этой чести, чиновная дама, говорившая с нею от имени правления Ленинградской писательской организации, сказала ей:

— Вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили.

Необходимость присутствия Зощенко на встрече с английскими молокососами была высказана с такой же категоричностью.

О том, что происходило на этой встрече, Ахматова тогда же рассказала Лидии Корнеевне Чуковской, а та, с присущей ей дотошностью, записала этот ее рассказ дословно. Вот он:

— За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало... Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? Который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит?... Спросил кто-то в черных очках... Он спросил, как относится к постановлению m-me Ахматова? Мне

предложили ответить. Я встала и произнесла: «Оба документа — и речь т. Жданова, и постановление Центрального Комитета партии — я считаю совершенно правильными». Молчание. По рядам прошел глухой гул — знаете, точно озеро ропшет. Точно их погладили против шерсти. Долгое молчание... Потом кто-то из русских сказал переводчице: «Спросите их, почему они хлопали Зощенко и не хлопали т-те Ахматовой?» «Ее ответ нам не понравился — или как-то иначе: нам неприятен».

Ответ Зощенко англичанам понравился больше, потому что Зощенко сказал, что с постановлением ЦК и докладом Жданова не во всем согласен. При этом он как будто бы выразился так:

— Я русский дворянин и офицер. Как я могу согласиться с тем, что я подонок?

Этот ответ имел для Зощенко катастрофические последствия. За ним последовал «второй тур», вторая мощная волна травли. Было общее собрание писателей Ленинграда, на которое специально прибыли эмиссары во главе с К. Симоновым. И Зощенко снова уничтожали, снова втапывали в грязь, как в сталинские времена, хотя Сталин уже год как откинул копыта и уже забрезжила хрущевская оттепель.

Ахматова считала, что на встрече с англичанами Зощенко поступил опрометчиво.

— Михаил Михайлович, — говорила она в том же разговоре с Лидией Корнеевной, — человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить... Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так. Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, — он по моему ответу догадался бы, что и ему следовало бы ответить так же. Никаких нюансов и психологий. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым...

Дело, однако, было совсем не в том, что Зощенко не догадался ответить «как следовало». Если бы он отвечал вторым, ответ его, я думаю, был бы точно таким же.

У Ахматовой в то время был в лагере заложник-сын. Отвечая, она не могла не думать о нем, о его судьбе, на которой ее ответ немедленно бы отразился. Она ответила на вопрос англичан «формально» (что, собственно, и требовалось) еще

и потому, что относилась к происходящему как к балагану, вернее даже, как к заведомой провокации. Помогло ей и раздраженно-неприятное отношение к английским студентам, не понимающим, да и не способным понять, в каком капкане она и Зощенко оказались.

В «Капитанской дочке», когда Пугачев «милует» Гринева, которого только что чуть не вздернули на виселице, его подтаскивают к самозванцу, ставят перед ним на колени и шепчут: «Целуй руку, целуй руку!» Верный Савельич, стоя у него за спиной, толкал его и шептал: «Батюшка Петр Андреевич! Не упрямясь! что тебе стоит? Плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Но хотя «чувствования» героя повести, как он говорит, были в ту минуту «слишком смутны», он признается, что «предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению».

Ахматова поступила так, как советовал Гринева Савельич. Зощенко так поступить не смог.

Он не смог так поступить, наверно, еще и потому, что в его глазах Сталин и Жданов самозванцами не были. Поэтому он не терял надежды найти с ними общий язык, что-то им втолковать, объяснить. И даже на том большом собрании, на котором ему уже окончательно переломали спинной хребет, он, кажется, тоже еще сохранял толику этой надежды. Он даже попытался объяснить, почему на «провокационный» вопрос английских студентов ответил так, а не иначе:

— Я не увидел яда в этом вопросе. Если отвлечься от анкетных и политических формул — что обозначал этот вопрос? «Как вы отнеслись к тому, что вас называли прохвостом?»... Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?.. Что вы хотите от меня? Что я должен признаться в том, что я — пройдоха, мошенник и трус?

Последние слова, которые он произнес, были такие:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего... Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Произнеся эти слова, он сошел с трибуны и медленно спустился в зал.

Раздалось несколько хлопков. (Аплодировали один-два человека.) Остальные подавленно молчали.

В президиуме забеспокоились, зашептались. Впечатление, которое произвела речь Зощенко на сидящих в зале, надо было как-то сбить. И тут встал Константин Симонов...

Вообще-то он был не Константин, а Кирилл. Но звуки «р» и «л» он не выговаривал. При знакомстве, когда ему приходилось называть свое имя, у него получалось — «Кивив». Вот он и стал Константином.

Звуки «р» и «л», однако, в русской речи встречаются не только в слове «Кирилл». Поэтому фраза, которую я предлагаю занести в книгу рекордов человеческой подлости, прозвучала так:

— Това'ищ Зощенко бьет на жа'ость...

НАС ОН НЕ ПРОВЕДЕТ

В начале 50-х моя жена работала в Корейской редакции Радиокomiteта. Непосредственным ее начальником, возглавлявшим эту редакцию, был человек по фамилии Сметанин.

— Неужели это тот самый Сметанин? — спросил я у нее, не сомневаясь, что наверняка другой. Мало ли Сметаниных на свете?

Но оказалось, что тот самый. Обувщик Сметанин, кинувший в 30-е годы свой знаменитый призыв: ударники в дипломатию! (Такие лозунги тогда были в моде. Сам Горький кинул клич: ударники в литературу!)

Призыв Сметанина был встречен с энтузиазмом. (Вряд ли надо объяснять, что не он сам был инициатором этого почина.) И ударники повалили в дипломатию валом.

Один из этих выдвиненцев был назначен послом СССР в Германии. Никаких подробностей о том, как он там справлялся со своими сложными обязанностями, я не знаю. Знаю только, что Риббентроп в своем дневнике (он был опубликован после войны) написал о нем так:

«Этот новый русский посол талантливо притворяется идиотом. Но нас он не проведет».

КОГО ОН РАЗОБЛАЧИЛ?

В конце 40-х, после того как партия навела порядок в биологии, в высших сферах решено было взяться за физику. Собрали даже какое-то совещание в ЦК, где перед физиками была поставлена задача: разоблачить теорию относительности. Рассказывали, что положение тогда спас академик Леонтович. Он якобы произнес на том совещании не совсем обычную речь. Начал он ее в одном ключе, а закончил — неожиданно — совсем в другом.

— Можно, конечно, поставить несколько экспериментов, чтобы еще раз проверить верность теории Эйнштейна, — размышлял он вслух. — Но стоит это будет невероятно дорого. Придется законсервировать все другие наши опыты...

Потом вдруг замолчал и после небольшой паузы сказал:

— А впрочем, пошли вы все к такой-то матери...

Может, это и легенда. Может быть, всё было не совсем так и даже совсем не так, но факт остается фактом: физиков тогда оставили в покое. Тем более что незадолго до того перед ними была поставлена другая, более насущная задача: сделать атомную бомбу.

От Эйнштейна, однако, не отстали.

Позже, уже в 60-е и в 70-е годы за него взялись снова. На этот раз, правда, не на правительственном уровне, а в узком научном кругу. И разоблачали на этот раз не теорию относительности (на нее теперь уже никто руку не поднимал), а — персонально — самого Эйнштейна. Доказывали, что приоритет в создании теории относительности принадлежит вовсе не ему, а совсем другим ученым — Лоренцу, Пуанкаре... Эйнштейн же оказывался при этом то ли плагиатором, то ли (в лучшем случае) везунчиком, которому неведомо кто и неизвестно почему приписал честь не принадлежащего ему открытия.

Особенно усердствовал в этих разоблачениях некий Тяпкин — как утверждают многие его коллеги, не шарлатан, вроде Лысенко, а вполне серьезный ученый. Может, оно и так. Но подвигла этого серьезного ученого на войну с Эйнштейном, я думаю, не бескорыстная жажда истины, а — страсть. Душа его не могла примириться с тем, что величайшим после Ньютона физиком мира считают человека, которого у нас в приличное

научное заведение из-за пятого пункта даже простым лаборантом и то вряд ли бы взяли.

Были и другие энтузиасты, действовавшие в том же направлении.

И вот один из них (не берусь утверждать, что это был именно Тяпкин) раскопал и обнаружил такой сенсационный факт.

В начале века немецкие социал-демократы вознамерились издать книгу Энгельса «Диалектика природы». Книга эта представляла собой собрание отдельных энгельсовых статей, заметок, набросков, часто незавершенных, незаконченных. Сложив всё это воедино, рукопись отправили на отзыв Эйнштейну. Уж не знаю, случайно она попала именно ему (одно время он, как известно, работал в патентном бюро) или это было позже, и Эйнштейн был выбран немецкими социал-демократами на роль арбитра сознательно, как некий высший научный авторитет. Как бы то ни было, отзыв на книгу Энгельса он дал.

Отзыв этот был предельно краток. Он гласил:

«Научного интереса не представляет».

Тот, кто вытащил на свет божий этот факт, погребенный в анналах истории, разумеется, не сомневался, что разоблачает он Эйнштейна. Не Энгельса же! Энгельс, как жена Цезаря, был тогда выше подозрений.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ И БЕНИТО МУССОЛИНИ

Мой давний приятель Лёва Наврозов теперь живет в Америке. Статьи его иногда появляются в наших газетах. Подпись гласит: «Лев Наврозов. Американский публицист».

Лёва — человек необыкновенный. Это мне было ясно задолго до того, как он стал американским публицистом. Необыкновенность его проявлялась во многих его делах и поступках. Но ярче всего — в редкостной оригинальности его суждений.

Вот, например, однажды он сообщил мне, что возил своего семилетнего сына Андрея в Переделкино, к К.И. Чуковскому, на ежегодно устраиваемый Корнеем Ивановичем детский праздник «Прощай, лето!» Из разговора выяснилось,

что Чуковского Лёва раньше не знал и увидел его первый раз в жизни.

— И какое он произвел на вас впечатление? — спросил я.

Ответ — как и все Лёвины ответы — был самый неожиданный:

— Он похож на Муссолини.

Я был потрясен. Чуковский — и Муссолини? Что может быть между ними общего?

Лёва объяснил: представьте... Стоит Чуковский, а мимо проходят дети. Он выбрасывает вперед руку и выкрикивает:

— Уточка закрикала!

И марширующие дети — хором:

— Кря! Кря! Кря!

Импровизируя этот шутовской парад, Корней Иванович, вероятно, и думать не думал ни про какого Муссолини. (Так же как, сочиняя в 1921-м году про рыжего и усатого таракана — «Покорилися звери усатому, чтоб ему провалиться, проклятому» — он, конечно, и думать не думал про неведомого ему тогда Сталина.) Но, прирожденный пародист, он этой своей импровизацией с присущим ему артистизмом — может быть, сознательно, а скорее всего неосознанно, — создал убийственную пародию на самую суть тоталитаризма.

КАК ПРОВАЛИЛАСЬ РЕФОРМА

В истории русского правописания были две великие реформы. Одна — при Петре, другая — в 1917 году. Обе они, как объяснял мой любимый учитель, замечательный ученый-языковед Александр Александрович Реформатский, диктовались законами развития языка и проведены были без всякого для него ущерба. И даже наоборот: язык от этого только выиграл.

С этим утверждением, как известно, согласны были далеко не все. Реформа семнадцатого года у многих весьма компетентных ее современников вызвала прямо-таки бешенство. Бунин, например, до конца своих дней не позволял печатать свои сочинения по новой орфографии. На дух не приняла ее и Цветаева. Кто-то из яростных противников этой реформы русского правописания высказался даже в том смысле, что отсечение твердого знака в конце мужских имен (Ивань,

Пётр и т.п.) в высшей степени отрицательно сказалось на мужской потенции Петров и Иванов. Да, не тот, совсем не тот стал после реформы правописания русский мужчина, не в пример пожиже прежних, имена которых писались с твердым знаком.

В молодые годы страстное неприятие Буниным и Цветаевой новой орфографии я считал чистой блажью, объясняемой исключительно политическими страстями. Упрямое отрицание ими новой орфографии казалось мне особенно нелепым еще и потому, что реформа ее, как объяснил нам тот же Реформатский, готовилась еще до революции Российской императорской Академией наук, по инициативе и при участии крупнейших русских лингвистов, и утверждена была еще до ленинского декрета Александром Аполлоновичем Мануйловым, министром народного просвещения Временного правительства.

Короче говоря, при всей моей любви к Бунину и к Цветаевой, в этом пункте я с ними разошелся.

Но в 1964-м году я вдруг их понял.

Понял и всей душой разделил не только их неприятие реформы русского правописания, но даже и ту неистовую, бешеную страсть, с которой они ей противились.

Случилось это потому, что в том году я сам оказался в их шкуре.

Затевалась новая реформа русской орфографии — пожалуй, даже более грандиозная, чем в семнадцатом году. В подробности вдаваться не буду. Скажу лишь, что, согласно этой новой орфографии, слово «заяц» надлежало писать не через «я», а через «е»: «заец». А в слове «огурцы» на конце следовало писать «и», а не «ы»: «огурци».

«Зайца» я еще кое-как мог стерпеть. Но эти «огурци» приводили меня просто в бешенство. (Наверно, даже в большее бешенство, чем Бунина и Цветаеву отмена твердого знака и буквы ять).

Я знал, что инициаторами реформы и на этот раз (как и в 17-м году) были ученые-лингвисты. И доводы у них были вполне серьезные: в русском языке нет мягкого «ц», поэтому звук, обозначаемый этой буквой, всегда произносится твердо. Скажем, в слове «цирк» он звучит совершенно так же,

как в слове «цыплёнок». Так почему бы не писать всюду одинаково: «цирк», «циркуль», «панцирь», «огурци».

Знал я, что среди горячих сторонников (а может быть, даже и инициаторов) этой идеи был и мой любимый Александр Александрович Реформатский, научный авторитет которого в моих глазах был непререкаем. Но я ничего не мог с собой поделаться. Панцирь, написанный через «и» казался мне каким-то не настоящим, картонным, а «огурци», написанные по новому правописанию, так и вовсе хотелось немедленно выплюнуть изо рта.

Тут, надо сказать, я был не одинок. Против того, чтобы вместо нормальных русских огурцов мы стали употреблять в пищу какие-то украинские «огурци», восстала чуть ли не вся грамотная Россия. В том же, что «огурци» эти именно украинские, не сомневался никто. Так же как и в том, что вся эта «украинизация» великого и могучего затеяна не иначе как в угоду хохлу Хрущёву. (Совсем как Бунин, который был уверен, что Блок в своих «Скифах» обозвал русских людей азиатами «с раскосыми и жадными очами» в угоду, как он выразился, «лысому косоглазому сифилитику» — Ленину.)

Против реформы правописания выступали писатели, учителя и даже некоторые передовики производства. Но практически вопрос был уже решен: идея новой орфографии была спущена сверху, и никто не сомневался, что дело будет доведено до конца.

Учитывая всеобщее возмущение, надо было, однако, делать вид, что всё решается сугубо демократическим путем. И вот Александр Борисович Чаковский — тогдашний главный редактор «Литературной газеты» — решил (а может, где-то «наверху» ему подсказали) провести представительную дискуссию, в которой участвовали бы известные писатели, ученые, педагоги. Предполагалось, что там будут высказаны самые разные точки зрения, но постепенно возобладает все-таки правильная. (То есть — та, которую считало правильной высшее начальство.)

Дискуссия была тщательно подготовлена. Все пропорции были соблюдены. Никогда, кажется, за все время существования Литгазеты в кабинете главного редактора не собиралось такое множество знаменитых людей. Кого тут только не было: и самые маститые («старейшие», как принято тогда

было говорить) писатели, и академики, и известные педагоги. Отсутствовал только главный инициатор всей этой грандиозной затеи. Александр Борисович Чаковский (Чак, как его называли в газете) вдруг срочно был вызван в ЦК, и председательствовать поэтому пришлось его заму.

А положение председательствующего, надо сказать, было нелегким, потому что дискуссия явно клонилась не в ту сторону. Аргументы противников нового правописания были неопровержимы. Особенно сильное впечатление на присутствующих произвела назидательная история, рассказанная Мариэттой Сергеевной Шагинян. (Той самой, про которую в свое время была сложена замечательная эпиграмма: «Железная старуха Мариэтта Шагинян — искусственное ухо рабочих и крестьян».) Ехала она как-то в поезде с одним англичанином. Разговорились. И в ходе беседы она у него спросила: почему у вас, англичан, такая нелепая денежная система? В одном фунте стерлингов — двадцать шиллингов. Но не двести, как можно было бы ожидать, а двести сорок пенсов. Потому что в шиллинге не десять, как опять-таки можно было бы ожидать, а — двенадцать пенсов. То есть тут как-то путаются десятки и дюжины. А раньше, до фунта стерлингов, была гинейя. Так в ней и вовсе было не двадцать шиллингов, а почему-то — двадцать один. Согласитесь, ведь это же очень неудобно?

Англичанин внимательно выслушал ее, подумал и сказал: «Вы правы. Наша денежная система очень неудобна. Пожалуй, даже и нелепа. Но у нее есть одно достоинство: мы, англичане, очень к ней привыкли».

— Нельзя, — заключила свой рассказ «железная старуха», — покушаться на многолетнюю привычку целого народа. Это вам даром не пройдет!

И отключила свой слуховой аппарат. Она всегда так делала, когда не желала слушать возражений.

Но на этот раз никто особенно даже и не собирался ей возражать. Напротив, речь ее была встречена овацией. А сторонники реформы как-то сразу скисли.

Председательствующий был растерян: он понял, что с этой стихией ему уже не совладать. Спасти положение мог только Чак. А он всё не появлялся.

Но вот вошла в кабинет красавица Мила — секретарша

главного — наклонилась к уху зама, что-то ему шепнула. Просветлев лицом, он извинился перед присутствующими, сказав, что вынужден ненадолго их покинуть, и быстро вышел из кабинета: Мила сообщила ему, что Чак наконец вернулся и срочно требует его к себе.

— Александр Борисович! — кинулся к нему зам. — Слава богу, что вы тут... Понимаете, дискуссия зашла в тупик... Я просто не знаю, что делать...

— Какая дискуссия? — спросил Чак.

Зам остолбенел. Накануне, уезжая в ЦК, Чак долго втолковывал ему, как важна эта дискуссия, какое огромное значение он ей придает... Но, будучи человеком опытным, он сразу понял: там, откуда Чак только что приехал, что-то произошло. Что-то, по-видимому, серьезное.

А произошло то, что в тот день сняли Хрущёва.

Писатели, языковеды, педагоги и передовики производства в редакторском кабинете некоторое время еще продолжали дискутировать, не подозревая, что их дискуссия уже утратила всю свою актуальность. А на следующий день, когда официальное сообщение об отставке Первого секретаря ЦК появилось в газетах, вопрос о том, как следует писать — «заяц» или «заец», «огурцы» или «огурци», был окончательно снят с повестки дня. Он как-то сам собою увял, засох, испарился в воздухе. Больше на моей памяти к этому вопросу никто никогда уже не возвращался.

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ДОГАДАЛСЯ?

В Америке, в компании искренне сочувствующих нам американских интеллигентов кто-то из наших эмигрантов рассказывал об ужасах сталинского террора. О том, как люди ночами прислушивались к шагам на лестнице. О том, как человека могли прямо на улице запихнуть в машину и увезти на Лубянку, откуда ему уже никогда не дано было вернуться домой. О лживости и коварстве советских карательных органов, писавших в приговоре «десять лет без права переписки», что на самом деле означало — расстрел.

Американцы сочувственно внимали этим рассказам, и рассказчику казалось, что все его слушатели и слушательницы

отлично его понимают. И тут одна из них, милая и как будто неглупая американская дама сказала:

— Я уже много слышала таких рассказов. Что говорить! Все это было, конечно, ужасно. Но я только одного не могу понять: почему никто не догадался обратиться в полицию?

СКУКИ НЕ БЫЛО

Читал недавно стихи Слуцкого и наткнулся на такие строки:

Образовался недоед
из масел, мяс и сахаров.
Сочтешь и сложишь — будь здоров!
Но скуки не было.

Образовался недобор:
покоя нет и воли нет,
и ни бумажек, ни монет.
Но скуки не было.

Газет холодное вранье,
статей напыщенный обман
и то читали, как роман.
Но скуки не было.

Этот краткий очерк прожитой нами жизни воскресил в моей памяти множество разнообразных картин. И, между прочим, такую историю.

Рассказал мне ее мой дружок Глеб Селянин. Подружились мы еще со школьных лет. Потом жизнь нас развела. А когда мы встретились — уже взрослыми, — я с удивлением узнал, что Глеб стал актером. Вышло это, как он сам говорил, случайно. Но вышло неплохо. В театре его ценили. Он даже в пьесе «Семья Ульяновых» играл молодого Ленина. Такую роль, как вы понимаете, доверили бы не каждому. А ему вот — доверили, хотя по внешним (да и не только внешним) данным ему больше подошла бы роль молодого Есенина.

История, которую мне напомнили стихи Слуцкого, произошла летом 1953-го года.

Глеб и еще трое его приятелей — тоже актеров — отправились

в какую-то поездку. То ли в отпуск, то ли на гастроли — не помню. Да это в данном случае и неважно.

Дорога им предстояла дальняя, и подготовились они к ней хорошо. Захватили водочки. Ну и, соответственно, хорошей закуски. И как только обосновались в своем купе, так сразу же и приступили к делу. И выпивали и закусывали аж до самого вечера.

К вечеру их уже слегка развезло, и они решили, что пора на боковую. Улеглись — каждый на свою полку — и погрузились в сладкий сон.

Глеб проснулся на рассвете. За окном стояла какая-то муть. Такая же муть была и у него в голове. Друзья-собутыльники крепко спали. Поезд стоял.

Надеясь, что на воздухе ему станет лучше, Глеб быстро оделся и вышел на платформу. Там не было ни души. Только из черной тарелки радиорепродуктора доносился какой-то особенно торжественный голос диктора. Глеб подошел поближе, прислушался. Голос сообщил ему, что разоблачен и арестован как враг народа и английский шпион Лаврентий Берия — по официальной табели о рангах третий, а по существу второй (если не первый) человек в государстве.

Всё похмелье у Глеба сразу выветрилось.

Вернувшись обратно в купе, он хотел было поделиться ошеломительной новостью с друзьями, но те спали как убитые. Спите, спите, голубчики, — злорадно подумал Глеб: в голове у него уже созрела одна идея. Запрыгнув на свою верхнюю полку, он некоторое время еще ухмылялся каким-то своим тайным мыслям, а потом заснул.

Проснулись они все одновременно — примерно часов в одиннадцать. Ну и с похмелья, как водится, решили слегка поправиться. Достали специально припасенную на этот случай бутылку, оставшуюся закуску. Разлили. Чокнулись. Выпили.

И тут Глеб начал осторожно реализовывать свою идею.

— Ребята, — сказал он. — Я давно уже хотел с вами поделиться. Мы ведь люди свои... Только вам откроюсь... Поклянитесь, что никому не скажете!

Друзья поклялись.

— Вот что хотите со мной делайте, — сказал Глеб, — чувствую я, что Берия — не наш человек.

Друзья обомлели.

— Да ладно, — сказал тот из них, к которому раньше чем к другим вернулся дар речи. — Оставь ты это... Зачем это тебе?

— Ребята, — сказал Глеб. — Я верю своей интуиции. Я просто не сомневаюсь. Да вы только взгляните в его лицо... в это гаденькое пенсне... Вот чувствую я, что он английский шпион!

Друзья долго и безуспешно уговаривали Глеба прекратить этот разговор. А потом как-то вдруг замолчали, замкнулись, ушли в себя. Явно решили, что оказались в одной компании с провокатором.

Один из них, мрачно буркнув, что ему надо в туалет, встал и вышел. Но очень быстро вернулся. И уже совсем в другом настроении

— Ах ты, сука! — радостно хлопнул он Глеба по шее. И сообщил недоумевающим друзьям ошеломляющую новость, которая тем временем уже облетела весь поезд.

Друзья радостно заготовали: у них прямо камень с души свалился. Ну и, конечно, они решили, что по этому случаю им необходимо еще поправиться. И тут же осуществили это, поскольку у них с собой было.

Да, подумал я, перечитывая стихи Слуцкого и вспоминая этот Глебов рассказ. Всё было в нашей жизни. И холодное враньё газет. И готовность ближайшего друга принять за провокатора. И страх: чуть ли не ежедневное жуткое ощущение, что ходишь по краю пропасти... Всего было вдоволь. Но скуки не было.

ОБМОРОК

В одном учреждении на какой-то не шибко крупной должности работал человек, обладавший замечательной способностью. Способность эта не то чтобы была дана ему от рождения: он, конечно, развил ее долгой и упорной тренировкой. Но в основе его уникального дара все-таки было поистине редкостное сочетание и некоторых прирожденных качеств: сообразительности, интуиции, мгновенной спортивной реакции.

Суть дела состояла в том, что на каждом многолюдном собрании или митинге, — а собрания и митинги тогда происходили чуть ли не каждую неделю, — этот талантливый человек в нужный момент выкрикивал нужный лозунг.

Вспомнит, скажем, какой-нибудь оратор про Красную

Армию, и тотчас откуда-то с галерки, или из ложи хорошо всем знакомый пронзительный голос выкрикивает:

— Да здравствует выдающийся организатор нашей славной Красной Армии, железный сталинский нарком, маршал Советского Союза Климентий Ефремович Ворошилов!

И сразу — овация.

Для наглядности я привел самый простой, даже примитивный пример, как будто бы не требующий особой сообразительности. Но бывали и более сложные ситуации, когда прореагировать надо было на какое-нибудь не столь заметное слово. Нет-нет, не думайте, что это было так просто. Я уж не говорю о том, что, помимо всего прочего, тут необходим был и недюжинный политический опыт. Не дай Бог — промахнуться и выкрикнуть что-нибудь не то! Короче говоря, хоть и известно было, что незаменимых людей у нас нет, поручить это тонкое и ответственное дело в том учреждении больше было некому.

Но однажды вышло так, что этот незаменимый человек довольно долго отсутствовал. Он был в отпуске. И вот он возвращается из своего отпуска — свежий, загорелый — и сразу, с новыми силами приступает к своим неформальным обязанностям, потому что аккурат в тот самый день проходил в их учреждении какой-то особенно важный и особенно многолюдный митинг.

Будучи настоящим ассом — высоким мастером своего дела, — он даже и не старался вслушиваться, а тем более вдумываться в смысл произносимых с трибуны речей. Он, как всегда, реагировал на знаковое слово. И вот оно прозвучало — это ключевое слово, главное из всех тогдашних политических слов: «Бдительность».

Услышав его, он вскочил, как заведенный, и посвежевшим за время отпуска, хорошо поставленным своим голосом выкрикнул в зал:

— Верному сыну коммунистической партии, железному сталинскому наркому Николаю Ивановичу Ежову — слава!

И тут случилось нечто невероятное. Вместо грома аплодисментов зал ответил на этот пронзительный ликующий призыв гробовым молчанием.

Специалист по выкрикиванию лозунгов, как я уже сказал, был человек политически опытный: он сразу понял, что

Ежов больше уже не железный сталинский нарком, а может быть, даже уже и не верный сын коммунистической партии. Смертельная бледность проступила на его загорелом под южным солнцем лице, и, не издав ни единого звука, он грохнулся в обморок.

ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО ШУРИКА

Фамилию «Шелепин» я впервые услышал (вернее, прочел) аж в 1942-м году. В только что появившейся тогда поэме Маргариты Алигер «Зоя». Там говорилось, что именно Шелепин — он был тогда, кажется, секретарем Московского горкома комсомола — выбрал из многих добровольцев Зою Космодемьянскую и выдал ей комсомольскую путевку в партизанский отряд. И сказано там было об этом не как-нибудь вскользь, в порядке простой информации, а с большим пафосом. Как-то так:

Товарищ Шелепин! Ты был коммунистом
Со всей беспристрастностью нашей суровой.

Помню, я тогда почему-то подумал, что если когда-нибудь, после смерти Сталина, на его месте окажется этот неведомый мне «товарищ Шелепин», то из этих двух строк вполне можно будет начать лепить культ нового вождя. Подумал я об этом, конечно, не этими словами. (Слова «культ» в тогдашнем моем лексиконе еще не было.) Но смысл был именно такой. Очевидно, я мыслил по аналогии со Сталиным, о котором мне уже тогда было известно, что при Ленине о нем никто даже и не слыхивал. И строчки Маяковского в поэме «Хорошо» («Вас вызывает товарищ Сталин, направо, третья, он там...») в двадцать седьмом году, когда эта поэма была написана, звучали совсем не так, как сегодня, в сорок втором, когда Сталин сам уже стал говорить о себе в третьем лице: «Да здравствует партия Ленина-Сталина!»

Всё это я вспомнил тридцать с лишним лет спустя, когда моя безумная детская идея вдруг стала претворяться в жизнь: Шелепин стал секретарем ЦК, потом Председателем Комитета государственной безопасности, а потом и членом Политбюро. И все стали называть его «Железным Шуриком». И повторять: «Железный Шурик рвется к власти».

Однажды мы как-то собрались своей компанией по случаю какого-то праздника, и Михмат Кузнецов, учившийся с Железным Шуриком на одном курсе (в ИФЛИ) рассказал. Разговорились они как-то в те давние времена, когда были нищими студентами, кто кем мечтает стать. «Я хочу поступить в аспирантуру и стать ученым, профессором», — сказал один. «А я — писателем», — открыл душу другой. «А я, — железным голосом сказал Железный Шурик, — буду секретарем ЦК!»

Выслушав этот рассказ Михмата, мы весело расхохотались. А какой-то остряк из нашей компании поднял свой бокал и провозгласил:

— Так выпьем же за нашу прекрасную страну, где все мечты сбываются.

Хохот за столом стал гомерическим. А когда мы отсмеялись, Михмат рассказал еще одну историю про Шурика.

Гуляли они как-то вдвоем близ Кремля. И Шурик, кивнув на светящиеся за Кремлевской стеной окна, сказал:

— Живут же люди!

Говорить в таком тоне о вождях, живущих в Кремле, тогда было не принято. Но вдаваться в официальный пафос Михмат тем не менее не стал. Он только осторожно возразил:

— Так ведь какие же люди!

На что Шурик ответил своим, уже тогда непререкаемым, железным голосом:

— Брось! Такие же, как мы с тобой.

Из этого можно заключить, что Шурик был далеко не глуп, и совсем не случайно добрался до самых вершин советской государственной пирамиды.

Дальнейшее развитие событий, однако, показало, что ум в этих делах — не главное. Чтобы удержаться на этих вершинах нужны еще и какие-то иные качества, которыми Шурик, вероятно, не обладал. А обладал ими глубоко презираемый им Леонид Ильич Брежнев.

Так или иначе, но Железный Шурик сторел. Выпал из обоймы и стал самым обыкновенным пенсионером. И тут — дело было уже в 70-е годы — другой его сокурсник, Игорь Черноуцан, работавший некогда в ЦК, а теперь уже тоже пребывающий на пенсии, решил собрать всех оставшихся в живых однокашников. И позвонил третьему их сокурснику, который в то время был еще не на пенсии, а занимал, хотя и

далеко не такой важный, как еще недавно Шурик, но все-таки весьма ответственный пост: он был главным редактором почтенного толстого журнала.

— Витасик! — сказал ему Черноуцан. — Я хочу собрать весь наш курс. Посидим, выпьем, вспомним молодость. Нас ведь уже так мало осталось!

Последовала довольно долгая пауза. А за ней — вопрос:

— А Шурика ты позовешь?

— Ну конечно! — ответил Черноуцан. — Ведь он же тоже с нашего курса.

Еще более долгая пауза. И — новый вопрос:

— А ты это согласовал?

— Что за чушь! — возмутился Черноуцан. — Собираются старые друзья... Просто так... по частному, сугубо личному поводу... С какой стати я должен это согласовывать?

Последовала еще одна, на этот раз уже не такая долгая пауза. И — ответ:

— Тогда я не приду.

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЗАСТРЕЛИЛИСЬ?

А эту историю мне рассказал Юра Левитанский.

До войны он тоже учился в ИФЛИ. И был у него там дружок. Я даже фамилию его запомнил: Непомнящий. Коля, по-моему. Коля Непомнящий.

Этот Коля был двумя или тремя годами старше Юры: успел повоевать на Финской. А когда началась главная наша, большая война — попал в окружение. Дальше — плен. Бежал. Прошел проверочные лагеря — и снова на фронт. И тут — новая беда: снова плен.

Однако — выжил. Ну и, конечно, загремел в лагерь. На этот раз уже — в свой, советский.

Из лагеря он вернулся в Москву уже после XX съезда. А Москва, как известно, слезам не верит: на работу устроиться ни на какую не удастся, потому что нет прописки. А не работающего — не прописывают.

Он вконец обнищал, ночевал на вокзалах. И когда дошел уже до края, решил позвонить бывшему своему сокурснику — Шурику Шелепину. Тот в то время был уже большим человеком — первым секретарем ЦК ВЛКСМ.

И представьте – дозвонился!

И можете себе представить? Шурик ему обрадовался. О чем речь, говорит, приходи! Всё, что надо, сделаю.

И вот они встретились.

Встретились, рассказывал Коля, по-братски. И согретый этим братским приемом, он всё ему выложил. Обо всех своих злоключениях рассказал, ничего не скрывая, – как брату.

По ходу этого рассказа Шурик становился все холоднее, незаметно перешел с Колей на «вы».

Тем не менее, запинаясь и комкая, Коля все-таки как-то – с грехом пополам – довел свой рассказ до конца. Он уже понял, что затея его с треском провалилась и не ждал от своего визита к старому институтскому товарищу ничего хорошего. Он даже приготовился услышать от него что-нибудь вроде: «Извини, брат... Ничем не могу тебе помочь... Перед этими обстоятельствами даже я бессилён...»

Но старый институтский товарищ повел себя иначе. И сказал он совсем не то, что Коля ожидал от него услышать.

Подняв на него пустые, холодные, чужие глаза, он спросил: – А почему вы не застрелились?

НЕ ДАЙ ВАМ БОГ УВИДЕТЬ, КАК ОН ПЛАЧЕТ

Когда правительство молодой советской республики собралось переезжать из Петрограда в Москву, отцу Юры Трифонова поручили приглядеть в Москве подходящее здание, в котором могла бы расположиться ЧК. И он приглядел – дом Страхового общества «Россия» на Лубянке. В этом доме он потом и сгинул.

Это – предыстория.

Сама история тоже короткая.

Собственно, это никакая не история. Случай?.. Нет, даже и не случай... Даже и не знаю, как назвать... Просто воспоминание, которое не идет у меня из головы.

Позвал как-то меня к себе Боря Слуцкий. Сказал, что будет еще Юра Трифонов. И он почитает нам свои новые стихи.

По инерции я написал «к себе», – но это сказано не совсем точно, потому что никакого постоянного пристанища в

Москве у Бориса тогда не было. Он скитался по разным углам. А в тот раз квартировал у одного своего приятеля в старом деревянном доме на Большой Бронной. (Теперь от этой развалюхи, разумеется, не осталось и следа.)

Мы с Юрой явились почти одновременно. Борис усадил нас за стол, покрытый старенькой клеенкой. Сам сел напротив. Положил перед собой стопку бумажных листков — в половину машинописной страницы каждый. Сказал:

— Вы готовы?.. В таком случае начнем работать...

Это был его стиль, унаследованный им от Маяковского. Не могу поручиться, что слово «работать» было действительно произнесено, но тон и смысл сказанного был именно такой: вы пришли сюда не развлекаться и не лясы точить, а работать.

Мы поняли и настроили себя на соответствующий лад.

Борис прочел первое стихотворение... Второе... Третье... Начал читать четвертое.

— «Лопаты», — объявил он. И стал читать, как всегда медленно, буднично, без всякого актерства, ровным, «жестяным» голосом:

На рассвете с утра пораньше
По сигналу пустеют нары.
Потолкавшись возле параши,
На работу идут коммунары.

Основатели этой державы,
Революции слава и совесть —
На работу!
С лопатой ржавой.
Ничего! Им лопата не новость.

Землекопами некогда были.
А потом — комиссарами стали.
А потом их сюда посадили
И лопаты корявые дали...

Тут вдруг большой, грузный Юра как-то странно всхлипнул, встал и вышел из комнаты.

Мы с Борисом растерянно смотрели друг на друга. Молчали.

Слышно было, как где-то (в кухне? в ванной?) льется вода.

Потом Юра вернулся. Сел на свое место. Глаза у него были красные.

Никто из нас не произнес ни слова.

Последний законный наследник Маяковского продолжил свою работу. Прочел пятое стихотворение... шестое... седьмое... Наверно, это были хорошие стихи. Но я их уже не слышал. В голове моей, заглушая ровный голос Бориса, звучали совсем другие стихотворные строчки:

Мальчишка плачет, если он побит.
Он маленький, он слёз ещё не прячет.
Большой мужчина плачет от обид.
Не дай вам Бог увидеть, как он плачет.

Да... Не дай вам Бог.

В СТРАНЕ ПРОИЗОШЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Однажды я засиделся у Лидии Корнеевны Чуковской допоздна, чуть ли не до глубокой ночи. Сидели вдвоем, пили чай, и как-то особенно хорошо разговаривали: не спорили, не ссорились, не пикировались (что у нас тоже бывало).

И вдруг, в приступе внезапной откровенности, Лидия Корнеевна рассказала мне такую историю.

Было это в 1927 году. (У меня очень плохая память на даты, но эту я запомнил хорошо, потому что это — год моего рождения.) Жили они тогда в Питере. Но было лето, родители с младшими детьми дневали и ночевали на даче, а она — Лида — жила одна в их большой московской квартире. Было ей тогда 20 лет.

И вот как-то встретила она одну свою — не самую даже близкую — школьную подругу. Выяснилось, что той то ли совсем негде жить, то ли живет она где-то на окраине, в неудобном районе, в скверной какой-то комнатенке, и Лида предложила ей на время — пока родителей в городе нет — переселиться к ней. Что и было сделано.

А подруга эта (звали ее, кажется, Катя) — так вот, эта самая Катя увлекалась политикой, по политическим убеждениям своим была близка то ли эсерам, то ли анархистам, может быть, даже, состояла в какой-то из этих партий, и пыталась вовлечь Лиду в круг этих своих интересов.

Но Лида не соблазнилась. Один раз сходила с ней на ка-

кое-то подпольное собрание, быстро заскучала, и больше на такие сборища уже никаким калачом заманить ее было нельзя.

А Катя, напротив, втягивалась в эти подпольные партийные дела всё больше и больше. И однажды, выполняя задание своей партии, она напечатала на пишущей машинке Корнея Ивановича какие-то прокламации. А на беду машинка у Корнея Ивановича была какая-то необычная, очень уж заметная. Может быть, она была даже одна такая на весь Петроград.

Короче говоря, обеих девчонок замели.

Не зная, как поведет себя на допросе Катя, Лида — на всякий случай — не стала отпираться, подтвердила, что да, действительно, напечатала на отцовской машинке прокламацию. Но Катя сразу же во всем призналась и мнимую эту вину с нее сняла.

Казалось бы, недоразумение разъяснилось, и Лидию Корнеевну тут же должны были отпустить на все четыре стороны. Но даже в те, вегетаринские, как назвала их Ахматова, времена чекисты так просто не выпускали тех, кто уже попался им в лапы. Обвинение в печатании прокламации отпало, но оставалось посещение подпольных собраний.

Поначалу она это обвинение отрицала, и когда ей дали понять, что ее там видели, попыталась даже намекнуть, что, быть может, чекистские осведомители ошиблись, приняв за нее какую-то другую девушку. Но следователь только усмехнулся в ответ:

— Нет, никакой ошибки тут быть не могло. Уж очень, знаете ли, внешность у вас — тут он нашел точное, профессиональное слово — неконспиративная...

Короче говоря, обеих девчонок приговорили к ссылке. Куда сослали Катю, я не запомнил. А Лиду — в Саратов.

Ссылка была, в общем, не такая уж страшная. Но сложностей было немало. Начать с того, что поселиться там, в Саратове, можно было, только сняв у кого-нибудь комнату или хотя бы угол. А начальство довольно строго предписывало местным жителям ни в коем случае никакого жилья ссыльнопоселенцам не сдавать.

Были еще и другие какие-то сложности. Что ни говори, ссылка — даже в те вегетарианские времена — это была всё-таки ссылка.

Но о трудностях той саратовской своей жизни Лидия Корнеевна распространялась мало: рассказ ее был о другом.

Корней Иванович поднял на ноги всех своих влиятельных знакомых (еще был жив Маяковский, еще не совсем бессилён был Луначарский). Короче говоря, из этой передраги ее вытащили: вместо назначенных ей трех лет, в ссылке она провела чуть больше года. Привезли то ли на Шпалерную, то ли на Гороховую («Большой дом», как у них там, в Питере, называлось здание, которое у нас в Москве именовалось «Лубянкой», тогда еще не был построен) и, сделав небольшое внушение, совсем было уже изготовились отпустить на все четыре стороны. Надо было только соблюсти одну небольшую формальность: она должна была подписать бумагу, в которой говорилось, что никакой политической деятельностью никогда больше заниматься не будет.

Поскольку никакой политической деятельностью она и раньше не занималась, и — тем более — не собиралась заниматься впредь, подписать такую бумагу для нее не составляло никакой проблемы. И она уже готова была выполнить это пустяковое условие. Но тут ее вдруг словно ударило:

— А Катя? — спросила она.

— А при чем тут Катя? — удивился следователь. — Хоть анархисты в нас и стреляли, мы их не расстреливаем. Но в Сибири места для них у нас хватит.

И тут ей стало ясно, что ни за что, ни за какие блага мира она эту проклятую бумажку не подпишет. Во всяком случае до тех пор, пока Катя, втянувшая ее и всю ее семью в эту историю, не окажется в равном с нею положении.

— Я сама не понимала, — рассказывала Лидия Корнеевна, — что со мною происходит. Корней Иванович то негодовал, то слезно умолял меня не идиотничать. Он клялся, что приложит все силы, чтобы выцарапать из тенет и Катю тоже. И я понимала, что он прав, что я веду себя не просто глупо, а глупо до идиотизма. Но я ничего не могла с собою поделать. То, что заставляло меня вести себя вот таким идиотским образом, было сильнее меня.

История эта долго не кончалась. Ее отпустили домой, но на протяжении нескольких месяцев она должна была ежедневно ходить на Гороховую (или на Шпалерную), где ее мягко, но

жестко убеждали подписать злополучную бумагу. Но она — не сдавалась. И так ее и не подписала.

Тупиковая эта ситуация постепенно как-то разрешилась: времена-то ведь все-таки были вегетарианские.

Эту тему Лидия Корнеевна в том своем рассказе отметила особо. Она вспомнила, как ее вызвали — на этот раз уже в Большой дом — десять лет спустя. Год, стало быть, был уже тридцать седьмой, но словосочетание это еще не успело стать нарицательным, и вообще мало кто еще понимал тогда, что происходит. Но она всю жуть происходящего поняла — вернее, почувствовала — сразу. Чем и поделилась с мужем, вскоре исчезнувшим навсегда в недрах того самого Большого дома.

— Митя, — рассказывала она, — совершенно меня не понял. «Что там тебя так поразило?» — недоумевал он. — «Ведь ты-то там оказалась не в первый раз, ты же там уже была!»

Да, она уже там была десять лет тому назад. Но тогда это было — другое. И люди, допрашивавшие ее и отправившие в ссылку, а потом заставлявшие подписать ту дурацкую бумагу, — они тоже были другие. Это были, — нашла она слово, — жандармы. Противные, даже мерзкие, но — холодные, вежливые. А эти...

Вспомнив про «этих», она зябко и брезгливо повела плечами.

Они сидели прямо на столах, развалившись, в хамских, отнюдь не официальных позах. Кто-то из допрашивавших нарочно пускал ей в лицо папиросный дым. Запугивая ее, кто-то из них даже стрелял в потолок.

В общем, вышла она оттуда в шоке. И на все недоумевающие расспросы мужа твердила одно:

— Ты не понимаешь, произошло что-то страшное. В стране произошел государственный переворот...

МЕНЬШЕВИКИ И БОЛЬШЕВИКИ

Однажды мне рассказали про двух старых людей — мужа и жену. Когда-то, очень давно, они состояли в одной партии — РСДРП. Только у нее в скобках стояло — «м», а у него — «б». Потом партия окончательно раскололась на «б» и «м». И они стали членами разных партий. Но это не мешало им оставаться мужем и женой.

Потом их посадили. Её — поскольку она примыкала к меньшевикам — раньше, его — поскольку он был большевиком — позже.

Потом их реабилитировали. Его — как большевика — раньше, её — позже.

И они опять стали жить вместе, радуясь, что остались живы, что все их горести — позади.

И жили счастливо. Во всяком случае, мирно.

Но однажды она заболела. Тяжело. Смертельно. И настал день, когда она поняла, что это — последний день в ее жизни.

И вот, когда ей стало совсем уже худо, когда она почувствовала, что умирает, она попросила мужа выйти из комнаты.

Она сказала, что не хочет, чтобы при последнем ее вздохе рядом с ней находился большевик.

ПРОПАЛА РИФМА

Сто пятьдесят лет со дня рождения Пушкина (в 1949 году) страна отмечала не так громко, как двухсотлетие, но все-таки достаточно помпезно.

Было, как водится, торжественное заседание в Большом театре. В президиуме сидели члены Политбюро и другие, как принято тогда было говорить, «знатные люди нашей Родины».

Доклад о жизни и творчестве великого поэта делал Константин Симонов.

Само собой, и весь ход этого торжественного заседания, и симоновский доклад транслировались по радио на всю страну.

Но широкие народные массы — особенно где-нибудь там, в глубинке, — большого интереса к этому мероприятию не проявляли.

Во всяком случае, в маленьком казахском городке, на центральной площади которого был установлен репродуктор, никто — в том числе и местное начальство — не ожидал, что доклад Симонова вдруг вызовет у населения такой жгучий интерес.

Репродуктор хрипел что-то свое, не слишком разборчивое. Площадь, по обыкновению, была пуста. Но к началу торжественного заседания, транслировавшегося из Большого

театра, вернее — к началу симоновского доклада — вся площадь вдруг заполнилась толпой всадников, прискакавших неведомо откуда. Всадники спешили и молча застыли у репродуктора.

Менее всего были они похожи на тонких ценителей изящной словесности. Это были совсем простые люди, худо одетые, с усталыми, изможденными лицами. Но в казенные слова симоновского доклада они вслушивались так, словно от того, что сейчас скажет там, в Большом театре, знаменитый поэт, зависела вся их жизнь.

Но в какой-то момент, где-то примерно в середине доклада, они вдруг потеряли к нему всякий интерес. Вскочили на своих лошадок и ускакали — так же неожиданно и так же стремительно, как появились.

Это были сосланные в Казахстан калмыки. И примчались они из дальних мест своего поселения в этот городок, на эту площадь с одной-единственной целью: услышать, произнесет ли московский докладчик, когда он будет цитировать текст пушкинского «Памятника» (а он ведь непременно будет его цитировать! Как же без этого?), слова: «И друг степей калмык».

Если бы он их произнес, это означало бы, что мрачная судьба сосланного народа вдруг озарилась слабым лучом надежды.

Но вопреки их робким ожиданиям, Симонов этих слов так и не произнес.

«Памятник» он, конечно, процитировал. И даже соответствующую строфу прочел. Но — не всю. Не до конца:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус...

И — всё. На «тунгусе» цитата была оборвана.

Я тоже слушал тогда (по радио, конечно) этот доклад. И тоже обратил внимание на то, как странно и неожиданно переполовинил докладчик пушкинскую строку. Но о том, что стоит за этой оборванной цитатой, узнал гораздо позже. И историю эту про калмыков, примчавшихся из дальних мест, чтобы послушать симоновский доклад, мне тоже рассказали потом, много лет спустя. А тогда я только с удивлением

отметил, что при цитировании пушкинского «Памятника» у докладчика почему-то пропала рифма. И очень удивился, что Симонов (поэт все-таки!) ни с того ни с сего вдруг изувечил прекрасную пушкинскую строку.

Пропавшую рифму Пушкину вернули лишь восемь лет спустя. Только в 57-м (после смерти Сталина, после XX съезда) сосланный народ возвратился в родные калмыцкие степи, и текст пушкинского «Памятника» мог наконец цитироваться в своем первоизданном виде. Даже со сцены Большого театра.

КАК КРИТИК ДАНИН ПОСТУПИЛ ПО-СВИНСКИ СО СВОИМ ДРУГОМ ПОЭТОМ СМЕЛЯКОВЫМ

Даниил Семенович Данин и Ярослав Васильевич Смеляков были близкими друзьями. Они подружились еще в юные годы. Ну а потом было всякое, — но дружба продолжалась.

До войны Смеляков побывал в лагере, а во время войны в плену. Потом ему предстояла еще одна отсидка, о чем он, конечно, не знал, но опасаться этого мог, поскольку в известные времена брали так называемых «повторников»: то есть тот, кто однажды уже побывал «за той стеной», оказывался там вторично, и никакого особого нового повода для этого было не надо.

Однако, выйдя после первой отсидки на волю, Смеляков опубликовал цикл прекрасных стихов. И старый его приятель Данин, возликовав, что дела друга идут на лад, да и стихи, повторяю, были на редкость хороши, тотчас же написал и опубликовал (в «Литературной газете») восторженную статью, озаглавив ее по-пастернаковски — «Второе рождение поэта».

Естественно, по этому поводу предполагался большой выпивон, и в каком-то дружеском кругу событие это было уже соответствующим образом отмечено. Но — без поэта. Поэт почему-то молчит. Не реагирует.

И вот дома у Данина наконец раздается телефонный звонок.

Звонит Смеляков и мрачным голосом говорит, что им надо встретиться. И они встречаются в полуподвальной забега-ловке на углу Столешникова. Чокаются гранеными стаканами.

Все вроде как полагается. Но поэт — мрачен. Он явно не в духе. Отводит глаза и о радостной статье друга-критика — ни звука.

Наконец — не знаю уж, после какого стакана, — поэт наконец отверзает уста.

— Скотство, — говорит он. — Ну зачем ты это написал? Выставиться захотелось?!

— Ярочка! — говорит обомлевший критик. — Ты что, спятил?

— Я-то не спятил, — говорит поэт, — а вот ты, видать, и впрямь рехнулся. Только о себе думаешь. А о моей судьбе ты подумал? Ведь теперь из-за тебя, мудака, меня опять не будут печатать.

— Да ты просто тронулся, — отвечает ему все еще ничего не понимающий Данин.

— Я-то не тронулся, — мрачно повторяет всерьез расстроенный Смеляков. — Ты что, не понимаешь, что мне теперь надо жить в незаметности. А теперь, из-за этой твоей сволочной статьи такое начнется...

В общем, вышла самая настоящая ссора, после которой отношения двух друзей в полной мере, кажется, так и не восстановились.

А вскоре выяснилось, что Смеляков точно в воду глядел. Прошло совсем немного времени, и кто-то из высоких руководителей Союза писателей СССР публично — а потом и в печати — объявил злополучную данинскую статью «эстетским захваливанием». Это был — сигнал. И главные редакторы журналов, еще недавно встречавшие Смелякова приветливыми улыбками, стали стыдливо отводить от него глаза и делать вид, что они незнакомы и, в сущности, даже не знают, кто это такой.

Так что социальный опыт, обретенный Ярославом Васильевичем за время его разлуки с другом-критиком, прошел для него не зря. Он теперь куда лучше, чем тот, знал и понимал, в какой стране живет и как и чего тут бывает.

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ЦАРЬ

Знаменитый наш летчик-испытатель Марк Лазаревич Галлай был человеком очень даже неглупым. Во всяком случае, насчет природы нашего родного государства никаких иллюзий у него вроде не было. Но в начале так называемой

хрущевской оттепели он был в полном восторге от нашего нового вождя.

Эти его чувства, кстати сказать, тогда разделяли многие. Даже Ахматова говорила о себе, что она «хрущевка», то есть — сторонница и даже поклонница Хрущева.

Что — и как скоро — ее отрезвило, не знаю.

А Марка охладила и заставила задуматься реплика его старого отца.

— Понимаешь, Марик, — объяснил он сыну. — Просто это первый новый царь в твоей жизни.

ХРУЩЕВ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

«**В** натуральную величину», то есть вживе я Хрущева видел лишь однажды. Но этого одного раза мне вполне хватило.

Это было в конце 59-го. Шел Третий Всесоюзный съезд советских писателей. И на последнем его заседании — в Кремле — с большой речью выступил «наш Никита Сергеевич».

Появление его на трибуне вызвало не слишком бурные, я бы даже сказал, скорее вялые аплодисменты.

Вздев очки и раскрыв бювар с заготовленным текстом, он минуты три бубнил что-то привычно-безликое (в духе «Мы будем и впредь...»), не отрываясь от того, что ему там понаписали. Но больше трех минут не выдержал: отложил листок с напечатанным текстом, улыбнулся — нормальной человеческой, какой-то даже слегка конфузливой улыбкой — и сказал:

— Вот что хотите со мной делайте, не могу я выступать по бумажке...

Зал взорвался аплодисментами — на сей раз живыми и искренними.

Обрадованный поддержкой, Хрущев слегка развил эту тему:

— По бумажке — оно, конечно, спокойнее. Особенно перед такой аудиторией. Но — не могу. Пусть даже скажу что-нибудь не так, но буду говорить без бумажки... — И решительно отложил бювар с напечатанным текстом в сторону.

Аплодисменты усилились. Пожалуй, теперь их можно было даже назвать бурными.

И тут «наш Никита Сергеевич» сразу охамел.

Стал учить писателей уму-разуму. Заговорил об ошибочных тенденциях, проявившихся в литературе в последнее

время. Назвал осужденный партийной печатью роман Дудинцева «Не хлебом единым», в таком же осудительном тоне упомянул Маргариту Алигер, которую назвал «товарищ Елигер».

Зал снова приуныл. И он, надо отдать должное его интуиции, сразу это почувствовал.

— Ну ладно! — И опять улыбнулся своей милой конфузливой улыбкой. — Покритиковали мы этих товарищей, справедливо покритиковали — и хватит... Хватит уже напоминать им об их ошибках...

Эти слова были встречены уже самой настоящей овацией. И тут он насторожился. И, погрозив залу пальцем, неожиданно заключил:

— Но и забывать не стоит!

Вынул из кармана ослепительно белый носовой платок, для наглядности завязал на его краешке узелок и показал залу:

— Вот! Узелок на память завязал. Так что не сомневайтесь. Всё помню. Каждую фамилию помню. И товарища Дудинцева, и товарища Елигер...

Зал снова приуныл, и его интуиция снова сработала.

— Знаете, как бывает, — сказал все с той же милой своей улыбкой. — Иную книгу начнешь читать — и прямо засыпашь... Булавкой надо себя колоть, чтобы не заснуть... А вот книгу товарища Дудинцева я, скажу честно, читал без булавки...

Снова овация.

— Но нельзя, товарищи! В идеологии никакого мирного сосуществования допускать нельзя. И мы его не допустим!

И так его мотало из стороны в сторону на протяжении всей его чуть ли не двухчасовой речи.

ХРУЩЕВ КАК НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА

Сейчас так называемой ненормативной лексикой уже никого не удивишь. А в хрущевские времена это нам было еще в новинку. Особенно если что-нибудь подобное приходилось услышать из уст первого человека государства.

А слышать приходилось.

Однажды он сказал (и это было напечатано):

— Пусть Аденауэр подрищет!

Иногда из-за таких его высказываний возникали легкие международные скандалы. И однажды по какому-то такому поводу он напустился на Трояновского, который переводил

его речь иностранцам. Трояновский клялся, что переводил все дословно и даже пытался доказать это с текстами на руках.

Выслушав его объяснения и доводы, Хрущев сказал:

— Мало ли какую хуйню я наговорю, а ты и рад переводить!

ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Это была не уставная, но распространенная (еще со времен спасения челюскинцев) формула, заключающая воинский рапорт о выполнении какого-либо боевого или просто трудного, опасного задания. В официальный новояз вошла во время первых космических полетов: вернувшиеся на Землю космонавты рапортовали:

— Готовы выполнить любое задание Советского правительства и Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

В середине 60-х возник и стал популярен такой ирониче-ский перифраз этого рапорта:

— Готовы выполнить любое задание любого правительст-ва и любого Центрального Комитета!

Эта глумливая, ёрническая формула родилась в ответ на «нештатную» ситуацию, в которую попали космонавты, вер-нувшиеся из полета в середине ноября 1964 года.

За несколько дней до приземления с ними говорил по ра-диотелефону и поздравлял с удачным полетом тогдашний Председатель Совета Министров и Первый Секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. (Хорошо помню опубликованную тог-да в печати его реплику: «Здесь рядом со мной товарищ Ми-коян, он рвет у меня трубку!»)

А когда космонавты вернулись на Землю, им пришлось ра-портовать уже другому Предсовмина и другому Первому секре-тарю: Хрущева к этому времени успели отправить в отставку.

ПОСЛЕДНИЙ МАРКСИСТ

Так друзья и недруги иронически называли Михаила Александровича Лифшица — одного из самых блестящих эс-сеистов минувшей эпохи. Сам он на эту кличку не обижался.

От своей упорной приверженности марксизму не только не отрещивался, но даже гордо на ней настаивал.

Не обиделся он даже и на совсем обидную кличку, которой наградил его один из современников. Хотя и не удержался от ответа, найдя для него местечко в предисловии к одной из своих последних книг.

Один писатель, живущий ныне за рубежом, — писал он в этом предисловии, — назвал меня «ископаемым марксистом». Конечно, ископаемым быть нехорошо, хотя бывают и полезные ископаемые. Но, принимая долю истины, заключенную в этой характеристике, скажу только, что лучше быть ископаемым марксистом, чем ископаемым проповедником реставрации Бурбонов. Остальное покажет время. «Кто будет жить, тот увидит», — говорят французы.

С той поры как были написаны эти слова прошло не так уж много времени — каких-нибудь три десятка лет. Но те, кто жил в эти годы, увидели многое. В том числе — крушение гигантской империи, недавно еще казавшейся самым убедительным воплощением марксистской доктрины.

До этих ошеломляющих событий Михаил Александрович не дожил. Но и тогда, три десятка лет тому назад, марксизм был уже весьма сильно скомпрометирован множеством гнусных, кровавых злодеяний, совершавшихся от его имени.

Будучи человеком умным, Михаил Александрович не закрывал на это глаза. О торжестве марксизма на политической арене даже в частных беседах никогда не упоминал. А защищал марксизм, отстаивал марксистские догмы лишь в одной сфере — сфере искусства.

Одна из самых ярких его статей на эту тему называлась «Феноменология консервной банки». (Она была напечатана в 12-м номере журнала «Коммунист» за 1966 год.) Речь в ней шла о переживавшем тогда период бурного расцвета «попарте».

Не только над консервной банкой, объявленной последним словом наисовременнейшего искусства, глумился в этой своей статье Михаил Александрович. С язвительной иронией живописал он вошедшие тогда в моду «хепенинги», во время одного из которых (цитирую):

...кореец Джун Пейк бросал в публику горох, покрывал лицо мыльной пеной, прыгал в воду, вертелся на турнике, и все это под «музыку транс», написанную им самим. Если верить газетам, музыка его состояла из пистолетных выстрелов,

биться стекол, свиста, скрежета, царапанья, треска лопающихся воздушных шаров и т.д. В заключение Пэйк со спущенными штанами прошел по сцене и уселся на высокой скамье голым задом к зрителям.

Все эти замечательные достижения современного «антиискусства», достойные в лучшем случае газетного фельетона, для «последнего марксиста» стали предметом глубоких философских построений, поводом для размышлений о заблуждениях чуть ли не всей мировой (западной, конечно) живописи. И тут он не мог отказать себе в удовольствии всласть поиздеваться над западными искусствоведами, бурно восхищавшимися всеми предшествующими модернистскими течениями, но в ужасе остановившимися перед «поп-артом».

«Неужели движение, начатое Сезанном, неизбежно должно было привести к упадку?» – приводил он горестное недоумевающее восклицание одного из них. И так на него отвечал:

Что же вы утираете слезы, господа? Не понравилась гадкая рожа, которую строит нашему искусству его невоспитанный ребенок – «поп-арт»? Вы сами этого хотели, вы учили его всяким гадостям... Теперь не жалуйтесь – потерявши голову, по волосам не плачут.

Ответ ясен и недвусмыслен. Да, во всем виноват Сезанн. Вы восхищались Сезанном? Так лопайте теперь консервную банку, заменившую Рембрандта! Любуйтесь голым задом Джуна Пейка, устраивающего свои «хепенинги». Не нравится? Что ж! Ты этого хотел, Жорж Данден!

Однажды случилось так, что я целый месяц сидел с Михаилом Александровичем за одним столом – в столовой переделкинского Дома творчества. И мы с ним вели долгие увлекательные беседы.

Феноменологии консервной банки, да и вообще живописи, мы в этих беседах не касались. А говорили о том, о чем тогда говорили все в нашем кругу: о Ленине, о Сталине, о том, в какой исторический тупик завели нас эти наши бывшие вожди. И тут мы с Михаилом Александровичем оказались полными единомышленниками. Сталина он ненавидел. Никто, говорил, так не надругался над марксизмом, как этот кровавый палач и недоучка. Да и о Ленине отзывался весьма непочтительно. Во всяком случае, настоящим марксистом он его не считал.

В таких вот беседах и проходил наш переделкинский месяц.

А однажды пришлось нам с ним поехать в Москву — на какое-то важное собрание в Союзе писателей. Собрания эти тогда бывали весьма бурными и интересными, и мы старались их не пропускать.

Вдвоем мы поймали такси и отправились, продолжая в пути вести обычные наши разговоры. Точнее — один и тот же нескончаемый разговор на одну и ту же постоянную тему: какой гад Сталин, и какие отклонения от классического марксизма допустил Ленин. А когда подъехали к ЦДЛ, выяснилось, что тут пути наши на время должны разойтись. Для Михаила Александровича, как и для всех членов партии, собрание должно было начаться в четыре, а для нас, беспартийных, — в шесть, после того как партгруппа все обсудит и примет свои решения. Таков был всегдашний порядок, о котором я то ли не знал, то ли забыл.

Узнав об этом, я чертыхнулся, размышляя, как мне теперь быть. Ехать домой — не стоило: не успею приехать, как уже надо будет возвращаться. А болтаться два часа где-нибудь в буфете с местными завсегдатаями-алкашами тоже не больно хотелось.

— Но ведь у вас есть еще один, третий вариант, — тонко улыбнулся Михаил Александрович. — Вы можете присоединиться к нашей фракции.

— А вот это, — не без удовольствия ответил я, — невозможно. По причинам, которые мы с вами только что обсуждали.

Чем там кончились эти мои сомнения и где провел я эти злосчастные два часа, — сейчас уже не помню.

Помню только, что когда собрание наконец началось, одним из первых ораторов на трибуне оказался мой Михаил Александрович. И перед аудиторией, сверху донизу нашпигованной стукачами, он произнес речь, которую я — без ложной скромности — воспринял как не лишенный остроумия ответ на мое объяснение причин, по которым я не мог и не хотел присоединиться к «их фракции».

— Я, — сказал он, — как вы знаете, марксист. Сейчас это не модно, но тем не менее я марксист. Так вот, позвольте мне объяснить вам, почему, несмотря ни на что, я продолжаю оставаться марксистом.

И далее он кратко, но выразительно пересказал знаменитую новеллу Боккаччио, в которой повествуется о том, как почтенный торговец сукнами, проживавший в городе Париже, решил обратиться в христианскую веру своего друга, еврея Авраама, тоже весьма богатого и почтенного купца. Еврей всячески этому противился, но его друг-христианин не щадил сил, чтобы добиться успеха.

Наконец еврей, побежденный настойчивостью своего друга, сдался. «Хорошо, — сказал он, — я готов сделаться христианином. Но сперва я отправлюсь в Рим, дабы там увидеть того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидеть его нравы и образ жизни, а также его братьев кардиналов. Если, поглядев на них, я смогу окончательно убедиться в преимуществах твоей веры над моей, — приму крещение. А коли нет, как был, так и останусь евреем».

Услышав такой ответ, купец-христианин решил, что все его труды пошли прахом: кто же поверит в истинность христианской веры, увидав, как живут высшие иерархи Римской католической церкви, как глубоко погрязли они в пьянстве, обжорстве, роскоши и разврате.

Каково же было его изумление, когда его друг-еврей, вернувшись из Рима, объявил, что согласен. Да, побывав в Ватикане, он окончательно убедился, что должен принять христианство. Если несмотря на то, что вытворяют те, кому заповедано быть главными хранителями заветов Христа, христианская вера не только не рушится, но даже с каждым днем обретает все новых и новых адептов и последователей, — значит, это действительно ИСТИННАЯ ВЕРА.

Пересказав эту замечательную историю, Михаил Александрович, весьма собою довольный, повторил:

— Теперь, я надеюсь, вы поняли, почему я остаюсь марксистом.

ЗА ЧТО ИХ СУДИЛИ

Почти все наши диссиденты, которых насильно выпихнули из страны, уезжали по израильской визе. Даже упрямый Андрей Амальрик, долго упиравшийся, доказывая, что никакого отношения к евреям не имеет, а жена его и вовсе мусульманка, вынужден был в конце концов сдаться и эмигрировать через Израиль по липовым документам о «воссоединении семей».

По этому поводу в нашей среде любили рассказывать такой анекдот.

Иисус и двенадцать апостолов идут по воде. Но один все время проваливается на глубину и просит — по цепочке — передать равви, что вода его не держит. Равви по цепочке отвечает: «Пусть молится!» Но злосчастный апостол продолжает взывать к Учителю и в какой-то момент чуть ли не вопит, что вот-вот пойдет ко дну и утонет. И тут Иисус не выдерживает и, выпадая из роли, раздраженно передает по той же цепочке: «Скажите ему, пусть не выё..вается и, как все, идет по камням!»

Но шутки шутками, а упорный Анатолий Марченко, не поддавшийся никаким уговорам и твердо отказавшийся уезжать по израильской визе, так никуда и не уехал и умер в тюремной больнице.

Так ли, сяк ли, но все диссиденты уже уехали, и только один Войнович продолжал упираться и «идти по камням» решительно отказывался. Да ему этого, кажется, и не предлагали: уж больно хотели, чтобы он наконец умотал — хоть куда, лишь бы покинул пределы родины.

Кончилось дело тем, что уехал он в Германию и по германской визе.

Какую-то роль тут сыграло то, что он в то время уже был почетным членом Баварской академии искусств и по этой причине посильную помощь ему оказывало Германское посольство.

В это время и стал появляться в войновичевском доме очень милый господин — советник Германского посольства граф Грюндель.

И вот сидим мы однажды втроем — Войнович, граф Грюндель и я и ведем милую светскую беседу. Сейчас уже не помню, как и почему, но вдруг всплыла в этом разговоре тема Нюрнбергского процесса. И тут Грюндель сказал:

— Это был, я думаю, единственный случай во всей мировой истории, когда победители судили побежденных.

Судя по тону, каким была произнесена эта фраза, он ждал от нас сочувственного согласия. Но — не дождался.

Войнович просто побелел от бешенства. И сказал:

— Но судили ведь их не за то, что они проиграли войну, а за то, что делали абажуры из человеческой кожи!

Я испугался, что сейчас случится, как сказано у Маяковского, «что-то вроде драки или ссоры», и чтобы пресечь намечавшийся конфликт, вмешался:

— Господин Грюндель, я думаю, имел в виду, что Сталин был ничуть не лучше Гитлера, Геринга и Риббентропа, которые к тому же одно время были его союзниками. Так что вряд ли у него было моральное право на участие в этом процессе.

— Да, да, — поспешил согласиться со мной господин советник, — именно это я и хотел сказать.

ПЛОХОЙ ФИЛЬМ «СЕМЬЯ ОППЕНГЕЙМ»

Фильм этот — по знаменитому тогда роману Лиона Фейхтвангера — был сделан у нас в середине 30-х годов. А ровно шестьдесят лет спустя пригласили меня на телевидение: принять участие в беседе — в прямом эфире — об этом старом фильме.

В то время у нас уже всюю действовали наши, отечественные, фашисты: и «Mein Kampf» Гитлера открыто лежала на книжных лотках, и газетки фашистские выходили, и штурмовики-чернорубашечники мелькали на экранах телевизоров. Поэтому принять участие в обсуждении давнего антифашистского фильма показалось мне не бессмысленным: соблазнительно было, как принято у нас говорить в таких случаях, использовать высокую трибуну, чтобы врезать как следует с телеэкрана — не столько даже распоясавшимся фашистским молодчикам, сколько нашим правоохранительным органам, не умеющим, а скорее — не желающим сделать им укорот.

Забегая вперед, сразу скажу, что эти мои благородные планы с треском провалились. И не по чьей-нибудь, а исключительно по моей собственной вине.

Получив приглашение, я намекнул, что фильм помню смутно, и не худо бы, чтобы перед началом передачи мне его показали. Меня заверили, что это непременно будет сделано.

Фильм я смотрел не в одиночестве: со мной был еще один участник предстоящей беседы — высокий молодой красавец нордического типа. Как мне объяснили, знакомя нас, то ли историк, то ли философ.

Во время просмотра мы время от времени обменивались репликами, не слишком лестными для создателей фильма.

Что говорить, фильм и в самом деле был из рук вон: плоский, примитивный, плакатный.

Глядя на экран, я вспомнил забавный случай из нашей литинститутской жизни. Со мной на одном курсе учился Алексей Марков, будущий видный в Союзе писателей антисемит, получивший за это — по аналогии с известным думским черносотенцем — прозвище «Марков Второй». На экзамене по западной литературе ему досталась драма Лессинга «Натан Мудрый». Требования экзаменаторов к нам были тогда не шибко высокими, и от Маркова профессор хотел добиться только одного: чтобы он хотя бы более или менее внятно сказал, в чем смысл лессинговой драмы, про что она. Алексей долго думал, потел, мялся (Лессинга он, конечно, ни при какой погоде не читал) и, наконец собравшись с духом, выпалил:

— За евреев!

Содержание «Натана Мудрого» в эту краткую формулу, конечно, не укладывалось. Но содержание фильма, который мы с молодым историком (или философом) в тот день смотрели, могло в нее уложиться без особых потерь. Об этом мы и переговаривались с моим юным коллегой во время просмотра. Не столько словами, сколько междометиями и разными скептическими похмыкиваниями. Но общий настрой этих похмыкиваний нам обоим был ясен, и немудрено, что к концу просмотра я уже стал воспринимать своего товарища по несчастью как человека примерно одних со мною вкусов, взглядов и настроений.

Это была ошибка.

Как только просмотр кончился и началась наша беседа перед телекамерой, так сразу же выяснилось, что к фашизму мой молодой философ относится совсем не так, как я. Иначе.

В отличие от меня, он, судя по его речам, не испытывал к этому социальному явлению ни малейшей антипатии. Временами мне даже казалось, что он фашизму скорее симпатизирует.

Честно говоря, я и сейчас не могу с уверенностью утверждать, что мне случилось в тот раз беседовать с убежденным молодым фашистом. Не исключаю, что тогдашним моим собеседником был просто молодой болван-интеллектуал, кокетничающий своей философской беспристрастностью. Но, как бы то ни было, фашистов он защищал. Он искренно старался их понять, а значит — простить. Он уверял, что с

фашизмом всё не так просто. Что это сложное и отнюдь не однозначное духовное явление. Он ссылался при этом на Гауптмана и Гамсуна, на Ницше и Хайдеггера. Он сыпал и другими, совершенно неизвестными мне именами...

А фильм, о котором шла речь, — повторю еще раз, — и в самом деле был примитивен до крайности, и защищать его было трудно. А времени на ответ у меня оставалось уже совсем мало. И был это — напоминаю! — прямой эфир...

Короче говоря, осталось у меня от той беседы гадостное ощущение полного, постыдного моего провала.

Этим своим ощущением я делился со всеми, кому случилось увидеть меня в тот час на экране телевизора. Одни меня утешали, другие поругивали. Но самое сильное впечатление на меня произвела реакция одного моего приятеля.

— Знал бы я заранее про эту вашу беседу, — сказал он, — я бы сообщил вам один факт... Думаю, он там пришелся бы вам очень кстати... Я ведь остался жив благодаря этому самому фильму...

Я изумленно на него уставился.

И он рассказал.

Перед войной он с матерью жил где-то близ западной нашей границы. Когда война началась, никакой организованной эвакуации населения там уже не было. Кто хотел — и мог — уходил. Кто не хотел или не мог уйти — оставался.

Оставались многие. В том числе, кстати говоря, и евреи, не верившие советской пропаганде. Они были уверены, что слухи об антисемитской политике гитлеровцев сильно преувеличены.

Все они, конечно, погибли.

Ситуация эта была хорошо мне знакома, поскольку такой же смертью погибли мои родные дед и бабка. Они жили не так близко от границы и могли уехать. Но дед сказал, что помнит немцев по той, прежней войне. Это культурные люди, и бояться их нечего. На все уговоры он отвечал: «Что я, немцев не знаю?» А бабка сказала, что никуда не поедет, потому что «Сталин не допустит, чтобы Гитлер взял Златополь». (Так называлось местечко, где они жили.) Смерть их была ужасна: очевидцы говорили, что после расстрела нацистами местных евреев на месте захоронения их тел несколько суток шевелилась земля.

Приятель, рассказавший мне свою историю, жил у самой

границы, и жители тех мест, казалось бы, могли быть посообразительнее, чем моя бабушка. Но некоторые из них тоже надеялись, что Сталин их в обиду не даст, а другие, точь-в-точь как мой дед, верили, что культурные немцы ничего плохого им не сделают.

Приятель мой в этих дискуссиях участия не принимал, поскольку было ему тогда чуть меньше года. Но мама его для себя этот вопрос решила сразу, без колебаний. Дело в том, что незадолго до того она видела фильм «Семья Оппенгейм». И именно поэтому, не рассуждая, она взяла на руки своего годовалого сына и — пешком — ушла с ним на восток.

— Вот почему, — закончил он свой рассказ, — я, ничуть не преувеличивая, могу сказать, что остался жив благодаря вот этому самому плохому фильму.

Выслушав эту историю, я, конечно, пожалел, что не узнал ее раньше. Но потом подумал, что в той телепередаче она все равно бы меня не выручила. Во всяком случае, на молодого интеллектуала, так легко и свободно рассуждавшего о духовном очаровании фашизма, она особого впечатления скорее всего бы не произвела.

ПОСЛЕ ЭТОГО ЕГО УЖЕ НИЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО УДИВИТЬ

Гражданская война застала моего отца в Ялте.

Но прежде, чем приступить к этой истории, надо сказать несколько слов о том, кем он был, мой отец.

Был он, как и его отец, мой дед, — музыкантом. Но дед был самоучкой: играл на скрипке в «еврейском оркестре». (Такой оркестр упоминается в пьесе Чехова «Вишневый сад», и о таком же оркестре в какой-то повести Замятина говорится: «Какой это оркестр? Два жида в три ряда».)

Но отец, в отличие от деда, был уже настоящим музыкантом, профессионалом: окончил Одесскую консерваторию по классу скрипки. Мальчишкой уехал он из родного местечка, добрался до Одессы, поступил в школу при консерватории, потом в консерваторию. Зарабатывал, играя в ресторанах. И — учился. С последнего курса (в 1916-м году), выдав диплом об окончании, его мобилизовали и отправили на фронт, где он был, разумеется, капельмейстером. Сохранилась фотография, где он в папаше с кокардой, опираясь на саблю,

сидит во главе своей музыкантской команды. (Фотография эта сильно волновала мое детское воображение.)

В Ялте, при Врангеле, пришлось ему вернуться к занятиям своей голодной юности: он сколотил и возглавил маленький оркестр, подвизавшийся в одном из самых роскошных ялтинских ресторанов.

И вот однажды, когда ресторан был битком набит самой разношерстной публикой (дело шло уже к ночи), какой-то сильно подвыпивший врангелевский офицер потребовал, чтобы оркестр сыграл «Боже, царя храни...». Кого-то из сидящих в зале ресторана это возмутило. (Среди врангелевцев были ведь не только монархисты, но и сторонники учредительного собрания, может быть, даже и эсеры.) Завязалась драка. Кто-то выстрелил в люстру.

Не дожидаясь развязки, отец взял в руки свою скрипочку, мигнул братьям-музыкантам, и они все дружно покинули залу.

Рассказывая мне об этом, отец не скрывал, что, хотя играть «Боже, царя храни...» ему, безусловно, не хотелось, увел он своих музыкантов совсем не потому, что пожелал таким образом выразить свою гражданскую позицию. Просто не шибко радовала его перспектива оказаться в эпицентре столь бурного скандала: ведь и пристрелить могли...

Инцидент этот как-то там рассосался. Жизнь продолжалась. А спустя какое-то время в город вошли красные. И тогда один из отцовских оркестрантов шепнул ему:

— Ты, Миша, не должен ни о чем беспокоиться. Я сказал, кому надо, что ты — свой. Сообщил, как ты повел себя, когда тот золотопогонник потребовал, чтобы мы играли «Боже, царя храни...»

Отец понял, кем был этот его оркестрант, и мысленно возблагодарил судьбу за то, что случай помог ему предстать в столь выгодном свете перед новыми хозяевами жизни.

Новые же хозяева тем временем издали указ, согласно которому все офицеры, служившие в рядах белой армии, должны были зарегистрироваться. Тем из них, кто не был замешан в особо злостных преступлениях против народа, новая власть клятвенно обещала сохранить не только жизнь, но и свободу.

И тогда другой оркестрант попросил у отца, как у челове-

ка, отчасти как бы даже близкого этой новой власти, дружеского совета. У него — сын. Юноша, совсем мальчишка. То ли прапорщик, то ли подпоручик. Служил он у Врангеля без году неделю. И вообще раньше он никогда военным не был, до всей это заварухи был студентом, ну, просто засосало его в эту воронку. Так вот, регистрироваться ему? Или, может, лучше зайти? Пересидеть? Авось как-нибудь пронесет нелегкая...

Отец подумал и посоветовал зарегистрироваться. А то, не дай Бог, узнают... Кто-нибудь донесет — еще хуже будет...

Но хуже того, что случилось, ничего быть не могло.

Мальчик честно пошел и зарегистрировался. И был расстрелян. Вместе с тремя десятками тысяч других офицеров, отказавшихся эвакуироваться с остатками армии Врангеля. (Это был тот самый знаменитый расстрел, приказ о котором издали две бешеные собаки, вершившие суд и расправу тогда в Крыму, — Бела Кун и Землячка.)

Я думаю, что именно после этой истории мой отец навсегда потерял способность удивляться. После того, что случилось тогда на его глазах и к чему он невольно оказался даже причастен, эта самая новая власть уже никогда и ничем больше не могла его удивить.

ТОСКА ПОЧЕТА

Андрей Дмитриевич Сахаров умер внезапно. И сразу поползли разные нехорошие слухи.

Надо сказать, что слухи эти возникли не на пустом месте.

Во-первых, все уже хорошо знали, что возможности КГБ в этом смысле безграничны. Наслышаны были и про уколы зонтиком, и про другие достижения тайных лабораторий «конторы». Знали, что тайные яды эти не оставляют никаких следов. И это были уже не слухи, не сплетни: об этом тогда уже писали в газетах.

А для подозрений, что Андрей Дмитриевич умер не своей смертью, были еще дополнительные основания.

Накануне на Съезде народных депутатов Сахарова «захлопали» и согнали с трибуны. Многие слышали, как сидящий в президиуме Горбачев, не рассчитавший чуткости микрофона, удовлетворенно сказал вполголоса кому-то сидящему рядом: «Что и требовалось доказать».

Но и те, кто не слышал этой реплики генсека, не сомневались, что «нардепы», сгонявшие академика с трибуны, действовали не по своей инициативе, а выполняли указание САМОГО.

Говорили, что в тот день Сахаров открыто предупредил, что завтра же официально объявит о своей оппозиции Горбачеву. Но осуществить это свое намерение он не смог: помешала смерть.

Обстоятельства его смерти тоже вызывали нехорошие подозрения.

У Сахаровых были две двухкомнатные квартирки — одна над другой. В одной — той, что выше этажом, — они жили. А в нижней Андрей Дмитриевич работал и иногда уходил туда отдохнуть.

В тот вечер он спустился в нижнюю квартиру, сказав Елене Георгиевне, что хочет часа полтора поспать перед тем, как сесть за работу над завтрашней речью. Через полтора часа, как договорились, Елена Георгиевна спустилась вниз. Дверь квартиры была открыта (они никогда ее не запирали). Мертвый Андрей Дмитриевич лежал на пороге.

Короче говоря, основания для нехороших подозрений были немалые.

И более всего заинтересован в том, чтобы положить им конец, был, конечно, сам Горбачев.

Но и те, кто не доверял Горбачеву, тоже были заинтересованы в том, чтобы начальству не удалось скрыть истинную причину смерти опального академика.

И вот поэтому-то решили обратиться к Я.Л. Рапопорту, крупнейшему патологоанатому страны.

Яков Львович был не только величайшим артистом своего дела (слово «артист», вроде не слишком тут уместное, принадлежит ему самому: «Я тоже артист театра, — сказал он однажды Вере Пашенной. — Правда, анатомического»). Так же высока, как профессиональная, была и его человеческая репутация. (Это к делу, пожалуй, не относится, но не могу не сказать здесь о том, что Я.Л. Рапопорт был одной из жертв знаменитого «Дела врачей» 1953 года, и — единственным, кто оставил об этом «Деле» самые подробные свидетельства: книга его на эту тему вышла в свет в 1988 году.)

Присутствовать при вскрытии тела покойного академика Я.Л. Рапопорта попросили члены семьи Андрея Дмитриевича и его друзья и коллеги (физики ФИАН).

Яков Львович, разумеется, согласился. Но ему в ту пору было уже — ни мало ни много — 90 лет. И в Кунцево (вскрытие происходило именно там, в прозекторской Кремлевской больницы) вместе с ним поехала его дочь Наталья.

Сперва ее закрыли в кабинете начальника патолого-анатомической службы 4-го Главного управления Минздрава СССР Постнова и приказали никуда из него не выходить. Но примерно через час после начала вскрытия дверь кабинета отворилась, и на пороге появился сам его хозяин.

— Что вы здесь делаете? — удивился он.

Наталья объяснила, что ее посадили здесь какие-то люди в военной форме и запретили выходить.

— Здесь не они хозяева! — вспыхнул Постнов. — Здесь я хозяин! Если хотите, можете пройти в зал и быть рядом с отцом.

Пройти в прозекторскую она не захотела, но из кабинета ушла и стала — в ожидании — слоняться по коридорам. И вот тут-то и произошло то мелкое происшествие, ради которого я и затеял весь этот довольно длинный рассказ, который на самом деле был всего лишь предысторией:

Бродя по коридору кремлевской прозекутуры, я наткнулась на Доску почета с многочисленными грамотами. «Почетная грамота дана коллективу Патолого-анатомического отделения 1-й больницы 4-го Главного управления Минздрава СССР за победу в социалистическом соревновании».

Что-что?! Патолого-анатомическое отделение побеждает в социалистическом соревновании? С кем? С коллективом хирургов, терапевтов, гинекологов, ухогорлоносов? Несчастливая страна...

(Наталья Рапопорт. То ли был, то ли небыль. СПб., 1998)

Этот эпизод, казалось бы, не заслуживает такой высокой патетики. Скорее — усталой улыбки.

Но пафос этого горестного восклицания («Несчастливая страна!») был рожден, я думаю, не только тем, что идиотская Доска почета попала ей на глаза в такую трагическую минуту. Истинный смысл её восклицания я вижу в другом.

Разве не главным несчастьем нашей страны был этот торжествующий абсурд — это принципиальное нежелание считаться с реальностью, это повсеместное вытеснение ее показухой, эта тотальная, заповзевшая всю страну подмена живой жизни **тоской почёта**.

НЕ ПОЮТ

Было это в конце 70-х. В Москве с большой, как это тогда бывало, помпой проходил очередной международный кинофестиваль.

В один из фестивальных дней я оказался на Мосфильме, и друзья-киношники уговорили меня поехать с ними в Лужники, поглядеть выдвинутые на конкурс детские фильмы.

Гигантский зал был битком набит детворой, в основном подростками. В центре зала восседали Сергей Михалков, Радж Капур, другие знаменитости. Но юные кинозрители жили своей жизнью, не обращая на знаменитостей никакого внимания. Мальчишки, как водится, шипали девчонок и дергали их за косички. Девчонки тоже не оставались в долгу, и то в одном, то в другом конце зала возникали маленькие потасовки.

Показали два фильма. А в промежутке между ними, в антракте, и разыгралась та до глубины поразившая меня коллизия.

На сцене вдруг появился какой-то потрепанный субъект с аккордеоном. Бережно положив аккордеон на стул, он ушел за кулисы и тотчас же вернулся обратно, таща за собой какие-то высокие фанерные щиты, обклеенные то ли плакатами, то ли афишами. Щиты эти он расставил по сцене гармошкой, и тут стало видно, что никакие это не афиши, а крупными плакатными буквами выведенный стихотворный текст. Щитов было не меньше пяти, и, приглядевшись к ним, я понял, что на каждом из них красуется отдельное четверостишие. Точнее — куплет.

Так оно и оказалось.

— Ребята! — обратился к беснующимся подросткам аккордеонист. — Сейчас мы с вами разучим новую пионерскую песню!.. Внимание! Все вместе! Разучиваем первый куплет!

Обернувшись к первому щиту, он с пафосом, громко прочел вслух выведенный на нем текст. Никто его не слушал. Зал жил своей жизнью. Мальчишки приставали к девчонкам. Девчонки отругивались.

Но аккордеониста это не смутило. Он вел себя так, словно всё у него шло — как надо, по плану.

— А теперь! — покончив с текстом, начал он. — Разучиваем мотив.

И, усевшись на стул, проиграл на аккордеоне мелодию.

Я внимательно оглядел аудиторию, и во всем этом огромном зале не нашел ни одного — ни одного! — зрителя, который проявил бы к деятельности человека на сцене хоть какой-нибудь, хоть крошечный интерес.

Текст новой пионерской песни был, надо сказать, так себе. И мелодия тоже — какая-то неяркая, невзрачная, незапоминающаяся. Но мне было совершенно ясно, что если бы даже слова этой новой пионерской песни сочинил — в лучшие свои годы! — Лебедев-Кумач, а музыку — Дунаевский, или хоть сам Иоганн Штраус, реакция зала была бы точно такой же. Дело тут явно было не в сомнительных качествах текста и музыки, а в чем-то другом.

Человек на сцене тем временем громко объявил:

— Итак — вместе! Дружно! Поют — все!

И он запел.

В зале стоял такой шум, что голос его был почти не слышен. Но он пел, отбивая ногой такт, встряхивая головой и старательно аккомпанируя мимикой лицевых мышц тем чувствам, которые, как ему, вероятно, казалось, должны были выражать текст и мелодия исполняемой им песни: улыбался, подмигивал, — в общем, вел себя так, словно и в самом деле вместе с ним эту новую пионерскую песню дружно подхватили все.

— А теперь — припев! — радостно провозгласил он, покончив с первым куплетом.

Вся церемония была повторена в той же последовательности. Сперва был прочитан вслух текст припева. Потом проиграна на аккордеоне мелодия. А потом — с теми же ужимками и с тем же притопыванием — вот так же, в полном одиночестве, он исполнил припев.

Вот бедняга! — подумал я. — Ну и работенка!

Положение его мне казалось ужасным. Но сам он свое положение ужасным как будто не ощущал. Не первый уже раз, наверно, проигрывал эту свою пластинку. Привык.

Я внимательно глядел на этого несчастного — несчастного, кажется, только в моих глазах — человека и пытался влезть в его шкуру, почувствовать, понять: что он чувствует,

привычно играя в эту свою странную игру. И тут вдруг – по странной филиации идей, как сказано у Льва Николаевича Толстого, – передо мной возникла совсем другая картина, увиденная однажды на телеэкране. Огромный – почти такой же огромный, как этот, – зал Кремлевского Дворца Съездов. Торжественно завершается какой-то – уж не помню сейчас, какой по счету, – съезд КПСС. На трибуне – главный идеолог партии, член Политбюро, секретарь ЦК Михаил Андреевич Сулов.

Уставившись в лежащий перед ним лист бумаги, он говорит:

– Кто – за? Кто против?.. Воздержался?

И подытоживает:

– Единогласно.

При этом он не отрывает глаз от бумажки. В зал не глядит. Не считает нужным даже сделать вид, что пытается разглядеть, не поднялась ли там, в зале, хоть одна рука проголосовавшего против или воздержавшегося.

О чем думают, чего хотят, согласны или не согласны с ним люди, сидящие в зале, идеолога не интересует. Совершается некий ритуал, и не может быть никаких сомнений в том, что священный ритуал этот ни единым жестом, ни даже случайным каким-нибудь вздохом не будет нарушен.

Человек с аккордеоном на сцене гигантского кинозала в Лужниках совершал такой же ритуал. С тем, правда, немалым различием, что Сулову и в самом деле незачем было глядеть в зал, чтобы произнести это свое: «Единогласно». Он точно знал, что никакой осечки тут не может быть. И не будет. Все, как один, проголосуют: «За». Куда денутся!

А тут ситуация была совсем другая. Тут была – сплошная осечка. Тут от голосования воздержался не какой-нибудь там одинокий смельчак, а весь зал. И воздержался самым наглядным, самым убедительным образом.

Мальчишки шипали девочек. Девчонки взвизгивали, шлепали мальчишек по рукам, увертывались. Кто-то норovil выстрелить в сидящего впереди жеваной бумагой. Кто-то перебрасывался записками...

Не поют! – с восторгом думал я об этой беснующейся, живущей своей жизнью ребятне. – Хоть стреляй, не хотят

больше петь эту казенную муть. И ничего они уже с ними не сделают!

Сформулировав это таким образом, я вдруг понял, что присутствую при событии не просто знаменательном, а в своем роде символическом. Этот певец на сцене и этот не замечающий его битком набитый зал — да ведь это же символ всей нашей жизни, всего нашего разладившегося, давно уже вхолостую работающего государственного механизма.

Не только ведь эти дети, а миллионы людей, населяющих необъятную нашу страну, больше НЕ ПОЮТ. Не то что не поют — как встарь, когда вся страна, дружным хором, бодро исполняла «Марш энтузиастов», — а даже и подпевать не хотят. Живут своей отдельной жизнью, как вот этот зал...

Так — или примерно так — думал я тогда, глядя на кривляющегося на сцене несчастного певца.

На это у меня ума хватило.

Будь я чуть поумнее, я, конечно, мог бы сообразить, что всё это не может длиться долго, что однажды — быть может, время это даже и не за горами? — наш «Союз нерушимый», вся эта наша химерическая жизнь вдруг возьмет да и развалится, рассыплется как картонный домик...

Но к таким фантастическим гипотезам я тогда был еще не готов.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i>	4
Занимательная диалектика (<i>Что-то вроде предисловия</i>)	5

ИЗ ЖИЗНИ СОПИСОВ, ЖОПИСОВ, ДОПИСОВ И МУДОПИСОВ

Буревестник	13
Дорожка испорчена	18
Откуда они вели свой репортаж	19
Меня считают	21
Глава поэтической школы	21
Равный среди первых	22
Бес попутал	25
Песни надо писать!	25
Никто не улыбнулся	26
...и пусть летает	28
Проверка цитат	31
За того парня	34
Я еще не родился... ..	35
Как я подвел под монастырь Самеда Вургунa	37
Табель о рангах	40
Физики и лирики	42
Бойцы были в разных весовых категориях	42
Большевистская принципиальность	44
Кто сумасшедший?	46
Сборы террористов	48
Сочинение с эпитафией	49
Только одно замечание	50
Зачем ему нужен был орден	52

Евгений Долматовский и Евгений Баратынский	56
Группа дрессированных евреев под управлением Дымшица	57
Как была разоблачена английская писательница Кармина Пристиана	59
Телешов не был членом партии	62
Здесь есть коммунисты?	63
И тут я понял...	64
Президиум	65
На обаянии	67
Я бы так не смог	68
А я всё думаю о Достоевском...	69
Только одна буква	70
Вы идиот?	71
Петь будете стоя	72
Искусственный глаз	73
Пластическая операция	74
Счастливый человек	77
Всё-таки — на глазах!	78
Хороший совет	80
«Джойнт давно не присылает...»	81
Раз ГПУ, придя к Эзопу...	82
Шутник продолжает шутить	83
Еще одна история о том, как шутник продолжал шутить	85
Конфликт хорошего с отличным	85
... и беспринципная	87
Необычные похороны	89
Им пришлось это выслушать	90
«Терпеть, Мишенька!»	91
Народ не безмолвствовал	91
Кто кого компрометировал	92
Принять или восстановить?	92
Глас народа	96
Отряд не заметил потери бойца	96
Кнели паровые	97
Бездельники	100
Писатели и читатели	101
Еще о писателях и читателях	103
Из жизни жописов	104
Покушение	105
Чтоб ему так легко икалось...	106
Отец русской скобки	107
Поэт он таку-усенький!	107

Так не говорят о великих писателях!	108
Надо помочь французским товарищам!	108
Кому улыбался Блок	109
На всякого мудреца... ..	112
Тогда, мне казалось, я знал... ..	112
Два столба с перекладиной	113
Хозяйка должна разливать чай!	114
Последнюю радость отымаете... ..	114
...Они еще летают!	115
Перестраховка в лучшем смысле этого слова	117
Вычеркивайте всех!	117
Шабес-гой наоборот	118
Друзья и враги	120
Паустовский и кот	121
Эренбург и собаки	121
Перемена экспозиции	123
Пришлось временно перепосвятить	124
Один в двух лицах	124
Когда больше нечем взять... ..	125
У нас положительных не бывает	125
Инкогнида	126
Моё позорное легкомыслие!	127
Шкловский о Беломорканале	128
Для литературы не бывает хороших времен	129
Надо ли уступать дорогу автобусу	129
А вы не боитесь?	130
Чёрная икра	131
...И не писал!	132
Литература и жизнь	134
Рассказ о рабочем классе	135
Значит, вы не писатели... ..	136
Обратимся к Богу!	138
Лучше этих нескольких строк он в своей жизни ничего не написал	141
Аукцион в Доме литераторов	143
Научная дискуссия в Институте мировой литературы	143
У художника нет другого выхода	144
Это был его единственный шанс	149
Огонь упадёт с неба	150
Голубчик, это же Россия!	152

ТОЛЬКО СНЕГ

Только снег	161
Пятнадцать человек на сундук мертвеца	162

Шельменко-денщик в благородном собрании	164
Шельменко-денщик пишет оперу	166
Там живет граф...	167
На каком языке он поёт?	167
Мы сами тащили свои чемоданы	168
Во всём доме – только писатели?	169
Мы тебе другую найдём...	169
Художественное обобщение	170
Два мира, два Шапиро	172
Победил Мопассан	175
С книгами проблем не будет!	176
Главный идейный порок романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»	177
С русского – на русский	179
Мы, дети, требуем!..	187
Чтоб жить	188
Кто основал Литфонд	189
Пушкин – это наше всё	189
За связь с авторами	191
Посмотри на себя в зеркало!	192
Они умирали от страха	192
Ну что, славяне?..	193
Кто такая Анна Каренина?	193
Из жизни прокуроров	194
Этот вопрос тоже был в компетенции КГБ	196
Бираф-бираф	196
Вы, грузины, как и мы, башкиры...	198
Оптимист	199
Крайняя мера	199
Пусть думает, что я троцкистка	200
А наш-то – забывает американца!	201
Без завещания тоже плохо	201
Сколько лет, сколько зим!	202
Это ваш родственник?	203
Страдания члена художественного совета	204
Грузинский тост	205
Где моя кошка?	209
Как он прятался	211
У Сталина был тонкий художественный вкус	212
Литературоведов в штатском просят не беспокоиться	214
Это сумасшедший дом!	216
Партийная этика	220
Вы всё можете, Пётр Нилович!	221
Я – за клуб!	222

Четал	223
В борьбе за чистоту русского языка	224
Не хочешь – не говори	224
Какие прекрасные лица!	225
Нетактично поступили	227
Разве ж товарищи так поступают!	229
Я ж коммунист!	230
Я хочу платить!	231
А вот ты об этом и подумай... ..	232
Кто сообщил?	233
Ко мне сейчас придёт писатель	235
Самая необычная лекция	236
Американцу этого не понять	238
Я же этого не сделал!	240
Войну забыли!	241
Членом Британского Королевского Общества быть выгодно	242
Волшебник Яхве	243
Лифт работает?	244
Не тому надо удивляться... ..	245
Позвольте пожать вашу руку!	245
В зоопарке	246
Аллах не фраер	246
Не забудь сказать про Сахарова	247
Это же мой друг!	247
Нотов не знаем!	248
На похоронах Твардовского	249
Пусть вступит в другую партию	250
Мне совершенно всё равно, сэр... ..	251
И сразу – расстрел?	251
Его спровоцировали	252
А ты – кацап!	253
Сколько стоил партийный билет	254
Иначе он обязательно к нам вернётся	255
В ужасные времена... ..	257
В сущности, они были правы	259
Ведь мы теперь живём совсем иначе!	261
До свиданья, товарищ Зошенко!	265
 БРОНЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИСТОРИИ	
Бронзовый профиль истории	271
В двух словах	272
Гильотина в действии	273
И тут каждый раз он заливался хохотом	275

Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять	276
За выход из банды	278
Веселие Руси... ..	279
Sic transit Gloria mundi	280
Это была не глупость	281
Ты понимаешь, что произошло?	281
Если бы победил Троцкий	282
Не любите вы нас!	283
А нас за что?	284
Святые люди	286
Не дай вам Бог!	287
Стихотворение Демьяна Бедного	288
И вас действительно били?	288
Надо кого-нибудь помельче	290
В этой банде... ..	291
Вечно живой	294
Другая версия бессмертия товарища Сталина	296
Историческая речь Сталина	297
Я же не нарочно!	299
Он мне не понравился	299
Один умный человек	300
Нам известен этот факт... ..	302
Вы довольны?	303
Положи на место!	305
Клим Ворошилов и братишка Буденный	305
Он неплохо поет... ..	308
Потанцевали бы!	309
Правильно решили	309
... Меня боишься!	311
Трепещешь?	312
Вождь забавляется	314
Народ вас не поймёт	314
Пусть поёт то, что сам желает!	314
Кто был создателем Первой Конной армии	315
Любимая забава вождя	315
Какая длина шага у товарища Сталина?	317
Как история победила географию	317
«Мы с тобой Гималаи»	318
Дыхание Чейн-Стокса	318
Плакать, но не слишком	320
Дружеский ужин	321
Антокольский, встать!	322
Из дневника К. И. Чуковского	323

Половина – негоже	323
Была у них, оказывается, и такая кафедра	325
Какой счёт?	326
А алмазы уже кончились?	327
Умный поймёт	327
Лучший способ борьбы с проказой	329
Молодец!	330
Он что-то знает...	332
Он уже тогда был готов	333
Интересный человек	335
Рыбалка удалась на славу	336
Вы поняли, что вы сейчас видели?	336
Я же летаю	338
Лишние знания тоже не к добру	338
Повидло цареубийцам	342
Плачь, девочка, плачь...	342
Я так и знал!	343
Кто этот парень?	344
Адмирал Исаков и Буденный	344
Побег из тюрьмы	346
Кто должен сидеть, а кто – стоять?	349
Доктор Стокман наживает новых врагов	350
Продолжение истории Павлика Морозова	351
Запутавшись в связях...	354
Друзья и враги Пушкина	354
Могила декабриста	355
«Жидивьска вера полегчила...»	356
Справа налево	357
Укрепи и наставь	358
Не ловится, но – характеризует	359
Партия кайдабалсан...	360
Это было бы не корпоративно	361
Я путешествовала инкогнито	363
Ты мне жидами глаза не замазывай!	364
Ты должна меня проклинать...	365
Картонная поэма	365
Бычьи семенники	367
Гиблое дело	368
Я от бабушки ушел	369
Рано утром его разбудил телефонный звонок	369
«И подивился Тарас...»	372
Дело врачей и Крабовидная туманность	373
Сколько вам тогда было лет?	375
Что вам сказать...	376

Не люблю я его...	379
Как я узнал, что такое суд Линча	381
Управляемая стихия	383
Товарищ Сталин нас учит...	385
Голос из хора	388
Игра без лады	390
Товарищ Зошенко бьет на жалость!	391
Нас он не проведет	395
Кого он разоблачил?	396
Корней Чуковский и Бенито Муссолини	397
Как провалилась реформа	398
Почему никто не догадался?	402
Скуки не было	403
Обморок	405
Величие и падение Железного Шурика	407
Почему вы не застрелились	409
Не дай вам Бог увидеть, как он плачет	410
В стране произошел государственный переворот	412
Меньшевики и большевики	415
Пропала рифма	416
Как критик Данин поступил по-свински со своим другом поэтом Смеляковым	418
Первый новый царь	419
Хрущев в натуральную величину	420
Хрущев как носитель языка...	421
Готовы выполнить любое задание партии и правительства	422
Последний марксист	422
За что их судили	426
Плохой фильм «Семья Оппенгейм»	428
После этого его уже ничем нельзя было удивить	431
Тоска почета	433
Не поют	436

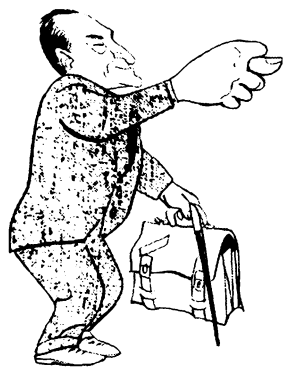
Сарнов Бенедикт Михайлович
ПЕРЕСТАНЬТЕ УДИВЛЯТЬСЯ!
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Редактор *О. Булаева*
Компьютерная верстка и дизайн *Г. Егорова*

Подписано в печать 05.07.06. Формат 84x108/32
Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman Cyr»
Усл.-печ. л. 23,52. Тираж 2000 экз. Заказ № 5876.

Издательство «АГРАФ»
129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 14, стр. 15
e-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>
т./ф. 518-97-98
т. 518-97-99

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122







ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДОМ
ЛИТЕРАТОРОВ

